

Нам — 85!

ISSN 0012-6756



**Дружба
народов**

1/2024



«Дружбе народов» — 85! Во все времена журнал работал и стремится работать на узнавание, понимание, добрососедство, сотрудничество, творческое развитие национальных культур на евразийском пространстве, сохраняя верность заложенной в названии жизнеутверждающей идее. В юбилейном году мы продолжим знакомить читателей с теми, кто создаёт современную литературу, и будем вспоминать замечательные имена и яркие страницы журнала минувших лет.

В номере:

«Колея эта — только моя»

«Я Гамлет, я насилье презирал./ Я наплевал на датскую корону,/ но в их глазах — за трон я глотку рвал/ и убивал соперника по трону.// Но гениальный всплеск похож на бред./ В рождение смерть проглядывает косо./ А мы всё ставим каверзный ответ/ и не находим нужного вопроса...»
В рубрике «Золотые страницы "ДН"» — стихи Владимира ВЫСОЦКОГО.
«Высоцкий страстно, по-мальчишески мечтал напечататься, — подчёркивал, предвеляя публикацию, Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ. — Подобранные здесь стихи — не обычные литературные произведения. Перед вами куски жизни и судьбы Владимира Высоцкого».

Проблески счастья

Повесть Арсения ГОНЧУКОВА «Над городом Горьким» — повесть и об отце, и о трудном, жёстком и во многом наивном времени, получившем название «перестройка», о времени взросления на фоне всеобщего слома, вселенской обиды, непонимания и позднейшего сожаления. «Поговорить об обоюдных желаниях они с отцом не могли, между ними как будто стояла тяжёлая непробиваемая стена — неловкости, самолюбия, неумения открываться, быть нежным, выражать чувства. Раскрыться навстречу близкому, любимому и бесконечно любящему человеку (чем сильнее — тем труднее), казалось самым невозможным на свете поступком. И это была их общая роковая ошибка...»

«...на свет игрушки ёлочной в окне»

«Когда глядит молчащий человек/ в своё окно на падающий снег,/ то он не одинок на белом свете...» Стихи Сергея ПАГЫНА настраивают на новогодний лад, и в эти особенные дни остро чувствуешь, «живя любовью и тоской», как уходит одно Время и приходит другое. Не об этой ли «Цепочке превращений» лирика Владимира САЛИМОНА? Раздумья о «цикличности жизни» не чужды и Евгению ЧИГРИНУ. А молодой поэт Григорий КНЯЗЕВ подмечает, как «Чудом ловят слух и зреньё/ Ощутимо, наяву/ Длинных волн сердцебиенье...»

Круг чтения: имена и книги

«...Иногда кажется, когда читаешь мировые новости, что сейчас историю пишет какой-то захудалый писатель, не умеющий сводить концы с концами, допускающий провисание сюжетных линий в пределах десяти страниц, не мотивирующий поступки героев». Литературные критики подводят итоги года и советуют, что стоит прочитать.

Дружба народов



*Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал*

*Основан
в марте 1939 года*

Редакционная коллегия

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»;
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

***Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.***

***Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.***

***При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.***

Сдано в набор 20.11.2023.
Подписано в печать 20.12.2023.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ . Цена свободная.

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Леонид
БАХНОВ
Ирина
ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Заместитель главного редактора Галина
КЛИМОВА
Владимир
МЕДВЕДЕВ
Александр
СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Мария
АНУФРИЕВА
Сухбат
АФЛАТУНИ
Муса
АХМАДОВ
Ольга
БАЛЛА
Дмитрий
БИРМАН
Ольга
БРЕЙНИНГЕР
Денис
ГУЦКО
Фарид
НАГИМ
Илья
ОДЕГОВ
Валерия
ПУСТОВАЯ
Ренат
ХАРИС
Александр
ЧАНЦЕВ
ЭЛЬЧИН



ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Сергей ПАГЫН. Зима в провинции огромна. <i>Стихи</i>	3
Арсений ГОНЧУКОВ. Над городом Горьким. <i>Повесть</i>	7
Владимир САЛИМОН. Цепочка превращений. <i>Стихи</i>	49
Александр КИРОВ. Где-то рядом Карма. <i>Рассказы</i>	54
Андрей ВОЛОС. Рассказы	78
Евгений ЧИГРИН. Машина-сердце. <i>Стихи</i>	100
Алексей КОЛЕСНИКОВ. Мой первый, второй, третий и последующие обстрелы. <i>Рассказ</i>	104
Валерий РЫЖЕНКО. Мимолёт. <i>Рассказ</i>	135
Григорий КНЯЗЕВ. Длинных волн сердцебиенье. <i>Стихи</i>	142

ПРОЗА.ДОС

Игорь КЛЕХ. Корсо	146
-------------------------	-----

ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ «ДН»

Владимир ВЫСОЦКИЙ. «Как корабли из песни». <i>Стихи</i> . <i>Вступительное слово Андрея ВОЗНЕСЕНСКОГО</i>	172
--	-----

ЖИЗНЬ В ЛИТЕРАТУРЕ

Владимир ГАНДЕЛЬСМАН. Выемки и выкладки	181
---	-----

НАЦИЯ И МИР

Анна ВОРОПАЕВА. Дальний Восток: стирая границы	191
--	-----

ПУТЕШЕСТВИЯ

Сергей САМСОНОВ. Открытие родины, или Как самка богомола приняла меня за дерево	200
--	-----

ПЕРВЫЕ СТИХИ

Варвара ЗАБОРЦЕВА. О первых рифмах	207
Наталья СЫРЦОВА. Первый опыт	208

КРИТИКА

«Я хочу рассказать вам...» <i>Итоги 2023 литературного года подводят критики</i> <i>Ольга БАЛЛА, Мария БУШУЕВА, Борис КУТЕНКОВ, Елена ЛЕПИШЕВА,</i> <i>Александр МАРКОВ, Николай ПОДОСОКОРСКИЙ, Валерия ПУСТОВАЯ,</i> <i>Елена САФРОНОВА, Аглая ТОПОРОВА, Александр ЧАНЦЕВ, Кирилл ЯМЩИКОВ</i>	210
Валерия ПУСТОВАЯ. Чудо тёмное (Эдуард Веркин. «снарк снарк. <i>Книга 1: Чагинск»; «Книга 2: Снег Энцелада»; Анна Старобинец. «Лисьи броды»;</i> <i>Саша Николаенко. «Муравьиный бог: реквием»)</i>	235

БИБЛИОНАВТИКА

Ольга БАЛЛА. Все настоящие писатели — в глубине души барсуки	259
--	-----

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. «А.Т.» — попытка закругления	269
--	-----

Summary	272
---------------	-----

Сергей Пагын

Зима в провинции огромна

На закате

Какие бури разрывают небо!
Какой огонь пылает в вышине!
А ты идёшь домой на запах хлеба,
на свет игрушки ёлочной в окне.

И тихо так, как будто бы на свете
лишь снег земной...
И веточка во сне
слегка дрожит, цветёт, не зная смерти,
в студёном полыхающем огне.

* * *

Пространства всё больше, и строже
молчанье большое его.
И бездны заполнить не может
летающей листвы вещество.

И щебет синичий стихает
меж голых ветвей без следа,
когда к ним порой приближает
внимательный лик пустота.

Так песню, бывает, затянешь,
хлебнув по дороге вина,
и тут же замолкнешь, и встанешь —
такая вокруг тишина,

что голос твой здесь неуместен,
как в снеге предутреннем гром,
как лёгкое платье невесты
за скорбным и длинным столом.

Пагын Сергей Анатольевич — поэт. Родился в 1969 году в г. Единцы (Молдавия). Окончил филфак Бельцкого пединститута. С 2000 года — главный редактор регионального издания «Норд-инфо». Автор шести книг стихов, в том числе «Просто жизнь» (2017) и «Спасительный каштан» (2022). Дипломант Международного поэтического конкурса им.Н.С.Гумилёва «Заблудившийся трамвай» (2010), лауреат премии «Молодой Петербург» (2011) и журнала «Дружба народов» (2022). Живёт в г. Единцы.

* * *

Бесснежный принял ты январь...
Ну, вот и жить тебе
с тоской старинной, словно ларь
в заброшенной избе,

с бессонным ветром, по дворам
гуляющим, как пёс,
с печальной мамой, по утрам
светящейся от слёз,

от снов, где всех, кто так любим,
она зовёт с крыльца,
с неясным, тонким, дорогим
присутствием отца

среди явлений и вещей
в натопленном дому.
Всё тише звон его ключей,
что отпирают тьму,

и всё светлей его ладонь,
прозрачнее лицо...
И зимний сумрачный огонь
берёт тебя в кольцо,

и ты горишь в горсти земной,
как в масле горклom нить,
живя любовью и тоской...
А чем ещё и жить?!

* * *

Когда глядит молчащий человек
в своё окно на падающий снег,
то он не одинок на белом свете.
И тот, кто — зренье чуткое одно,
с ним рядом смотрит в зыбкое окно
как рты снежинкам подставляют дети,

смеясь, галдят, ещё без рукавиц,
и смахивают капельки с ресниц,
и лица поднимают в упоенье —
и кажется, что снег стоит, а ты
возносишься в объятья высоты.
Такое вот простое вознесенье.

* * *

Мы с тобой проживём и зимой,
ведь всё наше по-прежнему с нами.
Замороженный воздух резной —
как старинный комод с тайниками.

В этих мреющих нишах ночных,
в этих ящичках хитрых зеркальных
столько разных чудес золотых,
столько всяких вещиц музыкальных.

Лишь рукою тихонько коснись,
и откинется дверца упруго.
Вот свисток, в детстве сделанный из
абрикосовой косточки смуглой.

Ты подуешь в него — полыхнёт
настороженный иней на стенах.
И детсадовский полдень войдёт
в сердце дикой зимы неизменной

безоглядно, светло, налегке...
А пока мне угадывать сладко:
льдистый жёлудь в твоём кулаке
иль цветочная муха-журчалка?

* * *

Зима в провинции огромна,
у края города, когда
в давно не крашенные окна
глазее жадно высота.

Ещё не время снежной манны,
и рот чернеет пустоты.
Не затмевает свет фонарный
мерцанья близкого звезды.

А утром — иней, птичья склока
среди сияющих ветвей.
Горят шипы чертополоха,
став за ночь толще и длинней.

И он как буквица — оттуда,
из книги стародавних зим...
И бытия земного чудо
дыханьем полнится твоим.

* * *

Дерево заглядывает в дом.
Видит человека за столом,
он сидит, упёршись взглядом в стенку...

Дерево выходит за края,
за пределы инобытия,
и в окно протягивает ветку.

* * *

Я видел сад заснеженный, и в нём
печальных женщин в платьях разноцветных,
в молчанье собирающих плоды.

Простоволосы,
пот на тонких лицах —
не знал, что мёртвым от мороза жарко.

И молодая бабушка моя
в бордовом платье в блёстках золотистых
мне яблоко горящее несла
по полю
через снег неодолимый.

* * *

Человек появляется на холме
среди скирд кукурузных — ведь дело идёт к зиме.
И пока он машет рукой с холма,
происходит зима.

Вырастает иней — уколы его легки,
засыпает снегом русло сухой реки...
И пока мы смотрим и машем ему в ответ,
происходит
свет.

* * *

Зима тебя стеною обнесёт —
молчанием прозрачным, словно лёд,
его потрогать можешь ты руками.
За ним, по-рыбы открывая рты,
слова глядят из пресной темноты,
тончайшими мерца плавниками.

Но всё порой смещается окрест —
дома, деревья, вещи сходят с мест,
молчание по кругу разбивая,
и снова ты трепещешь и горишь,
и говоришь,
и всё же говоришь,
для мёртвых и живущих воскресая.

Арсений Гончуков

Над городом Горьким

Повесть

Памяти моего отца

Все места и здания реальны. Даже если их сегодня не существует

Площадь с круговым движением напоминала сплюснутую с боков пластинку. Машины, мотоциклы, грузовики — вечный двигатель города крутился без подзавода. В центре площади заброшенные клумбы, их давно забили размашистые сорняки. Здесь, посреди стремительной неостановимой дороги, островок девственных джунглей, куда не ступала нога человека. Вокруг острова светлячками кружатся зелёные огоньки такси — лампочки за ветровыми стёклами на жёлтых «Волгах».

«Взять бы такси и уехать, — подумал Лусканов и сразу вспомнил: — У меня своё “такси”! Где Игорь? Я же сказал, что сегодня задерживаться не буду...»

Он стоял на площади Лядова, там, где машины вылетают из раскрученной пращи кольца на Окский съезд, чтобы дальше падать по склону вниз, к Молитовскому мосту через Волгу, что оmyвает широкий бок Канавинского района.

За спиной Лусканова высилось серо-чёрное здание, какие строили в советское время в качестве, как бы сегодня сказали, офисных центров. Огромные панорамные окна с алюминиевыми рамами, длинные устланные линолеумом «под паркет» (а иногда и на паркет, и тогда чувствовался пыльный запах старого дерева) коридоры, в стенах которых темнели деревянные или перетянутые кожзамом двери. В конце коридоров выстуженные туалеты в белую клетку кафеля и из-за находящейся в вечном движении улицы завешенное, будто тюлем, серой пылью окно. Между этажами задумчиво ныли и со скрипом потягивались умственно-отсталые лифты. С лестничной клетки в середине коридора дул сквозняк, двери там неизменно настежь — доводчики советского производства болтались над головой ножками саранчи.

Гончуков Арсений Михайлович — писатель, поэт, режиссёр, продюсер. Родился в Нижнем Новгороде в 1979 году. Окончил университет по специальности филология и Школу кино при Высшей школе экономики. Лауреат, обладатель наград российских и международных кинофестивалей. Автор двух книг, в том числе поэтического сборника «Отчаянное рождение» (2006) и романа в новеллах «Доказательство человека» (2023). Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2022, № 1.

Просторный и прохладный кабинет директора Владимира Михайловича Лусканова располагался на седьмом этаже, который весь был отдан УПТК «Нижегородстройресурс». Пятнадцать лет Лусканов проработал в местной структуре Минстроя СССР главным инженером, снабженцем, обеспечивающим многочисленные горьковские, а потом и нижегородские стройки строительными материалами. Сотни наименований, всё, что было утверждено Госпланом СССР для стройки, баржами, фурами и эшелонами из всех регионов и республик проходило через руки Лусканова, его феноменальную голову, умеющую запоминать тысячи цифр и сотни контактов, — и всё это во времена, когда основными инструментами руководителей были ручка, карандаш, бумага и телефон с ребристой тяжёлой трубкой на пружинном проводе. Владиммихалыча знали по всему Союзу, а весь Союз «до самых до окраин» знала его рыжая кожаная с жёлтыми латунными уголками, похожая на обмылок, записная книжка — потёртая, разбухшая, бездонная.

Десять минут назад закончился рабочий день, потемневшие медные стрелки на настольных часах незаметно пришли в нужное положение, вытянувшись солдатиком — одна вверх, другая вниз, — и Лусканов вышел из здания, чтобы сесть в служебную серую «Волгу» с округлой мордой и квадратными фарами, но водителя Игоря не было.

Посмотреть на Лусканова со стороны, его образ, повадки — советское время не кончилось, Союз не распался. Серый неброский пиджак, остроносые ботинки, всё нестарое, чистое, ухоженное, но форм неидеальных, фабричных, наших. Брюки с наутюженными стрелками из-за сидения целый день в кресле покрылись лучами складок, лёгкая чёрная водолазка, схватывающая шею плотным кольцом и создающая пьедестал для головы, начала едва заметно пахнуть потом, чего аккуратный и чистоплотный Владимир Михайлович не терпел.

Большеголовую, с долгим туловищем, небольшим животиком и короткими ногами фигуру своего пятидесятилетнего шефа, деловито-собранный стоящего у дороги, водитель Игорь заметил издали, Лусканова он замечал даже боковым зрением, да хоть затылком. Но сигналить не стал, этих «окриков» начальник не любил. Подъехал, остановился. Владимир Михайлович сел, привычным движением бросил большую кожаную папку на заднее сиденье, кивнул и басовито, но очень тихо, почти неслышно, сказал: «Домой».

«Волга» взрыла густо и глухо, с лёгким металлическим дребезжанием, и они поскользили по площади на разворот. Жил Владимир Михайлович в престижной верхней части города в Печёрах в новом доме три дробь один по улице Фруктовой.

Когда он лёг на неё и она податливо приподняла и раздвинула ноги, и косточками таза он, худой и тонкий, упёрся в мякоть внутренних сторон её бёдер, и она положила ладони на его стриженный затылок, и с нажимом провела вверх, он возбудился сразу, сильно, и всё случилось быстро, бурно, только судорога трянула его... Медленно просыпаясь, как будто волна сна откатывалась и возвращалась в море, оставляя его лежать на песке начинающегося дня, Саня вспоминал их близость накануне и Настины руки на затылке — надо же, простое её прикосновение выжгло ему мозги.

Поставил выхоленные пододеяльным теплом ноги на блестящий ледяной линолеум и невольно вздрогнул: за окном синевой наливались осенние сумерки, день заканчивался, он проспал всё, что мог! Саня вздохнул и упал на кровать снова — спешить было уже некуда. Но через пару секунд понял, что зверски голоден. Толкнул диван локтями в под дых, вскочил на ноги и застучал голыми пятками, как кульями, по коридору. На кухне щёлкнула забралом хлебница, звонко громыкнул доспехами

выдвижной ящик с ложками-вилками, чмокнул холодильник, чиркнула спичка, предвещая чайник, а потом и крепкий пересладкий чай, как он любил.

Обжигая губы, запивая неряшливый бутерброд с пахнущим салом желтоватым маргарином, Саня вдруг увидел в окне себя. Снаружи стемнело, а здесь, на табуретке, сидел сутулый, худой, хоть и с некоторым бицепсом, восемнадцатилетний пацан. Саня напоминал белую гипсовую статую, которая за день устала стоять в парке и решила присесть в сумерках чего-нибудь пожевать.

— *Так* ты с отцом разговариваешь? — сказал он после паузы, тщательно прожевывая мясо.

— *Как* я с тобой разговариваю?

— А вот *так*! — и отец стукнул обглоданной, высосанной костью о тарелку, отодвинул её и откинулся на кухонный угловой диванчик.

Больше они не говорили. Отяжелевший от доброй половины кастрюли холодных щей с мясом Владимир Михалыч устался в окно, занятый своими мыслями. Саня чай не допил, но сделал вид, что в чашке пусто, небрежно отставил её и вышел.

Надо было забрать еду в комнату. Идея ужинать на кухне, когда отец пришёл с работы, была плохой. Мать всегда говорила, отец как хищник, любит есть один, не надо ему мешать.

Не то чтобы они постоянно ссорились и воевали, так, переругивались. Горьковатый запахок недовольства друг другом — будто в духовке начал подгорать пирог. Так бывает, когда у близких людей есть конкретные ожидания друг от друга, но они не могут сбыться.

Отец хотел, чтобы сын становился серьёзней, чтобы начинал думать о будущем, потому что следующим летом поступать, но куда поступать? Отец хотел, чтобы сын определился с вузом, и в тайне ждал, когда Саня обратится к нему за помощью, например, за деньгами на подготовительные курсы, и тогда бы они сели, всё обсудили... И отец порекомендовал бы, куда бы он хотел, чтобы сын поступил, что ему бы подошло с точки зрения жизненных перспектив. Тут надо всё-таки знать жизнь. Иметь на неё расчёт. Чем заниматься? Кем работать? Чего добиваться? «Пойми, кем ты будешь через двадцать лет, — закладываешь ты это сегодня, буквально сейчас, в эти конкретные дни», — фраза, которую отец приготовил родному сыну, отчётливо звучала в его голове. Но вместо идиллической картины у Лусканова сложилось ощущение, что Сане ничего не надо, думать он ни о чём не хочет, а к отцу не обращается, потому что его в грош не ставит... «И что с ним будет? Да наплевать! Ему наплевать — мне тем более!» — повторял Лусканов в сердцах. Хотя, конечно, это была неправда.

У Сани обида была другая. Он шёл в последний, одиннадцатый, класс и, действительно, давно пора было планировать поступление, потому что — и Саня об этом беспокоился — где-то учиться нужно. Но где? Сане никакие варианты не нравились. Ни на что не вспыхивала душа. Хотя в итоге он куда-то поступит, и обязательно будет учиться, и проведёт ещё пять лет за партой (а в вузах тоже парты?), чтобы получить диплом и пойти работать, чтобы кормить себя, семью, чтобы самореализовываться. Как и расчертила жизненные задачи мать, влияние которой на сына было абсолютно. Только куда? Истфак? Филфак? Журфак? Лобач? Пед? А может, иняз на Минина — проезжаешь на автобусе мимо и видишь тонких, хрупких, необычайно дорого и элегантно одетых девочек, которые учат там английский, французский, немецкий, — видимо, дочери (только ли дочери?) дипломатов и бизнесменов,

работающих с зарубежными компаниями. Таких развелось много... А ещё говорят, в этом инязе учился легендарный режиссёр Алексей Балабанов, правда, это было задолго до перестройки... Или — куда? Кем? Может, в Политех? Принять решение Саня не мог, потому что в глубине души неосознанно, вопреки установкам, желал совсем другого, — не просиживать штаны пять лет за учёбой, а чтобы отец ввёл его в то, чем занимается прямо сейчас и за чем будущее страны (Саня чуял, все чуяли!). Горячий, нетерпеливый, он хотел в большой бизнес, он мечтал, чтобы отец начал посвящать его в тонкости коммерческого (теперь уже!) строительного снабжения, которым занималось УПТК «Нижегородстройресурс». Но почему-то отец даже не рассматривал этот вариант. Не из-за слепоты или невнимательности к сыну. Просто Лусканов, кажется, даже не осознавал, что занимается бизнесом. Он всю жизнь служил советскому народу, государству, а не себе. Отец не хотел делать из сына предпринимателя. Да и сам, похоже, не собирался им становиться.

Что это было — прихоть, протест, гордыня или страх перед новым миром, — осталось навсегда тайной. И роковой ошибкой отца, сведшей его в могилу, — так всю жизнь думал сын.

Вопреки материным наставлениям Саня не понимал, зачем ему идти в институт на какой-то филфак, читать пыльных и таких далёких от сегодняшнего дня Гомера и Сумарокова, когда в стране, вдруг ставшей Российской Федерацией, повсеместно открываются фирмы, конторы, «ооошки», а пацаны становятся *фирмачами, коммерсами*, директорами и президентами компаний, бросая под свежепозолоченными вывесками *офисов* подержанные, но такие желанные мерсы, ауди и особенно угрюмо-злые, с двойными фарами, «бэхи». Двадцати-тридцатилетние, как в бабочек, превращались в нуворишей, становились «новыми русскими», хозяевами жизни, всесильными воротилами бизнесов или коммерсами помельче — владельцами рынков, ларьков, палаток. У них были деньги, власть, дело, а значит, и уважение, но главное — широкая магистраль жизни впереди, да что там, взлётная полоса! Время было такое оголтелое, казалось, можно всё, воздух свободы пьянил, сводил с ума, смешиваясь с кислотканевым запахом баксов, духом ночных ресторанов, девочек в юбках не шире пояса, короче — бесконечного счастья.

Нет, Саня был скромным, приличным сыночком из интеллигентной семьи, где голубенькие томики собрания сочинений Чехова были пухлыми от частого чтения. Он не хотел только быстрых денег или непременно стать директором, он создавал, что путь непрост, и — обратную сторону быстрых успехов эпохи — бандитов в малиновых пиджаках с толстыми золотыми цепями на выях, как и отец с матерью, терпеть не мог. Саня только не понимал, почему родной отец не хочет передать ему «дело всей жизни», научить, взять к себе, ну хотя бы попытаться... Возможно, к противоречивому желанию сына примешивалась острая и хорошо скрываемая потребность в отцовской любви. И ещё — неужели отец считает его за пустое место, почему не хочет и мысли допустить, что они могут быть на равных? Когда-нибудь. В будущем. А может быть — и партнёрами? Думая об этом, Саня даже спину нервно выпрямлял.

Поговорить об обоюдных желаниях они с отцом не могли, между ними как будто стояла тяжёлая непробиваемая стена — неловкости, самолюбия, неумения открываться, быть нежным, выражать чувства. Раскрыться навстречу близкому, любимому и бесконечно любящему человеку (чем сильнее — тем труднее), казалось самым невозможным на свете поступком. И это была их общая роковая ошибка, думал Саня потом всю жизнь.

— Ма-а-альчики! Вы дома? А я пришла! — сразу после скрипа входной двери послышался звонкий голос мамы. Саня вышел из своей комнаты в длинный коридор, но к матери не пошёл, махнув ей: «Привет!» Сумок у неё тяжёлых не было, а отец ещё на кухне, сейчас будут сидеть и пить кофе. Саня лёг на диван, закрыл глаза. Очень было бы кстати заснуть и проспаться ещё пару суток, но спать не хотелось. Придётся лежать, думать. Думать о жизни.

Лежал, лежал, ничего не придумал. Привычный внутренний вопрос о вузе, как волейбольный мяч, что долетал до сетки, но, будучи слаб, не перескакивал её. Саня хотел снова представить вчерашнее с Настей, запустил руку в трусы, представил литую золотистую внешнюю поверхность девичьего бедра с изящной чашечкой колени, вновь почувствовал Настины пальцы на затылке, а дальше видение не двинулось, застряло, и тут же лёгкая и бесплотная дымка воспоминания начала таять...

Приподнялся на диване, крутанулся, спустил ноги. Посмотрел в окно и вдруг громко и отчётливо произнёс: «Над городом Горьким все ясные зорьки». Услышал свой голос. Тут же расслышал с кухни отцовский басок и смех матери. Слова старой песни, пойманной у ларька, где он вчера полчаса дожидался Настю, ввелись намертво, хотя успели поднадоесть. «Над го-о-родом Го-о-рьким, где я-я-сные зорьки, в рабочем посёлке подруга живё-ё-т...» — это пелось густым, сладковатым, нежным баритоном, пересыпанным мелкими искрами помех на старой пластинке. Песня цеплялась и чем-то неясным притягивала, какой-то нехитрой печальной загадкой. Устав напевать, первую строчку припева Саня проговаривал сухо, металлически. Это было непривычно, даже забавно. «Над городом. Горьким. Все ясные. Зорьки».

Саня подошёл к окну. Жёлтые, горячие, неровные, как олады, окна дома напротив висели в неразличимой темноте. Пронизанные светом шторы, большие разноцветные люстры, фигуры людей, мелькающих чёрными спичечными тенями в глубине комнат.

Отзвуки разговора отца с матерью с кухни хорошо ложились на картинку перед глазами. На мгновение Сане показалось, что родители там, в доме напротив, — вон они, сидят за столом. А он где-то далеко, наблюдает за ними как будто снизу, из глубины — из тёмной синей толщи океана смотрит на мерцающее на поверхности солнце, его уютный кухонный свет.

— Да-а-а, да-а-а-а, я помню, помню, а ты сам-то помнишь, как Дима ванну, ванну... завалил всю? — мама смеялась, хотя говорила негромко, будто боясь кого-то разбудить в глубине квартиры. — Это было что-то! Володя! Но как он? Откуда это богатство взял?..

— Так мы ж с ним ездили, не помнишь уже? — Володя, как уважительно называла Лусканова жена, сидел сытый, довольный и совсем домашний, даже раздумялся от весёлых воспоминаний.

— Да помню! Отлично помню! Особенно как я до утра с этими карасями...

— Карп, карп только...

— Да какой до утра! Сутки! До вечера следующего дня! Ты-то с Димой сразу усвистал, а я тут, как в рыбозаготовочном цеху, в мыле, в слизи этой, фу! Как вспомню!

Мама смеялась отрывисто, колокольчиково, отец посмеивался беззвучно, только изредка глухо гыкал.

Дядь-Дим — в произношении маленького Сани был первым и навсегда остался легендарным водителем отца, тогда молодого советского начальника. Широкий, приземистый, крепкий, как пень векового дуба, при этом живой, энергичный,

с громадными крагами рук и быстрыми мелкими глазками, дядя Дима был, как говорила мама, настоящий рвач. Говорила она это ласково, со смешком, но точнее не придумаешь. Рассекая на своём вечном зелёном уазике-«буханке» по Горьковской области во всех мыслимых направлениях, он знал родной край так же хорошо, как подкладку неизменного грязно-зелёного армейского бушлата. Природа для Дядь-Димы была, как сказали бы сейчас, одним большим супермаркетом. Грибы: белые, лисички, опята, подберёзовики, грузди, волнушки; рыба: осётр, стерлядка, чехонь, сом, лещ, язь, карп, карась, окунь, судак, щука; ягода: калина, брусника, земляника, клюква, черника, голубика, ежевика, калина, шиповник; зверь: утка, фазан, куропатка, глухарь, заяц, волк, кабан, лось и даже медведь, — и далее, и далее; а ещё — где, в каких деревнях, дворах и закоулках самые дешёвые, лучшие — молоко, сыр, масло, творог, яйца; а ещё телятина, свинина, курица, утка, гусь, баранина и всё то, что делают из них: шпиг, ветчина, домашняя тушёнка, сосиски, балык, паштеты, а ещё разнообразные целебные травы, знакомые егеря и лесники, заповедные болота, по кругу усеянные крепышами-подосиновиками и клюквой размером с монету, лесные девственные озера, где никогда не бывал человек и которые Дима с мужиками вычерпывал бреднем до самого ила, промышляя жирного дикого карпа сотнями килограммов, так же, как они собирали грибы, — Дима рассказывал, как белые на нетронутых полянах они натурально косили косой, как специальными граблями собирали клюкву с болотного мха, словно лоснящийся взбухший волдырь, красного от ягоды...

Дядя Дима знал и любил природу родного края, как до последней жилки любит хищник раздираемую тушу убитого зверя. Он ничего не стеснялся. Зарплата у водителя небольшая. Зато служебный уазик, как он говорил, под жопой, и, главное, государственный халявный по путевкам, с которыми Дима вечно мухлевал, бензин. Топливо, умножаясь на термоядерную энергию рвача, конвертировалось в тазы, ведра, мешки и набитые битком багажники редких деликатесов щедрых русских лесов, полей и рек. Однажды с шефом они привезли карпа, тёмно-медово-золотистого, тяжёлого, круглого, как перезревшие головы подсолнуха. Привезли на Фруктовую, вывалили и оставили. Полная ванна чешуйчатых жирных слитков. До краёв. Невиданный во времена пустых прилавков деликатес, ещё полуживой, свежий, пахнущий сладко тлеющей озёрной тиной. Для рыбаков гордость и добыча, для матери — радость, конечно, но... настоящая каторга — до ломоты в спине и кровавых ссадин на вымокших морщинистых ладонях.

— Зато соседи! Всех соседей ты накормила! Фруктовая, Усилова, Яблонева, Родионова — все рыбу нашу ели! И заливное, и жарёха со сметаной... — отец улыбался и качал головой с добродушным укором.

— Нет, ты подумай, какие товарищи интересные! Привезли, вывалили и умчались! А я как вошла да взглянула на это безобразие... Ванна! И в ней море из рыбы шевелится... Я испугалась страшно!

Саня уже слышал эту историю, но с удовольствием послушал ещё раз, стоя в коридоре рядом с кухней. Когда мать закончила, он отошёл на цыпочках к своей комнате, чтобы не заметили, что он тут стоит подслушивает, и пошёл наново — уже свободно и громко, прошёл мимо кухни и скрылся в ванной. Отец и мать на него не обернулись. Саня закрыл дверь, включил воду, посмотрел в зеркало и улыбнулся. Когда — а это случалось редко, всё реже и реже — родители были так простодушно веселы и счастливы друг с другом, он чувствовал с ними радостное единение. Как будто они не родители, а самые близкие друзья.

* * *

Он проснулся в шесть утра, было ещё темно, и неверным шагом двинулся умываться, нащупал выключатель, щёлкнул, зажмурился, затем посмотрел на себя в зеркало — опять бриться. Хотя бриться Владимир Михайлович любил, долго и тщательно скатывая тонкие снежные ковры пены с загрубевшей шеи, щёк, оставляя под носом русо-рыжий островок пушистых усов.

Бреясь, услышал в коридоре — хрясь (дверь из комнаты), бу-бум-бу-бум-бум (шаги по коридору), бам (дверь в туалет), тресь (ручка об стену), щёлк (крышка унитаза) и затем — неприличный звон струи, после чего всё то же самое, только в обратном порядке — до самого скрипа дивана. «Вот как у него так получается?! Как Брюс Ли с пятью ногами, Саня спросони!» — подумал отец.

После душа, где Лусканов тщательно мылил бледное тело, посвежевший, распаренный, он возвращался в комнату, зажигал свет и начинал одеваться, вершить утренний ритуал. На стуле с вечера его ждала похожая на белёсое привидение рубашка, выглаженная матерью идеально, так, будто на ней и швов нет, только торчал твёрдой полукруглой крепостной стеной воротничок. Ещё в ванной он мазнул дезодорантом шею, грудь и кожу под мышками, и теперь было важно, чтобы рубашка не прилипла к телу.

— Голова не болит? — спросила жена глухо, с другого бока.

— Спи, — ответил Лусканов не очень-то ласково.

Вчера поздно вечером, как это часто бывало последние год-полтора, он на ночь выпил «пару пива», чтобы расслабиться и быстро без мыслей заснуть, но утром напоминания об этом были неприятны.

Постояв у окна пару минут, Лусканов скинул полотенце с бёдер и начал облачаться в доспехи: брюки с идеальными, острыми, как нож, стрелками, пиджак с вычищенными щёткой лацканами, разложенный на груди и ловко затянутый классический узел синего в белую крапинку галстука, наконец, начищенные женой до светящихся змеевидных бликов ботинки, которые он надевал в квартире и ходил до самого выхода из дома — настолько они были чистыми.

Перед самым выходом зайти на кухню, ритуально постоять посмотреть в окно и под напором новорождённого и твёрдого, как лёд, ярко-серого осеннего света настроиться на новый рабочий день.

Лусканов никогда не завтракал, а только наливал чашку тёплого чая со вчерашней заваркой и бросал её недопитой. Супруге оставлял на столе деньги на день и, в лучшем случае буркнув «до вечера», надевал длинный плащ с вечно выскальзывающим лёгким ремнём, брал старый чёрный, как нос собаки, портфель и спускался вниз, где у дома смиренно ждал водитель Игорь. Лусканов появлялся в дверях подъезда, и у «Волги» тут же срабатывал стартёр.

Октябрь ещё держался, стоял в заминке тишины, парил в прозрачном воздухе сухости, готовый сорваться в грязную сырую вакханалию мрачного ноября. Ехать до работы было настолько просто, что добрался бы и слепой. Улица Родионова до площади Сенной, там нырнуть влево вниз, в овраг, и далее — очень длинная и очень прямая, рассечённая вдоль трамвайными линиями улица Белинского, она упиралась в кольцевую площадь Лядова.

Парковались на служебной стоянке. Игорь, худой, мелкий, но при этом солидный, с некоторыми манерами мужичок, спрашивал шефа, как школьник учителя: «Владимир Михайлович, я деньком отлучусь на часок, жена просила отвезти

её с сумками...». Но Лусканов не слушал, кивал, и фраза обрубалась хлопнувшей дверью. Оба знали, что до вечера вряд ли куда-то поедут, но и по формальной бдительности, и по строгости Владимира Михайловича Игорь должен был стоять внизу и ждать целый день в машине, изредка запуская двигатель, если на улице было холодно. Впрочем, всё чаще Игорь позволял себе размять ноги, подняться в приёмную попить с конфетами чаю. И всё-таки быть настороже — якобы в любой момент Лусканов мог поехать по делам, хотя неделя за неделей длились пустые серые дни, и ехать было некуда, не к кому, незачем. Союз, а за ним и Минстрой СССР прекратили своё существование. Дела в УПТК шли неважно.

Выйдя из машины, прижимая рукой папку (некоторые документы он носил с собой, не оставлял на работе, там много было в последнее время чужих глаз), другой пытаясь поймать сзади пояс плаща, на пути к проходной Лусканов остановился, рассматривая свеженькую «девяносто девятую», о которой на днях ему говорил охранник. Белый жигулёнок с длинным пологим капотом и прямоугольной кочерыжкой задницы стоял за углом, как будто прятался, хотя почти перегородил пешеходную дорожку. Окна в глухой тонировке, но переднее пассажирское приспущено. Лусканов пошёл прямо к автомобилю, рассмотрев наконец, что написано на оторванном от коробки куске картона, прижатом дворником к лобовухе. Ручкой, густо, волосато было начёркано обычное в эти дни «Куплю ваучеры. Акции дорого».

— Вы откуда здесь такие красавцы? — крикнул Лусканов на подходе, громко, бодро, как хозяин территории.

Ему не ответили, он подошёл размашисто, в плаще похожий на крупную птицу, заглянул в окошко. Там бледным ложным опёнком торчала коротко стриженная голова на тонкой шее. Узкий свод лба, острые глазки, нос-клюв, а под ним розовый шар, на который Лусканов посмотрел с недоумением. В следующий миг жвачный пузырь с ароматом малины лопнул.

— А чо, отец, случилось чо? Чо кричим?

Лусканов вмиг побагровел:

— Слышь, щ-щенок... Ты как разговариваешь...

В ответ дверь щёлкнула и приоткрылась, тут же щёлкнула и водительская. Лусканов отступил на шаг, из машины поднялся, извиваясь как змея тощий высокий «опёнок», с другой стороны вылез мужик покрепче, лет сорока пяти, с приделанным к русскому лицу армянским носом и густыми чёрными усами, которым было там тесно.

— Слышь, батя, а чо за суета? Какие-то вопросы?... — пережёвывая слова вместе с жвачкой, спросил опёнок, пока носатый обходил капот.

— Слышь, щенок, кто тебе тут «батя»? — невольно подражая манере гопника, сказал Лусканов. Он говорил напористо, громко, что выдавало неуверенность.

— Кто тебе тут «щенок»? — каким-то удивительно высоким голосом злобно крикнул усатый. — А? За «щенка» расскажешь нам?!

Лусканов от такого окрика сделал ещё шаг назад и едва не оступился, но вдруг его локоть попал в зажим — это была рука Игоря, дрожащая, но схватившая его железными пальцами. Опёнок и усатый тут же остановились. Сзади за Лускановым кроме Игоря стояли чумазый механик Сеня из гаража соседнего гастронома, из кулака которого как бы невзначай торчал чёрно-красный шербатый гвоздодёр, и вахтёр Андрей Степанович, старший брат первого водителя Лусканова Димы. Представительство было внушительное, раза в два шире складных пассажиров «девяносто девятой».

— Чо нагнетать-то, ребят? — тем не менее примирительно выкрикнул Степаныч, и Лусканов посмотрел на него круглыми от возбуждения глазами, как будто видел его впервые. — Я ж говорил, сидите нормально, и нормально всё будет... — закончил Степаныч, оставаясь с механиком Сеней. Лусканов с Игорем уже двинулись на работу.

— Ё-мана... Мы вообще-то людям помогаем, скупаем эти бумажки у работяг, чтоб с голодухи не перемерли... — негромко сказал усатый, скользнув взглядом по монтировке Сени.

— Чё эти черти тут делают, Андрей?! — крикнул Лусканов подбежавшему охраннику, расписываясь в журнале.

Андрей Степанович забежал за стойку с вертушкой, угодливо придержал журнал, чтобы не выскользнул из-под руки Лусканова.

— Да как... Контор поблизости много, скупают... Сейчас везде так... Делают дела... — охранник запыхался и говорил на каком-то непонятном для Лусканова наречии, но тот разбираться не стал, бросил ручку и двинулся дальше.

— Ясно всё, — бросил Лусканов уже у лестницы, говоря сам с собой, и ничьих подтверждений ему не требовалось. В голову уже плыли, как рыбы в заводь, цифры, позиции, перечни, телефоны, которые ждут звонка и стройматериалов на свои объекты.

Охранник проводил шефа взглядом и тихо выдохнул. Ни он, ни Лусканов не понимали, что стоящие на улице всадники апокалипсиса, точнее, пародии на них, есть начало конца их привычного мира и даже сегодняшнего худого благополучия. Всадники не понимали этого тем более. Но по-звериному чувствовали.

Владимир Михайлович вошёл в приёмную, там было прохладно, мрачно, из-за прикрытых тёмно-бордовых штор била узкая полоска света. Пахло бумагой и чем-то приятным, женским. Жёлтый стол из ДСП, покрытой шпоном и толстым слоем лака, за которым сидела секретарша Людмила, был аккуратно прибран: ручки собраны в стаканчик, папка с документами завязана узелком, металлический календарь на столе предусмотрительно перекинут на сегодняшнее число. Между двумя торчащими дужками календаря пряталась помада в оранжевом пенале и карандаш для ресниц. Плохо спрятала! Как и пушистую головку бледно-зелёного кактуса в тесном стаканчике, который Лусканов попросил убрать с глаз долой, не хватало у них в приёмной ещё кухонной живности... Но кактус воровато и по-детски выглядел из-за громоздкой, похожей на корму круизного лайнера печатной машинки «Ятрань».

Лусканов усмехнулся, повернул ключ и открыл первую обитую дерматином дверь, затем вторую, тяжёлую деревянную, и наконец оказался в своём директорском кабинете — просторном, простуженном, продолговатом помещении с огромными окнами по одной стороне и глухими, от пола до потолка, шкафами под тёмное дерево по другой. В центре — т-образный стол руководителя. На полу паркет, на потолке пенопластовые панели, имитирующие лепнину. Вся мебель была густо покрыта лаком, так что под бледным утренним светом шкафы и поверхности светились яркой паутиной бликов, весь кабинет был будто облит водой.

Он открыл шкаф, снял плащ, поймав почти выскользнувший из петель пояс, только повесил его на вешалку, как зазвонил телефон. Подошёл к столу — с металлическим булькающим звуком трещал жёлтый аппарат, странно, из приёмной, где только что никого не было.

— Люда? Ты здесь? Да. Что? Шляпников? Давай на пятницу. Срочное? Как интересно... Хорошо, запиши на четырнадцать ноль-ноль... У меня здесь. Нет?

А! Нормально... Проветрюсь. В «Кладовой башне». Поужинаем, прогуляемся до «Оленя»... Да. Спасибо.

Лусканов положил трубку, она звякнула и затихла. В приёмной хлопнул шкаф, видимо, Люда переобувалась. «Что понадобилось Шляпникову? Пётр Василич, кажется... Точнее, Петя. Он же кооператор, в своё время ушёл из Минстроя, сейчас мутит какие-то делишки тёмные с металлообработкой на Гидромаше, цеха арендует... Крышуют его то ли бандиты, то ли банкиры... Чего ему понадобилось? Нам он какие-то трубы доставал... И вентили для коллекторов турецкие, дефицитные. Когда Деловую строили. Микрорайон для нуворишей... Чтоб его...»

Вдруг Лусканов понял, как давно не был на Минина, на красивой и главной площади города. До которой от него минут пятнадцать идти. И тут же встревожился: и кафешку-стекляшку «Олень» с козырьком, и тесную «Кладовую башню» в древнем Нижегородском Кремле — всё это не позакрывали к чёртовой матери? Новые власти, младореформаторы-демократы. Придёшь, а там палатки с разноцветным китайским шмотьём.

Звон раздался теперь высокий, залиvistый, сверкающий — красный аппарат, межгород.

— Лусканов слушает. Да. Кто? Семён Дмитриевич? Краснодар? Конечно-конечно! Приветствую. У вас вопрос был по фундаментным блокам, ФБС 24.3.6, я правильно помню? И борское стекло ещё, кажется... Да, да, всё есть...

Девятый причал был самым последним на Нижневолжской набережной. За ним высокий пирс обрывался, внизу волны отвоевали несколько метров песчаной проплешины, там же валялись куски бетона с торчащими чёрными паучьими лапами арматуры, а дальше шла приземистая набережная с пологим подъёмом из литого бетона — до самого Гребного канала.

С площади Сенной идти было до «девятки» неблизко, но день выдался на удивление тёплым, мягким — последние отголоски лета, — и Саня с Настей решили пройтись.

— А ты знаешь, что я туда залезал, на самый верх? — спросил Саня, когда проходили мимо квадратноголового девяностометрового трамплина.

Настя посмотрела вверх. В небо уходило широкое, как трасса Формулы-1, полотно, покрытое пожелтевшими щётками искусственного снега, похожими на плоскую лапшу. Вертикально вверх от земли тянулись две объёмные металлические опоры, держащие, как на ладонях, там, в вышине, ржавую, сшитую из листов металла, полукруглую стартовую площадку. Опоры шли выше и замыкались перекладиной. Этот огромный квадрат и торчащая из него площадка напоминали сидящую ушастую собаку с прямыми передними лапами и мордой, устремленной вперёд. Чёрная громадина трамплина гудела на ветру, и поэтому, несмотря на исполинские размеры и многотысячетонный вес, казалось, что она парит в воздухе, как межгалактический корабль.

— А что, туда можно? — Настя округлила глаза.

— Сейчас заварили проход уже... А вообще, можно было, вон там, видишь, узкая лесенка... Очень крутая! И наверху страшновато прям...

— Фигасе. Я тоже хочу! — Настя обняла Саню за талию.

— Давай следующим летом, может... Как сухо будет.

— Вдвоём там классно! Ветер!

Настя восторженно смотрела на Саню, а он ещё раз глянул на трамплин — широкий грязно-жёлтого цвета, тот уходил вверх и на высоте становился почти отвесным, похожим на широкий экран небесного кинотеатра, а выше площадка, лавки, и от них, почти не видимых снизу, веяло для Сани чем-то доступным, родным, присвоенным когда-то в детстве уютным мирком, до которого до сих пор можно добраться, но почему-то втайне, беспокоить который не хочется. Здесь, внизу, на уровне глаз, трамплин превращался в горизонтальную плоскость, резко обрывался и торчал над самой пропастью, и одна мысль о том, каково это, лететь с дикой высоты и вдруг ощутить обрыв, отсутствие под ногами поверхности, завораживала и заставляла сделать лишний глоток воздуха.

О том, что главной их пацанской доблестью было написать мелом на самом верху трамплина слово «хуй», Саня девушке говорить не стал. Не потому что стеснялся. Чистый мальчишеский восторг от победы над покорённым гигантом Саня помнил свежо, резко, как будто лазил вчера, но этих чувств не объяснишь сейчас, не сыграешь по старым нотам.

Они побежали вниз, под гору, на которой стоял город, по узкой пешеходной дорожке Казанского съезда, прямого, как стрела, и крутого, как ещё один трамплин. Слева их обгоняли автомобили, справа бордюрный камень свисал со склона, иногда сваливаясь вниз, а за прозрачными берёзками проблёскивал размашистый волжский простор: начало Гребного канала, за которым к синей Волге, как гусеницы к листу, цеплялись бурые баржи.

— Над го-о-родом Го-о-рьким все я-я-ясные зо-о-рьки... — пропел, размахивая руками и выбрасывая далеко вперёд ноги, Саня.

— А?! Чего?... — но слова Насти тут же скомкал ветер.

Спустились. Шли по набережной, от Волги пахло, как от живого существа, чем-то холодным, рыбным и водянистым.

— Сашк, ну ты совсем у меня обалдуй, что ли, а? — Настя лёгким движением ладони потрепала его по вихрастому затылку. — А? Отвечай, Сашка! Почему ты балда такая?!

На лице Сани застыла счастливая улыбка. Тёплый, пусть и ветреный, день, Волга, на набережной никого, рядом загорелая до лёгкой бронзы весёлая Настыка в белых кедах, розовых лосинах, короткой юбке и синей, как речка на глубине, невесомой курточке. Счастье. Молодость. Воля!

Он попытался поймать её за руку, которой она растрепала ему весь причёсон, но попробуй ухватить юркую Настю!

— Ладно, давай серьёзно, Саш. Ну... — и Настя, отбежавшая назад, приостановилась.

— Что серьёзно, Насть? — Саня чуть обернулся и сделал несколько скользящих шагов спиной вперёд. Как Майкл Джексон. Настя подошла, взяла его обеими руками снизу за рукава, глядя при этом куда-то под ноги.

— Сашк... — пауза сигнализировала, что сейчас будет разговор. — Тебе надо решать, в конце-то концов, что-то... Осталось меньше года. Ну правда. Ты вон какой здоровый и красивый у меня! А о будущем думать не хочешь. Я за тебя волнуюсь.

Улыбка с лица Сани сползла, он смотрел на реку, и через жёлтые пески волжских островов, напоминающих о лете, туда, на Бор, где виднелись сросшиеся колонны силикатного завода.

— Просто, Саш, я понимаю, что говорить об этом не хочется, постоянно некогда и «давай потом»... Но когда-то надо! Скажи мне что-нибудь...

— Ну вот. А так всё хорошо начиналось! — Саня засмеялся.

— Надо же идти на подготовительные, Саш... Уже начинаются годовичные курсы. У меня четвёртая неделя идёт...

— Ой, слушай, у вас в инязе все так...

— Саш. Саш! Мне непонятно, что твои родители думают! Они вообще жизнью сына не интересуются?

Саня дёрнул руками и посмотрел Насте в глаза. Она держала его крепко.

— Вот давай... Насть... Если ты про моих родителей говорить будешь, то вообще говорить не будем! Я всё решаю сам. Не ты, не они. И не надо их обсуждать...

Саня готов был развернуться и зашагать дальше, но Настя вцепилась в его куртку, приобняв и прижав рукой.

— Хорошо, прости, я не буду... Не лезу. Ладно! Но я за тебя переживаю, Саш. Ты мой парень вообще-то! — и она сильно дёрнула его за полу, и тогда Саня улыбнулся, наклонился поцеловать Настю, но она отвернулась.

С Волги веяло то сыростью и прохладой, то в поток ветра откуда-то сверху вклинивался тёплый, разогретый воздух. До берега рукой подать, пахло ивняком и полынью. Это был день из тех, когда путаешь, на улице осень или весна.

— Саш, давай очень просто поступим... — Настя заговорила решительно, твёрдо. — Понятно, что ты всё сам. Понятно, что ты всё решишь. Ты взрослый и самостоятельный. Но ты просто... со мной можешь это обсудить? Я тебе не чужой человек. И я тебя люблю. Да. И нечего улыбаться.

Она не смотрела на него, но знала, что он улыбнётся. Так и было. Настя крепко держала Саню за его короткую куртку. Не отпускала.

— Итак, давай подумаем. Какие есть варианты вузов у нас? Перечисли. — Настя упорно пыталась сдвинуть разговор с мёртвой точки.

— Нуу-у... Вариа-а-нты... Хо-ро-шо... — И Саня, выставив перед собой растопыренную пятерню, начал загибать пальцы: — ВДВ, Морфлот, погранцы, менты, стройбат, сидеть на радиолокационной станции на Камчатке, где «кругом пятьсот»...

— Ну Са-а-нь! Хватит! Перестань! — Настя затопала ногами и с силой начала дёргать его за куртку, молния которой была уже где-то на боку, но Саня не сопротивлялся.

— Никакой армии тебе! — крикнула, дёрнула. — Ты меня слышишь?!

— Почему это? — он вскинул брови и выпрямился, повёл плечами. — Из меня получится хороший вояка!

— Кривляка!

Настя отпустила. Сделала шаг в сторону. Пошла рядом. Мимо прошёл модный мужчина, с ног до головы, как в латы, закованный в синюю варёную джинсу, как будто его кипятили целиком, в одежде. Он удивлённо зыркнул на них.

— Ладно, извини, — сказал Саня нехотя.

— Нет, ну Саш... Мы так до Черниговской дойдём. Блин! Давай хоть раз поговорим серьёзно...

Они замолчали. По Волге с низким густым стрёкотом, прерываемым ветром, ползла старенькая моторка, с нажимом пропарывая чешуйчатое брюхо реки. Две чёрные фигурки сидели в лодке, и можно было заметить, что смотрят они сюда, на берег.

— Слушай, ну ладно, давай поговорим, конечно... Я без проблем. Только спокойно, без эмоций... — встрепенулся Саня, поняв, что шутки закончились.

— Хорошо, — еле заметно кивнула Настя.

Саня подошёл к бетонному блоку у края тротуара, за которым к реке спускалась дамба, поставил на него ногу. Настя снова взяла Саню за куртку и осталась сзади, укрывшись от настойчивого речного ветра.

— Насколько я себя знаю и вообще, так сказать, трезво оцениваю, выбор у меня небольшой... Как бы это сказать... — Саня отвернулся от реки и посмотрел вверх на склон, где за чёрно-буро-жёлтым осенним месивом деревьев высился город.

— Истфак Лобача или Педа, думаю... Лобач круче, конечно, в Педе, говорят, сплошные девки из деревень... Филфак и там и там тоже есть... А куда ещё? С языками у меня жопа. Всегда была. С историей тоже траблы... Даты не запоминаю. А историку это обязательно... Поэтому с истфаком не прокатит... А больше куда идти? Литературу я люблю и знаю... более менее... И, наверное, хотел бы заниматься... Хотя там тоже английский сдавать. Не знаешь, нафига на филфаке английский?

— Новые веяния. Сейчас везде, во всех вузах english language сделали...

— С математикой и химией у меня совсем жесть, ты в курсе. А больше и не знаю, куда идти. На филфак всё-таки, наверное! Лобач крутой, конечно, престиж, то да сё... Но там балл высокий. Пед попроще, немного колхоз, конечно... зато девчонок навалом!

Саня засмеялся, Настя шутливо стукнула его кулаком по лопатке. Он продолжил откровенничать:

— В детстве мечтал в Речное поступать... Или даже в этот наш... в Водный институт...

— Вводный институт?..

— Ха. Ха.

— Это на Минина и Пискунова которые?

— Ага. Но там математика сплошная! Мне туда даже никак! Никакой романтики, короче...

Саня обнял Настю, прижал, ветер разошёлся сильнее, солнце скрылось за набежавшие тучи и сразу стало прохладно.

— Ещё я во ВГИК хотел поступать. Но это вообще отдельная история. Весёлая.

— Куда? В... ГИК? Это что такое?

— Насть! Ну ты чего! ВГИК! Кино... Институт кинематографии в Москве! — воскликнул торжественно, как будто там уже учился.

— Ого! Ничего себе! На кого хотел? На этого... режиссёра?

— Не, не на этого. Я мечтал на операторский. Но туда фиг поступишь... Нереально. Отец говорит, что тоже в детстве мечтал учиться во ВГИКе и тоже на операторском, но там сто человек на место... Если не больше... Мало быть со связями, мало быть чьим-то сыном, очень желательно быть... евреем! — Саша сухо и звонко засмеялся, и они пошли дальше, прижимаясь друг к другу.

Солнышко выглянуло, дохнув теплом.

— Насть, ты только не кричи сейчас, ладно? — сказал вдруг серьёзно.

— Что такое? — насторожилась.

— Я просто хотел сказать, что... Ну, блин... В армии нет ничего ужасного. Это тоже вариант, Насть. Я — не боюсь. И если не поступлю, ну, вдруг, я не настраиваюсь, но если так случится, то двину в армейку... А что? И дедовщины я не боюсь. Как-нибудь справимся...

Саня улыбался широкой молодой улыбкой, Настя посмотрела на него исподлобья, он был похож на солдата — вытянутый, молодцеватый, глупый. Только шапки не хватало.

— Два года. Выкинутых из жизни... — сказала она медленно.

— Ты будешь... меня ждать? — произнёс он с придыханием, тонким голосом, явно ёрничая.

Шли и улыбались оба, вдруг превратившись в этом счастливом родстве в совсем юных, наивных...

— Ладно, Насть, я шучу! Не про армию, а про... ждать. Я таких вопросов тебе задавать не буду, если что, — он быстро погладил её по плечу, приобнял крепче. — Я тебя люблю, но это дело... сугубо твоё, личное. Это твоя жизнь, Насть. А про армию... Всего два года, а впечатлений на всю жизнь... Отслужу, вернусь, а там и поступать можно. Говорят, даже легче, для служивших есть какие-то льготы в институтах... Так что...

— Ага. Только мама твоя говорит, что в армию — через её труп... на пороге дома. Забыл? Или переступишь?..

— Ой! Перестань! — Саня сделал кислую мину. — Она мама! И я не забыл! Но тоже, знаешь ли, говорить такое сыну неправильно...

Солнце зашло, всё вокруг стало однотонно-серым, только жидкая сталь на реке засверкала острее.

— Просто... Это ты со мной такой смелый. Я посмотрю, как в глаза ей скажешь! В армии сейчас знаешь, что творится. Зверства, и расстрелы, и самострелы... Каждую неделю в новостях показывают...

— Ты про того, который восемь человек в поезде положил? Так это когда было...

— Саша! Это было недавно! — наконец не выдержала. — Открой глаза, почитай газеты! У меня дед выписывает целый ворох... В армии твоей сейчас одни садисты и деграданты. И я тебя туда не пушу!

— Ну вот сразу армия стала моей!.. Ну! — сказал Саня монотонно, растягивая слова.

Настя пошла быстрее, оторвалась от Сани, он ускорил шаг. Снова выглянуло солнце и горячей ладонью дотронулось до его худой жилистой шеи. Настя обернулась посмотреть на Саню и зажмурилась, и налетевший ветер бросил ей на лицо волну гладких блестящих волос, она затрясла головой, чтобы освободиться, но её губы уже принимали шершавые заветренные губы любимого. Но вместо того, чтобы раскрыться ему навстречу и утонуть в горячем на холодном ветру поцелуе, она крикнула — прямо ему в рот:

— Ты самая настоящая у меня балда!!

Саня схватил её под мышки и поднял над собой, как ребёнка. Она засмеялась и взвизгнула от щекотки.

«Зыбкой» в то время называли размером с пятерню сваренную стальную крестовину из трубок — в них вставлялись тонкие гибкие титановые пруты метра по полтора, на концы которых крепилась дрожащая лесочная сеть мелкой ячейки. Зыбку бросали на привязанной к крестовине верёвке или с лодки, или с отвесного берега квадратом вниз. Она туго упиралась в воду, погружалась, становясь совсем невидимой, на несколько метров, после чего, подождав, пока вода успокоится, рыбак как можно резче и быстрее вытягивал снасть перпендикулярно вверх. Первой показывалась крестовина, затем согнутые звенящие от натуги пруты — неохотно и туго сетку отпускала тёмная вода, — и в последний момент сеть пружинила и выпрыгивала из воды, взрываясь мелкими блёстками брызг, и — есть! есть! — в неглубокой сверкающей мотне плясали, как на сковороде, серебристые лезвия рыбёшек. Чаще всего на зыбку

ловили на хорошем течении, как правило, в неё попадалась рыба, что любит ходить ближе к поверхности: краснопёрка, плотва, чехонь. Руками помахать вверх-вниз приходилось изрядно, но и выгребали в сумме хорошо, за вечер можно было натаскать килограммов пятнадцать.

У девятого причала зыбарей стояло трое, они лихо, без усталости, забрасывали свои дрожащие, рассыпающие мокрую пыль конструкции, взмахивали руками, как стрелами портовых кранов, и тянули вверх чаще всего неуловимо исчезающую воду, но иногда и срывали аплодисменты зевак.

— Смотри! Смотри! Видел?! — кричала приглушённо Настя, хлопая ладошкой Саню по спине, будто эта ладошка и была пойманной трепещущей рыбкой.

— Да видел, видел... — его немного смущали бурные эмоции Насти.

Она была совсем городская, Саня — наполовину, с малых лет каждое лето его возили в деревню.

— У меня была такая зыбка, я сам рыбачил... — бормотал он, а худой паренёк в тёмно-зелёном плаще, младше его лет на пять, уже второй раз на их глазах выпутывал из сетки пляшущую рыбу, деловито засовывая её в непослушный от ветра пакет.

Саня осмотрелся. Прелесть рыбалки этих смельчаков была в том, что всё происходило в центре города на набережной, где мирно прогуливались школьники, влюблённые парочки, мамы с детьми. Утончённые горожане в белых кедах, модных ветровках, со стаканчиками ванильного мороженого в руках и тут же — в прорезиненных грубых плащах браконьеры варварски таскают настоящую рыбу, и она исходит прямо на асфальте вонючей слизью, судорожно дышит, таращит сумасшедшие глаза на незнакомый мир...

Не успел Саня усмехнуться своим ощущениям, как перед ними развернулся целый голливудский блокбастер: на бетонку возле причала с жутким воем коробки передач выскочил громадный, размером с автобус, только со злой выдающейся вперёд мордой милицейский КраЗ, синевато-серый, с решётками на окнах. Он лихо тормознул, качнулся, будто присел, и тут же из него, как жуки из коробка, посыпались крепкие пружинистые мятые фигурки — в высоко зашнурованных берцах, в серо-голубом камуфляже, в набитых чем-то разгрузках, с тупыми чёрными палками в руках.

Из омовцев полетело что-то громкое, матерное и весёлое, дохнуло потом и кирпичом, силой и безнаказанностью так, что люди на набережной шарахнулись врассыпную. С гогом и каким-то дикарским гиканьем они подскочили к рыбакам, и Саня с Настей увидели, как омовцы, сплошь молодые румяные перекачанные парни, сначала сбили их с ног, а затем размашистыми пинками погнали несчастных в свой «крокодил». Вслед в грузовик покидали собранные пакеты с рыбой, стульчики, фляги, свёртки с едой... Что-то упало на землю, валялись растоптанные бутерброды, заботливо завернутые в газетку. Под колёса покатился клетчатый коричневый термос, внутри звенело битое стекло. Двое омовцев с теми же весёлыми, пересыпанными кудрявым матерком криками, обращёнными, видимо, к браконьерам всего мира, начали доставать из воды зыбки и рвать и топтать их, те дрожали, пружинили, пытались спастись, извивались и, выскакивая из крестовин, рассыпались по бетону, как лапки раздавленных пауков.

Растерзали две, третью омовец заметил не сразу — толстая грязная верёвка была привязана в самом низу чугунной ограды.

— Так, мля... Чо там? — омовец крикнул, присел на корточки и взялся за верёвку.

— Ага! Давай её сюда! — ответил другой здоровяк и быстро оглянулся, мгновенно смерив взглядом зевак, включая опрометчиво подошедших поближе Саню с Настей. У омовца было крупное лицо с круглыми глазами в цвет голубого камуфляжа. Он взял верёвку, отошёл назад и стал вытягивать её через перилину, с которой потекла вода.

В это время первый омоновец, сидя на корточках и коварно по-мальчишески лыбясь, незаметно появившимся в кулаке ножичком обрезал верёвку. Она опала и вода быстро утянула зыбку течением. Омоновец, державший верёвку сверху, едва не опрокинулся на спину.

— Епта! Ты что творишь?!

Ржали оба, густым свежим хохотом подростков в могучих телах на несколько размеров больше, чем им полагается.

Саня сжал руку Насти, обернулся к ней, чтобы пойти, но вдруг увидел в нескольких шагах за её спиной смятое беззвучными рыданиями лицо... Человек не издавал ни звука, хотя голова его дёргалась. И он действительно прятался за ними. Саня кивнул на него Насте, она обернулась, и увидела зыбаря — того самого удачливого худого паренька. Теперь он стоял в рубашке и прятал за спиной скомканный тёмно-зелёный плащ.

— Саш, я хочу договорить... — сказала Настя, когда от рыбалки на причале не осталось и следов. — Я тебя выслушала, а теперь хочу, чтобы ты... принял решение...

Саня мотнул головой, отвернулся. Из-за угла на них шагнули три гигантских чугунных матроса, с винтовками, с развешивающимися за бескозырками ленточками толщиной в руку. Они шли мимо Речного вокзала, и между ними натягивалось напряжение. Настя была настойчива.

— Не отпускай тебя сегодня, пока не договорим! Ты должен решить, не кто-нибудь, не я! Ты!

— Чё ты со мной как с дитяткой? — добродушно огрызнулся Саня. — Это вообще не возбуждает!

— А и не надо, чтоб возбуждало! Мы сегодня к тебе не поедem, — по-комсомольски твёрдо сказала Настя.

Саня резко обернулся. Дед с разноцветными орденскими планками и в широкой кепке под Мимино чуть не врезался в них сзади. Что-то буркнул незлое. Но Саня не видел уже ничего:

— Настя! Блин! Мать уехала к тётке Тоне в Сормово! Дома никого! Мы уже больше двух дней не это... самое... — и он не сдержался, улыбнулся, даже покраснел.

Настя была серьёзна. Они минули вокзал, снова увидели Волгу, ветер настойчиво пытался залепить волосами ей губы и глаза.

— Думаешь, мне не хочется? — сказала Настя, посмотрела на Саню и улыбнулась — спокойно, как взрослая женщина.

Саню такие моменты откровенно возбуждали, он тут же притянул её к себе, поцеловал в лоб и кивнул в сторону девятого причала, где откуда ни возьмись появился небольшой бело-голубой кораблик. Он давал задний ход, разворачивался, будто делал неуклюжий реверанс перед тем как прижаться к пристани.

— Погнали на омике¹ кататься?! — воскликнул Саня, и Настя быстро-быстро закивала, благодарно глядя на него из-под руки. Как будто это не она, а какая-то другая девушка минуту назад требовала от него важнейшего решения в жизни.

¹ ОМ («Озёрный Москвич») — серия двухпалубных пассажирских речных теплоходов.

Легендарный омик, на который Саню брали ещё ребёнком, да и самих его родителей катали детьми, курсировал через Волгу на Бор и обратно, а дважды в день заезжал ещё и на Мочальный остров. Пароходик с рядом круглых иллюминаторов по бортам, с трапом для высадки пассажиров на носу, где лепилась примятая от швартовки красная звёздочка, — Омик для борчан был с одной стороны необходимым в городе водным такси, сказывалась нехватка мостов через Волгу, а с другой — для нижегородцев в нескольких поколениях уютным и недорогим прогулочным развлечением. Туда и обратно плыть около часа, там погулять по берегу тридцать минут, а настроения — на всю рабочую неделю.

Омик заурчал, где-то глубоко под палубой заклокотал стареньким дизелем, причал вместе с нависшей декорацией города начал плавно удаляться, будто его оттолкнули, и омик поплыл. На палубе было прохладно, ветрено, пахло свежестью, и вольный, разогнавшийся по просторной реке ветер набрасывался и смешивал тёплый запах пассажиров с тошным душком солярки.

Когда омик выползал на середину широкой на стрелке Волги, Нижний Новгород на холме, как будто не удалялся, а увеличивался в размерах, нависал, раскрывая громаду Кремля и восьмёрку Чкаловской лестницы. Здесь, на реке, ты был как на арене амфитеатра.

— Пойдём, Владимихалыч, холодно! — замахал руками Шляпников, не отходя и на метр от машины, будто она могла убежать. Ветер разворошил его, как кочан капусты: ворот, рукава, полы пиджака и брюки модного костюма из рыжеватой с золотым отливом тонкой синтетики ветер трепал, словно спортивные флаги.

Чёрная «Волга» стояла прямо у памятника Чкалову, где остановка запрещена. Лусканов приехал пораньше, чтобы проветриться и прогуляться, свою машину он отпустил. Когда подъехал Шляпников, Лусканов стоял под памятником со стороны Чкаловской лестницы и смотрел на раскинувшуюся под высоким сводом неба стрелку — на привычное для всех нижегородцев чудо: встречу рыжей окской воды с тёмными синими водами Волги, образующую хорошо заметную сверху границу — шрам, делящий пополам стрелку. Лусканов заметил переползающий реку похожий на инфузорию-туфельку Омик, глянул на небо. Прямо над головой куда-то спешили отлитые из серого бетона одинаковые крепенькие облака, а когда услышал крик, поднял руку, махнул в сторону Шляпникова, поначалу даже не обернувшись к нему.

Неспеша подошёл, ткнул костяшками кулака в намытый блестящий капот чёрной «Волги» 3102, служебной красавицы с квадратными глубоко посаженными фарами и выпуклой решёткой радиатора. Поздоровались. Пётр Шляпников был похож на буржуя, какими их рисовал великий карикатурист Бидstrup: лысый, низенький, очень толстый — необхватный в поперечнике, как клумба на городской площади.

Сидя на стуле в кафе, Шляпников как будто испытывал на прочность свой золотистый костюм — телесное тесто выпирало одновременно и тут и там и ещё вон там. Он тяжело дышал, улыбался, и лицом, как будто прилепленным к толстой голове, всячески показывал Лусканову, как он рад его видеть.

Сели в «Кладовой башне», в крохотной кафешке внутри огромной старинной из красного кирпича башни Кремля, дикая древняя мощь и вес которой особенно сильно ощущались здесь, под массивными сводами.

Когда принесли кофе, начался разговор. Шляпников делал вид, что какой-то конкретной темы для беседы у него нет, но это был манёвр. Зачем-то он пригласил на встречу. Лусканов не торопился, он многое знал про кооператора Шляпникова,

рвущегося в нувориши, и сюрпризов не ждал. Шляпников и те, кто за ним стоял, очевидно, положили глаз на его, Лусканова, УПТК. Не его, конечно, а государственное. Пока. Потому что государства в этой стране становилось всё меньше.

По всей стране шла приватизация. Сначала дали такую возможность комсомольским организациям (и ещё долго первых ушлых дельцов называли пренебрежительно «комсомольцами»), затем разрешили иметь собственность кооперативам, а потом появились ваучеры, и приватизировать стало можно почти любое советское предприятие... Начали с мелких лавочек, пирожковых, газетных ларьков, а закончили залоговыми аукционами, когда государство раздало металлургию, добычу ископаемых, нефтянку... Правительство, состоящее из молодых реформаторов, торопило, низвергнутый призрак коммунизма был ещё жив в умах, Ельцин всё новыми и новыми указами ускорял передачу народного добра в частную собственность. Бывший Горький, ныне Нижний Новгород, к рыночной экономике шёл впереди планеты всей. Именно здесь устроили первый аукцион по продаже госпредприятий. К младореформатору губернатору Борису Немцову приехали реформаторы федеральные, имена нарицательные в России на долгие годы — Гайдар и Чубайс. Смешно, но первым объектом, попавшим под каток приватизации в Нижнем, стала любимая всеми пахнувшая тёплым тестом и варёным мясом пельменная на пересечении Пискунова и Алексеевской. Она так и называлась, по-советски наивно: «Пельменная». Ну а как иначе? Местные жители встретили реформаторов-приватизаторов плакатами: «Руки прочь от советской торговли!»

— О чём задумался, Владимир Михайлович? — Шляпников аккуратно поставил на блюде маленькую пузатую чашечку, по форме напоминающую его самого, только в масштабе один к тысяче, и еле заметно подмигнул правым глазом. Было непонятно, он подмигивает или у него тик.

— Да так, Пётр Васильич, дела, дела... Н-да. У вас как, лучше расскажите... Чем заняты?

— Да я... что ж... — хотел было ответить Шляпников.

Но Лусканов не закончил:

— Слышал, пилите цеха на металлолом? Старые добрые советские станки, жирную медь, латунь, никель... — Лусканов засмеялся дробно и немного натужно.

— Что ты! Что ты! Владимихалыч! Не надо так! Ты за кого меня держишь? — Шляпников тоже засмеялся, ни капли не смутившись, а Лусканов отвернулся и начал разглядывать барную стойку у крепостной стены. Ему не очень-то хотелось слушать, как у навязавшегося ему Шляпникова дела. Барная стойка была тоже из красного кирпича, как и башня, только фальшивого.

— Наоборот! Спасаем остатки завода! — предсказуемо для его типажа митинговал Шляпников. — Люди без денег сидят, работягам жрать нечего, директор там на Гидромаше Саша Кушнер, ты его знаешь, всё живое оборудование давно вывез... А мы не пилим, мы — покупаем! Ненужное, неработающее... Какой там никель, ну ты что! Сколько этим прессам, прокатным станам да мостовым кранам... Ты знаешь, что это ещё из Германии в сорок шестом привезено? То-то же! Их в немецкие музеи надо сдавать! А мы деньги живые платим, режем с утра до ночи на металл, чтобы у работяг штаны не спадали...

— Деньги-то откуда? На выкуп сего богатства... — спросил Лусканов, прекрасно зная, что денежного ресурса в стране, где рыночной экономики никогда не было, сегодня остро не хватает.

— Об этом я и хочу поговорить, коллега... О деньгах, грубо говоря, — улыбка слетела с лица Шляпникова.

Лусканов повернулся к нему, мгновенно смерив взглядом.

— У меня предложение есть... — Шляпников подмигнул, на лице заиграла хитрая полуулыбочка, — Володь, — он положил ладонь на руку Лусканова, — давай сделаем тебя богатым уже, а? — и в голосе Шляпникова дрогнуло что-то настолько фальшиво дружеское, что Лусканов на мгновение ему поверил.

Лусканов смотрел на ладонь «коллеги», лежащую на его руке, она была широкая, короткопалая, с детскими ямочками на костяшках. Лусканов вдруг почувствовал, что проголодался, и вытащил руку.

— Пора становиться состоятельными людьми, Володь. Пора, друг! Потому что время уникальное. Коридор возможностей, понимаешь... Собственность, понимаешь, сама в руки плывёт... — Шляпников многозначительно помолчал, затем пригнулся над столом и, чуть понизив голос, продолжил: — Предприятия строительства подлежат обязательной приватизации. По закону Чубайса. По новому. А это значит, что скоро у тебя аукцион... Переформишься в акционерное общество и будешь продавать своё УПТК... Выйдешь в акции. И их придётся раздать своим же сотрудникам, большую часть... Ну? Так?

Лусканов пристально смотрел на Шляпникова, еле заметно кивая.

Шляпников принял это как знак, улыбнулся, подмигнул, затем ещё раз, Лусканов понял, что всё-таки тик. Шляпников снова стал серьёзным.

— Пойми, это шанс! Не для них... Для нас! Государству нужен рынок! Новые люди. Новые товары. Предприятия... Новая страна нужна! А значит, ты и я... Наши мозги, инициативы, предпринимательская жилка, в конце концов! И... и... — тут он прервался, выдержал паузу, постучав по руке Лусканова двумя пальцами, как по клавишам молчаливого пианино. — Нужно ловить удачу за хвост... Понимаешь? Птицу счастья, счастья моего!..

Шляпников засмеялся чуть громче, чем это было бы прилично. Бармен за стойкой посмотрел в их сторону. Несколько секунд Шляпников и Лусканов смотрели друг другу в глаза, думая каждый о своём. Наконец Лусканов прервал молчание, неожиданно спросив:

— Это твои архаровцы у меня под боком орудуют... ваучеры собирают?

Шляпников не растерялся, хотя обошлось без подмигиваний:

— Да ну... Простые ребята. С окраины, с Сормова... Работают. Но...

Он замолчал.

— Что — «но»? — не утерпел Лусканов.

— ...Дела идут не фонтан, честно говоря. Сдают мало. Не понимаю, зачем держат, чего ждут... Под подушку прячут, что ли?

Он захихикал, Лусканов натянуто улыбался, пристально и холодно разглядывая Шляпникова, но вдруг тот резко выпрямился и заявил:

— Собственно, рассказываю, что можно сделать, Володь...

Лицо, голова, подбородки, плечи, руки Шляпникова из сырой тестообразной массы вдруг собрались, складки подтянулись, Лусканов увидел лицо жёсткое, холодное, острое, он даже испугался, потому что на мгновение перестал узнавать своего визави. Да и голос Шляпникова вдруг изменился:

— У меня есть хороший знакомый в одном проектном институте. Тоже стали недавно АО, провели собрание акционеров, приватизировались, контрольный пакет, все дела. Там «красный директор» сильный, вряд ли ты его знаешь, Юрка Скулябин,

есть такой... Так вот, они раньше разрабатывали проектно-сметную документацию для главка, затем для кооператоров готовили пакеты согласования, а сейчас пишут ещё и бизнес-планы, ну, модная штука, в курсе ты? Короче. Володь. Я договорюсь, они помогут провести несколько, э-э-мм... ну... как это сказать... *интересных* сделок. Например, вы оформите у них пару крупных заказов для областных строек по составлению той же документации, они заказы выполнят, но оплатить вы не сможете... Ну и тогда... В общем, ребята всё сделают, как надо. Ребята свои, проверенные. Короче...

— Бандиты, что ли? — вдруг громко и грубо перебил Лусканов, всё так же бесстрастно рассматривая лицо Шляпникова.

— Что бандиты? Кто бандиты?! — тот засуетился и оглянулся.

— Ну, ребята свои, надёжные которые... бандиты? Которые фиктивно банкротят предприятия, чтобы за бесценок выкупить их на аукционах... И раздербанить... Так?

— Ну-у-у! Володя! Нет! Ну что ты? Какие бандиты! Ну! Зачем ты так... Ребята нормальные... — Шляпников испугался, что говорит слишком громко, осмотрелся, не слышит ли кто, нервно посмотрел на бармена, на входную дверь.

— Так, про «интересные сделки» я понял. Дальше что? — спросил Лусканов.

— Володь! — воскликнул Шляпников. — У тебя сын? Двое? Сколько ему? Ты о будущем его думай...

— Стоп. Так. Это всё, о чём ты хотел поговорить? Давай по делу. И короче, а то мы долго тут... — это прозвучало грубо, не по-дружески, будто Лусканов хотел вернуть истинное расположение фигур на доске: он — директор, инженер, а напротив — барыга, и никакие они не друзья.

— Владимир Михалыч, я ж ничего особенного не предлагаю. Это сейчас самый надёжный метод... э-э-мм... приватизации. Сам подумай, ну зачем им акции. Простые люди не привыкли к собственности, не знают, что это такое. А в итоге, когда предприятие заработает как твоё собственное, это будет на благо нас же самих, да и работяг, семей...

— Так нас самих или работяг? — неожиданно засмеялся Лусканов.

Шляпников мгновенно покраснел, но вовремя спохватился и захихикал тоже. Тут вальяжно подошёл официант, он был ещё той, советской закалки, когда официанты были главнее посетителей, он спросил, не нужно ли чего, от него отмахнулись, и уходил он важно, но обиженно.

— Владимирхалыч, да ты не волнуйся... — Шляпников как-то сжался, снова пригнулся к столу, будто хотел показать, как он может спрятаться, не сходя с места. — Это же реально, как ты сказал, фиктивное банкротство... Задержать зарплату надо всего месяца на три, ну шесть... И в общем, всё. Всё будет окей. Работяги поворчат, конечно, повозмущаются... Будут ходить, требовать, может, кто-то плакат нарисует, заметку тиснут в каком-нибудь «Нижегородском рабочем», но сделать ничего не смогут... Даже если резонанс будет. Всем пофиг. Даже уезжать не советую никуда, за границу там, чтобы спрятаться, сейчас такое везде, ментам тоже дела нет... в стране бардак, кризис...

Шляпников замолчал на секунду, чтобы перевести дух. Лицо Лусканова было каменным.

— В общем, поненавидят, покричат и успокоятся. Ты, главное, обещай. Хотя каждый день, что завтра, что к 23 февраля, а потом к 8 марта будет полный расчёт... Здесь надо с людьми общаться, держать контакт, чтобы не волновались. Но деньги не платить. Никому. Хотя больным, хоть умирающим. Поставить жёстко.

И будут ждать. А деваться куда? Будут ждать. А потом ты становишься АО... Потом аукцион. Цена конторы минимальная... Долги огромные. Срыв обязательств... Ребята обеспечат. Ну? И всё. И по моим наблюдениям, по опыту других, так сказать, недели через три после первой невыплаты зарплат работяги начнут сдавать акции и моим ребятам, и конкретно мне, плюс я буду работягам лично писать, выходить на них, предлагать условия... Ещё через месяцок самым упёртым можно говорить, что большинство уже акции сдало, контрольный пакет есть, мол, и без твоей одной бумажки... Ну а человек два месяца денег живых не видел, ну и продаст, если не дурак упёртый, куда ему деваться? Продаст... Он у тебя в руках. Ты для него спаситель. Отец родной! Всё!

Шляпников хихикнул и замолчал, и в кафе стало так тихо, будто только что вырубил громко работающий телевизор. Но вот за барной стойкой звякнула посуда, и Шляпников, на которого всё так же холодно смотрел Лусканов, продолжил:

— Это для их же блага, работяг... Почему? Потому что предприятие должно работать нормально. Зарабатывать деньги, делать прибыль... А руководству это зачем, если это не их бизнес, зачем пахать на дармоедов... Ну вот тебе...

— У меня этих *дармоедов*, как ты говоришь, — во вдруг высоком голосе Лусканова дрогнул металл, — а я их называю *сотрудниками* и *коллегами*, — сто двадцать человек, включая базу стройматериалов на Бору. И ты им предлагаешь не платить? А потом на улицу выгнать? Люди всю жизнь отдали своему предприятию!

Лицо Лусканова было твёрдым и бесстрастным, он побледнел и убрал руки под стол.

— Почему на улицу? — заволновался кооператор. — Зачем? Нет! Они точно так же будут работать на базе твоей... Зарабатывать. Ещё больше! Я не понимаю, почему ты мышей не ловишь и не хочешь забрать под себя предприятие, твоё родное, считай...

Лусканов давно бы взорвался, если бы не считал это ниже своего достоинства перед этим человеком. Голос его стал спокойным.

— Мне его забирать? Как это вообще? Если оно принадлежит рабочим, которые отдали ему лучшие годы жизни... И приватизация для них это правильно. Через акции они будут полноправными собственниками своих долей... Разве не для этого всё придумано?

Шляпников посмотрел на Лусканова как на полоумного.

— Ага! Работяги без этого никак! — в голосе Шляпникова дрогнула издевательская нотка. — Им нужна бутылка водки да кулёк конфет для детей! И трусы... для бабы. Ну подумай! А с другой стороны... Зачем им акции УПТК, которое после уничтожения Госплана может накрыться в любой момент? Все стройки начинают работать по-новому, централизованное государственное снабжение в ближайшие годы станет пережитком прошлого... Ты об этом думал? Мы взрослые люди!

— В ближайшие годы — может. Но мы здесь и сейчас. Людям нужно кормить свои семьи сегодня, завтра. И я думаю о них.

Лусканов сказал это тихо. Повисла пауза, глухая, как стены крепости. На губах Шляпникова блуждала невнятная улыбка.

— Чудак-человек ты, Владимихалыч... Пашешь, зарабатываешь на их зарплаты ты один, ну, с парой помощниц да главбухом, обеспечиваешь работу Управления, прибыль... Ты! — Шляпников ткнул пальцем в пухлый блокнот Лусканова, с которым тот не расставался и даже в кафе держал под рукой. Шляпников угадал: там, под рыжими корочками, была вся и бухгалтерия, и прибыль УПТК. Чувствуя, что прав,

что попал, кооператор порозовел от азарта: — Но объясни мне, зачем тебе кормить ораву нахлебников?!

— Ты слишком всё упрощаешь, ты не знаешь всей ситуации! — скривился, нахмурился, заёрзал на стуле Лусканов.

— Да знаю я всё, Володь! Кухню твою знаю наизусть. Люди много болтают... Зачем ты работаешь на эту орду? Бездельников... Тебе своих забот мало? У тебя же семья, сын! Или сыновья?.. Тебе сколько лет? Полтинник есть уже? Или больше? Поживи нормально! Есть возможность! Скатайся на Кипр, на Сейшельские острова, там песок белоснежный, ослепнуть можно... Машину купи, «мерин», «бэху», «удюху», себе, жене... Да и сыну! А дома какие сейчас строить начали, ты видел? Особняки трёхэтажные, красного кирпича, с двумя спальнями, тремя туалетами, джакузи, где-нибудь на озёрах... Магазины люди покупают, рынки, недвигу, обеспечивают себя на поколения вперёд. Всё можно, всё позволено, весь мир открыт, Михалыч! Нахрена тебе эти сто двадцать... дармоедов?!

Шляпников замолчал и тут услышал тихий, но всё сильнее и громче расходящийся смех. Лусканов откинулся на стуле и сидел расслабленно, расставив ноги, опустив между ними руки, он смотрел вверх, в потолок, и смеялся, открыв рот. Шляпников посмотрел на него и тоже начал было похохатывать, видимо, подумав, что Лусканову весело... Но тот замолчал, бросил на Шляпникова злой взгляд и сказал громко и отчётливо, вдавливая слова в воздух:

— Это не дармоеды. Это — люди. Толстая жопа ты, Шляпников.

Кооператор опешил, Лусканову на секунду показалось, что он сейчас обидится, встанет, демонстративно уйдёт. Но как бы не так. Шляпников загадочно улыбался.

Лусканов встал, нечаянно наступил на пояс плаща, едва не оторвав его. Он достал бумажник и начал вылавливать оттуда жёлтые бумажные рубли заплатить за кофе. Шляпников вскочил и схватил его за рукав.

— Владимихалыч! Подожди, подожди! Не убегай так! На плохой ноте! Не надо так говорить! — тараторил умоляюще и суетился Шляпников. — Очень прошу! Прощу! Ты не понимаешь, не понимаешь, Володь! Времена другие... Ты можешь потерять всё. Всё! И предприятие, которое взрастил, которое держишь на плечах один практически...

Лусканов захлопнул бумажник. Он хотел уйти, но поднявшийся Шляпников занял в тесной башне всё свободное место. Лусканов почувствовал в груди тяжесть, ему стало трудно дышать.

— Это не я взрастил, — сказал он с силой, преодолевая себя, — это советская власть создала и страну, и город, и Минстрой, и наше УПТК. И построила всё это сообща, мечтами и усилиями миллионов людей, а не твоими-моими. В том была и мощь её. В коллективном...

— Вова! Вова! Да что ты, блин, несёшь! — завершал Шляпников жалобно, но при этом как будто став ещё больше. — Очнись! Какой год на дворе! Вова! Нужны новые подходы, экономика меняется, капитализм уже здесь, какая советская власть, ты книжек по научному коммунизму в туалете начитался? Вова! Ты же деловой мужик, снабженец, прагматик...

Лусканов пристально смотрел на пальцы Шляпникова, которые теребили его рукав. Кооператор с комично-плаксивой миной продолжал тараторить, немного понизив голос:

— Вов, Вов... Мы всё сделаем правильно. У меня всё продумано. Конвейер налажен, сделка, скупка акций, потом... Всё, собственность. Контрольный пакет оформляем, мы в совете директоров, ты получаешь долю, ты можешь продать её,

можешь оставить, мы становимся совладельцами... Всё по-прежнему, только фирма твоя, твоя!

— И твоя, — угрюмо и уже бессильно сказал Лусканов, и Шляпникову впервые показалось, что он согласится.

— Ну! Да! И всё будет нормально! Объёмы строительства будут увеличиваться, доходы расти... Под твоё имя найдём инвесторов, будем расширяться. — Шляпников тихонько ткнул Лусканова локтем в бок. — Рабочих сократить немного, а кто останется, будут работать чуть больше, никуда не денутся, зато сытые...

Шляпников сделал паузу, он стоял совсем близко, готовый вобрать в огромную подушку своего тела Лусканова целиком.

— Ну, или хочешь... просто отдашь долю, получишь хорошие бабки, построишь дом или за границу поедешь... В Германию там... Слушай, Миш, тыфу, Володь... — он схватил его за руку, Лусканов не сопротивлялся, смотрел куда-то вверх. — Надо решить вопрос, я тебя прошу, так будет выгодно всем. Ты думаешь, другие не зарятся на твоё УПТК? Я самый нормальный из них! Там такие, б...ть, шакалы! И как ты выпустишь акции и они попадут работягам в руки, ими крепко займутся, поверь... Вова! Нужно встраиваться в новые реалии! Поезд уйдёт! Давай, знаешь, не сегодня, не здесь... Поговорим подробно. Обсудим... Я сейчас тебе схему обрисую...

Они снова сели. Шляпников трещал всё тише, но его напор нарастал. Лусканов пустыми далёкими глазами смотрел на стол, на его лице было усталое выражение обречённого человека, он не слушал, ничего не видел... Но вдруг как будто вынырнул из глубины. Вздрыгнул.

— Я всё понял давно, не надо по второму разу, — сухо сказал Лусканов, и кооператор резко умолк.

Лусканов отдернул рукав, скинув в очередной раз руку Шляпникова, но тут же улыбнулся и протянул ему раскрытую ладонь, они пожали руки, и лицо Шляпникова просветлело: кажется, договорились...

— По итогам нашей встречи у меня только один к вам вопрос, Пётр Васильевич, — сказал Лусканов как будто примирительно.

— Какой? Какой? Вов, ты что... Любой вопрос решим, конечно... — быстро сказал Шляпников и всей массой качнулся к нему. Стул под ним угрожающе скрипнул.

Лусканов встал, запахнул плащ, шагнул к выходу, но обернулся и, не глядя на пытающегося повернуть голову Шляпникова, негромко сказал:

— Напомните мне, я, может быть, просто не помню... Разве мы переходили на «ты»?

* * *

Декабрь наваливался на город невидимым бесснежным холодом, тайком выстужая до инея измученный кустарник в парках, исподтишка сковывая лужи, делая воздух ощутимым, колючим на вдохе.

Зато приходиться с улицы домой теперь — словно окунаться в горячую ванну, пробежав голышом по прохладному коридору. В батареях булькало отопление, по запотевшим окнам сбегали прозрачные струйки, как первые лыжники обнажают под снежным настом ещё живую траву.

Она смотрела на него сверху, и её улыбка, её взгляд утопали в туманной сладости, томлении, разгорающемся в груди и животе вожделении, будто там, в телесной духоте, свербил и таял терпкий мёд. Он смотрел на неё снизу, с дивана, на его губах играла коварная полуулыбка, но он тоже еле-еле держался, краешки губ подрагивали

от желания — оно начинало тянуть, и мучить, и буравить вниз внутри, раскрывая и раскаляя все предусмотренные природой железы. Они оба терпели. Растянуть, как можно дальше оттянуть действие и ярость сказочного вещества, что вырабатывается на самом пике жара, крика, счастья взрывающейся любви... Вот, начинается, он видит на донышке её размякшей улыбки и обалдевших глаз матовый отблеск принадлежности ему, а она видит за его распахнутым наглым взглядом сгорающую от вожделения, готовую прыгнуть зверем затаённую нежность, неуклюжую мальчишескую страсть...

Он тянет время, раскатывая его, как горячее тесто. Он снизу, с двух сторон касается пальцами её подвздошных косточек — она стоит перед ним в одних трусиках, — дотрагиваясь не пальцами даже, а воздухом на них, затем он ведёт ниже, и вдруг цепляет тонкие упругие ниточки, соединённые треугольником посередине, и тянет их... По мере натяжения улыбка Насти теплеет ещё и ещё, губы растягиваются и бледнеют, обнажая белые резцы, глаза её становятся совсем пьяными, но и Саня дрожит и плотает обильную слюну... Наконец, он отрывает взгляд от её лица и смотрит прямо перед собой на её плоский живот. Он тянет ниточки ещё ниже, и вот ему, восемнадцатилетнему парню, у которого под кожей заживо сварилось мясо, открывается широкий верх телесно-белого треугольничка, пахнущего чистотой, выбритого до прохладной ослепительной нежности, запрятанного, но найденного островка любимой загорелой Настьки... Уголочек стрингов вывернут наизнанку, он цепляется за последний выступ... И что-то в горле у Сани дрогнуло, упало с гулким ударом вниз, он рванул её трусы, но Настя тут же выскользнула из рук, бедра её ушли назад, а на его плечи легли её дрожащие мокрые ладони, на лицо упали шторкой-водопадом её волосы и, наконец, влажно скользнув по лбу, по трепетно закрывшемуся веку, её горячие сильные губы сцепились с его губами. Под этим напором Саня отклонился назад, она повела руками по его груди, и, наконец, шагнула на него, и он почувствовал коленом горячую нежную влагу, она зажала бёдрами его ногу, и он упал на спину, принимая в объятия любимую, но за мгновение до их долгожданного соединения в прихожей раздалась соловьиная трель.

Настя отпрянула, ткнула ему в живот коленкой, он дёрнулся, вскочил, увернулся от её острого локтя и едва не ударился с Настей лоб в лоб. Трусы надел за секунду, влага страсти стала прохладной, липкой, руки подло дрожали, — Саня и Настя будто соревновались, кто первым прыгнет с тонущего корабля.

— Мама, — шепнул Саня сдавленно.

Настя бесшумно скакала на одной ноге, пытаясь засунуть себя в узкие обтягивающие джинсы.

— Спрячешься, ладно? — попросил и жалобно скривился Саня, оглядывая пол — всё ли они собрали...

Через минуту в комнату без стука вошла мама, разувшись, но ещё не раздевшись. Придерживая дверь, она пристально посмотрела на лежащего с закинутой под голову рукой сына. Глаза его были закрыты, словно он загорал.

— Ты здесь? Что делаешь?

— Сплю, мам! — ответил сразу и недовольно.

В ответ она посмотрела на шкаф.

— Ясно, а я думала, ты ещё в школе.

— А зачем тогда в дверь звонить?

— Ух, недовольный какой! Как бабка сварливая! — мать отпустила дверь и ушла.

Саня остался лежать с закрытыми глазами, с напряжением вслушиваясь в шаги

матери, грохот створок шкафа в коридоре, звон посуды, но в первую очередь Саня слышал мощные удары сердца, как будто внутри били по боксёрской груше.

Настя сидела в шкафу. В этом было что-то страшно забавное, дурацкое, старое, из несмешных анекдотов про неверную жену и мужа, вернувшегося из командировки... Но смеяться не хотелось. Хотелось срочно пойти в душ.

Прорвало их на улице, куда они вывалились, с грохотом раскидав двери подъезда, — Саня смеялся в голос, Настя от хохота тряслась и повизгивала. В шкафу! Господи! Я сидела в шкафу! Саня! А что дальше будет? Скалкой буду тебя мутузить? Вот это отношения у нас! А на балконе? В следующий раз я хочу сидеть на балконе! И снова приступ смеха. Мать с пятого этажа могла услышать и выглянуть из окна, но им было уже всё равно. Саня гнулся пополам, ноги заплетались, Настя вытирала слёзы. Продолжая смеяться, дошли до магазина в торце их длинной девятиэтажки. Саня чуть не вляпался в грязную лужу, его за локоть поймала Настя: «Ну всё, хватит, Сашк, я больше не могу, лучше скажи, куда мы теперь? У меня бабушка дома, и брат уже пришёл, наверное...» Саня обнял Настю за талию и повис, продолжая нервно посмеиваться.

На автобус решили не садиться, прошли три остановки пешком, до Сенной площади, до кинотеатра «Печоры», величественного, как угловатый Сфинкс, как древний бастион из стекла и бетона. Он стоял недалеко от трамплина на пустынном пригорке, и ветер с Волги выстужал подходящих, вторгающихся в его владения зрителей... Саня с Настей придумали пойти на «Терминатор-2», он шёл здесь много месяцев, но как раз закончился... Говоря это, полная, похожая на массивного африканского носорога, с пепельной пушистой шалью на плечах кассирша кинотеатра — то ли жаловалась, то ли ругалась — не разберёшь. Под бетонными гранями столбов и размашистых перекрытий, под многометровыми листами выстуженного стекла она выглядела как раненый воин, оставленный сторожить сооружения, захваченные ушедшей к новым рубежам римской армией... Тётка закрыла за ними двери из толстого стекла и крикнула что-то вроде «и нечего тут шляться! кина нету! а скоро вообще закроемся, езжайте обжиматься в центр!».

Обжиматься? Она сказала «обжиматься»? Это из какого века слово? — Саня с Настей засмеялись и обнялись.

Они перешли у автостанции дорогу, зашли в случайный подъезд дома на Радужной, Саня хотел, как он умел, отжать магнитный замок, но здесь подъезды были ещё без домофонов, и они уединились за второй входной дверью, под лестницей, у раскалённой батареи, к которой, если прислониться без куртки, жечь начинало через десять секунд... Здесь было совсем темно, пахло горячей пылью, паклей, отсыревшим войлоком, густо, по-животному тянуло из подвала гнилой водой и крысами, но влюблённым было всё равно. Саня обнял Настю сзади, она повалилась на него, прижав к радиатору, приятно вдавившему горячие зубцы ему в спину. Они постояли несколько минут просто обнявшись, чувствуя ногами, как толщу жаркого тёмного воздуха прорезают тонкие струи сквозняков, идущих из щелей разбитых дверей. Затем Саня ощутил, что плывёт, что у него кружится голова — от жара, от душного запаха, от близости любимой Настьки, от налитой до каменной твёрдости плоти, готовой порвать штаны. Вдруг он прильнул к ней сзади сильнее, нащупал ногами её ноги, прижался грудью и даже через куртку почувствовал извивающуюся пунктиром позвоночника её изящную спину, её дыхание и влажный жар в путанице волос за ухом, куда он уткнулся, зарылся. Саня аккуратно, как будто у них это было впервые, засунул

руку ей под куртку, сначала вверх, а потом направил ладонь вниз и скользнул под джинсы, сразу ощутив тёплый нежный тонкокожий живот, тут же откликнувшийся на прикосновение, подобравшийся, вдохнувший... Саня медленно повёл руку вниз, по этому плоскому и сначала гладкому, а затем чуть шершавому пространству его абсолютного счастья, пока средний и безымянный пальцы естественным образом не соскользнули с узкого обрывчика в самом низу, тут же сделавшись влажными и горячими. Его рука была кончиком кисти, а она — баночкой волшебной, дышавшей искристо-солнечной краски, которой они намеревались сначала набросать черновое настоящее, а потом старательно и филигранно вывести идеальное общее будущее.

Дверь в подъезд открылась, морозный воздух ударил в них, как снежная лавина, и вошла высокая худая женщина, похожая в прямоугольнике меховой шапки и в длинном расклешённом пальто без пояса на тёмную хвостатую комету. Ребята замерли, женщина толкнула ногой вторую дверь, затем остановилась, чтобы придержать её от хлопка. Она многозначительно смотрела на них и взгляда не отводила, пока всходила по лестнице, и было видно, она что-то хочет сказать, что-то вертится у неё на языке... Саня и Настя глаз тоже не отводили, нагло смотрели в упор. Глаза их блестели из темноты и говорили без слов — что-то вызывающе дерзкое, что-то бесстыдное, очень юное.

Вечером потеплело, декабрь показывал чудеса миролюбия, снега не было, зато стояли сильные туманы, смягчая воздух, насыщая его влагой, прокладывая город невесомой ватой, как ёлочные игрушки в коробке. Проводив Настю — она жила в новом строящемся микрорайоне Верхние Печоры, — нацеловавшись до красного пятка вокруг губ, до лужицы влаги в штанах, так, что Настя, как в глиняной форме, оставила на нём свой душистый соломенный отпечаток волос, Саня вернулся домой, с улицы заметив, что света в окнах нет, и это было странно, потому что родители должны быть дома. Он позвонил в дверь, услышал в пустом коридоре внутри привычную соловьиную трель, но ему не открыли. Тогда Саня с трудом, двумя пальцами, вытащил ключи, как обычно завалившиеся за подкладку куртки, и проник в квартиру. Сначала ему показалось, что дома действительно никого нет, кроме тревоги, сидевшей в чёрных тенях по углам, но затем он услышал на кухне, дверь в которую была прикрыта, звон тарелок, а в родительской комнате тихий надсадный плач. Саня быстро разулся, скинул куртку, и на цыпочках зашагал по длинному коридору, в конце которого на него бросилась высокая тёмная фигура — отражение в зеркальной двери встроенного шкафа. Он зажал ладонью щель, где соединялась дверь с косяком, мягко толкнул, чтобы она не скрипнула, и оказался в своей комнате, тут же заметив, что в ней что-то не так.

Мама заходила и хозяйничала у него крайне редко, но бывало, когда пылесосила или мыла полы, а заодно собирала со стола чашки с окаменевшими остатками чая или вернувшейся в исходное состояние кофейной гущей, заправляла диван с перекрученными простынями, как будто на них разворачивалась бронетехника. Что-то не так, сразу почувствовал Саня, быстро привыкнув к полумраку комнаты в жидком мертвенном свете фонарей за окном... Линолеум и правда блестел чистотой, и по краям, где тряпка делала виражи, остались влажные следы. Древесно пахло хозяйственным мылом. Диван был заправлен и торчал непривычно ровным сугробом под незнакомым покрывалом. Шкаф-стенка, по цвету и фактуре напоминающая плитку тёмного шоколада, празднично сверкала отполированными стёклами. Стол, стоявший поперёк комнаты у самого окна, как причёсанный на торжественную

линейку первоклашка, кичился ровными стопочками тетрадей — и полосатых клеёнчатых, и зелёных бумажных, — собранными в пучки в карандашницах ручками и фломастерами, и особенно вызываясь гордился стол вымытым до блеска оргстеклом на столешнице, под которым Саня хранил чёрно-белые фотографии: свои, друзей, одноклассниц в коротких юбках вперемешку с вырезанными из журналов Брюса Ли, Чака Норриса и Саманты Фокс.

Саня поднял взгляд выше, словно его притягивала некая направляющая на потолке, и вдруг увидел — знакомое и родное, от чьего вида ёкнуло сердце, висело в центре комнаты. Сделав шаг в сторону, он щёлкнул выключателем и почти сразу же, как жёлтый свет затопил комнату, его лицо жаром залил алый, а ещё через секунду бордовый цвет. Покрасневший как рак от стыда и гнева, Саня бессильно и жалобно смотрел на висящий на люстре крохотный лоскуток его любви. Это были красные Настины стринги, к тому же, отчего его ещё раз окатила ядовитая смесь омерзения и стыда, они были в пятнышках засохшей влаги.

Сдёрнул их, скомкал в кулаке и бессильно плюхнулся на диван. Полежал минут пять с закрытыми глазами, затем раскрыл ладонь и вдруг уткнулся носом в красный лоскуток на безвольных ниточках, как будто хотел показать частичке своей девушки, что он её не стыдится, он с ней, не предал.

— Да пошли вы все в жопу.

Сказал Саня тихо, хрипло, обращаясь, видимо, ко всем родителям мира, но пока, в эти первые минуты, не понимая, как ему справиться с новой проблемой — когда мама (или отец тоже?!) знает, *чем он тут занимается*. Что делать? Нападать? Сделать вид, что ничего не было? Или выйти с открытым забралом: что ужасного в том, что половозрелый сын, который сходит с ума по утрам от изматывающей эрекции, пригласил *к себе* в комнату девушку? И не просто, а *любимую* девушку! Мысли сумбурным потоком проносились у него в голове, неоформленные, разгоняемые обжигающей обидой, но вдруг всё закончилось. На кухне что-то гроыхнуло, лязгнуло и тут же задребезжало, рассыпавшись по полу, затем зазвенела битая посуда и раздался вскрик, тут же превратившийся в ругань и громкий плач, — это была мама. Она жалобно выла и громко и пронзительно вскрикивала, срываясь на яростные причитания, до Сани доносилось: «За что-о?! За что-о?! Скотина! Изверг! За что мне это? Разве я заслужила! За что?!» Как обычно, когда родители ругались, Саня оцепенел, превратившись в большой хрустальный предмет, в котором с болью отражается каждый звук и вскрик.

В ответ на истерику матери вскинулся быстрый возмущённый басок отца, но было непонятно, он ругается или жалуется, обострённый слух Сани улавливал что-то вроде: «Что ты, дура, творишь? Оставь меня в покое! Дай посидеть нормально! Хватит истерить!» — но глухой барабанный бой отцовского голоса прервал новый грохот, судя по всему, мать бросила что-то в мойку, и оно разбилось, а затем саданула кухонной дверью так, что вздрогнула вся квартира, а с антресолей, как предполагал помертвевший Саня, с гулким хрустом на пол упала банка маринованных помидоров.

Быстрый стук шагов по коридору, в такт им громкие всхлипы, — и, наконец, мать скрылась в спальне напротив Саниной комнаты и ещё раз со всей силы грохнула дверью, после чего затихла, но через минуту послышался протяжный плач, болезненный, отчаянный, прерываемый судорожными вздохами. Саня почувствовал как будто удар под глазными яблоками, внутри, слёзы готовы были хлынуть; в такие моменты острой боли за мать он порывался пойти и избить пьяного отца. Вялого, как медуза, осоловевшего, жалкого. Саня вскочил с дивана и бросился в коридор, — но не побежал на кухню к отцу... а медленно пошёл в спальню.

Он вошёл и встал в углу, у двери, не смея подойти к матери, стараясь даже не смотреть на неё, хотя успел заметить, что она сидит в кресле, с раскрасневшимся лицом, сморщенным, изуродованным гримасой страдания. Мать держала на коленях газету, привычную «Комсомолку», и, склонясь над ней, пыталась сквозь слёзы читать, будто этим любимым занятием — читать по вечерам в одиночестве и покое свежий номер — хотела сбить истерику, рыдания, дрожь. Но, конечно, не получалось, мама продолжала плакать и от солёных слёз жмуриться, и они капали на газету, она старалась их смахнуть, и на страницах появились серые полосы.

Саня открыл шкаф, выдернул из середины стопки глаженного белья жёлтое вафельное полотенце с нашитой петелькой для вешалки.

— Мам, на... Не плачь, мам... — и тут же снова отступил к выходу, будто боясь, что мать нападёт на него. В такие моменты она была опасна — могла накричать, оттолкнуть. На этот раз лишь произнесла сквозь утихающие слёзы:

— Меня — ладно! Плевать! Вас-то за что! За что вас с братом уродует?! Разве можно пить, когда у тебя два парня растут... Это преступление! Он преступник, преступник! Вы-то хоть не смотрите... на него! За что мне всё это? — Мать кричала высоко, срываясь на неприятный писк, и понизив голос, продолжила надрывно: — Он же не был таким никогда! Он был добрым, светлым, умным... А не этим! И вы на это смотрите!

Мать говорила так, будто старший брат Андрей был здесь, дома, хотя вот уже год он в составе Западной группы войск выводил советскую военную технику из Германии.

Скомкав полотенце, она промакивала щёки и подбородок, её кожа покраснела от слёз, а глаза совсем заплыли, превратившись в опухшие щёлочки. Саня услышал на кухне резкий и страшный звон стекла и тут же рванул туда, ему вдруг показалось, что отец может поскользнуться, упасть, пораниться, как однажды он в таком состоянии прищемил дверью в подъезде палец, содрав с кончика мизинца кожу — кожаный колпачок.

Дверь на кухню была приоткрытой, от рифлёного стекла откололся кусок, и осколки поблёскивали у порога. Не трогая дверь, осторожно, как на место преступления, Саня заглянул в кухню — света не было, качался разбитый плафон. На полу, прямо за порогом, в луже лежали помидоры с лопнувшей кожурой вперемешку с осколками стекла. Саня перевёл взгляд вглубь кухни и увидел на полу большую эмалированную кастрюлю с рассыпанными варёными рожками, рядом валялась, медленно перекатываясь, перевёрнутая крышка. Дальше он увидел несколько белых с синим узором разбитых тарелок, раздавленные и успевшие сваляться в пыли и стекле котлеты, к дальней стене откатилась разинувшая рот поллитровая баночка с кабачковой икрой, у плиты на коврике из свежей пены — зеленоватого стекла пивная бутылка. В центре этого бедлама на полу, прислонившись спиной к угловому диванчику, сидел отец — в семейных трусах, задранных на его бледных с синими венами худых ногах, в белой майке, на которой в районе живота расплывались влажные цветные пятна. Большая голова отца лежала на груди, неестественно натянув бледную синюю шею. Мягкие светло-русые волосы на голове свалились в пушистую горку тополиного пуха, и она торжественно горела в мертвенном свете из окна, делая картину жуткой, сюрреалистичной. Саня заворожённо смотрел, где-то внутри него klokотала смесь ужаса и отвращения. Отец вдруг коротко то ли замычал, то ли застонал, шевельнул крупной, сильной, опутанной толстыми венами лежащей на полу рукой и — сначала еле слышно, а потом всё громче и громче — захрапел...

Саня отступил назад, в тёмный коридор. И вновь почувствовал где-то за глазами яблоками режущий удар, предвещающий слёзы, — до того было жаль отца. Увиденное — как любимый отец валяется на полу среди макарон и битого стекла — было не только гадким и страшным, но, главное, несправедливым по отношению к нему настоящему — умному, сильному, порядочному, лучшему на свете отцу! Сане вдруг захотелось закричать, побежать, найти и наказать всех, кто довёл отца до этого скотского состояния, кто причастен к его унижению! А потом смело войти в кухню и отца поднять, подхватить под руки, взвалить на себя, потащить, а если не хватит сил у него, юного Сани, на большого тяжёлого отца, тогда опуститься и сесть рядом прямо в грязь и осколки и обнять, расцеловать, заплакать вместе, чтобы отцу не было больно и одиноко... В такие моменты с самой недостижимой глубины растущей Саниной души поднималось ещё одно чувство — страх... То, чего они с матерью боялись больше всего на свете, но что трусили даже обсуждать, к чему неизбежно вели подобные сегодняшней сцены. Этот древний ужас был пугающим, чужеродным, а его касания изнутри — ледяными и жуткими, но сейчас Саня его подавил, отбросил, внутренне отмахнулся. Только слёзы защекотали нос, Саня сморщился, они всё равно потекли... Но нет, он не захныкал, не скривился. Он сидел в комнате и думал, что нужно всё-таки пойти, поднять отца, отвести в комнату, уложить, а то ведь поранится. Но Саня не мог ни решиться, ни шевельнуться.

Незаметно для себя уснувший от нервного перенапряжения Саня вздрогнул и проснулся от грохота в коридоре. В первые мгновения даже не понял, где он, кто он, какое время суток и что это за мир, в который он попал, но вскочил и сел на постели... Ещё раз грохнула разбудившая его дверь на кухне и, судя по опасному звону, стекло всё-таки выпало из неё целиком... Пьяный, но сумевший подняться на ноги отец шёл по коридору, шатаясь и громяхая створками шкафов, которые тянулись по левой стороне; он опирался на них рукой, и они гремели, как кровельное железо. Шаг, грохот, ещё неверный шаг, снова грохот, и ещё шаг... За окном была глубокая ночь.

Поравнявшись с Саниной комнатой, отец резко стукнул в дверь костяшками кулака — раз, два. Саня было подумал, что отец перепутал дверь, но услышал очень пьяный, смазанный, мутный голос:

— И ты это, мля, смотри у меня тут, в моём доме... будешь ещё шлюх своих водить, сосунок, мля... — он как будто мяукал, не в силах ни выплюнуть, ни прожевать что-то мерзкое в своём рту. — Мал ещё, мля... Хотя копейку бы заработал, дармоед...

Он ещё раз стукнул кулаком в дверь, но получилось по касательной, чиркнуло, и отец ввалился в свою дверь из коридора, его будто всосало туда без следа, потому что в квартире сразу стало удивительно тихо.

Саня пролежал с открытыми глазами до самого утра, пока не увидел, как мельтешащая быстрыми червячками темнота не начала редеть, рассыпаться, превращаться в белый твёрдый потолок.

Он слышал, как в глубине комнаты напротив, приглушённый двумя закрытыми дверьми, очнулся и подал тонкий пронзительный голос старый, ещё бабушкин, механический будильник. И быстро смолк. Из комнаты, как показалось, лихорадочно бодро вышел отец, как обычно, без тапочек, бухая голыми пятками по полу. Защёлкали выключатели, захлопали двери туалета, ванной, зажурчала вода, проснулся и начал возмущаться шипящий, как кот, чайник. Раньше, когда Саня был маленьким, по утрам гулко и мелко жужжала электробритва. Но потом появился «Жилетт», лучше для мужчины нет». Когда отец собрался и оделся, повесил длинную железную ложку, звякнувшую о вешалку, застучали каблук ботинок, из комнаты вышла сонная,

в ночной рубашке мать — чтобы закрыть дверь, потому что потом заснёт. Саня слышал всё это в стотысячный раз, а потому видел, почти осязал.

— Деньги на столе, — сказал Лусканов отчётливо деловым голосом.

Хлопнула входная дверь, и Саня, наконец, вырубился, заснул. Мать почему-то не будила его и не звала завтракать, не гнала в школу, где уроки начинались хоть и поздно, но Саня умудрялся и на них опоздать. Когда он заставил себя проснуться, умыться и притащился на кухню, — там было очень чисто, свежо, светло от новой лампочки, хоть за окном ворочался тёмный декабрь, а на столе под полотенцем остывали сырники, мать сидела на табуретке у окна и в бабушкиных роговых очках читала газету.

Саня шепнул «мам, привет», налил тёплого чаю в бокал, но мать не обратила на него внимания, как будто он был во всём виноват.

Саня пил большими глотками чай, закусывая сладким ванильным запахом сырников: проснувшись, он никогда не ел сразу — аппетит надо нагулять.

— Ты сегодня можешь вечером дома побыть? — неожиданно спросила мать, отложив газету и складывая очки в футляр.

— Во сколько?

— В четыре. Я поеду к Маше, соседке по саду, она говядину где-то в деревне отхватила, поделится... А к нам рабочие приедут.

— Какие рабочие?

— Отец ставит новую дверь... железную. Какую-то тяжёлую, с гаражными замками, говорит... Будут поднимать без лифта, всемером... сваркой варить...

— Ладно. Приеду к полчетвёртому...

Саня откинул уголок полотенца, под которым, как цыплята, сидели ярко-жёлтые горячие сырники — правильные аккуратные кругляши. Мать не уходила, сидела, сунув руки между колен, смотрела куда-то поверх плиты задумчиво.

— Дела на работе у отца не очень... Надо обезопасить семью. Начальник в главке, Царёв есть там такой, какие-то махинации проворачивает... приватизируют складские помещения по всей области, а Володя как зам бумаги подписывает... за него... — мать говорила ровно, холодно, как заученное. — И вот сорвался вчера...

— Ясно, — сказал Саня, явно не желая слышать продолжение.

— За нас ведь сердце у него болит... Тяжело ему. Надо понимать...

— Я понимаю, мам. — Саня встал, поставил бокал в раковину, хотел было идти в комнату одеваться, но увидел, что мать — впервые за утро — смотрит на него.

— Он хотел, чтобы ты зашёл к нему поговорить.

— Кто? — глупо спросил Саня.

— Отец твой. На работу к нему. Сегодня или завтра...

— К нему зайти поговорить? — Саня был напуган. — По поводу хоть?..

— Не знаю. О жизни.

— О жизни? — Саня презрительно хмыкнул.

— Лучше завтра, наверное. Позвони и зайди.

— На Лядова?

— Да. После обеда.

Только по дороге в школу Саня догадался, что отец хочет высказать ему по поводу найденных трусов Насти, начнёт рассказывать про секс, беременность, презики... Что-то такое. Про ответственность. А может, стыдить будет! А ещё про деньги начнёт, про работу, хотя какая работа, он школьник ещё... Но нет, отец же сам *с шестнадцати лет зарабатывал!* Саня почувствовал, что ужасно боится этого разговора, буквально

трусит, даже в груди затрепетало, забилося холодное... Мысль появилась не пойти, проигнорировать, как-то потянуть время, спустить на тормозах. Но тут же понял, что нет, он так не поступит, не его это стиль — показывать, что боится.

Вечером Саня забыл напрочь и о встрече, и о страхе. Вернувшись с работы, трезвый, серьёзный, отец зашёл в комнату и сам сказал, чтоб завтра заглянул к нему. Надо поговорить. На свежую голову. В деловой обстановке.

В середине декабря в Нижний приехала делегация каких-то важных американцев, городские чиновники забегали как ошпаренные: зарубежные гости намеревались посетить и Настин иняз, он же Лингвистический институт, ННГЛУ, и там готовились, как к царскому балу в Зимнем дворце, и в этом аврале Настя потерялась. Лускановы жили без телефона, несмотря на высокую должность отца и работу его, как говорила мать, *в строительстве*, они бесконечно стояли в очереди на установку телефона, но на местной подстанции не хватало каких-то линий и подключений... Ходили звонить к соседям, а Саня бегал к Марату, бывшему однокласснику брата, татарину, добряку и Жиртресту, жёлтый заляпанный кашей телефонный аппарат которого постоянно с тумбочки сбрасывала овчарка Найда. Саня звонил. Но Насти не было дома.

Наверное, толщиной с Марата или всё-таки меньше, — думал Саня, разглядывая массивные металлические опоры телевизионной башни из-за высокой чёрной ограды Телецентра. Выкрашенная матовой красной краской башня завораживала: и её мощное трубчатое основание, будто спрут запустил щупальца глубоко в землю, и её парящее тело с нанизанными, как овощи на шампур, площадками для гроздьев приборов, тарелок, антенн. А если посмотреть на основание и затем не спеша провести взгляд по одной из опор до самого верха — до стройного вытянутого шпилья — и так постоять, запрокинув голову максимально вверх, то приятно закружится голова, возникнет ощущение, что ты паришь в окружении облаков там, в вышине, вместе с башней, и твоё расслабленное лицо не более чем простодушная круглая тарелка, ведущая приём незримых радиоволн небесного эфира.

Глаза Сани напитались ярким рассеянным светом. Башня и правда плыла. Девятиэтажный административный корпус Телецентра из красного кирпича напоминал гигантскую трубу русской печки. Два часа дня. До отца, до площади Лядова, отсюда рукой подать. Но пойти сразу, чтобы принять наказание без лишних отсрочек, не хотелось. Хотелось чуть потянуть. Саня чувствовал (или надеялся?), что этот разговор разрешить может многое, способен в корне изменить его отношения с отцом — окончательно разрушить или вывести на новый уровень. Хотя... казалось бы... какой может быть новый уровень в *этих* отношениях — скупых, зажатых, взрывоопасных... Зато Саня чётко знал: если отец хоть словом коснётся Насти, если заведёт речь о постыдности того, *чем они занимались*, если покусится задеть его чувства, — мало не покажется. Драться они, конечно, не станут. Просто у отца больше не будет сына — человека, который ему доверяет. Саня этого не простит.

Грохочущий безумный жёлто-красный трамвай яростно, как ужаленный, завопил звонком. Саня не отскочил, лишь отступил назад, увернувшись и от тронувшейся на светофоре «копейки». Трамвай скрежетнул по рельсам клыками колёс, вильнул задом и полетел, обгоняя «копейку» с гвоздиком деда за тонким рулём, уменьшаясь, напоминая посреди осенней серости яркую игрушку.

«Средной рынок», где Саня решил прогуляться и набраться решимости перед тем, как двинуться к отцу, кишел народом. Тёмнокурточная масса толкалась между лотками с китайскими трусами-майками, испачканными вонючими химическими

принтами, и прилавками с неприлично оранжевой окаменевшей хурмой. Пахло кожей, фруктами, из глубины рынка тянуло мясом, мороженым салом. Колонны высокой арки на входе в рынок были заклеены объявлениями, как неряшливая рыба мятой чешуёй. Обмен валют, ксерокс и печать, телемастер, покупаем волосы, дорого иконы, самовары, продам дом, пуховики опт, компьютеры сборка, сауна, девочки, отдам котят — изображение рисовало самые причудливые картины, связывающие ксерокс и валюту, пуховики и волосы, девочек и опт, сауну и котят. Особенно волосы. Горы серо-бурых грязных волос, где-то Саня эту картинку видел, в хронике какой-то... Здание рынка было похоже на крепость, правда, наверху, вместо лучников и тех, кто льёт на штурмующих раскалённое масло, сидела администрация рынка, а в бухгалтерии без остановок жужжали и потрескивали суетливые матричные принтеры.

Покрутившись под аркой, Саня прошёл было внутрь, но напротив входа у ларька с вывеской «Обмен валют» тёрлись сутулые ребята полууголовного вида в высоких норковых шапках. Пощёлкивая задубевшими подошвами ботинок, они тут же цепанули Саню крючками-взглядами. Молодой парень в модных джинсах и белой рубашке под приличным пиджаком, в дорогой дублёнке с меховыми отворотами (с отцовского плеча). «За кого они меня приняли? За фраера подгулявшего? За студента, сына при богатом папеньке? А я и то и другое! Ха!» Саня двинул назад, отцепив от себя хищные крючки, зашёл за здание рынка и увидел то, к чему неосознанно шёл от самого Телецентра: аляповатую жёлто-зелёную вывеску на неказистом ларьке «Горячие чебуреки». Тут же сладко и сытно — пахнуло! Переполненные промасленной бумагой урны, мокрые газеты, расстеленные перед окошком выдачи, откуда шёл пар, очередь хмурых голодных людей, слякоть под ногами — всё это было малоприятно, но запах жареного теста в кипящем масле тут же задурманил голову и уже начал раскручивать тугой вентиль аппетита где-то в глубине живота так, что засочилась во рту слюна.

Золотисто-прозрачный с оранжевыми подпалинами лопнувших хрустящих волдырей чебурек источал запах умопомрачительный. Пытаясь надкусить, похрустывая тонким внешним слоем, ощущая под ним мягкую плоть большого чебуречного ушка, Саня отошёл в сторону. Он хотел откусить твёрдый сухой кончик, но было пока горячо. Надо идти к отцу, а не жрать вредные чебуреки по грязным подворотням. Но его, как говорят пацаны, пробило на жрачку — видимо, от нервов. Итак, надо надкусить-таки уголок, чтобы быстрее остыло влажно-мясное нутро, и Саня отставил руку, чтобы не дай бог не заляпать рубашку, и, уверенный, что весь жир стёк вниз, жадно оторвал зубами острую хрусткую шапочку. Не тут-то было! Чебурек лопнул, брызнув раскалённой струйкой бульона по подбородку. Саня стерпел и в этом же положении замер. Предчувствуя катастрофу, медленно опустил голову и посмотрел на грудь. На белой рубашке, прямо под воротником, красовался жёлтый след — капля чиркнула и отприкошетила. Делать было нечего, и он, взяв в ларьке салфетки и одновременно доедая чебурек и размазывая пятно по рубашке, пошёл к отцу — на круговую, похожую на пластинку, площадь Лядова.

Саня вошёл. Кабинет мрачно сверкал полированной мебелью, отец сидел за столом, читал документы, перекладывая листы. Здесь было настолько просторно, тихо и торжественно, а отец, услышав, конечно, как вошёл сын, даже не поднял головы, что Саня не стал подходить ближе, а отодвинул стул в самом начале длинной т-образной конструкции стола и аккуратно, боясь даже скрипнуть, сел. Чёрные, квадратные, с золотыми стрелками, без цифр, лишь с четырьмя штрихами-отметинами на циферблате, мерно позвякивая секундной стрелкой, тикали часы. С улицы через

большие, от пола до потолка, окна сочились лёгкий морозный сквозняк и еле слышный гул автомобилей.

Отец читал. Когда с лёгким шелестом менял лист, Саня поднимал на него глаза. В кабинете пахло прохладой и, как в любом официальном учреждении, немного хлоркой, а ещё хорошим отцовским одеколоном, — в последние годы ему дарили красивые флаконы из-за рубежа. Саня посмотрел на свои безжизненные, покрывшиеся красными пятнами руки и медленно убрал их под стол. Осматривать в кабинете было особенно нечего. Перед ним на лакированном столе разливалась причудливая лужица света из окна. Шкаф-стенка цвета морёного дуба был застёгнут наглухо, на все пуговицы, даже на полочке в центре теснилось лишь несколько ежедневников, и к ним стопочкой прижимались заметно потрёпанные блокноты. За стенкой в углу запылившимся золотом рам стыдливо выглядывали снятые портреты, первым стоял кто-то лысый, был виден только край головы с ухом, за ним виднелось тёмно-серое плечо, за ним ещё одно плечо с золотыми звёздочками под красными кирпичиками. Саня даже не пытался определить, кто это, крутились в голове похоронные фамилии: Андропов, Черненко... а ещё весело всплыло в голове восклицание, смешное слово, похожее на название мыла: «Горби! Горби! Горби!» Повинуясь логичному вопросу, Саня поднял глаза и пошарил взглядом по белой стене за читающим отцом, — и увидел: чёрная точка шляпки шурупа, на котором висело бледноватое пятно в форме прямоугольника, как раз под портрет... Интересно, почему отец никого не вешает? Кто у нас сейчас? И Саня, конечно, вспомнил Ельцина, здорового мужика, похожего на огромный шкаф, механическидвигающего ручищами и ножищами.

Саня вздрогнул от неожиданности, когда отец схватил прочитанные листы, поставил их торцом, руками с двух сторон сбил в ровную стопочку, пару раз щёлкнул ими о гладкую поверхность стола, чтобы подровнять, затем положил перед собой, взял чёрную толстую, будто надутую, ручку и поставил на нескольких документах подписи. Сын знал страсть отца к красивым представительским ручкам, у него была и какая-то очень тяжёлая из мрамора, был тонкий изящный дорожный заграничный «Паркер», а ещё толстая красная, металлическая, похожая на ракету... Отец любил и перьевые ручки, одна была с позолоченным пером, она оставляла на бумаге тонкую линию поблёскивающих чернил, так выглядят реки с самолёта. Личная подпись у Владимира Михайловича Лусканова являла собой чудо каллиграфии и была похожа одновременно и на пируэты в небе группы высшего пилотажа, и на умопомрачительные вензеля оград старинных дворцов. Подпись начиналась с размашистой бури закругляющихся линий начальных букв, продолжалась нечитаемой, выбрасывающей петли вверх и вниз, пружиной фамилии и в конце превращалась в путаницу росчерков, из которых вправо вбок вылетала острая линия и тут же разворачивалась и стремилась в обратном направлении, как бы перечёркивая всё написанное, и замыкалась в вензеле начальных букв, добавляя туда последний и единственно необходимый для окончательного совершенства вензель-крюк.

Закончив шумный росчерк довольным «хм-хм-хм», отец положил документы на лоток в углу стола и поднял глаза на сына. Саня, да и не он один, с трудом выдерживал пронизательный разоблачающе тяжёлый этот взгляд. Лусканов смотрел строго и по-начальнически требовательно, так, что Саня весь внутри сжался, замер, почувствовав, как масляное пятно на рубашке прохладно прилипло к груди. Но вдруг отец улыбнулся. Улыбка у него была неожиданная, светлая, глаза его тут же загорались весельем, что моментально обескураживало собеседника — будто его сталкивали в нагретую солнцем воду.

— Ну? Физкультпривет? — отец вскочил из-за стола, энергично подошёл к сыну, крепко пожал руку, хлопнул по плечу и тут же отошёл к окну, где замер, и Саня заметил, что улыбка исчезла с его лица и настроение быстро вернулось к прохладно-деловому. — Как школа? Надо дожать уже школу... — хмыкнул и резко обернулся к Сане, стоявшему по стойке смирно.

Саня пробормотал, что всё нормально, дожимает, да и учёбы уже почти нет, постарается аттестат без троек... Здесь он замолчал, сообразив, что про тройки ляпнул зря, потому что в их семье «без троек» было сомнительным достижением: мать золотая медалистка и краснодипломица, у отца два высших плюс авиационное училище, которое по сложности в советские времена приравнялось к третьему. Мамина золотая медаль, чистая и светящаяся, будто гравированная вчера, лежала в серванте в красной коробочке с мягким рубиновым нутром — вечным назиданием и упрёком.

Отец заминку подметил, но лишь улыбнулся и вернулся за стол. Проходя мимо, взял за плечи, усадил сына, и лицо его снова стало серьёзным, мясистым, с неотступной тенью деловитости — таким, каким его видели подчинённые с девяти до шести.

Лусканов сидел за столом и смотрел на свои большие оплетённые венами руки, что-то тяжело обдумывая или подбирая слова... «Сейчас начнётся, — подумал Саня, как-то сразу подобравшись, выпрямив спину. — И тут же закончится», — добавил твёрдо, почти вслух, и ему стало жарко.

— Куда поступать-то собираешься? — поднял глаза на него отец, и выражение его лица было серьёзным, но не жёстким, а как будто сочувствующим.

Вопрос повис, Саня молчал.

— Так. Ты через полгода учёбу закончишь, ты вообще думал, что дальше? Учиться, жениться... В армию идти...

Отец снова заулыбался, в такие моменты он был домашним, доступным и потому выглядел странно в своём же кабинете.

— Смотри, — продолжил он серьёзно. — Решать, конечно, тебе, но в армии сейчас полный беспредел творится... хуже, чем на зоне... Брат здоровее тебя в два раза, да и в Германии ещё куда ни шло. И опять же, два года пропустишь — о высшем образовании можно забыть.

— Я бы у тебя поработал, пап, — вдруг сказал Саня, и от неожиданности у него прыгнуло сердце, и, не успев договорить, он понял, что сказал какую-то стыдную неуклюжую глупость, признавшись в самых сокровенных мечтах... Кто? Он? Работал бы? Где? Здесь?!

Но отец, кажется, понял его правильно. Он улыбнулся, и это была не усмешка, на его лице появилось сожаление, лёгкая грусть.

— У меня? Ты думаешь — «в бизнесе у отца», наверное, да? Да я бы рад... Только нет здесь никакого бизнеса. Мне самому делать нечего, — он резко помрачнел и посмотрел на стопку подписанных бумаг, затем бросил ручку на стол и откинулся в кресле. — А скоро и в стране ничего не останется...

Последняя фраза была странной, Саня её не понял.

— Понимаешь... — Лусканов коротко крутился в кресле, шарил взглядом по столу, иногда посматривая в окно, но не глядя на сына. — Не нужны этой стране квалифицированные специалисты... Стройки без нас обходятся. Всё сломали, а нового не построили... Всех разогнали, а сами... Из песка строят, из брака, который на выброс всегда шёл... Некондицию всякую используют. Вот я техническое заключение подписал, что материалы на стройку допускать нельзя — они то ли китайские, то ли вообще неизвестного происхождения, может, их из Чернобыля привезли... А в бетонной

смеси... — Лусканов пальцем постучал по стопке листов, — там же цемента нет, один песок! Это, случись чего, уголовка, срок! Но писать им — что толку? Им строить жилой комплекс надо, им бумажка нужна, а не наши эксперты, моё заключение... Они прочитают и выкинут. Закажут нужную справку другому, не государственному предприятию, а коммерческой фирмочке... рога и копыта... их как грибов... И в другой раз ко мне не обратятся. И я потеряю заказчика, деньги. Но, извините, я по-другому не могу. Не умею.

Отец замолчал, оборвав себя, заметив, что слишком увлёкся.

— У меня Игорь последнюю неделю дорабатывает, — вдруг с какой-то несвойственной ему жалкой улыбкой посмотрел на сына Лусканов и зачем-то глянул под стол, как будто ему срочно надо было увидеть собственные ботинки.

— Уходит?

— Сокращаем... Денег нет совсем.

Саня заёрзал на стуле, тот заскрипел.

— Сокращаем, конечно, не всех... Держимся. — Отец бормотал куда-то под стол, как будто говорил что-то ужасно неприличное, постыдное: — Игорь работу себе найдёт. Уже нашёл... А вот работяг на Бору на базе и тех, кому до пенсии немного осталось... никого не трогаем. Ничего, как-нибудь прокормим! Хотя как загадывать... скоро приватизация, выходим в акции... Чёрти что.

Лусканов задумчиво, будто провалившись вдруг куда-то в глубину, поднял голову, посмотрел в окно и замер, его голубые глаза стали белёсыми, а лицо бледным.

— Так! Ну ладно! Бизнесмен! — он словно очнулся, его лицо озарилось улыбкой, весельем. — Какой сейчас бизнес... У лотка стоять дисками торговать? Ширпотребом китайским, шмотками, трусами... Стёкла на светофорах мыть? Компьютеры вон возят ребята на втором этаже... Этим будешь заниматься, Сашк? Сейчас только они, мелкие торгошники... Ты ж не директор, не комсомолец. Ну и бандиты. Но какой из тебя бандит? В людей стрелять ты не будешь.

Саня хохотнул, невольно подумав «откуда он знает?», и ему в кабинете отца стало тепло, уютно. Лусканов стал снова серьёзным, замолчал. Затем вздохнул полной грудью, словно ему не хватало воздуха. Поморщился, сунул руку под пиджак, пытаясь что-то нашарить в левом кармане.

— На филфак пойду, пап, — сказал Саня с неожиданной для него твёрдостью.

— Так. Пед или... куда?

— В Лобач.

— Хм. Неплохо...

— Сдавать буду туда и туда, а там как получится, — совсем осмелел и разговорился Саня. — Хочется в Лобач, конечно, но Пед тоже ничего, там больше упор на педагогику... как бы...

— Как отчество у Грибоедова? — неожиданно спросил отец.

— Что? У кого? — опешил Саня.

— У Грибоедова. Александра.

— Э-э... — Саня вытаращил глаза. — Александр... Сергеевич? Нет, блин... это же Пушкин! А Грибоедов... Александр...

— Сергеевич.

— Как?

— Так.

— Тоже? Как Пушкин?!

— Да! — и отец засмеялся радостно, как ребёнок. — Потому все и путаются. Потому что они оба твои тёзки, и оба Сергеичи... Теперь будешь знать!

— Ясно. Спасибо! — сказал Саня, и ему снова стало неудобно.

— Так. Ладно, сын, я тебя понял. — Отец с шумом развёл руки в стороны по гладкому лакированному столу, как будто раздвинул шторы. — Это хорошо, что ты определился. Я рад... Так. Ты домой сейчас? — отец давал понять, что аудиенция окончена, и Саня тут же вскочил и шагнул к двери. Лусканов поднял трубку приёмной: — Людочка, Игорь внизу? Никуда не отъехал? Ага. — Он положил трубку и подмигнул сыну: — Найдёшь Игоря? Подбросит тебя. Прокатишься хоть... в последний раз.

Саня, как любой мальчишка, обожал кататься на машине, даже и сзади, на пассажирском диванчике. И хотя ездил всего несколько раз в жизни, не мог забыть просторное, пахнущее тканью, металлом и немного бензином нутро отцовской «Волги» с характерным дребезжащим урчанием, когда Игорь «давал газу». Это был настоящий восторг! Саня схватился за ручку двери, готовый бежать вниз к Игорю.

— Так. Деньги есть у тебя? — спросил отец и подошёл к сыну.

— Ну... Есть, наверное...

Отец смерил его весёлым взглядом:

— Ты совсем здоровый вырос, тебе надо одеться как-то... новые джинсы купить, плащ кожаный давай съездим присмотрим на выходных... Да и девчонки уже есть, наверное, так?

Отец снова подмигнул. Саня улыбался, счастливый от столь непривычной отцовской щедрости. На эмоции, на отношение. Хотя и плащ. Кожаный. Невозможно поверить.

— Так. И на курсы тебе же надо! Подготовительные... Там недёшево, конечно, но что поделать...

Отец подошёл к шкафу, скрипнул дверцей, нащупал плащ, достал из кармана пухлый кожаный бумажник, отсчитал несколько гнутых купюр, поставил на ребро на стол.

— Ну... про курсы дома поговорим. Там уже начались занятия? А чего молчишь? Завтра же иди и учись... Бизнесмен!

Отец хлопнул Саню по плечу, приобнял, Саня тоже хотел обнять его, потянулся, но вышло неловко, отец крепко погладил его по загривку и легко потрепал по голове.

— Всё! Всё! Иди! Работать надо! Гоша тебя ждёт! Для тебя — Игорь! — отец говорил весело и громко, забыв, как только что откровенничал — «нет никакой работы».

Саня вышел, задев ногой дверь, едва не споткнувшись. Он попрощался с Людой, и отец услышал, как сын бежит по лестнице вниз, шлёпая с шумом, перемахивая через три ступеньки. Лусканов сунул бумажник обратно и хотел было закрыть шкаф, но вдруг заметил неладное — покрутил, повертел плащ, присел, посмотрел в глубине шкафа, но нет, бесполезно — пояса нигде не было.

* * *

В июне было тепло, пыльно, на улице днём — уютно, как дома. До вступительных экзаменов оставалось полтора месяца. Саня от круглосуточной зубрёжки совсем одичал, а в списке обязательной литературы застрял где-то на середине. Настя ему помогала, отличница, знающая два языка, за свои экзамены она не волновалась и всегда была рядом. Тем более родители Сани приняли её и пустили в дом —

как «официальную» девушку! Первые визиты допоздна, а потом и ночёвки сопровождалась с их стороны такой застенчиво-серьёзной церемонностью, что каждый раз, вспоминая те дни, Саня с Настей не могли удержаться от смеха. Мама торжественно выдала им лучший в доме комплект постельного белья, в ванной выделила для зубных щёток «молодым» отдельный стаканчик, а отец, хоть и приходил выпившим всё чаще, стал вставать на работу ещё раньше, чтобы уж точно не пересечься на утреннем туалете с молодой красивой девушкой, которую он как будто побаивался.

Родители на удивление не мешали. Только иногда сквозь плотную пелену напряжения марафонца, бегущего последние километры до экзаменационного финиша, Саня слышал, как мать по ночам тихонько плачет на кухне, замечал, что иногда по утрам отец выходит из дома в домашней одежде и идёт не к дороге, чтобы поймать машину до работы, а уходит куда-то влево, за дом, и теряется во дворах. А пару раз он видел отца среди бела дня рядом с пивной у стоячего круглого столика в компании мятых мужичков с пузатыми кружками в руках — и это было настолько дико и непривычно видеть, и Саня настолько не понимал, как на это реагировать, что старался тут же эти картинки из сознания вытеснить. Сانه казалось, что родители держались, откладывали семейные разборки, понимая, что у сына решающий в жизни момент... Но, возможно, они просто устали, а мать опустила руки. Она всё чаще уезжала на несколько дней в их садовый домик в Афонино и всё реже готовила для мужа и сына. Саня ходил голодным.

Но всё чаще дни и ночи напролёт они с Настей зависали в его комнате, на диване, в месиве из простыней, одеял и подушек. Тут и там валялись конспекты, блокноты, книги, из-под подушки выглядывал вечно сонный Обломов, в горном массиве мягкого одеяла затерялся вольный Лермонтов, декабристы, собранные в одном томе, канули в глубоком руднике пододеяльника, Каренина лежала под диваном, как под поездом. Иногда, конечно, Саня с Настей занимались сексом, молодым, ненасытным, упругим, — на этих же простынях, сдирая их тонкую грибную кожицу с проплешин дивана, и книжки Саня, когда успевал, убирал, — перед классиками неудобно.

Саня как будто варился в жарком, душном, пропитанном потом, буквами, бессонными ночами, ласками и поцелуями котле... Они с Настей не ходили гулять или купаться, не ездили в лес или в центр города в кино, а в последние недели перед экзаменами Саня старался вообще не выходить на улицу, даже в магазин. Он знал, что там, снаружи, лето-жара-июль, и он боялся сорваться, пойти на пляж, взять пива, расслабиться... Он одичал. И даже стал реже мыться, из-под палки стирался, со скандалом удалось его затащить в парикмахерскую. Но незаметно, как всё бесконечное и невыносимое, самоистязание кончилось, — из душного рудника Саня вышел на улицу, направился к автобусной остановке и вдруг понял, что идёт на последний экзамен. Через несколько часов всё закончится. Всё. Точка. А там уже пан или пропал. И начнётся что-то новое. И может быть, это будет Университет имени Лобачевского. А может, и нет. Гадать уже не было сил.

У Насти в тот день был тоже экзамен, и тоже последний, но она сдавала всё на «отлично». Скучно. Никакой интриги.

К двум часам дня Саня освободился, с отчаянной обречённостью он пошёл сдавать одним из первых и ему повезло. В билете по русской литературе достались не «Повести временных лет», не Сумароков и XVIII век, не Гиппиус и «женская лирика», не бурные шестидесятники или многочисленные «поэты фронтовой поры», а ясные, вечные, родные «Братья Карамазовы». Их Саня читал, знал, любил, помнил

демонический прищур жуткого брата Ивана, похожего на Берию, рыдал в конце книги, когда на каторгу забирали Митю, а ещё там были самый лучший, самый добрый брат Алёша и святой, который «провонял»... Саня отвечал по билету вдохновенно, уверенно, дополнительных вопросов не задавали, остановили и отпустили с миром. Оценки обещали огласить через три часа после окончания экзамена, ведомости будут вывешены на доске в главном холле Университета, где Приёмная комиссия, или «позвоните в деканат, секретарь сообщит вам».

От старого корпуса Универа на проспекте Гагарина Саня решил пешком дойти до площади Лядова, пройти по тесной короткой улочке до площади Горького (ещё одна круговая), там перекусить в макдаке гамбургером за восемнадцать рублей со стаканчиком «Фанты» и «детской» картошкой фри, если, конечно, не будет очереди, спуститься по Свердловке, то есть теперь по Покровке, центральной пешеходной улице Нижнего Новгорода, и выйти на главную площадь — Минина и Пожарского. А там, у серо-чёрного здания Пединститута, математический факультет которого в своё время окончила мама, сестя на «рогатый» (троллейбус) и поехать в иняз к Насте.

Саня шёл через центр города, и ему казалось, что он молодой великан и шаги его двадцатиметровые, тридцатиметровые — и он крутит под собой горячий, дышащий, залитый солнцем июльский город, который впервые за его жизнь распахнулся перед ним, расступился, как море перед Моисеем, и обрёл и объём, и звук. Саня вдруг слышал голоса людей, разговорчики, вскрики, детский смех, щебет птиц, музыку из окон, рёв разнокалиберных моторов и сигналы машин на проспекте Гагарина. Он увидел цвета: яркий золотой солнечный, насыщенный, словно масло, льющийся через сито деревьев, синее ровное молодое небо, чёрный запылённый, как спина рептилии, асфальт, жёлто-белые старые здания, щедро облитые солнцем, пепельно-белёсые девятиэтажки, красные шортики девочки, скачущей по дорожке, зелёное платье рыжеволосой молодой женщины, синие джинсы её спутника, нежно-малиновую кофточку бабушки, вышедшей из магазина... Саня почувствовал прикосновение мира к его коленям, рукам и лицу, нежный парусный ветер, пикирующий с вершин деревьев, горячий воздух с проспекта, а ещё вдруг его ног коснулось лёгкое дуновение от прошедшей мимо в зелёном платье... Откровением ему раскрылись запахи: маслянистый горячий — с дороги, пыльный полевой — с тротуара, свежий дышащий — тополей, источали аромат оранжевые цветочки в палисаднике сбоку от тротуара, с ними боролись духи-одеколоны прохожих. Всё это через минуту смешает в единый летний коктейль идущая на них поливалка — рыхлый грузовик, «газик» с кургузым бочонком, льющий вверх из усов распадающуюся в бисер воду!

Город раскрылся перед Саней, как разломленный гранат, брызнул и смёл его потоком жизни, буйством многообразия... Наверное, это и называют счастьем, думал Саня, вот это, что приходит после труда и заточения, после несвободы школы и запретов детства, вдруг однажды летом обрушивается на тебя жизнь, бьёт всеми красками и стихиями, как ударяет волна в отвесный берег, и счастье, благо этого мира, голое, живое, трепещущее, ревущее, звонкоголосое, затапливает тебя по пояс, по грудь, по шею, и ты почти не можешь дышать.

У иняза, где было столько красивых и шикарно одетых девчонок, как будто попал в центр Парижа, Саня, сам в новых варёных джинсах и моднейшей футболке Lacoste с крохотным вышитым зелёным крокодилчиком, выловил сдавшую вступительные Настю, и они пошли к ней домой — родители уехали к друзьям на дачу в Зелёный город. До дома Насти можно было дойти пешком, она жила в центре, на Варварке. Оба устали и шли в обнимку, но даже не целовались, не разговаривали, а только улыбались,

и со стороны были похожи на молодожёнов после длительного медового месяца, перенасыщенных друг другом, хотя на самом деле изматывающими голову и нервы экзаменами.

Пришли домой, Настя успела сделать бутеры с колбасой и сыром, заварить чай и себе какао с молоком, но даже не дождались, когда остынет, — как только повалились на диван, взявшись за руки, тут же вырубилась.

Проснувшись, спохватились, что всё проспали и институты позакрывались, но нет, сон был сладким, глубоким, но недолгим. Бросились искать новомодную чёрную громоздкую трубку — у Насти был сотовый телефон¹, и начали названивать в свои деканаты. В инязе взяли трубку быстро, и звонкий голос лаборантки под шуршание листочков ведомостей выдал Насте ожидаемое «отлично!» Саня расцеловал свою умницу-отличницу и принялся звонить в Лобач, тщательно нажимая на трубке цифры, записанные у него на подушечке большого пальца. В центре, под рёбрами, где-то над желудком, словно заработал крошечный насос, вытягивающий изнутри воздух, знакомый любому, кто хоть раз в жизни сдавал экзамен.

Короткие гудки, там было занято, и занято снова; через несколько попыток Саня запомнил номер и набирал без шпаргалки. Серьёзно посматривал на Настю, которая переживала и хмурилась. Наконец, дозвонился. В груди загудела струна, под мышками выступил пот, из трубки пахло его же горячим дыханием. «Здравствуйте! Я такой-то. Сегодня сдал экзамен. Хотел бы узнать...» И в ответ: «Пока ещё не сдали, молодой человек. Сейчас посмотрим...»

Женщина с голосом университетского старожила положила трубку на стол и — не уходя далеко, где-то рядом, долго дышала, шуршала бумагами, пару раз что-то выкрикнула, послышались шаги, взяла трубку, зазвучал её голос, но... Какая-то чёртовщина! Его фамилии в ведомостях не было. «Но вы не переживайте пока. Наверное, лаборантка забыла вписать. У нас ничего не теряется. Всё найдём. перезвоните. А лучше продиктуйте свой телефон».

Саня замахал Насте рукой, показывая на трубку, она диктовала ему, он дублировал цифры. Женщина на том конце номер записала, повторила, извинилась, её голос потеплел, обещала перезвонить... Саня отключил трубку большой красной кнопкой и выдохнул, и широко улыбнулся. У них ничего не теряется! Ладно, осталось недолго... Через минуту, две, пусть десять, пятнадцать, всё-всё-всё-всё — закончится.

Перезвонили тут же, через секунду, Саня не успел выдохнуть. Он резко схватил трубку. Открыл рот, чтобы крикнуть «алло!», но услышал голос матери.

— Алло, Настя?.. Алло?... — спросила мама робко.

— Это Саша, мам, — ответил он гулким, летящим в пропасть голосом.

— У папы инфаркт. Он при смерти. В реанимации. Я с ним. Врачи говорят, шансов мало. Приезжай. Пятая больница. Реанимация... Там найдёшь.

¹ Так называли мобильные телефоны, когда они только появились. Затем их стали называть «мобильными телефонами», «мобильниками», «мобилями», и это название держалось долго. Затем, когда кнопочные трубки стали уходить, новые называли уже — «смартфонами». Сегодня, в 2022 году, все эти названия исчезли, как почти исчезли стационарные телефоны. И мобильные телефоны теперь просто — телефоны. Захват слова «телефон» шёл долго и окольными путями и, наконец, мобильная трубка отняла название у стоящего дома на тумбочке телефонного аппарата, который сегодня называют — «проводной телефон».

Эпилог

Шляпников наобещал рабочим УПТК «Нижегородстройресурс» золотые горы, бегал, суеился, ночей не спал, ездил на Бор, агитировал, устраивал собрания, в итоге работяги дрогнули. После приватизации у них на руках были акции, с которыми они не знали что делать. Их директор лежал с тяжелейшим обширным инфарктом. Доходы падали, ручеёк зарплаты мелел. Шляпников размахивал пачками живых денег. И они сдались и Лусканова предали. Кооператор лаской и пряником вытянул из них — скупил все выданные работягам акции УПТК, после чего уволил всех разом, в один день. Без компенсаций и выходных пособий. Деньги со счетов компании Шляпников вывел и спрятал. Работяги пошумели, покричали, в лобовуху новенького лупоглазого «мерина» Петра Васильевича прилетела бутылка из-под водки, но народные волнения быстро затихли, когда бывшим работникам стали звонить следователи районной прокуратуры.

Осенью Лусканов, сильно похудевший, но и посвежевший, с новым выражением испуганных глаз, в которых не было и следа былой начальнической жёсткости и уверенности, после полугода сложной реабилитации — Нижегородский областной кардиоцентр стал родным домом — приехал в свой кабинет. Там, несмотря на появление нового полноправного собственника, ничего не тронули, даже не заходили. Правда, Люды уже не было, про неё говорили, что работает на «двойке» — второй городской маршрутке — кондуктором, деньги хорошие. Интересно, подумал Лусканов, зайдя в кабинет, она кактусы с собой забрала? Обманчиво пушистых белёсо-сизоватых головок, скрывающих тонкие острые иглы, в приёмной он не увидел.

Лусканов в дорогушем, привезённом другом Аликом из заграницы спортивном костюме Adidas с белыми лампасами, полдня просидел в кабинете. Он несколько часов перекладывал бумаги с места на место, двигал и проверял скрипучие ящики стола, будто там могло что-то за время его отсутствия появиться, осматривал стены, шкафы, подолгу смотрел на улицу. Как будто прощался.

После обеда пришёл Шляпников, он был толще прежнего, протиснулся в дверь боком, раскрасневшийся, пышущий, дышащий, как скороварка, переполненный плохо скрываемым довольством, чувством хозяина, власти.

Отец потом рассказывал, что Шляпников вошёл, встал в центре кабинета, улыбнулся, протянул толстую надутую ладонь и предложил Лусканову перейти на «ты». Лусканов долго сидел, глядя на вытянутую, как указатель далёких городов, руку, сидел и смотрел, но так и не смог заставить себя встать из-за стола, подойти. Хотя зла на Шляпникова не было, тот даже разок навещал его в больнице.

Через минуту стояния с протянутой рукой Шляпников вышел. А затем уволил генерального директора Владимира Михайловича Лусканова. И больше Лусканов его не видел. Хотя знал, что предприятие после его увольнения ни дня не работало — только он, дурак, своим умом, упрямством, связями по всей стране мог заставить УПТК, этого вымершего динозавра, барахтаться, зарабатывать деньги, кормить сто человек, брошенных государством, но не брошенных им. Шляпников уволил последних сотрудников, охрану, главбуха, вывез на самосвалах старую мебель, бумаги, архив — на помойку, после чего сдал помещения бывшего УПТК в аренду, и так как площадь Лядова — это престижный центр города, долгие годы неплохо кормился — и он, и его дети, и до сих пор, когда пишется эта повесть¹, по реестру компания числится, аренда капает и доход получают, видимо, уже внуки.

¹ В 2022 году.

На месте УПТК в кабинетах седьмого этажа серо-чёрного здания с панорамными окнами открылся сначала магазин элитной бытовой техники — тёмно-синие, цвета мокрого асфальта, как тогда говорили, микроволновки, прозрачные стеклянные чайники, высокие, как небоскрёбы, стальные холодильники, — затем туда въехала шумная с разноцветными буклетами с пальмами и лазурными берегами турфирмочка, потом, кажется, этаж арендовало и закрыло на семь замков тихое незаметное модное в те времена «частное детективное агентство».

Мать за время болезни отца осунулась, похудела, даже, страшно сказать, — постарела, но странно, в ней не было подавленности, в её облике появилось что-то смиренное и светлое — в её чистых чёрных глазах; в её фигуре прочертилась благородная осанка, будто ежедневные поездки в кардиоцентр добавили ей героического ореола, как жене декабриста.

Саня переживал за отца страшно, постоянно о нём думал, почему-то винил себя, но ездил к нему редко — запрещала мать, зная, что отцу неприятно, когда родной сын его видит слабым, исхудавшим, измученным бесконечными процедурами. Сын мать слушался, да и у самого — тяжелейший первый курс, даже с Настей стали видеться реже, зато Гомера «Илиаду» и «Одиссею» новоиспечённый филолог знал, фрагментами, наизусть. И знал, кто такие Эмпедокл и Аристофан, а ещё того древнего поэта, от которого не осталось ни имени, ни даты, а только полторы оборванные строчки на глиняной дощечке. Учился Саня яростно, фанатично, и иногда у него мелькала мысль, что чем больше он боится за отца, тем сильнее погружается в античность, старославянский, современный русский, вгрызаясь в литых из чугуна Вернадского, Гаспарова, Томашевского.

Настя училась ровно, сплошь на пятёрки, собиралась на стажировку в Лондон, мечтала там присмотреть настоящее европейское свадебное платье: не русский самовар, а прямое, недлинное, обтягивающее бёдра. Саня идею одобрял, но как-то неопределённо при этом улыбался.

Пожениться они не поженились, а в следующем году расстались. Правда, Саня к тому времени работал уже в Москве, в организованной вернувшимся из армии братом Андреем рекламной фирме: занимался политехнологиями, пиаром и выборами, филфак пришлось бросить, хотя читать книжки полюбил на всю жизнь. Настя встречала Рождество в Лондоне, в семье очаровательного, пусть и лысого, британца, который весной предложит ей руку и сердце.

В последний раз в жизни Саня увидит Настю, когда прилетит в Нижний на похороны отца. Она будет навещать родителей, которые не захотели уезжать из России.

Той осенью, когда отец выписался из кардиоцентра, старый еврей и опытный в городе кардиохирург скажет отцу, что после таких инфарктов люди живут пять лет, а там может грохнуть второй, уже последний. Категорически ни алкоголя, ни пива, ни сигарет, ничего жареного, солёного, тяжёлого, как и нагузок — никаких нельзя: умрёшь.

Но отец, конечно, иногда выкуривал сигаретку-другую, иногда брал пивка, да и сумки таскал, и в саду сам, один, строил маленький симпатичный, похожий на резную игрушку, домик. Знал, что ходит под занесённым молотом нового удара, знал, чем грозит любое брёвнышко, рюмка перцовки, глоток «Окского», знал, но — с помощью тех же рюмок и глотков — об этом старался не думать.

Умер Владимир Михайлович, как и завещал доктор, от второго инфаркта — ровно через пять лет после первого.

В тот год, когда отец выписался и ожил, стал весёлым, много шутил на радость воскресшей матери, когда Настя и Саня только начинали учиться и были неразлучно вместе, занимаясь регулярным домашним сексом и у неё, и у него, когда вернулся

из армии брат Андрей, но ещё не угнал в Москву, чтобы перетянуть туда Саню, когда все были в сборе, единой большой семьёй, выжившей в эти проклятые девяностые, — тогда никто, конечно, не понимал, что это самое настоящее счастье, огромное, быстротечное. Такого единства никогда больше не повторится. Лебединая песнь семьи, в глубине которой жила любовь и, когда вода становилась прозрачной, проблёскивало счастье.

Той весной Саня с Настей пошли на Речной вокзал смотреть ледоход на проснувшейся Волге. Толстые могучие льдины царственно, медленно, неостановимо, в окружении спутников помельче, двигались, текли, как панцири белых динозавров, опасно сближаясь и гулко сталкиваясь в водоворотах, хрустели, как суставы, обдирая края, ломаясь пополам, вскрикивали, трещали звонче, скрипели и скрежетали, наезжая, наваливаясь друг на друга, как борцы на татами. Белизна слепила. Речной воздух был свежим, он будто тоже расцвёл и пах жизнью, весной, хотя ещё был прохладным, резким, игриво, как пушной зверь, ныряющим за воротник, в рукава.

Они стояли и смотрели на причудливо изломанные, похожие на острова льдины, спешащие к морю, теплу и смерти, и вдруг Саня в полный голос запел:

— Над го-о-о-родом Го-о-орьким, где я-я-сные зо-о-орьки...

Но Настя закричала, засмеялась, замахала руками:

— Почему «над», Сашка! Там не «над», а «под»! Ты что? Ну? Как так можно?!

Саня смотрел непонимающими глазами. Настя схватила его за рукав, прижалась к нему и, глядя в небо над Волгой, раскачиваясь и раскачивая Саню, запела красивым девичьим голосом, растягивая, как положено, гласные:

На Во-о-лге широкой,
На стре-е-лке далё-о-кой
Гудками кого-то зовёт пароход.
Под го-о-родом Горьким,
Где я-а-сные зорьки,
В рабочем посёлке подруга живёт...

— Так что — «под»! Вот оно — «под»! — Настя показала рукой в сторону заречной части, где лежало Канавино, а за ним Ленинский, Сормовский, Автозаводский районы. — Город у нас, Сашк, как ты знаешь, состоит из верхней части и нижней, центр наверху, а внизу раньше были только заводы да рабочие посёлки... И человек, который сочинил песню, он наверху стоит и поёт, что под ним ясные зорьки и подруга его в посёлке живёт — там где-то...

Настя замолчала, посмотрела на Саню. Изо рта у них шёл еле заметный пар, становилось прохладнее, смеркалось. Чёрная фигура собора Александра Невского, напоминающая шахматную, чернела всё резче, отчётливее, становилась грозной. В ещё зимнем небе таял короткий красноватый мазок скупого заката.

— «Сормовская лирическая», автор Евгений Долматовский... — продолжила Настя задумчиво.

— Сормовская? — восторженно Саня.

— Ага.

— Я вообще-то в Сормове родился. Там мама с родителями жила. На улице Баренца... А потом мы наверх переехали.

— Видишь, значит, ты родился под городом Горьким, а живёшь над. Правда... города Горького больше не существует.

Владимир Салимон

Цепочка превращений

* * *

Из шума вётел у реки
узнаешь, что в живой природе
никто не чахнет от тоски,
никто не сохнет по свободе.

Как ты да я,
как мы с тобой.
Как те же Моцарт и Сальери.
Как Пушкин и его друзья,
что не хлопочут о карьере.

Любовь, спасибо и на том,
не отберёшь и не отсудишь
у нас неправедным судом.
И потому —
ты любишь, любишь.

Всё не насытишься никак —
жену, детей, родные стены,
своих друзей,
вино, табак.
И жгучий перец из Кайенны.

Салимон Владимир Иванович — поэт, автор 25 книг стихов. Родился в 1952 году в Москве. Главный редактор журнала «Золотой век» (1991—2001), заместитель главного редактора журнала «Вестник Европы XXI век» (2001—2011). Лауреат Европейской поэтической премии Римской академии (1995), Новой Пушкинской премии (2012), премии «Венец» (2017) и др. Постоянный автор «Дружбы народов». Живёт в Москве.

* * *

Как-то всё не так пошло,
как должно бы по задумке,
как хотелось, как могло.
Или близостью чугушки
объясняется вполне
боль, сидящая во мне.

Лес стоит столбом, как будто
в столбняке, стоит вода —
неподвижна гладь под утро
деревенского пруда.

Трудно? Трудно! — отвечаю
сам себе в ночной тиши.
Или Богу, я не знаю.
Рядом нету ни души.

Бог смеётся — Неужели? —
мне напомнив о судьбе
старика, что еле-еле
за ослом брёл по тропе.

Ночь темна. Глуха сторонка.
Шум погони — в двух шагах.
А жена — ещё девчонка.
И младенец на руках.

* * *

Ты идёшь, а за спиной
у тебя не черти пляшут,
а с опушки мать с женой
вслед тебе руками машут.

Оглянёшься — вон они!
Приглядишься — две берёзы.
Могут быть и в наши дни
столь досадные курьёзы.

Тут не мистика — любовь
с нами злые шутки шутит,
то и дело, вновь и вновь
крутит-вертит, воду мутит.

Оглянёшься — никого.
Ничего. Туман ложится.
Только где-то далеко
бьёт крылом ночная птица.

* * *

Замкнув цепочку превращений,
вспорхнула в небо стрекоза.
Из чащи сада юный гений
следит за ней во все глаза.

Он жадно ловит цепким взглядом
взмах каждый стрекозиных крыл,
он для себя, сокрытый садом,
мир подлинных чудес открыл.

Быть может, будущий Сикорский
следит сейчас за стрекозой,
за бликом света, тенью скользкой,
мятущейся перед грозой.

Я постараюсь еле слышно,
едва заметно проскользнуть,
иль сесть поодаль неподвижно,
чтоб вдохновенье не спугнуть.

Поскольку ангел вдохновенья
и боязлив, и трусоват,
чуть что — бежит без промедленья
и не торопится назад.

* * *

Возможно ль выразить, бог весть,
в презренной прозе,
как, словно кровельная жесьь,
листва грохочет на морозе?

Как чуть потрескивает лёд
на окнах,
звякает посуда,
когда, открыв буфет, берёт
старик графин с вином оттуда?

Я знаю — бедность не порок,
но жить нам хочется богато,
иль делать вид, коль есть предлог,
изображать аристократа.

Старик вино нальёт в бокал,
оставив в сторону гранёный
стакан, похожий на вокзал
пустой, огромный, полутёмный.

* * *

Свет погас. Сгорели пробки.
Дым пошёл. Пахнуло сажей.
Можно вынести за скобки
половину жизни нашей.

Утром ранним на скамейке
размышленьям предаёшься —
мысли всякие, идеи,
всякий вздор — не отмахнёшься.

Множество второстепенной
и поэзии, и прозы
из эпохи довоенной —
глупый смех, пустые слёзы.

Отвлечёшься разве только,
увидав, как с ветки ели
шарит чёрным глазом сойка
не без смысла, не без цели.

* * *

Так тихо, что услышать можно,
как прорастают семена,
как, встав всех раньше, осторожно
в сад пробирается жена.

Я сплю. И это всё мне снится.
Сад за окном. Жена в саду.
Как тщится семя разродиться
листочком, упавши в борозду.

Оно его рождает в муках,
но я, не смысла ничего
в сельскохозяйственных науках,
предполагаю, что легко.

Стенанья горестные, стоны
не слышу я, поскольку сплю.
А сны безбрежны и бездонны.
Бессмысленны, как жизнь в раю.

* * *

Дивана не было.
Сидели
на койке.
Пенилось вино.
Ведь винопитье в самом деле
для нас важнее, чем кино.

Тут был не прав, Ульянов-Ленин.
Иль так считал другой мудрец?
Забыл. Не помню.
Не Есенин?
Не Блок?
Не Пушкин, наконец?

Но помню ясно совершенно
тот день, как дождь всё лил и лил,
трещал сверчок самозабвенно,
пока не выбился из сил.

Свой треск и скрежет полагая
весёлой песней, что должна
утешить тех, кому Святая
Русь — не чужая сторона.

* * *

На него никто вниманья
не желает обращать —
он флажок на крыше зданья,
что забыли поменять.

Что творится непонятно,
и какая нынче власть —
красная пришла обратно
или белая напасть.

Был он красный, стал он белый.
Ветер треплет. Дождь сечёт.
Дождь с утра сегодня целый
день до вечера идёт.

И не в силах разобраться —
кто мы и куда идём,
плакать нам, или смеяться,
осенил я лоб крестом.

* * *

В полдень тени жмутся к дому,
держатся вблизи кустов.
Люди чувствуют истому.
Избегают лишних слов.

Час безличных предложений.
Мёртвый час. Жара.
Пыльца
отцветающих растений,
словно пудра для лица,

покрывает нос и щёки,
норовит забиться в нос
нам при выдохе и вдохе
и доводит нас до слёз.

Что ж, поплачем.
Отчего же
не поплакать нам сейчас.
Добрый, мудрый, щедрый Боже,
Ты пошто оставил нас?

Александр Киров

Где-то рядом Карма

Рассказы

Свар

Плакал Пашка не потому, что умер дедушка. Вернее, и поэтому тоже. Но больше плакал он потому, что не успел с дедушкой попрощаться. Вернее, что не так с дедушкой попрощался, как следует, когда уезжал в пионерский лагерь.

В лагере Пашку полюбили все. Сначала посмеивались: этакий деревенский увалень. Но когда Пашка лёгким толчком в грудь запустил недоброго обидчика в кусты, смеяться, конечно, не перестали, но издеваться больше не пробовали. А над тем, что над ним посмеиваются, Пашка и сам смеялся. Ростом со средних размеров мужика. С пузом и щеками. Смехом, от которого люди зажимали уши. И несокрушимым аппетитом. Весь отряд собрался смотреть, как Пашка высасывает у рыбы глаза, когда по случаю небывалого клёва их кормили на обед ухой. Пашку это не смутило.

— А вы головы едите? — спросил он у ребят.

И десяток рыбьих голов легли Пашке в тарелку.

А как он играл адмирала в спектакле на день открытых дверей! Правда, там не было слов, но величественный Пашкин профиль передавал всё благородство натуры морского полководца. Этого не могло смутить даже то обстоятельство, что посреди номера он, зажав пальцем одну ноздрю, довольно внятно высморкался, предупредительно отвернувшись от зрителей. Чего не простишь морскому волку!

Через два дня Пашку вызвали к начальнику лагеря. Вернулся он угрюмый, чего с ним за смену не бывало. А после расспросов, что там с ним сделали, вдруг заплакал. И плакал до вечера с перерывами. Так ревел, что не мог толком ничего объяснить. И когда молоденькая вожатая сама сказала остальным ребятам, те лишь недоумённо пожали плечами: ну понятно, жалко, но чтобы так из-за деда какого-то...

Дедушка и Пашка дружили. Не понарошку, а по-настоящему. Алексей был Пашкиным дедом со стороны матери. Со стороны отца дедушка тоже был. Бывший

Киров Александр Юрьевич — прозаик, поэт, эссеист. Родился в 1978 году в Каргополе Архангельской области. Печатался в журналах «Октябрь», «Знамя» и др. Автор книг повестей и рассказов, в том числе «Митина ноша» (2009), «Последний из миннезингеров» (2011), «Полночь во льдах» (2012), книги литературоведческих эссе «Русские каприччо Бориса Евсеева» (2011). Лауреат ряда литературных премий. Живёт в Каргополе.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2023, № 1.

военный, моряк. Жил он в Мурманске, к детям, как он называл Пашкиных папу и маму, ездить не любил, но их принимал охотно. А вот Пашке через два дня жизни в большом городе становилось тоскливо. И дед был бравый. И квартира у него просторная. И бабушка добрая. И вкусняшками заваливали. И море. И корабли... А вот хотелось домой, в деревню, на речку. К дедушке Алексею.

Дедушка Алексей никаким военным не был. Всю жизнь шоферил. Сначала в колхозе, потом в фермерском хозяйстве. Капиталу не нажил. Разве что старый «Москвич», который раз в год перебирал до винтика и говорил, что агрегату этому сто лет снесу не будет. Человек он был молчаливый, задумчивый. Всё время что-то делал. И дело между мыслями спорилось у него в руках.

То он забор чинит. То мостки делает. То в бане пол меняет. То опять в «Москвиче» ковыряется. А Пашка рядом. Стоит... И дел-то у него, что молоток держать, или топор, или отвёртку — а важности... Правда, Пашке довольно быстро скучно становится просто так стоять. Он сначала дедушку расспросами донимает. Но с дедом разговаривать — дело так себе. Тот больше слушает, кивает, негромко говорит: то подай, это положи, сюда посвети, ага, ага, молодец. И Пашка со скуки начинает здороваться со всеми прохожими. И со всеми разговаривает, и всех слушает, и во всё вникает. Но стоит деду что-то негромко сказать, сразу всё бросает и бежит к деду.

Алексей работает-работает, пот со лба утрёт и скажет: «Всё, Пашка. Надоело. Задолбало. Поехали на рыбалку». И Пашка скачет, и ржёт, и таскает в машину удочки, мешочки, баночки. Причём он знает всё. Спросишь у него: «Паша, зачем вот эта маленькая баночка?» И Пашка ответит, что иногда они с дедушкой рыбачат с берега. И как тогда разойтись в разные стороны на разведку, если все червяки в одной банке. А?

Посмотрит-посмотрит Пашка на любопытствующего, весело подмигнёт и скажет: «Так-то». И пойдёт дальше дедушке помогать.

Уезжают они после обеда, ближе к вечеру. Возвращаются на следующий день к обеду, ближе к утру. Домой не заходят. Начинают пороть-потрошить рыбу. Пашка и здесь знает. Когда чешую сдирать, когда оставлять, если рыбу коптить. Когда головы кошкам-собакам скормить, когда для ухи приберечь. Вот дед-то его и научил у рыбы глаза высасывать. Это, мол, самое вкусное, а если рыба копчёная, и вовсе деликатес.

«И как я теперь буду?» — сам у себя спрашивал Пашка, когда отец вёз его на дедовом «Москвиче» из лагеря домой.

И украдкой, стесняясь, потому что уже взрослый, вытирал накатившуюся слезу.

А распрощались они с дедом как... Алексей бензопилу чистил после работы. Пашка около обеда уезжал, а дед с утра успел машину горбыля на дрова распилить.

— Дед, я поехал! — подбежал к нему Пашка.

— Давай отдохни там, повеселись.

Пашка хотел обнять деда, но тот был в грязной робе и замахал руками.

— Что ты, что ты, перемажешься весь. Давай поезжай, дружок, смена быстро пролетит...

Вот и подъехали они с отцом к тому самому месту, на котором Пашка распрощался с дедом.

Весь день Пашка держался молодцом. Бегал, хохотал, возился с младшим братом. Но вот накатил августовский вечер, схлынула дневная жара, загустел воздух, подёрнулся сначала сумерками, потом темнотой. И так же темно стало на душе у Пашки. А потом из облаков выплыла огромная луна. Такой луны не было никогда

в его десятилетней жизни. И от этой бесстыжей луны стало уж совсем как-то нестерпимо больно.

Родители сидели в детской, у Пашкиного дивана. Пашка рыдал, уткнувшись лицом в подушку.

— Паш, ну будет тебе, — успокаивала его мама, а прикоснуться почему-то боялась.

— Утро вечера мудренее, — рассудил отец.

Родители ушли к себе в спальню, и через минуту раздался тяжёлый отцовский храп. Отец работал сутками напролёт. И семья перебивалась как-то. Только времени на неё у отца не оставалось.

Утром не стало лучше. От Пашки словно отрезали лучшую его часть. И теперь он никчёмным увальнем болтался там, где до этого оправданно существовал рядом с дедом.

Мать пробовала давать ему поручения, да куда там. Пашка путал в магазине ряженку с кефиром, ячку с ячменём. Расплёскивал воду. А когда его попросили переколоть пару поленьев, немедленно тюкнул себе по ноге. Несильно, даже зашивать не пришлось. Но неделю просидел Пашка дома. А дома ведь как. Иногда стены помогают, иногда давят. На Пашку они давили. Он никогда не сидел с дедом дома. Дед словно бы чувствовал, что никогда не умрёт на улице, и поэтому с первыми лучами солнца бежал из дома прочь. Смерть сразила его ночью, во сне. Наверное, он даже не понял, что умер.

Потянулись серые будни обживания после утраты. Скучные, тоскливые, беспробудные. Пашка вдруг понял, что, кроме дедушки, у него нет друзей, что, кроме дел с дедушкой, у него больше нет занятий. Пробовал читать... Но читал Пашка плохо, неохотно. Он не понимал, что там, в книгах, поскольку они были бесконечно далеки от его деревни с тёмными домами, двумя улицами с одним фонарём, злыми цепными собаками и хмурыми мужиками, из которых Пашкин отец единственный не пил.

Пашка слонялся по деревне. И началось то, чего не было при дедушке. Там шуганут, здесь окрысятся, в третьем месте домой отправят. Мешаешь, чего встал, хрен ли вылутился. И Пашка одичал и озлобился и перестал здороваться с людьми. Пробовал подружиться со своей собакой, но она всё лежала в будке, выглядывала наружу, лизала Пашке руку и снова пряталась в конуре. Была Пашкина собака немолода. Дважды её сбивала машина, раз рвали волки. Была она осторожна, ценила жизнь. И не понимала Пашку так же, как Пашка не понимал собаку.

Вот прошла осень, землю прихватило морозом. До снега задубило дорожную грязь, превратив податливые мясистые колеи в подобие горных хребтов. В воздухе закружились белые мухи. Пашка ходил в школу. Это вносило в жизнь разнообразие. Но учительница, хорошая учительница, была бесконечно занята домашними делами, своими детьми, мужем-пьяницей. И в школе не засиживалась. А иногда и вовсе отменяла уроки. И тогда Пашка ходил по двору. Начал было строить из снега горку, но бросил. Да и снег растаял в первую зимнюю распутицу.

А потом ударили морозы под сорок, и заперли Пашку дома. Хотя, если подумать, из дому он уже и не вылезал.

Морозы спали до двадцати, Пашка сходил два дня в школу — и заболел.

— ОРВИ, — пожала плечами фельдшер. — Сезонные изменения в жизни людей.

Пашка температурил неделю. То спал, то просыпался. И ничего нового не обнаруживал в этом мире, когда возвращался в него из темноты. Только однажды он услышал, как отец разговаривает с каким-то гостем. У них дома иногда останавливались

дальние родственники, ехавшие на плохих старых автомобилях из глухой деревни одного района в такую же глухую деревню другого. А зачем? Этого Пашка никак не мог понять.

— ...Сварог-озеро, — говорил незнакомый голос. — Озеро предков... Ни души...

Дальше Пашка не слышал. А дальше ему слышать было и не нужно, потому что, когда он очнулся, ещё больным, но уже на пути к здоровью, в голове его созрел план.

Деревня, в которой жил Пашка, находилась на реке. И к тому, что ребятишки с пяти лет начинали в одиночку или компаниями рыбачить, взрослые относились с пониманием. Развлечений в деревне немного, а тут — и весело, и для дома польза, если повезёт. Пашку на рыбалку и зимой, когда встанет надёжный лёд, отпускали. Рыбалка была в сотне метров от дома. За угол — и вниз по тропинке до лунок. Лёд был такой, что зимой машины через речку ездили. Хороший лёд, надёжный. И рыба клевала. Мужики ставили снасти: уды, сетки, но это если время есть. А некоторые так и на удочку вытаскивали ближе к весне экземпляры окуня, налима, а иногда и судака.

Поэтому, когда Пашка сказал, что собирается на рыбалку, родители даже обрадовались. Был как раз первый день оттепели после сильных морозов. И не холодно, и лёд надёжный, и рыба точно будет клевать.

Собрался Пашка с вечера. Утром отец разбудил его перед тем, как уйти на работу. Пашка позавтракал вместе с мамой. Она ему и пакет с бутербродами в короб сунула, и термос чая с мёдом туда же положила. Бутерброды были особенные, рыбацкие: сало с чесноком. Непривычный человек от такого угощения нос отвернёт, а рыбак знает, что сало силы даёт, когда они заканчиваются, а чеснок с медовым чаем согреться помогают, когда на морозе само нутро захолонёт.

Ещё дед советовал брать с собой что-нибудь сладкое: конфеты любимые или печенье. Когда что-то на морозе не ладится или не дай бог заплутал, нужно успокоиться, порадоваться чему-нибудь, отвлечься — и выбираться, выбираться в привычную колею.

С зимней природой вообще ухо нужно держать востро. Какой бы ни была удачной рыбалка, наступал момент, когда Пашка остро чувствовал, что хочет домой, ведь за красотами природы, азартом и уловом ясно просвечивает вечная мерзлота января, которая может человека радовать, а может искалечить или вообще убить. Держит река рыбака поклёвками, домой не отпускает. А там темнота или мороз резко усилится. Так Пашка однажды и приморозил пальцы на левой руке. Дедушка насилу водкой отгёр. Оттирал и усмехался: «Я один раз на руку себе мочился. На дальней рыбалке прихватило, думал, кранты, а пописал — и ощущения вернулись».

Всё это Пашка вспоминал, выходя за калитку своего дома. Только вот, оглянувшись по сторонам, не видит ли кто, вместо тропинки вниз зашагал он в сторону объездной дороги.

Пашка думал, что его подберут, как в кино, стоит рукой махнуть. Но не тут-то было. Ростом он был со взрослого парня. Вдобавок валенки, тёплая рыбацкая куртка, рукавицы в полруки. А взрослого подбирать никто не торопится, особенно если сам взрослый рукой взмахивает в последний момент. Как будто не решился ещё до конца на какую-то авантюру, которую придумал.

Только через час, когда Пашка протопал уже километра два и вспотел, а небольшой вроде бы рыбацкий бур изрядно оттянул руки, рядом затормозила помятая иномарка, из которой высунулся чернявый парень и махнул рукой.

— Знаю, сам ходил, — коротко объяснил парень широту своего жеста.

Пашка кивнул и вспотел ещё сильнее.

— На Свар? — спросил парень.

Пашка опять кивнул.

— А обратно как?

— Разберёмся, — негромко ответил Пашка.

Парень коротко хохотнул и нажал на газ.

Однако через десять минут пришлось сбавить ход и включить противотуманки, потому что белая дымка окутала дорогу, едва машина въехала в тоннель деревьев.

Через пятнадцать километров парень осторожно остановил машину, включил аварийные огни.

— Ты бывал? — осторожно спросил он у Пашки.

— Неа, — честно признался тот.

— Вот по буранице иди, с неё ни шагу. Дойдёшь до первых лунок... Ну и от них ещё минут пятнадцать. И всё. Дальше не ходи. У тебя часы с собой есть?

Пашка кивнул и показал дедушкин подарок.

— В два часа я буду проезжать мимо. Плюс-минус минут пятнадцать. Выходи к двум. Тут... Неуютно в темноте.

— Хорошо, — сказал Пашка. — Спасибо!

— Давай, рыбак, — хлопнул его по плечу парень и укатил по каким-то неведомым, важным делам.

Пашка посмотрел на часы. Десять утра. За всё про всё четыре часа осталось. Прорвёмся. И сначала осторожно, а потом всё увереннее пошёл по узкой буранице, оставляя за спиной деревья, навстречу белому простору, окутанному туманом.

Уже почти рассвело, над шапкой тумана вставало красное солнце. Но солнце это оставалось у Пашки за спиной и не рассеивало тумана, а только добавляло в него красок: жёлтых и красных. Несмотря на оттепель, бураницу держало утренним морозцем, и Пашка шёл бойко, похрустывая поверхностным ледком, поглядывая вперёд. Сзади раздался шум, Пашка сошёл с дороги. Мимо проехал буран. Мужик, сидевший за рулём, был в балаклаве, как бандит с большой дороги. Второй, сзади, улыбался. И махнул Пашке рукой. Дескать, смелей, рыбачок, вперёд. Пашка вообще замечал, что рыбаки — люди часто неприветливые и даже грубые, как-то преображаются, когда он рядом с дедушкой. Становятся добрее, лучше. Теперь он понял, что это связано не с дедушкой, а с родом занятий. Как раньше рыбаки признавали своего в дедушке, так теперь они признавали своего в Пашке, раннего и зелёного, но своего.

Минут через десять из тумана появилось деревце. Пашка оторопел. Какое деревце посреди озера? Заплутал он, что ли? Но когда поравнялся с небольшой ольшинкой, понял, в чём дело. Вокруг неё в упругой готовности металлических сторожков с загнутыми к основанию красными флажками застыли жерлицы, вмёрзшие своими пластмассовыми тарелками в лёд и присыпанные сверху снегом. На одной из них сторожок разогнулся и флажок торчал вверх. Леска на катушке была размотана. Скорее всего, хозяина жерлицы под толщей льда терпеливо ждал налим. А то, что Пашка принял за деревце, был ориентир, которые рыбаки выломали на берегу, принесли или привезли на буране с собой и воткнули в ледяную корку.

Дальше бураница раздваивалась. Слева сквозь туман слышались голоса. Наверное, это рыбаки, которые обогнали Пашку, выбирали снасти.

«До первых лунок, — прозвучал в голове голос чернявого парня. — Дальше не ходи». И если бы Пашка отправился на рыбалку, он тут же и стал бы бурить лунку своим маленьким, «карманным», как говорил дедушка, буром. Но отправился Пашка совсем не на рыбалку. И он двинул дальше.

Туман густел. И следующее скопление лунок показалось под ногами внезапно. Лунки располагались хаотично, как будто какой-то великан забавы ради стрелял по льду огромной дробью из гигантского ружья. Здесь жерлиц не было, да и лунки были замёрзшими.

«Неудачное место», — подумал Пашка.

Ещё через пятнадцать минут буранница, сделав петлю, закончилась. Те, кто проложил её, дальше не поехали, развернулись и отправились обратно по своим же следам. Пашка прошёл вперёд метров тридцать. Под ногами хрустнуло. Пашка оглянулся. В его следах выступила вода. Подумав, он снял бур, расправил его и стал сверлить лунку. Просверлив сантиметров тридцать, бросил. Лёд здесь был хорошим, просто сверху выступила вода. А на буране гоняли, скорее всего, городские. Из-под гусеницы брызнуло, испугались, дали дёру.

Прошло ещё полчаса. Показалось солнце. Медленно рассеялся туман. И Пашка увидел то, что представлял себе в болезненном бреде. Людей, которые двигались по ту сторону озера, на другом берегу. Это был как будто другой мир со своими законами тяготения. Рыбаки тоже увидели Пашку и что-то закричали ему, замахали руками. Пашка понял, что дальше идти нельзя, дальше промоины. Остановился и тоже махнул рукой, дескать, вас понял. Рыбаки успокоились и занялись своими делами. А дел у рыбака, на самом деле, очень много. И дела эти разнообразны. Кто-то ехал на мотособаке из пункта А в пункт В. Или на буксировщике: из пункта С в пункт D... Причём существование этих пунктов было известно только рыбакам, и смысл и ценность имело в течение одного сезона, а то и меньше, и только в связи со скоплениями рыбы. Здесь была сорога, а там окунь. Простому смертному сорога понравится больше. Но рыбак... Рыбак всегда пойдёт за хищником, даже если поход этот может стоить ему жизни. Кто-то бурил лунки и сразу садился рыбачить. Кто-то ставил жерлицы, доставая из кана добытых вечером на реке и сделавшихся за ночь полудохлыми живцов. Кто-то, насверлив лунок, ходил от одной к другой и дёргал балансир или зимнюю блесну, выцеливая всё того же хищника.

И только один рыбак продолжал смотреть на Пашку и махать рукой. И тогда Пашка закричал что было мочи:

— Прощай! Прощай, дедушка! Я всегда буду тебя помнить!

А больше Пашка и не знал, что сказать, но своим мальчишеским умом понимал, что на каждую рыбалку в жизни он будет ходить как на свидание с дедом. Наверное, если и есть какая-то рыбацкая тайна, заветное слово, то вот это оно и было. Ходить на озеро не за рыбой, а на суровую мужскую тризну по своим друзьям, которые ушли и живут теперь на той стороне, отделённые от живых непреодолимыми промоинами, в ноздреватом, изъеденном оттепелью льду на границе между жизнью и смертью.

К дороге Пашка вышел в два пятнадцать, сильно уставший, обливаясь уже которым за полдня потом. Парень нервно курил у машины.

— Слава богу, — сказал он. — Я уж думал, надо идти искать. Наловил рыбы?

Пашка улыбнулся и покачал головой. Парень махнул рукой.

По дороге домой молчали. И только у посёлка, когда парень остановил машину и растолкал задремавшего Пашку, тот выдал из себя:

— Спасибо! Спасли.

Парень засмеялся:

— Да это разве спас... Вот на войне... — Тут он осёкся. — В другой раз расскажу.

И раздолбанная иномарка укатила в ночь.

— На озеро ходил? — спросил вечером отец.

Пашка по-взрослому кивнул.

— Дедушку видел?

Пашка снова кивнул:

— Кто подвёз?

— Да на «Логане», чернявый такой.

Отец усмехнулся:

— Блэк. Тот ещё был. А с войны пришёл — тише воды ниже травы.

Пашка видел Блэка ещё раз, через полгода, летом. Блэк был пеш и пьян, и Пашка решил, что обознался.

К тому времени Пашка вытянулся, возмужал и похудел. Был бодр, весел и любил жизнь. И только иногда вспоминал одинокого рыбака с той стороны, махавшего ему рукой. Может быть, конечно, это был и не дедушка, а обычный человек из деревни с той стороны озера. Люди в их краях жили небогатые, были похожи друг на друга и носили одинаковую одежду, напоминающую военную форму.

Проводы

1

К середине лета ощущение беды притупилось и наплывало застарелой хронической болью вместе с редкими новостями.

Лето выдалось жарким, бедовым. Зной, опустившийся на северную землю в июне, так и не отпустил её из цепких своих когтей до конца августа. И уже через неделю-другую земля сама отдавала жар, так что, крутя педали велосипеда по дороге через поле, ты не мог понять, откуда греет, как из печки: сверху или снизу...

В городе срочно создали программу «Лето. Жара!» с бесплатными танцами до упаду. И под музыку девяностых (молодёжь, прямо скажем, на танцы не очень рвалась) два этих слова повторялись иступлённым рефреном. Но в глазах танцующих, даже самых бесшабашных, читалась тревога. И нет-нет да и слышалось: «Хрен его знает...»

В конце августа люди копали картошку в шортах и в купальниках. Такого я не видел никогда за сорок четыре года жизни. Сгорел! В прямо смысле слова — сгорел на борозде. Шею и спину жгло нещадно. Картошку, однако, докопал. А через два дня пришли дожди. И начался учебный год. Похолодало резко. И, бредя по двору под ледяным дождём в утеплённой куртке, я не верил, что ещё позавчера загорал на речке, как на море. Люди сетовали: «Какое же было солнышко, какими мы были счастливыми». В сетевых магазинах на входе набивались подростки. Их ненадолго выгоняли. Они матерились, курили, выпрашивали деньги. И проползали обратно, в грязный липкий предбанник сетевого рая. Взрослые смотрели на них с нескрываемым отвращением.

Потом всё ненадолго выправилось. Начались уроки, продлёнки, кружки. Да и погода к середине сентября стала налаживаться. В колледже заговорили о турслёте. Меня на ту беду подкосила какая-то гадость. Поднялась температура, ночью трясло так, что я стучал зубами. Утром накатила ватная муть. Я уже протянул руку к телефону, чтобы сказать, что не смогу повести группу. Но в последний момент стало совестно. Половина учителей ещё догуливают отпуска, сопровождать и так некому. А тут мужик, умеющий пилить бензопилой и рубить топором, — мало ли дров наколоть для тех, кто лес до шестнадцати лет видел только издали и на картинках, возьмёт —

и не пойдёт. И расходился, расшутился, огурцами маринованными всех угощал. Фоном от учительского костра несло: «Военная цензура — это правильно!» и «Родина заставит себя любить. Может быть, даже в ближайшие дни». Студенты разговоров этих не слушали. Вернувшись с полосы препятствий, рубали суп из тушёнки и с удовольствием таскали огурцы пальцами из банки, а потом пили терпкий сладковатый рассол, в котором до этого омывали руки.

Концерт был так себе. Но общая эйфория от кусочка лета была такова, что самые бесхитростные куплеты под фонограммы айфонов, пришедших на смену гитарам, легли на душу. Обратно шли без песен, как раньше, но с разговорами. Хорошими, настоящими. И расходились неохотно. Люди как-то больше стали дорожить такими минутами.

И даже на следующий день в колледже было тепло от смеха и воспоминаний. И те, кто не ходил на турслёт, делали вид, что так, мол, и надо, но в глазах у них можно было прочесть сожаление.

2

На большой перемене я пил кофе в учительской. Вошла секретарь, улыбнулась. Пожелала приятного аппетита. И спросила, слышал ли я про частичную мобилизацию.

— Запасников берут? — включилась в разговор одна из педагогинь.

— Я слышала, что по районам составлены списки. И нам, городу с районом, нужно... выдать восемьдесят человек, — мрачно сказала математик Валя, муж которой работал в полиции.

А солнышко было всё такое же яркое. И погода стояла ещё два дня.

3

Новость мгновенно облетела и задавила весь город. Ближе к вечеру стали приходить повестки. По углам шептались:

— Вы слышали, Ильинскому пришла... Кольке Семихину... Ваньке Дронову...

Трактористы, водители и дорожники тридцати с хвостиком лет повестки получили поголовно. («Танкистов-то всех угробили», — сделали вывод горожане.) Остальным «письма счастья» приходили вразброс. Учителям, диджеям, горьким пьяницам, мужикам с пилорама.

Витьку Пестова не могли найти и названивали его работодателю.

— Не могу Виктора предоставить, — степенно отвечал лесник. — Виктора лишили прав за вождение в пьяном виде, потом опять поймали пьяного без прав и дали пятнадцать суток. Выпустили, тут же снова поймали — и дали полгода колонии-поселения, где он теперь и находится.

А сам думал о том, что зря Пестик плакал горячими слезами и сетовал на свою шальную голову и судьбу-злодейку.

Повестки приходили и тем, кто служил в армии, и тем, кто в армии не служил. Я тоже ждал. Ждал с каким-то тупым безразличием. Оправдывая жизненную ситуацию, думал, что семейная жизнь всё равно не удалась, работа напрягает, в долгу как в шелку, поэтому, если призовут и убьют, то и хрен с ним, только бы без лишних пауз. Но спал всё же плохо. Просыпался резко, толчками, с горькой мыслью: «Кто бы мог подумать».

4

Накануне дома узнал, что повестку получил Гоша, сосед. Гошу надо было поддержать. Но сначала свозить сына на кросс наций. Пока дети пыхтели круги в утреннем тумане, мужики кучковались в сторонке и обсуждали новости. Сынок прибежал пятнадцатым, а собирался войти в десятку. С горя пошли в кафе неподалёку. Ели пироги, пили чай. Кафе пустовало. На молодой буфетчице лица не было. Бледная маска. Судомойка осторожно расспрашивала её о чём-то.

— В понедельник отправка, в восемь, — услышал я.

Ближе к вечеру пошёл к Гоше. Сидел за столом, с трудом ковырял зажаристую курицу. Гошка есть не мог. Только выпил пустого чаю.

Под предлогом покурить перебрались в гараж.

— Расскажи хоть что да как, — попросил я его. — Меня, наверное, следующей волной накроет.

Я был старше Гошки на десять лет.

— Да чего, б..., — рванул он с места в карьер. — Я дискотеки для офицеров все полтора года проводил. А перед дембелем и спрашивают: «Можно, мы тебе напишем в военнике...» А я в мыслях-то уже дома. «Пишите, — говорю, — хоть чего...» Ну они, б..., и написали. И мотострелок-то я. И водитель БМП. И гранатомётчик. А я, кроме автомата, ничего не то что в руках не держал, а и в глаза не видел. Да и автомат давали два раза.

— А я вот, Гошка, даже автомат в руках не держал.

— Да разберёшься. Часа хватит.

Мы помолчали.

— На неделю свозят навыки обновить. Или под Питер куда-то. Или в Мурманскую... И ту-ту.

Гошка выговорился. Чувствовалось, что ему немного, но полегчало.

— Херня, прорвёмся, — махнул он рукой. — Пять человек уже отмазались. Вернусь, первым делом морды им набью. Козлы.

Ещё помолчали.

— Ладно, пошли в дом, — сказал Гошка. — А то, как только я выхожу, они там все реветь начинают.

Посидели ещё втроём с Гошкиной женой, поговорили на посторонние темы. Когда прощались, Гошка неискренне хохотал и не смотрел в глаза.

В сетях умный злой Подоляк говорил о тупости субъектов российской власти, пушечном мясе, обещал в ближайшее время выставить оккупантов и называл большими молодцами тех россиян, которые против войны.

А через час на сайте местной администрации выложили шутивно-зловещие советы «бывалого». Суть: что брать с собой на войну. Перечень из пятидесяти наименований.

— Меня знаешь что добило, — бубнил Гошка по телефону, — налобный фонарик. Налобный, б..., фонарик, говно китайское с солевыми бататрейками, — заорал он в трубку. — Я корешу позвонил. Вместе служили. Он в учебном центре сейчас работает. Короче, посоветовал и оружие с собой брать. Я бы взял хоть ружьё помповое. Да всё равно отождут. Возьму нож охотничий. У них там автоматы ржавые, советские. Возвратные пружины в руках ломаются.

— Пойдёшь? — спросил я после паузы.

— А куда деваться? На зону? Чтобы опидорасили, а потом ещё семье тыкали всю жизнь, что я дезертир?

5

В день отправления на работу мне нужно было к десяти. В половине восьмого подъехал к военкомату. Попытался подъехать. За квартал все парковки и места вдоль дороги были забиты. Бросив машину во дворе какого-то дома, зашагал к месту отправления по скользкому деревянному тротуару. Шёл гнилой промозглый дождь. Метрах в пятидесяти от военкомата начиналась толпа. Сквозь неё нужно было протискиваться.

Никто не знал, кого точно мобилизуют, поэтому мужики заново приглядывались друг к другу. А одна давняя знакомая посмотрела на меня с опаской и сожалением.

Увидел я и Гошку. Он был с двумя рюкзаками: один на спине, один на животе. И продирался к дверям с другой стороны толпы. Хмуро поздоровались.

— Спал? — спросил я.

Гошка кивнул и даже улыбнулся:

— Дрых как сурок. Ладно, мне туда...

У крыльца стояла Гошкина родня. Только маленькой дочки не было. Упросил не приводить:

— А то я ещё до ленточки кони двину. Сердце не выдержит.

Толпа стояла под проливным дождём. Люди оживлённо разговаривали и даже пробовали шутить. Но лица были землистыми, серыми, как у больных раком.

Я стоял у самых дверей. Хмурая энергичная женщина лет тридцати подошла ко мне.

— Вы имеете к этому какое-то отношение?

Я покачал головой.

— И повлиять не можете?

— К сожалению, нет.

— Ладно. Сама зайду. Пусть хоть музыку включают, мать их...

Через десять минут над толпой понеслась «Тёмная ночь», «Землянка»... Но ждать пришлось долго. Ждать пришлось несколько часов. Хорошие песни закончились, и тогда включили попсу.

— Здравствуйте, — услышал я и повернул голову.

Рядом со мной стояли две девочки из колледжа, прогульщицы. «Что тут происходит?» — можно было прочитать в их глазах. Мне нечего было ответить. И мы просто стояли и мокли вместе.

Чудесные возвращения случились в тот день. Офицер запаса, который работал в школе учителем, уже попрощался с женой. А его завернули обратно, ему было пятьдесят два. Отца троих детей, который успел напиться с друзьями и орал на площади у военкомата: «Я иду убивать! Убивать! Убивать!» — тоже отправили домой — убивать тараканов. С рёвом выскочил из военкомата мужик, который получил повестку и три дня пил:

— Не хочу туда. Не пойду! Не пойдууу...

Давление у него намерили за двести и отпустили.

Но чудесные возвращения были не у всех.

Молодые парни уходили в прилипших к телу спортивных костюмах и хлопотающих от дождя кроссовках. Взрослые мужики в купленной накануне камуфляжной форме. А деревенские... Те были в рыбацких костюмах. Этого я никогда не смогу забыть. Рыбаков в рыбацких костюмах. Только вот вместо рыбалки отправленных воевать.

Отдельно стояли добровольцы. Их было человек двадцать. Ими покрыли недостачу из-за возрастных, многодетных и больных. С краю шеренги стоял Фёдка, одноклассник. Он улыбнулся и махнул мне рукой. Некоторые мужики крепко вдарили и шутили. Они были отдельно от толпы. Сами по себе. В своём добровольческом и мобилизованном мире. Я не знал их, тех, кто уходил вместо меня. Мы жили в одном городе, ходили по одним улицам, но я не замечал их. Они были скромные неприметные люди. А Медведева я узнал. Мы как-то рыбачили вместе на мотофлоте, и он терпеливо объяснял мне, как правильно ловить хищника на мясо.

Вот, собственно, и всё. Самой отправки я не дождался. Нужно было идти на работу. Зашёл в военкомат. Батюшка давал наставление воинам, но Гошки там не было. Нашёл, наконец, Гошку. Он стоял, обнявшись с женой, в тёмном углу. Ткнул кулаком в живот. Сказал что-то. И ушёл. По дороге думал. Вот убьют Гошку, а я буду такой герой, который напоследок ткнул его кулаком. И буду жить дальше.

Детская литература. Жизнь и творчество Корнея Чуковского. Заповеди для детских поэтов. Пятнадцатая заповедь — атмосфера счастья. Первый раз за последние двадцать лет битком набитый студентами кабинет, огромная, пережившая «яму» и «ковид» группа, в которой меня почти никто не слушал. Все думали о своём и бесшумно в телефонах обменивались новостями.

Отправились мужики уже около полудня под «Прощание славянки» и торжественные речи, которые, рассказывают, внезапно задрожавшими губами произносили официальные лица. Вот так начнёшь как будто играть, а потом дойдёт, что никакая это не игра, — губы-то и задрожат, и запляшут.

В три часа получил смс от Гошки: «Прикинь. Меня оставили. Не прошёл по здоровью, надо нос ломать».

По дороге мужики напились. В областном центре их не приняли и вернули обратно в район. То ли пьяные они были слишком, то ли отправка их в учебный центр почему-то сорвалась. Они ушли ещё раз через десять дней. Тихо, уже без громких речей. Все, кто пришёл проводить их второй раз, влезли на обочину вдоль здания военкомата. С одной стороны дороги — солдаты. С другой — провожающие.

На душе было тяжело. Заржавели, заклинили и не хотели крутиться дальше допотопные неуклюжие колёса жизни. Но пошли, закрутились.

6

Летом следующего года я встретил Фёдку. Он сидел на лавочке у школы, куда я шёл за дочкой. Наши дети учились в параллельных классах. Я уже слышал, что его ранило, что он лежит в госпитале. И вот увидел воочию. Мы обнялись.

— Пять дней успел повоевать, — рассказал Фёдка, — санитаром. Потом раненого вытаскивали — и накрыло польским боеприпасом. Все живы остались. Но вот зацепило. Надо долечиваться, на операцию ехать...

Тут вышла Фёдкина жена с дочкой, и наш разговор оборвался.

А через месяц погиб Медведев. Он тоже вытаскивал раненого, и его засыпало землёй после взрыва.

В сетевых магазинах на входе по-прежнему толпились подростки. И я вдруг отчётливо понял то, чего не понимал раньше. Мы думали, что это было потерянное поколение, поколение гопников, даунов, дебилов. Ковидное поколение. Поколение с зависимостью от телефонов, компьютеров, снюсов и спайсов. А они были просто — дети войны.

7

В декабре повёз дочку и сына кататься на ватрушках. Было весело, но холодно. Дети незаметно замёрзли. Отдавать их маме нужно было только через час, и мы зашли в кафе перекусить.

Заказали горячий чай и пироги. Молодая буфетчица, та самая, которая угощала нас с сыном осенью после кросса, была в чёрной косынке. Наливая чай, она крепко сжимала губы и старалась не смотреть на меня.

Дыщ

1

Дайджест смачно плюнул на треснутое пластиковое окно первого этажа и громко выругался.

— Я сказал. Чтобы. Он. К. Пяти. Часам. Был. Здеееесь! — заорал он на трёх дуболомов, с виноватым видом стоявших перед ним. — Так почему его здесь нет? По-че-му?

Шоня, выглянувший из-за дуболомовой спины, подошёл к Дайджесту и хлопнул его по плечу.

— Да на хрен он тебе сдался? Всё равно сдохнет, доходяга.

Дайджест резким движением сбросил руку с плеча.

— Нет! Такие сами не подышают. Живут и гадят мне. Гадят. Мне! И я хочу, чтобы он сдох. Чтобы он — сдох, а я это — увидел.

Шоня хмыкнул, но обиделся. Получается, что Дайджест и его поставил на место. А Шоня очень ценил своё особое положение. Очень. И так же очень боялся его потерять. Любой из дуболомов лёгким чихом мог его, Шоню, размазать по стенке. Вот и приходилось цепко держаться за авторитет братца. Благо братец был в теме, и у него был дыщ. Всё время был дыщ. Вот и сейчас Дайджест сунул руку в карман своей крутой косухи и достал телефон.

— Время ужинать, — примирительно буркнул он.

Дуболомы радостно заурчали и уселись прямо тут же на траву. Дайджест забегал пальцами по виртуальной клавиатуре.

— Получите, — со смешанным чувством презрения и удовольствия от своего могущества процедил он, нажимая Enter.

Дуболомы урчали. У самого здорового с нижней губы потянулась белая нитка слюны. Остальные довольно зачавкали. Один из них запустил руку в штаны.

— Нечто среднее между пожрать и подрочить, — заметил Дайджест.

Шоня хихикнул.

— Слушай, — заметил он через минуту, — а ты не можешь ускорить процесс допуска? Я без дыщ как-то неуютно себя с ними чувствую.

— Тебе тоже чип вживить? — заботливо поинтересовался Дайджест.

Шоня снова захихикал.

— Рано. Тебе ещё рано быть штурманом. Ты ещё не изжил похоти и гордыни, — назидательно протянул Дайджест, листая что-то на экране.

«Сука», — подумал Шоня и послушно кивнул.

Через пятнадцать минут дуболомы стояли на ногах.

— Так... Чего-куда? — деловито осведомился самый здоровый.

— К этому на дачу, — кивнул Дайджест. — Дальше слушайте его, — кивнул он на Шоню. — Даю вам ещё сутки.

Шоня уже садился за руль старенького «Мегана» и поспешно открывал окна. От дуболомов всегда пахло неважно, особенно после дыш.

2

— Если так разобраться, меня спасло случайное стечение обстоятельств. А если сказать более определённо, меня спасла ты.

Эва хихикнула:

— Скажешь тоже. Просто у меня жопа красивая. И татуха под левой лопаткой ничёшная. И бегаю я хорошо, а ты — как мешок с говном.

— Нет, ты послушай, — Сашка даже подпрыгнул от досады, отчего тут же вывалился из большого красного полотенца, ойкнул и запахнул полу. — Я всегда бегаю пять кругов. А тут ты меня обогнала на пятом. И я дальше побежал, чтобы ты меня ещё раз обогнала. И пробежал десять. Вспотел весь, как чёрт. А брелок этот дурацкий я держу в руках, потому что мне его девать некуда. И он тоже весь водой покрылся. Я пошёл садиться в машину, а он сдох. Я выругался и пошёл пешком домой за вторым брелоком. Полдороги прошёл, вспомнил, что ключ от дома в машине. Пошёл обратно к машине. Думаю хоть как-то её вскрыть, чтобы рюкзак с ключами и документами вытащить. Выхожу к машине, а там... Понимаешь, они ждали, что я со стороны стадиона выйду. А я вышел им со спины. Но у них же хоть мозгов и нет, а глаза-то на спине присутствуют. И один из них голову такой поворачивает... Такой: «Рррыы...»

Эва покатила со смеху. Как раз остановилась стиральная машинка, и Эва пошла на балкон развешивать бельё. Через пять минут вернулась. Сашка допил кофе и принялся за воду.

— Я хренак в кусты. Они за мной. Я во двор, они за мной и в обход. Я думаю всё, капец. А тут окно открыто на первом этаже. Я рр-раз...

Сашка повторно вывалился из полотенца. Эва хлопнула его по лбу.

Возникла неловкая пауза.

— Хватит уже, эксгибиционист несчастный. Давай валяйся, смотри телик, я на работу. До темноты досидишь. Одежда твоя потная, вонючая выстирана, высохнет — и вали отсюда. Мне лишние проблемы не нужны.

Эва открыла дверцу старого допотопного шкафа и стала переодеваться.

— А чего они к тебе привязались-то?

Сашка заёрзал.

— Они ведь не мусора, кого попало не ищут. Признавайся, шпиён.

Сашка хихикнул. Эва насторожилась.

— Слушай, я серьёзно. Может, бандита какого-то...

— Да нет же, — Сашка устало тряхнул головой. — Они меня к себе звали, а я не пошёл. А им отказывать нельзя. Вот. Теперь валить надо куда-нибудь далеко, в деревню, где связи нет.

Эва в коротком сарафане, подчёркивающим её стройные загорелые ноги и не подчёркивающим маленькую грудь, расчёсывала жёлтые волосы.

— А-а, солома, блин, — пожаловалась она. — Да я так. Никто этих уродов терпеть не может, просто все боятся, так что верю. Но всё равно. До свидания, а лучше — прощай! Дверь захлопнешь.

Сашка закивал.

От пережитого кружилась голова и слипались глаза.

— Я пош...

Эва услышала похрапывание, усмехнулась и вышла.

3

Белый «Меган» подруливал к небольшому домику на окраине полупустой деревни. В двух соседних домах ещё теплилась жизнь. В одном, выставив к небу мощный зад, что-то рвала с гряд тучная баба с загорелым кирпичного цвета окошком спины, выглядывавшим из-под сарафана. В другом слушали музыку и пьяно хохотали. Неподальёку глухо лаяла невидимая собака.

— Сидим, — приказал Шоня дуболомам.

Они послушались.

Шоня осторожно открыл дверь и двинул в сторону бабы.

— Здравствуйте, — поприветствовал он, заходя с фасада тучного тела.

Баба выпрямилась и улыбнулась. У неё было доброе открытое лицо.

— Здравствуйте! Заплутали?

Шоня закивал. Ни дать ни взять щупленький такой пацанчик.

— Поехал к другу, а он объяснил... в общих чертах. И не знаю...

— Друга-то как звать?

Баба между делом высыпала ведро сорняков в кусты. Двор её старенького дома зарос травой, сквозь которую только кое-где были прокошены тропинки.

— Сашка, — улыбнулся Шоня. — Айтишник. Тот ещё баламут.

— А-а, — баба взяла со скамейки у забора бутылку с водой и сделала большой глоток. — Так его месяц не было. Ты, дружок, ничего не напутал?

Шоня хлопнул себя по лбу.

— Блин, я, наверное, его обогнал.

Баба закивала.

— Ну да, ну да. Он ведь аккуратно ездит.

Помолчали.

— Дак у меня ключ от дома есть. Если надо, заходи, жди.

Шоня даже подпрыгнул от радости.

— Ой спасибо, ой спасибо!

Через десять минут обыск маленькой Сашкиной дачи был закончен.

— Некуда ему деваться. Сюда припрёт, — процедил Шоня. — Отдыхаем. Из дома не высовываться. Сухпай сейчас из машины принесу. Понятно?

Старший дуболом мрачновато кивнул. Шоню дуболомы не любили. Правильнее сказать, не уважали. Да потому что любить они вообще никого не любили.

Шоня вышел на улицу.

— Я тут побуду пока?

Баба махнула рукой. Чувствовалось, что Сашкина дача её не волновала.

Шоня достал телефон.

— Алло, ал-ло! Б..., как слышно плохо. Собака ещё бесит. Дайж... Алло... Нет, нет его. Ага. Ждём. Ждём. Пришли дыщ... Да. Ал...

Шоня узнал всё что хотел и нажал отбой.

4

Вечером того же дня дуболомы зажали Шоню в углу деревенского дома.

— Дыщ давай, — тяжело уронил старший. — Дыщ.

Шоня закивал.

— Да-да, я сказал брату. Вот-вот должен прислать. На неделю! Представляете...

Дуболом неожиданно сгрёб Шоню за шиворот:

— Где дыщ?

Шоня задёргался, но выпутаться из медвежьей лапы дуболома не представлялось возможным.

— Сейчас. Позвоню. Брату.

Дуболом недоверчиво посмотрел ему в глаза своими злобными маленькими глазами, но руку разжал. Двое других встали в дверях. Шоня нервно забежал по клавиатуре, незаметно двигая к стене, потом резким движением оттолкнулся от пола, закрыл лицо руками и вылетел на улицу сквозь двойные рамы. Не давая себе опомниться, вскочил на ноги и бросился к «Мегану». Сунул руку в карман и похолодел. Ключей там не было. На крыльце, ухмыляясь, стояли дуболомы.

Невидимая собака лаяла не замолкая.

Лихорадочным движением Шоня ещё раз, уже по-настоящему, стал нажимать кнопки на телефоне. Но телефон женским голосом сказал, что соединить его с Дайджестом не может. Поэтому пусть Шоня запишет сообщение на автоответчик.

5

После разговора с братцем у Дайджеста осталось неприятное чувство. Рано, рано было этого салабона посылать на операцию, да ещё во главе спецбригады. Сбагрить бы, чтоб глаза не мозолил. Да ладно бы одному ему. Вон начальство на вид поставило: что это ваш брат суётся не в своё дело. А он и правда. Берега попутал. Везде лезет, во всё вмешивается. Эх...

От неприятных мыслей отвлёк гул телефона, стародавнего, кнопочного. Его Дайджест носил с собой для разговоров. Айфон — для раздачи и прочих приватных дел.

— Алло!

— Дай, — вместо приветствия замямлил знакомый чин из нацгвардии, — слушай, зуб болит, спасу нет. Лекарства не подкинешь? Я в долгу не останусь.

— Код тот же?

— Ага.

— Бабло переводи, сейчас отправлю.

Дайджест взял айфон. Краем уха слышал, как упала эсэмэска от сбербанка. Десять тысяч рубчиков: мелочь, а приятно. Через минуту ему телефонировал помощник прокурора.

Это было вроде кубика-рубика, открывавшего дорогу в ад. Его по легенде крутили те, кто познал все земные наслаждения. Так же и с чипами. Их в обязательном порядке вживляли для борьбы с эпидемией. Но некоторые из тех, кто был над системой, вживлял чипы ещё и себе. Обычно это широко афишировалось в СМИ. А по сути было началом крупной долбёжки за большие бабки. Чип можно было удалить. И все эти

шишки так и говорили: я, мол, вставлюсь по-хорошему, лето отдохну, а потом пусть вырезают.

Вырезать-то чип можно было. Потребность в нём было уже не удалить. Один крендель из ОБП всё-таки вырезал. Застрелился через неделю.

Так вот. Братец. Что-то не понравилось Дайджесту в его тоне. Эх, надо мотнуться в эту славную деревеньку после работы. Пустяк. Сто кэмэ туда — сто обратно по мусоропроводу просёлочной дороги. Вечер коту под хвост. Но вечер с такими думками — всё равно не вечер. Брат всё же, хоть и гадостный.

6

И тем же вечером Дайджест подруливал к Сашкиной даче.

Что-то сразу не понравилось Дайджесту в сельской идиллии, едва он открыл дверцу. В деревне было шумно. Слишком шумно для очередной вымирающей резервации.

Дайджест направился к соседскому дому. Полная женщина сидела за летним столом и обрезала лук. Дайджест представился как опер и показал одно из своих удостоверений. Собеседница бегло посмотрела на красный цвет и кивнула.

— Были... Ох... Я, наверное, не дело сделала. Ключи им отдала. Они сказали, что друзья Сашкины и что вот-вот сам он будет. День вроде окол дела жили. А вечером... Крик, визг, стекло разбили. Кричал кто-то там...

Дайджест похолодел и, не дослушав, бросился в дом.

Шоню, вернее, то, что от него осталось, нашёл на полу в луже крови, мочи и дерьма. Шоня слабо стонал и сжимался в комок, закрывая руками кровавое месиво с распухшими бровями, из-под которых не было видно глаз. Если они ещё были, глаза.

— Где? — спросил Дайджест, присев на корточки.

Шоня затрясся и пальцем указал в сторону соседского дома с другой стороны. Дайджест решительно встал. Шоня, скуля, схватил его за ногу.

— Они... они ещё придут... Они сказали, что будут бить, пока не дыш...

Дайджест погладил его по голове.

— Ничего, ничего... Потерпи, братик, я сейчас.

— Связь... — хрипел Шоня.

Дайджест не дослушал, вышел на улицу и зашагал в сторону криков и хохота.

7

Картина, открывшаяся перед ним, была достойна кисти художников-передвижников.

За старым столом, вынесенным по случаю тёплого лета на улицу, сидели три дуболома, два местных алкаша и некая особа неопределённого возраста и пола.

Старший дуболом как раз запрокидывал гранёный стакан водки.

Средний лениво смахивал с плеча руку прилипчивого соседа, норовившего обнять его по причине, о которой сам прилипчивый, похоже, забыл и, пытаясь вспомнить, скулил:

— Братка, братка...

Младший сурово смотрел на особу, казавшуюся скорее женщиной, чем мужчиной. К ней отчаянно ревновал последний из сидящих. По совместительству хозяин дома.

— Ты слушай... Это — моя жженщина. Ты поэт? Нет, ты поэт?

Вместо ответа младший дуболом тихонько пихнул романтика в грудь, отчего влюблённый кувыркнулся вместе со стулом. Ногой он задел стол и сбил с него несколько грязных тарелок. Одна из них разлетелась вдребезги.

— О! Дыщ! Ддыщ идёт! — заорал старший дуболом.

Дайджест, не останавливаясь, достал из кармана айфон и нажал несколько раз на невидимую кнопку. Старший дуболом ткнулся лицом в стол. Средний попытался вскочить, но схватился за спину, вывернулся влево и растянулся на траве. Младший громко икнул, схватился за горло, упал на колени и полминуты сдавленно хихикал, а потом умолк и вытянулся.

— Во, это по-нашему. Мужик! — приветствовал Дайджеста хлебосольный хозяин. — Пить будешь?

Дайджест уже выходил из калитки обратно к Сашкиному дому.

На ходу он доставал из кармана другой, кнопочный телефон.

— Алло! У меня жопа полная. Высылай... Алло! Алло, говорю...

Дайджест выругался.

8

С порога начал выговаривать братцу про мудаков, которым ничего нельзя поручить. Потом вдруг услышал тишину. Тишина эта была в прямом смысле слова мёртвой. Дайджест подпрыгнул, бросился к брату и увидел, что тот не дышит.

На улице выла собака.

В коридоребрякнуло упавшее ведро, о которое кто-то споткнулся в темноте. Дайджест словно нехотя достал из-под куртки пистолет. Женский голос ойкнул, и Дайджест убрал пистолет обратно под куртку. Вошла давешняя полная соседка.

— Всё плохо, да? — участливо спросила она.

Дайджест кивнул.

— И эти тоже? — она кивнула в сторону соседей. — Тихо просто стало как-то... Внезапно.

Дайджест кивнул ещё раз.

— Может, надо чё?

Дайджест покачал головой.

— Ладно. Пойду...

Она шагнула к двери, и в это время далеко, где-то на въезде в деревню, послышался шум машины.

— Подожди, — остановил женщину Дайджест и первым пошёл на улицу.

У него не было сомнений, кого нелёгкая на ночь глядя принесла в богом забытое место.

9

Сашка бойко выгружал из машины спальник, чемодан, рюкзак — походный скраб, который всегда был у него наготове на случай облавы. Когда закрыл машину, увидел Дайджеста.

— Перед тем, как я тебя убью, — начал тот, — скажи мне. Помехи в телефоне, моём и братца, — твоих рук дело?

Сашка пожал плечами:

— А хрен его знает. Глушилку от дыщ я поставил, чтобы говна этого в деревне не было. Она, конечно, слабенькая, из первых, но в доме работает железно, а вот качество общего сигнала ухудшает, но это побочный эффект. Так что да, я.

— Знаю я про глушилку твою. Добрались мы до неё в городе. Не велик бином Ньютона.

Сашка кивнул:

— Да это так, посерьёзнее первой, но всё равно на скорую руку и на малую площадь. Я сейчас над настоящей глушилкой работаю. Она ваш дыщ по всей области на хер вырубит. Может, и соседей зацепит.

Дайджест покачал головой:

— Не вырубит. Слушай, сделай одолжение. Скажи кодовое слово, чтобы в программу попасть. Всё равно я его подберу. Но на это уйдёт год, может, два. Представляешь, сколько бабла сквозь пальцы утечёт. Ты мне его скажи, а я тебя за хлев уведу и пристрелю. И даже закопаю неглубоко. А так... Поедем в город... На смену моей бригаде другая придёт. Вон, соседям твоим вживить — те ещё будут отморозки. Хотя толку от них... Но у меня есть пара спортсменов. Потянут. На тебе и будут учиться. Веришь, что можно так врезать по затылку, что глаз из глазницы вылетит?

Сашка подумал:

— Думаю, да.

Дайджест усмехнулся:

— Точно да. А вот думать после этого ты не сможешь. Только слюни пускать да срать под себя. И то в лучшем случае.

Сашка задумался и присел на корточки.

— Ну, — Дайджест играючи покачал на ладони пистолет.

Но как только сзади хрустнуло, не оборачиваясь всадил через плечо две пули в какое-то большое тело, которое всё же рухнуло на него и подмяло его...

— Сашка, беги, — хрипела баба, — беги...

— Пусти, сука, — Дайджест всадил ещё три в бабу, извернулся и два раза выстрелил в Сашку, неумело пытавшегося вывернуть ему руку.

— Ой, — сказал Сашка, упал, тут же резко встал, сделал несколько шагов и медленно опустился на траву.

Дайджест брезгливо спихнул с себя бабу. Подскочил к Сашке, приставил пистолет к горлу.

— Ну... Ну, тварь... Б..., живым оставляю. Отвезу на «скорую». Сам. Слово. СЛОВО.

Сашка открыл рот, чтобы что-то сказать, но не смог, изо рта толчками потекло что-то чёрное.

— Быстрее, сдохнешь сейчас...

Сашка показал пальцем в сторону соседа.

— Чего, он знает?

Сашка кивнул. Дайджест выстрелил ему в голову и снова пошёл к Сашкиным соседям.

10

Хозяин застолья ещё держался на ногах. Особа неопределённо-женского пола уже спала в объятиях не хозяина, но гостя. Дуболомы никуда не делись и были громоздкими статистами пасторали. Хозяин смотрел на всех влюблёнными глазами. При появлении Дайджеста широким жестом указал на распотрошённый стол.

— Решил всё-таки выпить? Молодец. Мужик!..

— Сашкино слово, — без предисловий начал Дайджест и приставил пистолет ко лбу хлебосольного хозяина. — Соседку твою и самого уже завалил. Ты на очереди.

Алкаш встрепенулся.

— А... Это... Слово-то... Сашка говорил, что придут и спросят. И что если придут и спросят, надо... Сказать...

— Слово! — заорал Дайджест.

— Ну, подумаешь... Слово... Ну... Грибов, — сказал мужик, делая ударение на первый слог, как в какой-то фамилии.

— Чего? — взревел Дайджест.

— Чево-чево... Чевочка с хвостиком. Грибов, — неожиданно громко, чётко и трезво выговорил мужик.

Даджест заржал... Нет... Ну... Не мог, мудака, придумать какое-нибудь красивое слово... Латинским корнем. Он смеялся и смеялся. Смеялся даже тогда, когда во двор стремительно влетела огромная овчарка, привычным движением опрокинула Дайджеста на землю и впилась клыками ему в горло. Дайджест выстрелил. Один раз. Как назло кончились патроны. Так думал он, не понимая, что умирает. Через пять минут всё было кончено. Собака, поскуливая, с трудом отползла в сторону.

Хозяин застолья подошёл, погладил пса, поцеловал в кудлатую умную морду.

— Собачку нарушили. Саньку убили. Серафиму. Уроды. Ну ничего, Санёк, ничего. Формулы твои где надо лежат и куда надо уйдут. А помереть-то мы все помрём. Только вот кто помрёт, а кто издохнет.

Он пошарил в карманах Дайджеста, нашёл запасную обойму. Перезарядил пистолет. Пристрелил собаку. Всадил по пуле в головы и без того мёртвых дуболомов. Заботливо укрыл фуфайкой ноги спящим влюблённым. И пошёл собираться в город.

11

Эва ворочалась с боку на бок и никак не могла уснуть.

Она всё думала и думала о парне, с которым провела без малого трое суток. И какой он был смешной. И как всё время, увлёкшись рассказом, вываливался из красного полотенца. И что было после того, когда он вывалился из полотенца второй раз.

Потом она всё-таки заснула. И снился ей Сашка. И сама она с округлившимся животиком. И невозможно прекрасный мир далёкого-далёкого будущего, в котором не было дайджестов, дуболомов, дыш и глушилок.

Сентябрь

Каждый раз одно и то же воспоминание.

Осенний вечер. Ещё тёплый, но уже тёмный. Девятиэтажка из серого кирпича. На первом этаже магазин. Продуктовый, но все ходят туда за вином. Он круглосуточный. Я влетаю в колодец двора. Всё очень просто. Девушка. Красивая девушка с длинными светлыми волосами и большими зелёными ведьминскими глазами. Но девушка не простая. Золотая девушка! Когда на инструктаже я рассказывал ей, что нужно делать, она не просто слушала — она смотрела на меня.

— Это очень опасно, — сказал я ей в самом конце. — Очень. Если вы откажетесь, это будет нормально. Я бы даже сказал, в порядке вещей.

— Человеческая жизнь не вещь, — сказала она.

— Что?

За годы бессонных ночей, мутных рассветов, полупьяного-полуголодного подслушивания и подсматривания, бессовестных расспросов, трупов и ощущения подлой беспомощности я совсем отвык от таких слов.

— Ничего, — она поняла и не осудила. — Это всё? Тогда я пойду. Надо выспаться, и вообще... В кино сходить.

Умная, умная и хорошая. И смелая. Это на самом деле редкое сочетание.

— Сходи-сходи, — кивнул я ей, переходя на «ты». — С парнем обязательно. И чтобы кино про любовь.

Сказал как отец. Я младше её на два года. И при случае приударил бы. Хотя вряд ли. Я серый. Она слишком хороша для меня. Потому я и сказал про парня.

— Я пойду, — повторила она и улыбнулась.

Сентябрь пригласил её к восьми. Они все пропали около восьми вечера. Все, кого отследить удалось.

«Последний раз её видели в девятнадцать тридцать... сорок... пятьдесят одну... в районе магазина... в районе магазина... в районе магазина...»

Когда он стал её клеить, я сразу понял, что это Сентябрь. Сразу. Год назад я видел его. Тогда ещё подумал, что это вполне может быть он. Парень чуть за двадцать. Интеллигентного вида, в плаще. Высокий. Волосы длинные. Я даже кожу у него на лице запомнил. Блестела кожа у носа. Сальная кожа, жирная. Угри, прыщи. Может, с них всё и началось? Да нет, раньше, гораздо раньше.

— Это Сентябрь, — сказала она. — Я чувствую. Я уронила сумочку, он мне её подал и руку слегка пожал. У него пальцы холодные и злые. И все в пятнах каких-то.

В отделе не поверили, но прислушались.

— Всё слишком просто, слишком сходится. Прямо как ночь, улица, фонарь, аптека. Куда же они тогда пропали все? Склад у него, что ли, там? Или крематорий? Пять тел. Три в прошлом сентябре, два в этом. И ничего. Ни платочка в контейнере, ни волоска на свалке. Может, у него там портал в другой мир?

Тогда я им сказал про пятна.

— Может, химожог?

Опера смеялись, цитируя фильмы про маньяков. Понимали: я где-то рядом. Но в этом «где-то рядом» люди годами сидят. Сходят с ума и спиваются от близости неразгаданной загадки.

— Мы возьмём его, — сказала она мне, — мы возьмём эту сволочь. Он больше никогда никого не убьёт. Звони если что, у тебя есть мой номер.

Он тоже знал её номер. И в последний момент перенёс встречу. Я как раз к магазину подъезжал в это время. Думал до мужиков приехать, осмотреться, а получилось, один и к шапочному разбору. Может, это он не её, может, это он меня прочитал? Может, не только я его, но и он меня тогда запомнил? Вглядывался я, взглядывался. В бухорезов, которые из магази выползали. Мёртвых людей, которые ещё не поняли того, что они давно уже мёртвые. В зоркие окна домов, которые всякого тут по ночам насмотрелись. Ничего такого. Но я выжидал до последнего. И только через десять минут из машины вышел. Завернул за угол. И рванул. Я перехватил её у подъезда, юркнул за ней, в тёмном преддверии парадной прижал к себе, кричал шёпотом:

«Не ходи, не хо-ди!» Я тряс её, тряс, да. Она поцеловала меня. И оттолкнула. Я за ней тенью полз. Тенью. Нас разделял пролёт. Всего один пролёт лестницы.

Через минуту каблучки перестали цокать. Раздался приглушённый звонок.

И скороговоркой посыпались выстрелы.

Один, два, три.

А потом ещё один выстрел.

Карма

1

Немолодой таксист подвёз меня к частному дому, обнесённому высоким забором, поверх которого змеилось два ряда колючей проволоки. Неприязненно вздохнул и выключил двигатель. Я спешно отсчитал ему две сотни, безответно пожелал хорошего дня, вышел из машины, нажал кнопку домофона. Раздалось пиканье, и через секунду сам я оказался за колючкой. На входе в стеклянной будке сидела вахтёрша, которая напоминала контролёра следственного изолятора. Не то чтобы она была в форме или рожа кирпичом — нет. Футболочка, бриджики, вполне привлекательное лицо. Брови, косметика. Но во взгляде, в голосе было что-то металлическое. В голове мелькнула мысль: «А может, здесь филиал какой-то женской колонии?»

Впрочем, из дальних дверей раздавался довольно громкий и жизнерадостный смех.

— Я звонил полчаса назад.

— Да, помню, насчёт африканки, — кивнула она. Гаркнула: — Эй, Соня... — и заметила, — надо немного подождать.

Бордель был так себе. Дешёвенький, грязноватый, без претензий. Две красные двери слева, две справа. Вешалка на входе. Дешёвые шлёпки под ногами. Интересно, что здесь было раньше? Контора какая-то явно. С пропускной системой.

Через пару минут в проёме показалась приземистая дама с иссиня-чёрной кожей, гривой нечеловеческих по густоте волос, пышными губами и широким тазом. Из одежды на ней было полотенце, с трудом скрывавшее внушительные формы.

Я кивнул.

— Пойдём та дверь, — сказала Соня.

Я зашёл, сразу отсчитал деньги.

— Тебе душ, — не спросила, а констатировала она.

Солнце жарило беспощадно, да и в борделе, несмотря на приоткрытые окна, было душно.

— Куришь? — спросила Соня, когда я вернулся.

— Нет, но ты покури, если хочешь.

Комната наполнилась ароматным дымом.

— Сонька, — крикнули из-за двери, — я в магаз, чё тебе взять?

— Два бича, — крикнула Соня. — И сок ананас. И два ябляк.

— Скока лет? — поинтересовалась она.

— Сорок.

— А мне?

Я внимательно посмотрел на неё.

— Сложно сказать по женщине...

— Ну скока... — не унималась она.

— Тридцать.

— Точно, — кивнула София и скинула полотенце.

Получаса вполне хватило для того, чтобы утолить мою интернациональную любознательность, пару раз услышать fuck и понять, что славянские женщины во всех отношениях нравятся мне больше. А заодно и поговорить. Сонька была по-детски взбалмошна и болтлива.

— Ты зажат, — сказала она, возвращаясь из душа. — Я вижу много мужчины и вижу, ты зажат. Наверно, много крутишь эта... — Соня схватила воображаемый руль, — или работа. Тебе надо спа салон или массаж. Если хочешь, пятьсот рублей — и я массаж.

— Спасибо, дорогая, в другой раз.

— Окей. Ты работа?

— Да.

— Хорошая работа?

— Да.

— Это хорошо, — сказала Соня мудро и добавила, — хороший мужчина, добрый.

Высокий.

— Откуда ты? — спросил я.

— Кения.

— У вас парни тоже высокие? Баскетбол?

— Не все, но все крепки. А у женщина широкий низ. У всех. Зато смотри ноги. Вот потрогай ноги. Гладкий. Всегда так был и будет. Никаких брить. Только там и там.

Я оделся. Соня по-пацански дала мне пять, я чмокнул её в щёку:

— Пока, африканыч.

Хозяйка и сидящая без работы вторая дамочка курили на крылечке и больше напоминали продавщиц сетевого магазина:

— Дочь говорит «купи бэушую тачку», — рассказывала жрица любви «завмагу». — А я ей: «Ага, и начнётся: сайленты, херайленты...»

Я попрощался и поблагодарил за радушный приём. Со мной тоже попрощались, но сухо и равнодушно. Чувствовалось, что в хорошие манеры здесь верили не особенно.

А в двух шагах за деревьями бушевала другая жизнь, полная таинственных отношений между мужчинами и женщинами. И через секунду я понёсся в будничном наивно-занятом человеческом потоке, который вдруг показался мне таким родным.

2

Вечером поезд, дорога, вокзал, такси, другой город.

3

На стадионе, где я мотаю круги, несмотря на высокие заборы, бывает всякое. Вход-то свободный. Народный стадион. Пока надевал наушники, стриганул поляну. Всё нормально. Отцы и дети рубятся в футбол. На тренажёрах надрываются дамы с лишним весом. Гаревая дорожка пуста и зовёт меня.

На третьем круге я расслабился и погрузился в релакс. Как вдруг увидел, что к трибуне идут девушка с парнем. Вернее, идёт парень. А девушка висит на нём.

«О времена, о нравы!» — подумал я, но вспомнил негритянку, устыдился собственного ханжества и успокоился.

Пробегая мимо трибуны второй раз, отметил, что парней уже двое.

На третьем круге у компании появились пластмассовые стаканчики.

К седьмому все сидели на траве.

«Блин», — подумал я.

На восьмом девушка лежала, а парень пытался её поднять.

На девятом... мне показалось, что ли... будто девушку, которая задирает одежду, снимают на телефон.

Добегаю десятый круг, вместо того, чтобы ускориться напоследок, я остановился напротив трибун и пошёл к компании.

Симпатичная, совсем юная девушка в фирменных джинсах, футболке, с короткими светлыми волосами, была в хлам, парни трезвее, хотя тоже кривые.

— Здравствуйте, — с ходу начал я и сразу наклонился к девушке. — Как вы себя чувствуете?

— Плохо, — ответила она.

— До дому дойдёте?

— Нет.

Тут один из парней поинтересовался, не хочу ли я сначала познакомиться с ними.

Я бегло представился и спросил у джентльменов, смогут ли они проводить прекрасную даму домой. Джентльмены были совсем какие-то ненадёжные. У второго, когда он говорил, в уголках рта надувалась пена.

— Да хрен её знает, где она живёт, — пожал плечами неврастеник.

— А тебе хрена ли до неё? — спросил второй, небритый крепыш со стеклянным безразличным взглядом.

— Это твои друзья? — спросил я у неё.

— Нет, — презрительно ответила она.

— Ах, не друзья, — возмутился крепыш, — так иди на хер отсюда, забирай её...

— Пойдёмте, я вас провожу, — предложил я девушке и протянул ей руку.

Она довольно бойко вскочила, но тут её качнуло, и она повисла на мне. Какое-то время мы шли под руку вдоль трибун.

— Обними меня, — попросила она.

— Я бегал, потный весь.

— Да похер, обними.

Мы остановились.

— Ты мне нравишься, — сказала она. — Трахни меня.

— Что?

— Оттрахай меня, — повторила она, глядя мне в глаза, и потянула вниз глубокий вырез своей футболки.

На секунду вспыхнуло бешеное желание.

— По трезвяку, — ответил я. — А сегодня провожу до дому. Где ты живёшь?

Она назвала самый дальний район города.

— Отвезёшь?

— На этом, что ли? — я удручённо кивнул на стоящий у ворот велосипед. —

Подожди, тачку возьму.

Тут я вспомнил, что оставил телефон и кошелёк дома.

— Посиди здесь десять минут, я машину возьму и приеду.

Она послушно уселась на сиденье в конце первого ряда.

— Не пей больше, — попросил я её. — И к этим не ходи.

Она кивнула.

Я вскочил на велик и погнал к дому. Пролетел пару кварталов. Сразу вызвал такси, переоделся, рванул на улицу.

Такси подъехало минут через пять.

— Понимаете, такая ситуация...

Мужик за рулём, мой ровесник, кивнул:

— Поехали, отвезём.

Остановились у ворот стадиона.

Я бросился к трибунам. Пусто. Пошёл за трибуны. Заставил себя пойти. Парни читали рэп под телефон.

— О, здорово! — удивились они мне. — Забыл чего?

— Она сюда не возвращалась?

— Не. Чё, потерял?

Я кивнул и пошёл прочь.

Неврастеник и крепыш тут же задёргались под невидимые бубны.

Смеркалось. Фонари ещё не включали.

Я вышел из ворот тёмного стадиона, рассчитался с таксистом.

— Не нашёл?

— Ушла. Ладно. Каждый выбирает сам...

В голосе повисла досада.

Таксист посмотрел на меня.

— Ты всё сделал правильно.

Домой я возвращался пешком.

Пару раз по дороге тёплый летний ветер взъерошил мне волосы.

Андрей Волос

Рассказы

Исчез целиком

— Всё нормально? — спросила жена, выглянув из кухни.

— Нормально, — ответил Гребнёв.

Он прошёл в комнату и бросил на стол конверт, всю дорогу топыривший карман пиджака.

Валя некоторое время молчала, вытирая руки полотенцем.

— Толстый, — сказала она. — И сколько тут?

— Пятнадцать.

— Господи!.. Вот же псих твой Смолычев!

Гребнёв пожал плечами.

— Ты его отговаривал?

— Нет, — хмуро сказал Гребнёв. — Сегодня не отговаривал. В прошлый раз он вообще разозлился. Не хочешь, говорит, и не надо. Типа не друг ты, а портянка... Ну, стал бы я его дальше отговаривать... и что? Опять за рыбу деньги. Надо ему моё занудство слушать... Ладно. Обедать-то будем?

— Ты только теперь не думай, — жалобно попросила она. — Ну что делать, если он такой. Ты же не мог ничего больше. Ты же сделал, что мог, правда? Вот и не думай теперь.

— Не собираюсь я ни о чём думать! — отрезал Гребнёв. — О чём я должен думать? Я ведь его отговаривал. Как мог, отговаривал. А если не отговорил, теперь-то что? Думай не думай, сто рублей не деньги.

— Ну, не сто, конечно, — вздохнула Валя.

Она протянула руку, коснулась конверта. И немного сдвинула, словно чтобы ощутить весомость и увериться в его реальности.

— Ты приberi куда-нибудь, — сказал Гребнёв. — Серёжка сегодня собирался зайти. Не на столе же валяться... Так что, будем обедать-то?

Волос Андрей Германович — прозаик. Родился в 1955 году в г. Душанбе (Таджикская ССР). Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина. Член Союза писателей Москвы. Лауреат международной литературной премии «Москва — Пенне» (1998), Государственной премии Российской Федерации за роман «Хуррамабад» (2000), лауреат премий «Русский Букер» и «Студенческий Букер» (2013) за роман «Возвращение в Панджруд» и др. Лауреат премии журнала «Дружба народов».

Предыдущая публикация — роман «Облака перемен» (2023, № 2—3)

* * *

Гребнёв и сам не хотел думать. Не о чем было думать. Есть вещи, о которых думать — только расстраиваться.

Валя давно уснула, а он из опаски лишний раз ворочаться лежал по-покойнически. На втором часу это стало невыносимо.

Осторожно поднявшись, выбрался из спальни, плотно прикрыл за собой кухонную дверь. Тихо сел за стол, приставив друг к другу кулаки на розовых букетиках весёленькой клеёнки.

Почему Смолычев именно его выбрал, вопроса не было: а кого бы ещё?

Они учились в параллельных группах. После института лет десять друг о друге не слышали, потом столкнулись в одном проекте. Года через четыре судьба снова развела, но они уже подружились. Без лишних восторгов дорожили товариществом, с удовольствием помогали друг другу, всегда ведь есть мелочи, какие сподручнее в четыре руки.

Пока Смолычев был женат, вроде как даже дружили домами.

Жена Смолычева Кира Гребнёву не очень нравилась. На его взгляд, придури ей было отвешено не по норме. Но он на этот счёт никогда ни перед кем не высказывался. Боже сохрани. Мало ли что кому не по нраву. Гребнёв даже с женой Киру не обсуждал. Брякнешь благоверной, что тебе смолычевская не больно симпатична, — а потом самой твоей дружбе со Смолычевым конец, и сам не поймёшь почему.

По прошествии времени Смолычевы развелись и Кира уехала в Ригу.

Сказать тут нечего: если они сами друг друга не любят, Гребнёв хоть излюби обоих, толку не будет. А Валя, разумеется, вздыхала.

Гребнёв помалкивал, но вообще-то ему было странно: они ведь лет десять прожили. Обычно супругов с таким стажем мучит не столько расставание, сколько тяготы процедуры. А у Смолычевых развод получился легче птичьего пёрышка, всем на зависть. Если не считать фотографий, ничего общего они то ли не успели накопить, то ли заранее спокойно распределили. И жильём делиться не пришлось. Просто разбежались — и дело с концом.

Но всё же Смолычева заело, что у Киры появился кто-то, кому она вместо него решила посвятить остаток жизни. Даже, может, такая заноза оказалась, что и не продохнуть.

Правда, обидные её слова Смолычев всегда поминал со смехом, напирая именно на «остаток жизни». Выражение не казалось ему удачным, и он вкладывал в него несколько издевательский смысл. Дескать, откуда знать, какой там у неё получится остаток. Может, сто лет проживёт. А может, завтра под трамвай, вот тебе и остаток, прямо обхохочешься. Вроде бы его это и в самом деле смешило. А там уж кто знает.

Дружить домами они перестали. Собственно, что теперь ему, одиночке, было в их семье делать. Но мужское прикрытие не пресеклось.

А потом на тебе — Смолычев пришёл вот к чему.

Может быть, Гребнёв ничего бы и не узнал о его решении, о таких обычно не рассказывают. Но Смолычев обратился к нему с просьбой.

Так, мол, и так, вот так я определился, и отговаривать не стоит. А если хочешь помочь, то будь другом: тут у меня накопилось немного, что ж добру попусту пропадать.

* * *

Прежде он всерьёз не задумывался, но и раньше его посещало это смутное чувство: вина перед теми, кто умер раньше.

Как будто именно он виноват, что их уже нет, а ему повезло.

Конечно, это было не каждодневно: десятилетиями не показывалось.

Но потом случалось что-нибудь неожиданное. Или, напротив, давно ожидаемое. И опять всплывало это неясное представление.

Что-то вроде того, что жизнь — накрытый стол. И живые теснятся вокруг: живые, голодные. Едят, как могут, как у кого получается, как бог на душу положит, поспешно, неряшливо, чавкая и давясь, хватая один кусок, кося на другой...

А тот, кто совсем недавно стоял у того же стола, был со всеми, а теперь вынужденно отдалился, — он оказывается обделённым.

Если по логике вещей, это щемящее чувство было совершенно абсурдным, возникало вопреки очевидному равенству: ведь как он горюет, так и по нему будут горевать, как те отошли, так и этим отправляться. А потом и тем, кто на время останется им в замену. День за днём и век за веком ползти этой вечной гусенице, чадить огоньку жизни. Перебираться с тех, кто уже сгорел, на тех, кто ещё может сгореть, а когда сгорят и эти, то на следующих, — всё дальше по новым и новым хворостинкам: одни уж дотлевают, другие только занимаются. И так всегда.

Но услышав тогда Смолычева, Гребнёв подумал вовсе не обо всей этой мистике.

А о том, что у Коли вообще-то есть сын от первого брака.

Смолычев сам пару раз обмолвился. Правда, говорил стороной: будто о постороннем.

То есть Гребнёв был лишь в курсе того, что мальчик существует. Собственно, ему и это кушее знание не особо требовалось, он бы и ещё меньшим обошёлся.

Но и сам Смолычев знал о сыне ненамного больше. Теоретически, он всё равно мог бы о нём думать. Но на деле судьба отпрыска совершенно не занимала мыслей Смолычева-отца. Похоже, он относился к нему примерно как к мерцанию дальних звёзд, которые в силу чрезвычайной отдалённости не могут оказать на его жизнь никакого влияния. Равно как и он на них воздействовать не может.

У Гребнёва судьба сложилась иначе, ему странно было вообразить себя в подобном положении. Но от вопросов или уж, не приведи господи, советов он благополучно воздерживался. Сделал когда-то вывод, что хорошо ли, плохо ли, но Смолычеву ни сам тот первый краткосрочный брак, ни плод его не представляются дорогими. Брак сто лет как распался, а если от плода не удаётся вкусить, так с годами и о нём забудешь.

Ну и ладно, мало ли как люди живут и что в своей жизни ценят.

Но когда со своим последним предложением — или, что ли, с просьбой — Смолычев обратился к нему так, будто на всём белом свете у него никого больше не было, Гребнёв указанное обстоятельство вспомнил.

И когда прошло первое остоленение, не зная толком, что сказать, невольно принялся мелочить: то есть не говоря о деле *в целом*, свалился к его частностям, к вещам понятным и практическим.

Это было неуместно. Мало ли какие бывают житейские обстоятельства. Речь-то не о том. Толковать о житейских обстоятельствах, связанных с его сыном, в ту минуту было так же глупо, как и о любых иных. С таким же успехом Гребнёв мог бы в ответ сообщить, что ему пора обновить машину, а то уж его старушка совсем рассыпается.

Или что дети у него второй год на съёмной квартире, нужно затолкать Серёжку в ипотеку, ведь куда разумнее платить за своё, чем за чужое. Или ещё что-нибудь не относящееся к делу. Глупость — она и есть глупость.

Но этот мелочный подход позволял сказать хоть что-то конкретное.

Гребнёв и сказал: мол, как же так.

Дескать, даже если оставить в стороне всю глупость замысла как такового. И даже какую-то его, что ли, наглость. Какой-то его, что ли, отвратительный индивидуализм. Даже если на это не обращать внимания.

Но и тогда не могу согласиться.

Потому что, Николай, у тебя же есть сын!

Почему же ты хочешь меня таким счастьем наградить, — вместо того чтобы?..

При этом уже в тот момент, когда он говорил это неуместное, ему легко было представить себя на месте Смолычева.

То есть Смолычев своему другу Гребнёву, как самому близкому: так мол и так.

А друг Гребнёв вместо того чтобы отнестись к замыслу в целом, начинает вдаваться в детали.

Ты об одном, тебе о другом. Ты о масштабе, тебе о последствиях. Как не обидеться?

Да и что — последствия? У всего есть последствия. В одном краю бабочка взмахнёт крыльями, в другом от этого цунами.

Зная, что электрический чайник, закипая, загудит как набирающий ход троллейбус, Гребнёв так и не посмел его включить.

В четвёртом часу ночи он вернулся в постель и тут же уснул.

* * *

Смолычев не хотел никого обременять пустыми беспокойствами. Тем более — лишними проблемами.

Гребнёв отдавал должное этим намерениям. Даже невольно восхищался.

Ну и правда: уж в его-то, казалось бы, положении, с его-то планами!.. Плюнуть на всё, и дело с концом!

Так нет же: думает, как обставить дело, чтобы никому не в тягость. Такой уж человек.

Смолычев не посвящал его в детали. Но намекал, что всё продумал и предусмотрел до последних мелочей. Дело в целом будет похоже на забавный трюк. Учтиво раскланиваясь во все стороны, чародей встаёт в центр зеркальной призмы. Тревожное кипение оркестра обрывается, падает гробовая тишина. И вдруг он, прощально взмахнув цилиндром, без остатка растворяется в сонме своих отражений, не забыв увлечь в небытие и всю их сверкающую толпу...

Тем не менее три или четыре дня после того, как они простились и Смолычев исчез целиком в зеве подземного перехода, Гребнёв жил в тяжёлой, до сердцебиения, тревоге.

Томила ситуация, хотелось разрешения.

Но разрешение — это всегда какая-то судорога, финальный шум-гам, суета... А Смолычев о том и толковал: ему предстоит кануть без брызг и ряби. Просто тихо исчезнуть. Раствориться в чёрной воде.

Так ржавые суда на рейде тишком набирают жидкого балласта в неприметные течи. А потом... под покровом ночи... ни пузырей, ни пара...

И утром уже не за что зацепиться глазу на зелёной равнине моря.

* * *

До конца Гребнёв не верил, конечно. Так-то оно так... исчез целиком. Но ведь когда-нибудь что-нибудь непременно всплывёт. Всегда в конце концов что-нибудь всплывает.

В общем, первые дни он объяснимо тревожился, безотчётно волновался: душа то и дело сжималась, словно нужно было ему куда-то кинуться, что-то поправить, поставить на место, привести в порядок! — а он медлит, не кидается. Попусту тратит драгоценные секунды... ах, господи.

И опять он пытался думать тогда обо всём *в целом*. Но, если честно, не очень получалось. Думать — это рассуждать. Но как рассуждать? Всё *в целом* было так велико, что частное суждение на его счёт не имело смысла. Всё *в целом* было во столько же раз больше человека, во сколько раз земной шар больше муравья. Нет, ещё больше, куда больше. Человек не мог думать предметно обо всём *в целом*. Такая мысль не могла никуда уместиться. А ведь чтобы мысль стала выразимой, надо её хоть куда-нибудь уместить!..

С течением времени тревога отступала, превращаясь из непрестанно ноющей, как зубная боль, в то, что накатывает время от времени.

Часто случалось за едой: бросит на тарелку горячий тост — и вспомнит, что Смолычев любил печёную в золе картошку. Начнёт лить кипяток в заварочный чайник, пахнёт оттуда терпким ароматом, — и опять о Коле подумает.

Отступало... отступало.

Когда-нибудь и вовсе бы истаяло, потеряв плоть, превратившись в нежную кисею памяти.

Но недели через три зазвонил телефон.

Гребнёв взял трубку.

Ему пришлось совершить усилие, какое требуется, чтобы совместить две плоские картинки в объёмное изображение: и голос показался чужим, и не мог — ну никак не мог — этот голос принадлежать Смолычеву!..

— То есть ты жив, — тупо сказал Гребнёв, когда всё встало на свои места и он осознал что к чему. — Ага.

* * *

— Валюша, тут вот какое дело, — осторожно начал он.

Ему не хотелось вдаваться в детали. Первые слова их разговора оказались объяснимо невнятными: Коля произнёс вводное «ну» и тут же осёкся — наверное, потому, что уже в этом его начальном «ну» прозвучало всё, чем можно было бы продолжить: «ну, понимаешь...», или «ну, тут такая ситуация сложилась...», или что-нибудь ещё в том же роде. И любой вариант после этого «ну» имел бы извинительный, даже оправдательный оттенок.

Однако ни извиняться, ни оправдываться Смолычеву вообще-то было не в чем.

Конечно, он странно себя повёл. Но между друзьями это решается просто. Ведь Гребнёв друг, а в чьих ещё глазах хочется остаться безупречным, без странностей и недомолвок, как не в глазах друга. Поэтому просто извинись, и дело с концом. А что до оправданий, то пусть тебя оправдают обстоятельства, судьба, рок или ещё какая чертовщина — а друг простит и забудет, потому что с фатумом не поспоришь.

В общем, разговор начался с этого многозначительного Колиного «ну».

Гребнёв же испытывал такое нелепое, такое радостное ошеломление, что не сразу собрался с мыслями.

Потом всё же заговорили — да как!

Разве о таком расскажешь? Да и стоит ли?..

— Что случилось? — встревоженно спросила Валя.

— Ты не волнуйся, — сказал Гребнёв, осторожно ставя пустую чашку на блюдце.

Она смотрела на него с напряжённой улыбкой. Он знал и эту улыбку, и этот жест: она складывала руки на груди и немного откидывалась, изготавившись принять удар неожиданной неприятности.

— Что ты, в самом деле, — поморщился Гребнёв. — Ничего не случилось. Просто хотел сказать... В общем, Коля не...

Он не смог выговорить слова, а только отрицательно мотнул головой.

Валя смотрела такими глазами, будто услышанное превзошло самые чёрные её ожидания.

— Что? Нет? — сказала она, сглотнув. — А как же?.. Подожди, но он же собирался!

— Ну вот так... Рассобирался.

— Да как же?!

— Валюша! Ты чего?

— Господи, — потерянно пробормотала она. — Вот ничего себе!.. Как на вулкане живём! Каждый день новости... Но как же так... почему?

— Что — почему?

— Почему он... ну?..

— Говорю же — передумал!

— Да почему передумал-то?!

— Потому что сына нашёл.

— Сына? Но он же раньше...

— Ну да. А теперь нашёл.

— Зачем? — спросила Валя, недоумённо разведя руками.

Гребнёв поднял брови, потянулся к заварочному чайнику и, придерживая пальцем крышечку, нацедил в чашку.

Результат оказался ничтожен, однако само действие дало ему несколько секунд собраться с мыслями.

— Валюсик. Ну что ты. Я не знаю зачем. И что вообще значит — «зачем». Может найтись миллион причин. Люди вообще разные. Одни так решают, другие иначе. А потом ещё и перерешивают... Сама посуди, это ведь их дело. Мы с тобой не можем же управлять. Мы же не определяем, кто что решит и почему. Ну вот так он сначала решил. Сама знаешь, как я его отговаривал...

— Отговаривал! — Валя встала и принялась с яростным лязганьем переправлять тарелки в мойку. — Псих он, честное слово, псих! Передумал он!..

— Я, например, только рад, — помедлив сказал Гребнёв. — Да и ты, наверное, тоже... Я всё это время места себе не находил. Как подумую...

Она яростно обернулась:

— А за это Колечке твоему отдельное спасибо! Серый весь стал!

— Да тише ты, в самом деле! — сказал Гребнёв, смахивая с клеёнки брызги мыльной воды. — Прямо уж серый!..

— Что тише, когда на тебе лица не было! Друг называется! Хорош друг! Сначала друг, потом вилы в бок!

— Ну какие вилы, Валюшечка... Сын у него, вот он и передумал.

— А раньше он каким местом мозгами ворочал? Раньше у него сына не было?!

— Да откуда я знаю!.. Но ведь хорошее дело — сын, правда? У нас вон сын, мы нарадоваться не можем... а? У него теперь тоже сын... только у него наркоман. Собирается его в реабилитационный центр на полгода...

Гребнёв пожал плечами: мол, что тут непонятного.

Валя ахнула и болезненно наморщилась.

— Кого в реабилитационный центр? Сын наркоман? Толком можешь сказать?!

— Не шуми, я тебе толком и говорю: сына! Подлечить, что ли, отучить... или как там, я не знаю! Я, говорит, виноват, что так получилось, теперь, говорит, надо всё заново. Нашёл себе заботу...

Он примирительно улыбнулся — мол, ну не чудак ли?

Валя опёрлась о столешницу костяшками пальцев.

— Так ты сразу скажи... Он что же...

— Что?

— Он деньги обратно, что ли, хочет?

— Деньги? Не знаю. — Гребнёв пожал плечами. — Наверное, хочет, если сына в реабилитационный центр. Там же всё платное.

Валя села, скорбно сложив руки на коленях.

Несколько секунд Гребнёв смотрел на неё, чего-то ещё не понимая.

— Валя, — осторожно начал он. — Ты конверт-то тогда хорошо прибрала?

Она немо покивала.

— Валя!

И тогда, вскинув на него честный взгляд, Валя отвечала и ласково, и немного виновато:

— Юрочка! Ты только сразу не сердись. Ты вот послушай...

— Ёлки-палки, Валя! Ты что?!

— Юрочка, нет, ну ты сам посуди...

Гребнёв стукнул ложечкой по клеёнке.

— Чужие же деньги, Валя!

— Ну как чужие-то, Юра! — плачуще воскликнула она. — Да чужие-то разве бы я посмела! Но он же тебе завещал!..

* * *

Машинка оттархтела последнюю порцию.

Кассир закрутил пачку резинкой, присоединил к предыдущим и придвинул к Гребнёву.

— Спасибо, — сказал Гребнёв.

— Может, конверт? — спросил кассир.

— Не стоит. До свидания.

— Всего хорошего. Заглядывайте.

Он по диагонали пересёк холл, вышел на воздух, сделал ещё два шага — и пережил укол того сладкого чувства, которое единственное способно доказать человеку, что либо у него нет никаких долгов, либо он имеет всё, чтобы наконец-то с ними разделаться.

Перестраиваясь, чтобы выехать на проспект, он по привычке припоминал обстоятельства последних месяцев.

Но уже не со злостью и не с раздражением — вот, мол, колотились на ровном месте, а ведь как легко было избежать этих никчёмных напрягов!.. Вероятно,

примерно с таким чувством удачливый охотник разглядывает трофеи: с этим зверем сладил... и с этим... и с этим.

Конечно, Валя могла бы сдержать тот ураганный порыв материнского инстинкта, с которого всё началось.

Или уж, перед тем, как оказаться унесённой ветром, сообщить ему: мол, так и так, Юрочка, не могу терпеть. Давай поможем сыну Серёже, самое время, отличный вариант подвернулся. Двушка, где они давно хотят. Там новострой вроде бы закрыли, но вот ещё два дома сдают. Эти уж точно последние. Наш-то олух всё завтра да завтра, под него вода не течёт, так всю жизнь ушами и прохлопает, а Катя, умничка, поймала на каком-то сайте.

Могла бы Валя ему сказать? Могла. Но ничего не сказала.

Потом она, правда, искренне винулась. Бес попутал. Юрочка, ты же меня знаешь. Просто не хотела морочить тебе голову... Он тогда плотно занимался сдачей проекта... а тут заново входить в мелкие дразги жизненного устройства — нужно ему? Дело-то по сути решённое, она не сомневалась, что он её поддержит...

Но это бы ещё полбеды.

Если бы Серёжка и впрямь налаживался на ипотеку, он, получив смолычевские деньги, не успел бы её оформить. С банками дела быстро не делаются. Гребнёв успел бы хватиться пропажи и переиграть обратно. Тогда бы всё отлично сложилось: и Смолычев воскрес, и денежки его на месте. А с ипотекой придётся немного обождать, ничего не поделаешь...

Но молодые обошлись без банков. Банки ведь вообще, как известно, ломают дикий процент. У них зимой снега не выпросишь, они хищники капитализма. Как только мамочка прибежала с конвертом и на кармане у Серёжи зашевелилась живая деньга, он обратился к идее эффективных инвестиций.

Откуда ни возмись, подвернулось выгодное предложение: не четыре сотых годовых в проклятом банке, а помесечно пять процентов на каждый рубль вложений.

Владельцем фирмы «Лига-Бизнес», этого вулкана дивидендов, был родственник приятеля Катиного брата: хоть и седьмая вода на киселе, но по некоторым отзывам человек чрезвычайно надёжный. С себя последнюю рубашку снимет, а клиента как сыр в масле будет катать...

Ну не дебилы?

Может быть, деньги не навсегда пропали, отстранённо думал он, следя за тнущим время светофором. Может, ещё удастся вытащить... хотя бы часть. Нужно предпринять кое-что в этой связи... но это дело будущего, хоть и ближайшего. Сейчас главную ношу скинуть — потом уж разбираться.

Сразу он смог отдать Смолычеву примерно треть — опустошил кубышку, куда откладывал на обновление автопарка. С остатком вышла заминка, в итоге растянулось на два с лишним месяца...

Он свернул во двор, нашёл место, заглушил мотор и выбрался из машины.

Когда он отпер дверь, Валя стояла, опёршись плечом о косяк, — будто и не покидала того места, с которого утром провожала.

— Ну? — спросила она.

— Всё в порядке, — сказал Гребнёв, разуваясь. — Всё нормально. Не волнуйся. Всё хорошо. Сегодня же отдам. Конец переживаний. Чуть до инфаркта не довели, честное слово.

— Ой, типун тебе на язык, — сказала она. — Ну и ладно. Я очень рада. Обедать будешь?

— Обязательно. Сейчас позвоню только...

Слушая гудки, невольно вспомнил последний разговор. Господи, из-за такой-то чепухи... Теперь всё, конечно дело... Какая ерунда, и ведь на ровном месте. Впрочем, неприятности всегда на ровном месте. Если иначе, это не неприятности, а...

Додумать не успел: в трубке хрустнуло, раздался незнакомый голос:

— Алло!

Помедлив, Гребнёв сказал неуверенно:

— Это, наверное, Викентий?

* * *

Он уже положил трубку, когда заглянула Валя.

— Всё готово, пойдём, — сказала она. И тут же ужаснулась: — Господи, Юрочка, что с тобой?!

— Нет, ничего, — ровно сказал Гребнёв. — Ничего.

— Да как ничего! Что случилось?

— Да вот... Смолычев вчера...

Он растерянно пожал плечами.

— Что?

— Умер.

— Как умер?!

— Ну как... Сердце. Вроде и «скорая» сразу приехала. Но...

— Как же это!.. Боже мой!.. А с кем ты говорил?

— С Викентием... с сыном.

— С сыном, — повторила Валя. — Ага... Ну да, ну да... И что теперь?.. А похороны когда?

— Завтра.

— Завтра?.. А как же завтра, я же завтра хотела... Господи, о чём я, дура! — плачуще сказала Валя, отмахиваясь, словно отгоняя муху. — Ну да, ну да... И он сам всё? Викентий-то этот? Похороны сам?

— Говорит, всё сделал...

— Господи, господи!.. Ну как на вулкане, как на вулкане!.. Ты в чёрном поедешь? Лучше чёрный, а не синий. А как же деньги?

— Деньги? Да как... Викентию отдам.

— Ну конечно, конечно... А он не...

— Что?

— Сам-то... как он теперь?

— Не знаю, — ответил Гребнёв.

Он потёр лоб, глядя на блик оконного света в полировке журнального столика.

У него два — синий и чёрный. Она сказала — чёрный. Ладно.

И чёрную рубашку. Есть одна. Совершенно палаческого вида. Куда в ней... только для такого.

— Юрочка, — жалобно сказала Валя, нарушив паузу. — Ты как? Всё остынет...

— Ну да, — сказал Гребнёв, зажмуриваясь. — Ну да.

Рыбки

Наталье Алексеевне Поповой

Знавал я одного типа, у которого во всём мире родного была лишь махровая фиалка. Цветок достался ему от матери, он над ним буквально не дышал, а когда тот всё-таки зачах, горевал несказанно.

Помнится, я произнёс прочувствованные слова насчёт того, что всё здесь, как это ни горько, обречено на кончину, любящему сердцу всегда представляющуюся безвременной, — так стоит ли так убиваться по цветку, если не удаётся сберечь ничего куда более ценного?

Но даже это не смогло его толком утешить.

Да, у каждого в душе есть что-то вроде увеличительного стёклышка, и если уж что попадает в его фокус, никакими силами нельзя человека убедить, что на самом деле предмет не так велик, каким ему кажется.

Вот и Василий Христофорович к своим рыбкам относился как к родным.

Его сантимент был родом из детства. Аквариум стоял у окна, солнце пронизывало бело-розовые занавески и, успев мимолётно сгуститься в зеленоватом параллелепипеде воды, ложилось на свежeweымытый пол золотыми квадратами. Пузырчатое изверженище аэратора волновало золотые гипюры вуалехвостов. Понятно, что не обошлось без сильных рук отца, сыплющих корм юрким питомцам, ну и так далее.

Время шло, он вырослел. К декорациям первой любви добавилась благодарность молодой жене за понимание его увлечения, а потом и цоканье детского ноготка по стеклу. Когда всё кончилось, обломки брака, осиянные тревожным заревом несбывшегося счастья и добавочно подрумяненные припёками ностальгического сожаления, которое, как известно, со временем облекает даже самые тягостные воспоминания, сгрудились вокруг того, что осталось ему на замену смысла существования.

Короче говоря, кроме его любимых рыбок, в жизни Василия Христофоровича не осталось ничего, к чему он мог бы питать сердечную склонность.

При этом о самой своей жизни он отзывался довольно пренебрежительно: рутина, мол, застой и обыденность, ничего интересного.

Когда мы, бывало, у него засиживались, то к концу вечера эти его слова начинали звучать прямо-таки трагически: вот, дескать, жизнь прошла, а всё одно и то же, и что я на своём веку и видел-то, кроме этой казёнщины!..

Я к этому давно привык, я понимающе кивал, поскольку знал доброе сердце Василия Христофоровича; я не обращал внимания на его надрывные жалобы и горестные пени.

Но окажись на моём месте другой, он принял бы их за чистой воды издевательство — ибо всю свою жизнь Василий Христофорович провёл в обстоятельствах, на взгляд простого горожанина, совершенно экзотических: он командовал пассажирским теплоходом типа «Москва» — всеми его тридцатью восемью и двумядесятыми метрами от кончика носа до крайнего пупырышка жёлтой краски на корме, шестью с половиной от борта до борта и почти восемью от киля до клотика!..

* * *

Да, именно так.

И хотя его «пароход», как в неофициальных беседах капитаны величают свои суда, в силу ограниченности речного бассейна не достигал берегов Явы или Суматры, однако же всё то, о чём мой друг отзывался теперь как о рутине, колее и скуке, впечатлило бы и самого взыскательного слушателя.

Успокоительное шевеление незначительной речной волны за стенкой каюты придавало воспоминаниям Василия Христофоровича особую доверительность.

К некоторым он возвращался неоднократно: то ли в своё время не нашёл времени вдуматься в суть того или иного происшествия (он называл их случаями) и теперь, заново проговаривая, искал некий скрытый смысл давних событий; то ли прикидывал, не мог ли он тогда повести себя как-то иначе, чтобы дело в целом пришло к ещё более благополучному завершению.

Правда, исходя из того, что сам он был жив-здоров, по сей день оставался в капитанском звании и, более того, ни разу не попадал под суд, все памятные эпизоды и без того разрешались достаточно благополучно.

Тем не менее не давал ему покоя тот случай, когда он с пассажирами на борту потерял управление. К счастью, дело шло практически на траверзе Калязина: теплоход едва отошёл и находился метрах в шестистах от причала. Избежать критических последствий удалось благодаря помощи другого водного транспортного средства, очень кстати проходившего мимо.

— В принципе, я бы мог добраться до швартовки своими силами, — с затаённой досадой, чуть ли не с обидой, что не удалось выкрутиться самому, говорил Василий Христофорович. — Ничего страшного не произошло, аварийный руль работал... но!

Он поднимал брови и щурился, словно вглядываясь в прошлое.

После третьей рюмки мятый китель повисал на спинке стула, узел галстука разъезжался. Заметная седина в кое-где редковатой, а теперь ещё и растрёпанной шевелюре, вислые усы и суточная щетина добавляли немолодому лицу поношенности, однако волевой прищур этих молодцеватых серо-синих глаз! — о да, он оставался капитанским.

— Но ведь пассажиры! — говорил Василий Христофорович, кривясь от мучительного непонимания того, по какой такой причине минувшее смеет быть столь неисправимым. — Двести с лишним человек! Не шутка. А уж я-то знаю: к одной случайности жди другую, непременно прилипнется, зараза! Если у тебя руля нет — так случится и что-нибудь совсем непредвиденное!..

— Например? — спрашивал я. — Что уж такое непредвиденное может произойти в километре от Калязина? Стая акул приплывёт? Чудо-юдо рыба-кит из глубей морских?

— Вот вы смеётесь, — с лёгким осуждением замечал он. — Но о чём говорит ваша насмешка? Ваша в данном случае довольно безрассудная насмешка говорит именно о временной вашей безрассудности. О непонимании всей совокупности обстоятельств. А если рассудить? Если попытаться вникнуть?

Он замолкал, попыхивая папиросой.

— Что тогда?

— Что тогда, спрашиваете!.. Ну, например, что, если бы в тот самый момент мне под борт мину подтащило? — заведомо зная, что я не найдусь с ответом, а оттого

хитровато поглаживая усы, интересовался Василий Христофорович. — Вот она всплывает — а я даже в сторону отрулить не могу. Что тогда?

— Господи, да откуда же под Калязиным мины? — ужасался я.

— Откуда!.. — откликнулся Василий Христофорович. — Вот и видно, что не желаете вникнуть. Да и действительно, откуда бы?.. Сплошное недоумение! — если, конечно, не знать, что в своё время фарватер Волги под Сталинградом натурально минировали во избежание появления вражеских катеров. Забыли? Или просто не в курсе? После войны ликвидировали, разумеется, расчистили фарватер для продолжения судоходства. А если не все убрали? Допустим, парочку двухсокилограммовых ещё прежде сорвало с якорей. Могло такое случиться? Ещё как. Вы скажете — тогда бы они сплывались в Каспий, как заведено у всякой плавучей дряни. Соглашусь. Но что если всё-таки задержались? На мель прилегли!.. застряли в камышах, будь они трижды неладны!.. протянули время! Чтобы потом по воле волн и парадоксальных течений, каких в нашем деле хватает, под самый борт ко мне и подвалить! О таком не думали?

Василий Христофорович со стуком ставил пустой стакан на стол.

— Вот именно что не думали, — вздыхал он затем, вытирая усы. — А ведь возможно такое, очень даже возможно... Тут хоть бы в сторону взять — а у меня руля нет. Здравствуйте, я ваша тётя. Дальше что? Взрыв мирного судна с пассажирами на борту? Гибель невинных людей на манер «Титаника»?.. Да и то сказать, «Титаник»-то бог весть когда и никто не знает где, а это сейчас и на траверзе Калязина! Есть разница?

Я невольно воображал отважную джаз-банду, бесстрастно наярывающую на корме вставшего дыбом и почти уже скрывшегося в пучине «эм двести двенадцатого», и самого Василия Христофоровича, яростно размахивающего «бульдогом» в тщетных попытках сдержать напор рвущихся к шлюпкам.

— И как же? — спрашивал я, осознав гибельность положения.

— Да как, — вздыхал Василий Христофорович. — Буксиришко мимо шлёпал. Буксир-толкач проекта девятьсот восемь, знаете, наверное... Заметили там, что я на фарватере в растерянности толкусь. Гуднули, по рации окликнули...

Он замолкал, давая мне возможность вообразить дальнейший ход спасательной операции, тем более что уж не раз о ней рассказывал. Всех дел на десять минут, пассажирам лишняя радость — снимать на телефоны, как подваливает буксир, берёт сплеховавшую «Москву» под бочок, будто парень девушку в игривом танце, и ведёт куда следует.

— При любом раскладе нужно брать в расчёт человеческий фактор, — рассуждал далее Василий Христофорович. — Согласен, можно вообразить и столь счастливое стечение обстоятельств, что мины бы подо мной не оказалось. Да ведь пассажир понимает одно: дело швах! А паника — она хуже пожара... Есть одна книжулька из морской жизни — «Механик Салерно». Не попадалась?

Я конфузливо разводил руками.

— Какие ваши годы, — успокаивал Василий Христофорович. — Попадётся ещё, ознакомьтесь. Тоже, конечно, много такого придумано, чего в жизни не бывает, да уж тут...

И он махал рукой, явно не питая больших надежд на то, что литературе удастся когда-нибудь всерьёз отразить жизнь.

Будучи увлекаем прихотливыми течениями беседы с акваторий службы в просторы досуга и даже поэзии, Василий Христофорович заговаривал о рассветах над Волгой, о закатах при городе Кашине, о ловле клыкастого судака в отвес на живца в тихих водах реки Медведицы.

Со смехом рассказав, как в попытках достичь обрыбленных мест пару раз ненароком сажал вверенное ему судно на мель, Василий Христофорович обращался к тому, что составляло главный интерес его частной жизни — к своему аквариуму.

Шарообразный, размером примерно со школьный глобус, он стоял справа от капитанской койки на специально сконструированной полочке. Две мощные укосины полированного дерева и широкий ремень, предусмотренный на случай качки — пристёгивать сосуд к стене каюты, — оставляли впечатление продуманной надёжности.

— Вот они, красавцы, — обращаясь к вместилищу вечной своей радости, любовно ворковал Василий Христофорович. — Вот они, скакуны мои!.. Ну что, Мишка, всё красуешься? Ишь ты, иноходец!.. Варюшечка, а ты-то где?.. Ах, ты у нас за амбулией прячешься, моя хорошая!.. скромница ты наша!.. Ну, иди на простор, покажись!

Польщённый вниманием Мишка и впрямь горделиво гарцевал, застенчивая Варюша лебёдушкой выплывала из зарослей амбулии и индийского папоротника. Золотые рыбки теснилось за стеклом, с обожанием глядя на Василия Христофоровича и при каждом пируете бросая крупницы алмазного сверкания на стены каюты.

Лучась добродушием и довольством, Василий Христофорович постукивал ногтем по закруглению аквариума.

— Сейчас, мои хорошие, дафний вам насыплю... Наедитесь от пуза, троглодиты мои золотые... чур не толкаться!

Рыбки взволнованно переминались за прозрачной стеной узилища, не устая выказывать преданность трепетанием блистающих плавничков.

— Что, не боитесь снова потонуть-то? — с добродушной иронией интересовался Василий Христофорович. — Не дрейфьте, ребятки, авось пронесёт!

Обычно он при этом подмигивал мне — мол, помнишь историю-то? Как я огольцов-то своих спасал, — ведь рассказывал?

* * *

Разумеется, я отлично помнил эту драматическую повесть: шутки шутками, но однажды Василий Христофорович тонул самым непритворным образом.

К счастью, дело было всё-таки не над Марианской впадиной, судёнышку не удалось даже толком погрузиться: легло на борт в виду береговых вётел.

Это, однако, не умаляло опасности. Если даже хороший пловец при случае может захлебнуться в ванне, что говорить о двух сотнях пассажиров на реке!..

Проведённая позже техническая экспертиза не нашла вины капитана: судно содержалось в исправном состоянии, проходило положенные осмотры и текущие ремонты в полном соответствии с регламентами.

Однако, как ни печально звучит этот каламбур, осмотры не обходились без недосмотров. В кормовой подводной части близ килевого ребра наличествовал проржавелый участок днища, на протяжении ряда лет не привлекавший к себе должного внимания. При работах в сухом доке его наравне с прочими поверхностями ниже ватерлинии исправно покрывали эпоксидной грунтовкой и полиуретановой эмалью. Годами слоясь друг на друга, мастики обеспечивали видимость целостности. На здоровый стальной корпус столкновение с бревном-топляком не оказало бы никакого действия. А здесь тяжёлый балан проломил слои краски вместе с гнилым днищем, словно карамельную корочку на торте.

Дело было в акватории Оки километрах в пятнадцати от Нижнего — и по счастью днём.

Василий Христофорович сделал всё, что должен был сделать в такой ситуации. Теперь ему оставалось лишь смотреть в иллюминатор рулевой рубки.

Кривясь, словно от боли, он побелевшими пальцами сжимал поручень, и каждая клеточка его леденеющего тела подталкивала пароход.

Время текло так быстро, что казалось, будто уж не меньше часа прошло, как он приказал положить руль лево на борт, — и так медленно, что берег с его вожаденной отмелью стоял как вкопанный.

«Ну же, ну! — не замечая того, шептал Василий Христофорович. — Ну, давай, давай!..»

Крен увеличивался.

Когда прозвучали не только тупо-успокоительные мужские голоса, но и женские взвизги, всегда служащие главным сигналом к безумию, слева по борту показался «Михаил Сперанский» — выдавший виды теплоход триста пятой серии, флагман «Дунай».

— Эм двести двенадцатый, это что ж тебя так скособочило? — гулко раскатилось из его громкоговорителя над водной гладью.

Капитаны величают друг друга названиями своих судов. Вопреки обычаю, «Сперанский» тут же обеспокоенно перешёл на личность:

— Василий Христофорович, что случилось?

Василий Христофорович счёл, что пришло время так же гулко заорать и его динамикам на мачте:

— Граждане, соблюдайте спокойствие! Приготовьтесь к рассадке по шлюпкам и покиданию судна!

Между тем «эм двести двенадцатый» ещё шёл, ещё рвался к берегу, к спасительной косе.

Ближе, ближе — и вот уже киль начал зарываться в донные отложения — и зарылся! — и через мгновение теплоход содрогнулся, обмирая.

В салоне падали друг на друга, вскрикивали, гремела и гулко лопалась, валясь со стеллажей посуда.

Опёршись днищем о твёрдое, судно, казалось, облегчённо перевело дух. И вроде бы перестало набирать крен. Ну разве что самую чуточку.

«Сперанский» дал реверс в полутора кабельтовых от «эм двести двенадцатого» и теперь лишь подрабатывал машиной, чтобы не дрейфовать. Команда суежилась у шлюпок.

Дальше шло как по маслу.

Шлюпки споро сновали, доставляя потерпевших на борт «Сперанского».

Когда от приотпленного фалышборта «эм двести двенадцатого» отвалила лодка с последними пассажирами, Василий Христофорович широко перекрестился.

Сейчас он возьмёт судовой журнал и папиросы и...

Бог ты мой, а как же рыбки!

Что-то хищно кракнуло под днищем. Палуба дрогнула, теплоход просел всем корпусом. Волна от винтов подрабатывающего «Сперанского» мягко толкнула его в борт — и он снова начал заваливаться на бок.

Цепляясь за ступени трапа, Василий Христофорович сполз вниз. Пробрался коридором (пол лежал под углом не менее сорока пяти градусов к вертикали) и вошёл, если это слово применимо к нынешнему способу его передвижения, в каюту.

К счастью, ремень доказал свою надёжность. Из аквариума, равно накрённого со всем окружающим, вылилась лишь половина содержимого.

Василий Христофорович обнял тяжёлый скользкий шар, щёлкнул застёжкой ремня, освобождая, и понёс наружу, помогая себе выпяченным животом.

Он прижимался к стеклу щекой, а золотые рыбки смотрели изнутри, тускнея от ужаса.

К тому времени, когда он кое-как выкарабкался на палубу (раз сто успело оборваться сердце: представлял, как стеклянный шар падает на стальные ступени трапа), от «Сперанского» уже спешила шлюпка.

Но дожидаться её Василию Христофоровичу не хватило времени.

Теплоход скрипел и ложился, из моторного отсека вырывался пар. Должно быть, вода достигла горячего двигателя.

Ему ничего не оставалось, как сползти по уже почти отвесной плоскости палубы.

Он погрузился в мелкую рябь — но всё же не как после прыжка, а сравнительно мягко — и каким-то чудом удержал полупустой аквариум на плаву, даже не почерпнув.

Василий Христофорович видел приближающуюся шлюпку, но поплыл к берегу, куда ближе.

Поднимая над головой аквариум, чтобы сберечь содержимое от покушений чуждой стихии, он преодолел десяток метров водной глади, нащупал дно и, успев наглотаться взбаламученной тины, захлебываясь и фыркая, отчего усы у него всякий раз вставали торчком, снова прижал сосуд к сердцу.

С каждым шагом погружаясь в ил, он выбрался на более или менее твёрдое и обернулся к подваливавшей шлюпке.

Можно было что-нибудь крикнуть.

Но они и так его отлично видели.

Так что он стоял молча — стоял будто Антей, держащий в объятиях земной шар со всем его населением.

Clam chowder¹

Дмитрию Юрьевичу Аболину

Если барахлила сеть, я звонил Тому.

Когда Том приходил, мы первым делом шли к кофейному автомату и сооружали по огромной кружке *нормального* колумбийского. В ассортименте пакетиков при кулере наличествовал также колумбийский *декофеинизированный*, многие американцы предпочитали именно его. На мой взгляд, и *нормальный* колумбийский был столь декофеинизирован, что о большем не стоило и мечтать. Но, может быть, колумбийский *декофеинизированный* не только не являлся источником вредного кофеина, но ещё и связывал это ядовитое вещество и выводил из организма.

Том садился к монитору, исследовал систему и заключал, что неполадка кроется в сети первого уровня. Поскольку же он, Том, специализируется на сетях второго уровня, следует позвонить соответствующему специалисту, то есть Джону.

Он допивал кофе, мы сердечно прощались, и я звонил Джону.

Всё примерно повторялось. Джон доброжелательно сообщал, что Том, специалист по сети второго уровня, ошибался, утверждая, что неполадка таится в сети первого

¹ *Clam chowder* (англ.) — суп-пюре из моллюсков. Обычно приготавливается с солёной свининой, картофелем и луком.

уровня. На его, Джона, взгляд, неполадка кроется в сети третьего уровня, специалистом по которой является Стив.

Мы допивали кофе, Джон уходил восвояси, а я звонил Стиву.

Всё это отнимало массу времени. Работа стояла, мы строили глумливые предположения насчёт того, на каком по счёту шаге итерации система выйдет на точку останова.

Когда появлялся Стив, мы приветствовали его, стараясь не показать своей иронии, и перекидывались словечком. Понятно, что и Стив не отказывался от чашечки кофе.

Резонно было бы предположить, что он тоже окажется специалистом не той категории и затея кончится только новым меморандумом. Однако Стив, грея ладони о большую кружку колумбийского *декофеинизированного*, добродушно подтверждал мнение Джона.

Да, говорил он, проблема в третьем уровне. Что ж, сейчас посмотрим.

Не проходило и десяти минут, как сеть оживала, и можно было приниматься за дело.

Но когда часовая стрелка переваливала за одиннадцать, к нам приходил Дик Даглас: он распахивал дверь и говорил с порога не совсем по-русски:

— Здас-туй-те!

* * *

В первый день мы пришли на полчаса раньше и перекурили у входа.

Время от времени стеклянные двери компании Sierra Geophysics бликовали, пропуская сотрудников внутрь.

Потом оттуда, наоборот, кто-то вышел.

Подходя, он приветственно поднял руку и улыбнулся.

Нас должен был встретить Саша Козырев. Саша работал в Сьерре года четыре, вполне обжился, и мы могли рассчитывать на его знание английского. Но Козырева ещё не было.

А этого типа мы не знали. Я даже оглянулся посмотреть, кому он там машет.

— Morning! How are you?

Первые фразы понять было просто, смысл диктовался контекстом.

Как мы? Спасибо, хорошо. А вы? Отлично.

Потом он сказал что-то насчёт того, что всё портит проклятый четлах. Впервые слышу. Что за четлах такой, господи. Что сказать про четлах? Сказать нечего. Да уже и незачем, уже проехали четлах, теперь другое успеть бы понять...

Мы поддерживали беседу, более или менее успешно перебарывая её лексическую избыточность.

Но потом он заговорил про автобус. Мой автобус то, мой автобус это. Мой автобус не желает, мой автобус желал бы. Какую идею он силился выразить?.. Мой автобус не хочет курить. Мимолётная беседа на крыльце не предполагает долгих раздумий; в череде прочих мелькнула дикая мысль, что незнакомец кланчит денег на билет.

Тут появился Козырев.

— Да ну, какой автобус, — удивился он. — Вы чего! Дик пришёл сказать, чтобы вы здесь не курили. На втором этаже есть лоджия, вот там можно. Шеф увидел с балкона, что вы курите у дверей, и послал Дика. Пошли, пора.

Ах, вот что!..

He my bus он сказал, а my boss. Не *мой автобус*, а *мой начальник*.

Это просто произношение!.. Они тут все, видите ли, акают!..

Но, когда я сообразил, уже не с кем было перекинуться словечком.

* * *

В его внешности не было ничего, что указывало бы на холерический, флегматический или, не дай бог, меланхолический темперамент. Типичный сангвиник: большой добродушный человек в дорогом пиджаке, с пузцом, которое выглядит при нём настолько естественно, что отсутствие такового показалось бы заметным уродством. Краснощёкий, губастый и если не улыбающийся, то всегда к этому готовый.

Большую часть жизни он работал менеджером по продажам. Не знаю, что Дик делал в Sierra Geophysics до и что стал делать после, но с первой встречи на крыльце и вплоть до нашего отъезда он отвечал за то, чтобы мы не скучали.

Бывало, что в процессе нашего с ним сердечного празднословия кто-нибудь неосторожно смотрел на часы.

— О! — восклицал Дик; на его безоблачную физиономию набегала тучка. — Вы не должны замыкаться на этих чёртовых программах! Ведь я понимаю: вы скучаете! Чужая страна, чужой язык! Мы должны бороться с вашей скукой. Я не дам вам загнуться с тоски в этой чёртовой Америке! А? — Добродушно хохоча, он легонько рукоприкладствовал, дружески тыча кого-нибудь из нас кулаком в живот. — В этой проклятой стране и так-то страшная скука, а вам она ещё и не родная!.. Нет-нет! Я должен вас развеивать. Едем обедать!

Кто-то робко возражает — мол, стоит ли? Ведь ездили вчера. И позавчера ездили. Может, сбегать за сэндвичами в кафе напротив? Много работы, жалко времени. Да оно и дешевле...

— При чём тут деньги? — громыкает Дик, воздымая руки жестом категорического отрицания. — Главное — чтобы вы чувствовали себя как дома. Компания Sierra Geophysics не собирается экономить на вашем благополучии. Собирайтесь, я скоро найду.

Сорок минут езды до ресторана на побережье. По пути Дик рассказывает, что такое клэм-чауда. Чтобы приготовить этот необыкновенно вкусный суп, повару следует вооружиться терпением. Особый аромат вареву придают специи и травы, в каждом заведении свои. Там, куда мы едем, клэм-чауду готовят двести лет. В Америке тоже есть свои традиции.

— Сейчас мы насладимся! — восклицает Дик, заруливая на стоянку.

«Чёрт бы их всех побрал, — говорит он, когда к его величайшему разочарованию в заветном ресторане именно сегодня клэм-чауды не оказывается. — Что за неудача, — ворчит он. Приехали отведать клэм-чауды — а её и нету. В штате Вашингтон такое редко случается. Ну, что делать. Ничего, мы с вами ещё поедим этой чудной похлёбки!..»

* * *

В череде привычных рассуждений о трудностях английского языка Дика посещает довольно неожиданная мысль: ему немедленно следует выучить русский.

— Почему вы одни должны мучиться? — настойчиво спрашивает он. — Чужой язык, чужая страна. Представляю, как вы страдаете. Ужасно!.. Кроме того, наша фирма строит отношения с партнёрами на долговременной основе. Мне наверняка придётся ехать в Россию. В общем, решено, я начинаю заниматься! Пройдёт полгода, я приеду в Москву — и вот уж удивится ваш босс, когда я заговорю с ним по-русски!..

С одной стороны, есть основания полагать, что услышать от него что-нибудь новое не удастся ни на каком языке. С другой, вас греет его желание. Если бы он вознамерился учить китайский, вы бы и пальцем не пошевелили. А ради русского названиваете в Москву, организуя доставку. Всё это влетает в копеечку. Но посылка в конце концов приходит.

Только вы собираетесь его обрадовать, как он сам торжественно сообщает, что в ближайшее воскресенье ждёт вас у себя.

— Вы ведь не забыли, что я обещал пригласить всех на барбекю? И кстати: что там насчёт моих кассет? — спрашивает он с необыкновенной серьёзностью.

Вы вовремя прикусываете язык и только разводите руками — мол, что сказать: почта есть почта.

Зато в воскресенье вы заявляетесь с целой охапкой книг и коробочек.

— О-о-о! — ликует Дик. — Всё, начинаю! К сожалению, сегодня уже не получится. Сегодня мы будем веселиться. — Он подмигивает со значением. — Сегодня барбекю, бар-бе-кю! Вы ещё не знаете, какое удовольствие все мы получим! Но уже завтра я начну. Через три дня мы владеть поболтаем по-русски!.. Знакомьтесь, это моя жена Лиззи. Лиззи, смотри, что мне прислали из России. — Лиззи рада, она кивает и смеётся. — Не пройдёт и трёх дней, как Лиззи перестанет меня понимать, потому что я стану говорить по-русски!.. Это шутка, конечно, Лиззи понимает меня как никто... Теперь я покажу вам дом. Начнём снизу.

Огромная кухня, внушительная столовая, множество скудно обставленных комнат. В одной висит цветастая бумага в солидной дубовой раме — диплом, полученный Диком в восьмом классе, когда их команда заняла третье место в соревнованиях по футболу.

— Мой сын должен знать, как жил его отец, — говорит он с добродушной серьёзностью. — Пойдёмте дальше, у нас ещё много работы. Ха-ха-ха!

Шутки простые, понятные и добрые. Произнеся очередную, Дик заразительно хохочет. Вы тоже не можете удержаться от смеха. Вы ходите из одной комнаты в другую. Все комнаты похожи. Не совсем понятно, зачем их столько. Может, к нему наезжают родственники. Неясно также, для чего Дик так подробен. Не упустит ни единой мелочи.

— Теперь на второй! — грохочет он и широким жестом указывает в сторону лестницы. — Вперёд! Это последний дом, о котором я говорю по-английски! Дети подрастают, становится тесновато. Я присмотрел один чудесный особнячок в Белвью. Когда приедете в следующий раз, я объясню его устройство на русском!

На втором этаже — спальни.

— Сыну восемь! — торжественно гроыхает он, призывно маша, чтобы зашли поглубже и оглядели как следует. — Боевой парень. Окна на восток. Пойдёмте дальше. Это спальня дочери. Ей тринадцать. Вот её стол, вот тетради, книги... По воскресеньям мы ходим в церковь. Окна на восток. Я учу моих детей быть добрыми. Видите? Это ванная комната. Ею пользуются дети. Здесь есть всё необходимое. Вот ванна. Вот душевая кабина...

Вы киваете и угукаете.

— А это наша спальня — наша с Лиззи. — Подталкивает, чтобы не отлынивали. — Вот кровать. Окна на восток. Заметьте, наша спальня вдвое больше, чем детские. Это справедливо, ведь нас двое. Это ванная комната. Видите? Это ванна. Это окно. Окно на восток.

Вы киваете. Взгляд падает на раковину. Раковина выглядит как длинная белая такса. Из стены над ней торчат два крана.

— Мы с Лиззи встаём в одно время, потому и полотенца висят с обеих сторон. Видите?.. Здесь мы вместе умываемся, а здесь... — Он делает многозначительную паузу и указывает на душевую кабину: — А здесь мы вместе принимаем душ!

Расплывается в ожидающей улыбке. Вы угукаете и пятитесь. В конце концов, хорошенького понемножку.

— Wait a minute, — говорит он добродушно. — You don't understand! I'll repeat. So...¹

Чёрт его знает. Ваш английский и впрямь хромает на все четыре ноги. На всякий случай вы сосредоточенно хмуритесь.

— Итак, — повторяет он, и его полное розовое лицо принимает выражение лукавства. — Повторяю. Здесь мы вместе умываемся. А **ЗДЕСЬ МЫ ВМЕСТЕ ПРИНИМАЕМ ДУШ!!!**

— Понятно, — киваете вы. — Пойдём вниз?

Дик растерян.

— Э! э! Подождите! — говорит он. — Вы что? Вы поверили, что ли? Бросьте! Это шутка. Это была просто шутка. Честное слово, я пошутил. Мы никогда! — вы слышите? — никогда! — не принимаем душ вместе. Мы приличные люди!.. Вы мне верите? — смятённо спрашивает он. — Скажите, — вы верите мне?!

То есть это шутка. Насчёт того, что душ вместе, — это просто шутка. И, судя по его смущённому виду, довольно неприличная...

Но вот проходит этот длинный день: беготня по саду!.. футбол с маленьким Биллом!.. вино!.. закуски!.. вкусно и весело!.. и барбекю, барбекю!..

В понедельник Дика нет... во вторник нет... в среду вы только успеваете подумать, что, оказывается, вам его не хватает, как дверь энергично распахивается.

— Есть! — громыхает он с порога. — Я выучил!

— Really?!

— Да! Теперь-то я знаю, что сказать, если приеду в Москву и заблужусь в метро!

— Well?

— Just a moment... sorry... Oh, yes!..²

Он расправляет плечи, выкатывает живот, набирает в грудь воздух и ликующе возглашает:

— Йа поть-ей-йарь-лься!..

* * *

Катер мотался милях в четырёх от берега на пятибалльной волне в беспокойной зеленовато-серой субстанции, похожей на голубичный кисель.

Уже в нескольких метрах от судёнышка одну стихию нельзя было отличить от другой. Воздуха как такового не существовало. Взамен него предлагалась всё та же вода, только чуть менее концентрированная. Снизу она взметалась гребнями волн. Ветер срывал с них белые верхушки и нёс солёной картечью, чтобы смачно шваркнуть в первую попавшуюся физиономию. Сверху влага валилась ливнем и с весёлой остервенелостью барабанила по клеёнке пароходских зюйдвесток.

— Attention! — заревел динамик над рубкой. — Watch! Right! Two hundred meters!³

¹ Подождите минуту, вы не поняли! Я повторю. Итак... (англ.)

² Минутку... простите!.. О да!.. (англ.)

³ Внимание! Справа! Двести метров! (англ.)

Мы гурьбой повалили на правый борт, и лично я успел увидеть примерно полтора квадратных метра лоснящейся шкуры, которая, если верить обещаниям, полученным при начале экспедиции, принадлежала киту.

Собственно говоря, это развлечение так и называлось — whale watching¹. Учитывая количество воды, выпадавшей на голову каждого участника, по десятке с рыла было совсем не дорого.

— Вот теперь уж точно самое время отведать клэм-чауды! — громыхал Дик Даглас, когда мы, широко расставляя ноги в насквозь мокрых штанах, ковыляли по сходням на берег. — Не правда ли? Я давно обещал вам. Мы на берегу Тихого океана. Здесь в каждой дыре варят клэм-чауду! Вот что нужно настоящим морским волкам, сошедшим на берег после славного путешествия! Не пройдёт и пяти минут, как мы будем блаженствовать возле огромной кастрюли огнедышащей клэм-чауды! Взбодритесь!

Дик одёрнул капюшон и, призывно маша, устремился вглубь мокрой суши — с непривычки она ошутимо гуляла под ногами на манер палубы.

Три рестораника близ пристани оказались закрыты.

— Что вы хотите! — подбадривал нас Дик. — Март — это несезон! В конце апреля тут уже яблоку негде упасть! Вперёд!

Ещё две забегаловки в глубине курортного городишки функционировали, но клэм-чаудой порадовать не смогли. Оба раза, коротко переговорив с официантом и насупившись, Дик призывно махал, смело выступая под нестихающий ливень.

Третий ресторан тоже был закрыт. Четвёртый работал, но клэм-чаудой и не пахло.

Дождь хлестал не переставая, и я надеялся, что в скором времени Дик почувствует первые симптомы двустороннего воспаления лёгких, в результате чего появится наконец возможность хотя бы недолго посидеть в тепле и сухости. Этого, однако, не случилось, и мы прочесали городок по второй диагонали. Дождь не утихал, наоборот, он расходился, а мы всё петляли. Теоретически, Дика могло ещё и убить молнией. Но молний не было, и грома не было, был только дождь — тяжёлый сплошной непроглядный дождь, — и мы, вдосталь насмотревшиеся китов, всласть напробовавшие морской воды, шли и шли сквозь него, слизывая с губ совершенно безвкусную дождевую.

Официант последнего на нашем пути заведения извинительно развёл руками.

— Всё, — обессиленно сказал Дик. Он устало рухнул в кресло и подпёр мокрую голову. — Они с ума сошли... Нет, это не штат Вашингтон, ребята. Это просто мираж. В штате Вашингтон всегда можно было поесть старой доброй клэм-чауды.

Он был ужасно расстроен. Самое чёрствое сердце дрогнуло бы. Мне было его по-товарищески жаль.

— Да ладно, Дик, — сказал я. — Что ты, в самом деле. Далась тебе эта клэм-чауда. Вот, смотри, у них тут отличная треска. А?

Но Дик был безутешен.

— Нет, — говорил он. — Нет, это не прежний штат Вашингтон, честное слово. Я так хотел накормить вас клэм-чаудой! А теперь вам скоро уезжать, и вы её так и не попробуете!..

Скоро нам принесли жареную рыбу с картошкой и херес.

¹ Буквально: наблюдение за китами (англ.)

* * *

— Всё-таки жаль, что мы не попробовали вчера этой чёртовой клэм-чауды, — вздохнул Дима, осматривая берег.

— Ну да, — буркнул я. — А насчёт птичьего молока не жалеешь? Или, к примеру, что града Китежа не видел?

Он хмыкнул и принялся расстёгивать куртку.

— Я-то купался в Тихом океане, — поспешил сказать я, следя за его действиями. — Тебе в новинку, понятно... ну а я-то купался. На Сахалине. Ничего особенного.

— Это не в океане, — твёрдо возразил он. — Это в Татарском проливе. Смешно сравнивать.

Я внутренне заметался. Конечно, ещё оставалась надежда, что сию минуту кто-нибудь из отеля, верно оценив наши безумные намерения, немедленно вызовет «скорую». Тогда нас повяжут санитары в белых халатах и отвезут в психушку. Тоже, конечно, не сахар. Зато в воду лезть не придётся.

Но от отеля не бежала ни одна собака. А Пацифик, не оправдывая моих ожиданий (могла ведь подняться страшная буря?), оправдывал, как назло, своё красивое название. Он совсем не походил на себя вчерашнего. Небо было неправдоподобно голубым. Тянувшийся до горизонта пляж — неправдоподобно широким. Тихая волна с шипением набегала на сушу, и было непонятно, как может породить её столь совершенная гладь. А уж то, что вчера всё это пространство вставало с ног на голову, чтобы смешаться с тяжёлым ливнем, и вовсе казалось дурным сном.

Вдалеке влеклась группа всадников.

— Ой, смотри-ка, лошадки, — умильно сказал я, ещё надеясь отвлечь товарища от задуманного. — И верблюдики!

Двое и впрямь были на верблюдах.

— Туристический бизнес, — определил Дима, пренебрежительно махнув рукой. Он стянул куртку и бросил на плотный песок.

— Ну и что, — запальчиво сказал я. — Ну и бизнес! И никто не купается, между прочим!

— Это их дело, — буркнул он, расстёгивая штаны.

— Подожди, — сказал я, чувствуя прилив отчаяния. — Ну сам рассуди. Вот ты хочешь окунуться в Тихий океан. Понимаю. Но зачем? Может, ты думаешь, что после этого станешь умнее? Или хотя бы добрее? Или тебе откроются перспективы карьерного роста? Или ты встретишь какую-нибудь чудную женщину и будешь счастлив с ней до самой смерти? Ничего этого не будет, — безжалостно заключил я. — А будет только то, что ты возьмёшь манеру после третьей кружки пива бахвалиться, как лихо купался в Тихом океане! И всё! Ты понимаешь? Всё!

— Ладно, ты долго будешь надрываться? — грубо спросил он, оставшись в нелепых семейных трусах в цветочек. — Идёшь, нет?

В эту секунду я заметил, что от отеля к нам всё-таки кто-то приближается. Не санитары, нет, — но это было, пожалуй, ничуть не хуже санитаров.

— Стой! — торжествующе закричал я. — Подожди! Смотри, вон Дик Даглас идёт! Он не позволит тебе лезть в воду!

Однако по мере того, как Дик приближался, меня начали одолевать смутные сомнения: вопреки утренней свежести, на нём были шорты, дутая красная куртка на голое тело и сланцы на босу ногу.

— Swimming?¹ — грохотнул он, с приветственной улыбкой переводя взгляд с уже раздетого Димы на ещё одетого меня. — Rather cold, aha?²

— Да, конечно, же холодно! — закричал я. — Дик, скажи этому психу, чтобы он!..

— So!.. — сказал Дик, сбрасывая куртку. — Come on!³

* * *

С того дня утекло много воды.

Когда мы на время вернулись в Москву, одна международная корпорация, занимавшаяся преимущественно нефтяным оборудованием, решила избавиться от зачем-то находившейся в её владении непрофильной компании Sietta Geophysics. В процессе перемешивания активов наш микроскопический проект выпал в осадок. Дика Дагласа я с тех пор не видел. И не знаю, каковы его успехи в русском.

Но жизнь не кончилась. Случилось множество иных событий.

Одни из них были приятны, другие не очень, третьи и вовсе следовало бы отнести к разряду происшествий. Я менял работу и места жительства, расставался с любимыми, прощался с друзьями, встречался с новыми людьми, становился нищим, переставал им быть, искал счастье, находил, терял и снова находил.

Сама жизнь не раз перетекала из одной формы в другую, меняя весь мир, а заодно переделывая и мой собственный. Всё плавилось и текло, всё рушилось, чтобы восстать в иных очертаниях и формах и нести какой-то новый смысл, до которого каждый раз приходилось заново докапываться.

Да, да, да! — всё многократно изменилось.

И лишь одно осталось прежним: стоит мне хватить пару лишних кружек пива, и я не могу удержаться, чтобы не похвастать, как здорово мы купались в Тихом океане.

¹ Поплаваем? (англ.)

² Довольно холодно (англ.)

³ Давай же! (англ.)

Евгений Чигрин

Машина-сердце

Найденное

Поплатишься за дружбу с Бафометом,
За телеграммы сатанинским метром,
Написанные найденным пером.
Кто говорит? Костлявая на крыше?
Тот змей, что к Еве подбирался ближе? —
Её сестру затискивал тайком.

В гниющих пнях и под камнями лето
Осталось где-то... Всё, что в форме бреда
В мозгах перекрутилось. Бафомет
Всю ночь в тебе тряс кумполом козлиным
И похвалялся миллионным сыном,
Шутил похабно и сулил не смерть,

А что-то третье между тьмой и светом...
Показывал, как страх бежит по клеткам —
По нервным? Да. Включал огонь в глазах
Блуждающий, по цвету серой крысы,
Давал глотнуть безвестной марки виски,
Курил сомнамбулический табак.

Там, в этом «третьем», жизнь другого сорта,
Другая будет у тебя обёртка,
Машина-сердце, только и всего.
Махнул рогами Зверь — огни сверкнули,
Из сотен ружей вылетели пули,
Сцепились скалы, сделалось мертво.

А что там дальше? Я не помню, право,
Со всех сторон надвинулась орава
Несытых монстров, падких до расправ.
Всё стало вопросительней, чем было:
Теперь внутри врага моя квартира,
В которой я живу без всяких прав.

Чигрин Евгений Михайлович — поэт, эссеист. Родился в 1961 году на Украине, в г. Мала Виска (Кировоградская область). Долгие годы жил на Дальнем Востоке, в Южно-Сахалинске. Автор 12 книг стихотворений. Лауреат многих литературных премий, в том числе национальной премии «Золотой Дельвиг» (2016). Живёт в Москве.

Уроборос

Так долго розовели облака,
Тянулась к жизни детская рука
И ангел рефлексировал. Серьёзно?
Не потому ли мальчик в старика
Так быстро превратился: у виска
Крутить не надо. Осень смертоносна

По всем характеристикам... Вчера
Листва ольхи, как в музыке, сошла
С текучих рук, шумы послала в космос.
И про себя всплакнул бродячий пёс,
Заметив, что три молнии пронёс
В кашне грозы змеюка Уроборос.

Тот самый, что пытается сожрать
Свой гибкий хвост, кому весь мир — кровать,
Кто всё про обновление смерти-жизни
До капли знает. Как ему не знать:
Все знания в него вдохнула мать,
Другие змеи Уро ненавистны.

Так вот: цикличность жизни и т.д.
Стал мальчик стариком, теперь везде
Он видит только прошлое и ради
Какой-то милой привлекает сны.
Морфей их знает, как они смешны:
Когда у них все ночи в шоколаде.

Когда над ними Уроборос, но —
Они его не видят, не кино,
Не басенная книга о животных.
Объяты. Осень. Там мы или здесь?
Миры перемешались? Хаос. Смесь.
...Мерцают огоньки в местах болотных.

* * *

Несытое солнце смотрело на сытые розы,
И маятник жизни качался у Бога в руках,
В саду просыпались от счастья незрячие осы...
Весна закрывалась: богиня весны при ключах

Стояла, курила воздушное. Веста ли, Флора?
Неважно. Рассмотрим потом, а когда, не скажу...
Казалось, что в воздухе рядом звучит радиола:
Фокстрот довоенный, далёкий, как остров Шумшу.

Никольский собор отражение рая старался
Запомнить на память... некрепкое солнце тепло
Никак не включало... Прохожий фастфудом питался,
А облако в реку легло, точно Божье тавро.

Вздыхала река. И рыбак разговаривал с лодкой
Такой голубой и оранжево-красной с боков,
Шёл кот Барбарис с ослепительно-стильной красоткой
На зависть прибрежных, влюблённых в себя воробьёв.

Весна уходила, теплом не насытив, и Флора,
Почти докурив, усмехнулась, смахнула мираж,
В котором играла, шипя под иглой, радиоло
Фокстрот довоенный, а может быть, траурный марш.

* * *

Рыбак фотографирует леща,
Лещу в предсмертье точно не до селфи.
Его друзья подводные молчат,
А рядом в банке копошатся черви.
«Живые черви! Где ты, водный бог? —
Лещ умоляет, — измени мой жребий,
Перечеркни, ужасный эпилог,
На дне остались озорные бэби...
Бесспорно, я смекалист и красив,
В реке все фишки просекал свободно,
Переплывал легко большой залив,
Нырлял в места дремотные охотно.
Сазан, и окунь, и толстенный сом,
Как сорок тысяч братьев я любил вас!
И наш невозмутимый водоём,
Кота на берегу, что хочет "Вискас".
Мои бока в последний раз блестят
Под солнцем-Ра... В египетскую темень
Я ухожу... Под занавес летят
Три облака в полуденном эдеме.
А по воде гуляют барки — две,
И рыбаки проклятые смеются.
Под музыку в береговом кафе
Влюблённые друг другу признаются».

Недоверчивые очки

Не призрак твой, а сам ты на пустых
Ногах стоишь, забытый ипохондрик,
Стоишь и видишь в облаках гнилых
Чудовище, а рядом дошлый чёртик, —
Химеры в недоверчивых очках.
Опять не те напялил, старый мальчик?
Внутри тебя в неприбранных садах
Блуждающий огонь зажёт сигнальщик.
А вслух ты говоришь: «Теперь я где?»
Махни рукой, всплакни над «Незнакомкой»,
Что стала крысой при другой звезде,
Белиберде и музыке негромкой,
Что скомкана была... В твоих глазах
Та пустота, что видится погосту...
Смахни слезу, метафору, а страх
Нам скоро будет, милый, не по росту.
Опять ты с аллегорией? А как
Придуркам нежным втолковать живое?
Не призрак твой, а сам ты в облаках,
Какое небо высмотрел — шестое?
Тут что к чему? Да я и сам зачем?
Сомнамбулы со мной гуляют рядом.
У каждой лунной есть смешной никнейм,
Равно клеймо под жёлтым маскхалатом.
Ну, вот и всё. А что ещё, старик?
Палата № 6 не на ремонте?
В тебе двойник безбашенный возник, —
Ты слышишь, он прочёл «Из Пиндемонти».

Алексей Колесников

Мой первый, второй, третий и последующие обстрелы

Рассказ

1

Шдающий июнь. Почти всё время небо синее, как мультипликационное. В городе тихо. Взрывы я слышал последний раз, когда мы выбирались с Раяй на шашлыки в посадку — юг Белгорода, поближе к границе с Харьковом. Пум-пум-пум — донеслось сначала, а потом началась гроза и заглушила артиллеристскую суету. Неважная погода защищает, как купол, но портит пикник. Мы сунули сырое горячее мясо в пакет и укрылись в машине.

Кажется, я пью пиво и смотрю унылую политическую аналитику. Домой возвращается Рая и матерится с порога. Клянётся, что завтра же уволится. Ругает за многожды явленную тупость руководство. Раю приходится успокаивать наскоро состряпанным грибным супом.

— Пивом угостишь? — спрашивает она и, не дожидаясь ответа, делает глоток из бокала, прикрыв глаза. Луч закатного солнца преломляется в пивной кружке.

Рая абсолютно голая. На белом лице жирнятся лишь тушь и тональник. Кровоточит мозоль на мраморной пятке, и след от резинки трусиков на животе похож на экватор. Между ног кожа тёмно-бурая, как заветревшая колбаса.

— Ты не заболела? — спрашиваю я. — Худоба тебе к лицу, но ты уже почти просвечиваешься.

В ответ Рая проклинает трудовую повинность и обещает вовсе высохнуть, если интенсивность эксплуатации продолжит расти. Как винный бокал, она придерживает грудь и замечает:

— Зато сиськи выразительнее стали. — Добавляет ещё: — Умоляю тебя! Отпросись в отпуск. Поехали в любое место, где есть море! Где вода ближайшая от Белгорода?

Я задумываюсь, глядя на деревья за окном и плывущие вдоль них автомобили.

— Краснодарский край какой-нибудь. Или Херсон. Он же русский теперь.

Глотая суп, Рая гуглит расстояние до Геленджика.

— Не помню: ты был там?

— Нет, конечно, — говорю. — Там по слухам дорого. Обед — как моя дневная зарплата. Не вывезем материально.

— Почему на меня пиво не взял? — спрашивает Рая. — Зажал?

— Подорожало всё, — оправдываюсь я. — Не был уверен, что тебе захочется. У нас коньяк оставался. На книжном шкафу, внизу, где толстые книги.

— Схожу в пивняк, — решает Рая и проворно одевается. — Может, в Крым рванём? Ты ездил?

Говорю, что бывал и что там тоже дорого. И интернета нет.

— Да и не отпустят меня. Может, в августе? Сейчас бабла почти нет. К тому же нужно иметь запас на крайний случай.

Не отвечая, Рая уходит за своим любимым тёмным пивом, напоминающим водку в нефти. Мой друг Юра развлекает такое томатным соком.

Пару раз мы занимаемся сексом и засыпаем около полуночи. У кровати недопитый стакан с коньяком (утром Рая скажет, что это моя моча), измятая книга и заряжающийся телефон. Часа в два ночи мы просыпаемся от глухого взрыва. В полусне, как сомнамбула, Рая движется в коридор, прихватив одеяло. Требуется, чтобы я немедленно тоже пришёл. Не хочется.

— Один только. Больше не будет. Это случайность. Только Шебекино бомбят¹.

Повторный и ожидаемый взрыв. Более мощный. За ним ещё дуплетом. Трясутся пластиковые окна, и у нескольких машин на парковке срабатывается сигнализация. За стеной начинает плакать ребёнок. Он постоянно плачет и без взрывов.

— Отойди! Отойди от окна, — командует Рая, сонно косясь в экран телефона. — Ничего не пишут. Хлопок², и всё. Вот козлы — рекламу пустили. Уже третье объявление. Жильё рекламируют, представляешь?! Вот уроды!

Темень в окне. Лишь фонари освещают пустую дорогу. Воеет соседский «Мерседес». Мы живём у края города за объездной трассой.

Взрывается близко к земле, но далековато от нашего района. Я не паникую потому, что к нам во двор за два года ничего не прилетало. Только в трёх километрах случилось. Расскажу потом. Это был один из первых моих обстрелов.

Нехотя я плетусь в туалет, потом опускаюсь в коридоре на пол рядом с Раяй, спиной к толстой стенке, и мы переживаем зенитную дуэль. После, как всегда, долго не можем уснуть. Я брожу по квартире, пью воду, поглядываю в окно и в телефон. Рая на всякий случай одевается. (Вдруг на улицу бежать придётся.) Бельё, впрочем, игнорирует. Говорим о ерунде, вспоминаем наши лучшие дни, и вдруг внезапно решаем съездить в Абхазию.

— Полторы тысячи километров и дешевле. Бухгалтер с работы говорила, что там красиво.

¹ Шебекино — город в Белгородской области. Расположен в 50 километрах от границы с Украиной и в 30 от города Белгорода по прямой. Население Шебекинского района: 86,1 тыс. человек, г. Шебекино: 36,6 тыс. человек.

² Устоявшееся в Белгородской области определение для взрыва, происходящего в небе в результате поражения ракеты системой ПВО.

— И не бомбят, — замечаю я. — Ладно, попробую отпроситься, хотя жаль раскошелиться на роскошь.

— Море не роскошь, а терапия для нервной системы. Обеспокоенность вреднее сигарет.

Через две недели, в полчетвёртого утра, на моём гнилом «Авенсисе» мы выезжаем в Гагру, с остановкой в Краснодаре, где живут Раина сестра Аня с мужем. Я их никогда не видел.

Ане двадцать лет. Она уехала в Краснодар с мужем Антоном, когда случились первые прилёты в Белгород. Рая говорит, что Аня росла капризной девочкой, а родители ей во всём потакали, как это бывает с поздними детьми.

Мы выехали в третью пятницу июня 2023 года. В этот день над Белгородской областью сбили лишь один беспилотник далеко-далеко от нашего дома. Я бы и не вспомнил, если бы не этот текст.

2

Проезжая Миллерово, я понимаю, что мы практически у границы с Луганском. Это заставляет забыть о стоимости бензина и величине тарифов платной дороги М-4. Я даже перестаю опасаться, что может отвалиться левое колесо с поскрипывающей шаровой. Гоню сто тридцать и обгоняю тысячную фуру, везущую не то жратву, не то бытовую химию.

Раю беспрестанно дёргают коллеги. В ответ она шлёт поток нервных, но чётких голосовых сообщений. Поясняет, где какая папка на её столе. Мы практически не разговариваем.

— Ты штурман, или как? Следи за дорогой! — упрекаю я Раю, когда мы пропускаем поворот.

Рая, как кошка, шипит в ответ:

— Сам следи. Они моё заявление на отпуск потеряли. Рассказываю, где может храниться копия. Без него отпускные не пришлют.

— Тут граница недалеко. Если случайно заедем в Луганск, то деньги не понадобятся.

— Ещё как понадобятся. Слушай, а Игорь из Луганска или из Донецка?

— Из Луганска.

Это Игорь познакомил меня с Раей два года назад. Рая дружит с его женой Ольгой. Видимо, они решили нас свести. Пригласили на шашлыки за город — там у них дача, оставшаяся от бабушки. Это было до войны, осенью. В тот же вечер я увёз Раю в свою холостяцкую квартиру, а вечером, ничего особенно не выясняя, она притащила ко мне свои тряпочки и колечки.

Я приехал в Белгород из полувымершего посёлка, чтобы учиться на *никого*, а потом работать *никем*. Рая — коренная белгородка, врач-акушер, самая красивая девушка в их больнице, КМС по плаванию; нежная, с лёгким сердцем, когда не нервируют. Омут моей холостяцкой жизни она всколыхнула энергией, спонтанностью и трепетной любовью. Ненадолго даже сумела убаюкать мои литературные амбиции.

— Оля или Игорь тебе когда-нибудь рассказывали об обстреле в Луганске? О том, как погиб брат Игоря? — спрашиваю Раю.

— Нет. Я знаю, что там у Игоря кто-то умер перед отъездом. Отец?

— Нет. Советую тебе его подпоить посильнее. Тогда будет история.

Рая уговаривает меня рассказать, но я отказываюсь:

— Не смогу, как он. Это не мой арзамасский ужас.

— Вечно всё тянуть из тебя приходится! Как тебя только не тошнит, когда рассказы свои пишешь.

— Тошнит, конечно. Обычно это симптом того, что получается.

Приближаемся к Новошахтинску. Кондиционер работает на полную мощность. Заканчивается вода, и жрать хочется. На шоколадки, припасённые Рацией, я уже не могу смотреть. На заправке покупаю пару дорогуших хот-догов и кофе.

— Пёс в булке, — говорю я.

Всё же я решаю рассказать про Игоря. Поссорившимся людям нельзя принимать совместно пищу: она не переварится и случится запор, что удобно в пути, но крайне бесполезно.

Игорю было семнадцать. Он собирался уехать из Украины на учёбу куда-нибудь в Россию. Летним вечером он, его младший брат и пара проверенных друзей отмечали окончание школы. Сначала шатались по знакомым улицам вдоль раздолбанных зенитками домов, потом от нечего делать пропадали на стадионе — болтались там на турниках. Прятались в остановке с советской мозаикой от внезапного дождя, а на закате купили пива и двинули на пустырь, образовавшийся за остановившимся заводом. Место безлюдное, но при этом близко к дому.

Неумело выпивали, травили байки, говорили о войне, к которой вполне привыкли. Младший брат Игоря — десятиклассник Павлик — напился сильнее всех. Ему было весело. Он подпевал русскому року, хрипящему из динамика телефона, снимал видео, названивал какой-то девчонке, с которой познакомился на олимпиаде по литературе минувшей осенью, и делал «колесо». В Россию Павлик не собирался, а планировал через год перебраться в Киев. Туда уехали некоторые его друзья.

Я не видел Павлика даже на фото. Игорь уверял, что на турниках Павлик наработал себе сухие красивые мышцы, выпирающие, как спрятанные под одеждой камни. Кажется, и учиться он хотел на преподавателя физкультуры. Впрочем, возможно, я фантазирую. Ещё у него были длинные кучерявые волосы, как у музыкантов Led Zeppelin. И пел он, якобы, очень хорошо.

Часов в десять вечера, когда уже стемнело, начался обстрел. Все легли на нагретые за день бетонные плиты и замерли. Игорь не нашёл рядом Павлика — тот отошёл к деревьям, чтобы отлить. В панике Игорь рванул на поиски, разгребая дебри тьмы руками. Будто по заказу, пустырь озарился белым светом ракеты, потом шарахнул мерзотный взрыв, и на пустырь осели подпалённые, воняющие гарью осколки. Переждав, Игорь метнулся дальше, подсвечивая дорогу телефоном, и у куста шиповника обнаружил Павлика, лежащего на траве с запрокинутой головой.

Его волосы липли к разрезу на горле. Кровь шлёпала из раны на шею и грудь. Игорь попытался поднять Павлика, но не смог. Слишком тяжёлые мышцы и мощный магнит у земли. Павлик скоро умер. На руках у брата, под испуганными взглядами товарищей. Всё случилось за несколько минут. И рой ос, встревоженный взрывами, кружил над ними.

— Чья же это была ракета в итоге? — спрашивает Рая.

— Никто не знает. Игорь считает, что украинская.

— Скорее всего, — соглашается Рая.

Мы едем дальше, и на всякий случай я рассказываю Рае, где именно в багажнике лежит аптечка. Она внимательно слушает, а я не свожу глаз с платной трассы М-4. Рая уверяет, что может перевязать рану даже носовым платком.

Иногда, когда мы собираемся вместе, начинается обстрел. Игорь совсем их не боится. Угадывает снаряды по звуку и определяет, близко или далеко они бахнут.

Я не знаю, сколько всего человек погибло в Белгородской области за всё это время. Полагаю, что много, ведь много — это больше нуля.

В основном это случается в приграничных сёлах, а там «как будто, люди попроще» — так мне сказали однажды в баре. Я отстаивал очередь в туалет.

Воочию я никогда не видел, как ракета попадает в здание или как с неба летят её осколки. Только сбитые системой ПВО ракеты над головой и снаряды, уверенно летящие без загранпаспортов прочь из отечества.

Мой опыт несравним с опытом людей, видевших, как отваливается половина их кухни, как ракета со скрежетом прошивает бетонную стену, на которую ещё вчера наклеил обои, или как взлетает над землёй и вертится автомобиль. Я молчу о солдатах. Видели, как дроны скидывают гранату на лежащего в окопе солдата? Почему он там один?

Задолго до войны я работал с девушкой из Донецка. Настоящая украинка — красавица с огромной задницей и хитрыми глазами. Она прожила в Белгороде пару лет, а потом вернулась домой. Я знал, что подобные разговоры она считает непотребными, но всё равно попросил как-то во время обеда:

— Объясни, пожалуйста... Ведь непонятно, как это так: в городе война, а вы гуляете, покупаете машины, играете свадьбы, картошку выращиваете, концерты проводите. Стреляют же.

— Ну вот так.

— Вот идёшь ты, а на соседнюю улицу падает ракета...

— Ну да!

— И так каждый день? Шагаешь в школу — окоп. Солдаты сидят. Ты перелезла его, обошла танк, завязала шнурочки за зениткой, помогла донести раненого и дальше, да? Так как-то?

— Нет, конечно. Какие окопы? Это не как в кино.

— А как?

— Обстрелы.

Она не умела или не хотела рассказать.

Впрочем, теперь мне понятно. Обстрелы — это всегда далеко, если не касается тебя лично. И ещё каждый раз мнится последним. Невыразимое чувство.

Летним вечером смотришь с балкона — плывёт по чёрному небу над театром или супермаркетом красно-жёлтый шар, как фонарик. Ближе и ближе. Достаточно медленно. Всегда кажется, что заинтересован он именно тобой. Потом взрыв, искры, и шарик выплывает, как видение у похмельного. Утром читаешь в новостях, что осколки рухнули на чью-то машину или дом. Как-то за вечер таких шариков я насчитал двадцать, а потом устал, вернулся из коридора в зал и продолжил смотреть кино.

Днём ракеты в небе выглядят иначе. Они напоминают иголочку, сшивающую облака. За ней тянутся молочные линии, как от самолётов. Потом они становятся толще и прозрачнее. А потом испаряются.

Белгородский аэропорт закрыт полтора года. Я испугался, услышав гул самолёта в Сочи. Вообще, есть что-то чуждое человеку в этих птицах с моторами.

Из Белгорода я летал лишь однажды в любимый Санкт-Петербург, как раз за год до войны. Оказалось, что над облаками всегда солнечно и совсем не страшно.

Пуск ракеты хорошо наблюдать ночью. Сначала глухой вой, а потом из-за леса вытягивается красная стрелка и проворно ныряет в чёрную гущу небес.

Прежде я не знал бессонницы. Иногда, засыпая, я слышу один или два взрыва. Пластиковый стеклопакет вздрагивает, и волна воздуха ударяет в натяжной потолок — тот шелестит, как берёзовая ветка. И всё. Больше ни звука, но я лежу часа три и размышляю об осколках на одеяле, об оторванных частях человеческого тела, о том, что стану мстить, если Раю убьёт, а меня не заденет. Недосып стал хроническим.

В самом начале войны я знал расписание пуска ракет: в полночь и далее, до половины первого.

В начале этого лета украинские ракеты прилетали в Белгород ровно в двенадцать часов дня — в самом начале моего обеденного перерыва. Это мешало переваривать гречку с курицей. Я люблю сидеть в столовой у двухметрового окна. Частенько я представлял, как оно разлетается на тысячу стёклышек, которые напшигивывают меня, как соль говядину.

Думаю, ракете было бы страшно одной в холодных небесах лететь неизвестно куда на сумасшедшей скорости, если бы у неё была душа, но в ней ведь только смесь для разрушения. Бывают такие люди. Им тяжело мечтать, и они не любят книги.

3

Долгая дорога до Краснодара изматывает. Очень большая Россия не радует разнообразием. Много пустот. Я не чувствую правую ногу, скачущую с газа на тормоз и обратно. Спина каменеет, немеют кисти рук. Миллиард глазастых камер, жадных, надменных и коварных. Зато чем ближе к югу, тем легче дышать.

Дороги почти без ям. Полно заправок с бесплатным туалетом, менты пристают, но ненавязчиво. Множество кафе и закусочных с яркими узорами. Русь — ты вся перекус на дороге.

Рая уснула. Её забытью не мешает музыка и визг сигналов. Она всегда крепко спит. Научилась на дежурствах. А у меня сон чуткий.

Впрочем, тот случай, когда разнесло дом в самом центре Белгорода, я проспал. Утром весь город обсуждал это небывалое прежде событие.

В близстоящих домах вынесло окна. Коллега по работе рассказывала об истерике персидского кота, который метался по квартире, как подожжённый, и пытался забиться под ковёр, усыпанный стеклом.

Мы с Раей дрыхли.

Ездили потом смотреть то место. Нас Юра потащил. Уверял, что это историческое событие и нужно быть безумцем, чтобы не зафиксировать его в памяти. Уговаривая, смотрел исподлобья: «Пешком идти минут десять, ну».

Груда земли, перемешанная с кирпичом и деревяшками вместо дома. По периметру ленточка и усталые менты, отгоняющие зевак. Сейчас на этом пустыре планируют что-то построить. Окна пострадавшим вставили за неделю.

Возможно, история погибшей в этом доме семьи недостоверна, но мне хочется её рассказать. Она литературная. Даже слишком. Надеюсь, не оскорблю память этих невольников случая ложью. Мне ничего не известно наверняка, но это ведь тоже оптика.

Говорят, что там жила семья беженцев из Украины. Женщина с детьми и мамой переехала во флигель бывшего мужа, который давно обзавёлся в Белгороде новой семьёй. Он сам их перевёз. Думаю, у членов его новой семьи гигантские сердца.

Он поселил их во флигеле, а сам со второй женой и ребёнком жил рядом в доме.

Упавшие обломки сбитой ракеты разнесли всё. Женщины и дети во флигеле погибли. Хозяин спал у себя дома и погиб, укрыв своим телом супругу. Она и их ребёнок выжили.

Я не вижу в этом проведения. Только абсурд войны. Махровый, наглый, сартровский.

Сколько раз, засыпая, я думал о смерти во сне. Бам! И ты мёртв в собственной постели, в квартире, за которую ещё два года платить ипотеку. Не помогут никакая осторожность и осмотрительность. Ты весь во власти толстой тупой ракеты, выполняющей своё унылое предназначение. От таких мыслей тошнит, но ты засыпашь, потому что завтра на работу. В этом твоё сходство с артиллерией.

4

Рая просыпается от внезапного удара по машине. Я налетел на глубокую яму. Такую, в которой запросто можно похоронить директора автодорожной компании со всеми его премиями, окладами и откатами.

— Кажется, колесо отлетело, — произношу я, включая аварийку, и выхожу из машины.

Мимо проносятся легковушки, едва не задевая меня зеркалами заднего вида. Колесо на месте, но я беспокоюсь о рулевой рейке. Она вполне могла треснуть, как изношенный стрессами тромб. Делать нечего. Я медленно трогаюсь и прислушиваюсь. Что-то поскрипывает, но «Авенсис» везёт нас дальше. Осталось совсем чуть-чуть. К тому же солнце движется к закату, поэтому легче.

— Вот суки, — рычу я. — Такая она — у этих гондонов — платная дорога. Раскошелся на бензин, страховку, налог и проезд, а потом сдохни в перевёрнутой машине с выломанным позвоночником. Знаешь, я бы поддержал спецоперацию по раскулачиванию тех, кто придумал все эти грабительские платежи.

— Или хотя бы — спецоперацию по заделыванию дорожных ям, — поддакивает Рая, глядя меня по потной коленке. — Представь такую национальную программу: не оставь ни одной ямы по всей стране! Чудо какое-то.

Успокаиваюсь, и даже руки перестают трястись, но внезапный грохот вертолёта — и снова не по себе.

Прежде я не видел вертолётов. Только в Питере над Невой. Это было радостно. С началом войны вертолёты в Белгороде стали таким же обычным делом, как голуби или стрекозы на лугу.

Менты всегда ходят по трое. Так и они. Каждое утро, за час до будильника, три вертолёта поочерёдно пролетали мимо наших окон. Это продолжалось несколько весенних месяцев прошлого года. Они так близко приближались к домам, что запросто можно было рассмотреть лица пилотов. Грохот лопастей заглушал шум трассы,

детский плач за стеной и другие мирные звуки. Мой мочевой пузырь привык к ежедневным пробуждениям с вертолѐтами. Я просыпался и брѐл в туалет. Обычно к моему возвращению в постель третье железное чудовище ползло в противоположную рассвету сторону.

В майке и трусиках Рая частенько потягивалась, стоя у окна, когда они летели обратно вечером.

Как-то я сказал:

— Если покажешь пилоту сиськи, то он врежется в нас.

— Ещё бы, — согласилась Рая.

Как-то весной мы сильно поссорились. Я отказался идти на тусовку с её друзьями. Мы долго орали друг на друга, а потом я оделся и отправился на встречу с Юрой. К счастью, он оказался в Белгороде, приехав из Шебекино в воскресенье. Он бьѐт татуировки — дополнительный заработок.

— Сейчас приду к тебе в салон, — сказал ему я. — Выпить хочется. Тебе вина взять?

— Приходи, но я пить не буду. Мне колоть нужно. Два солдата пришли. Посмотришь заодно. Пьяные до икоты. Носки воняют. Предлагали гранату купить.

Я брѐл по нашему району. Не успевший растаять снег отражал весѐлое яркое солнце. Из-за посадки показался вертолѐт. Он летел так низко, что, кажется, можно было подпрыгнуть, ухватиться за полозья и с ним бесплатно долететь до центра. Вѐл машину молодой мужчина. Он смотрел на меня, бредущего к железнодорожным путям. Я вынул из-за пазухи откупоренную бутылку с вином и хорошенько приложился. Вертолѐт накренился и, стремительно набирая скорость, улетел. Думаю, пилоту тоже хотелось пить вино, а не воевать.

Протоптанная тропинка к железнодорожной станции, впереди посадка, позади мой кукольный район. Дома женщина, посылающая мне вслед проклятья. Скоро буду у друга в тёплом тату-салоне с изображениями тигров, черепов, непонятных мне символов и надписей на стенах. Подожду, пока он закончит работу, а потом — гулять. Весна, солнце неистовствует.

Насторожѐнно мама спросила, когда всё началось:

— Юра накалывает свастики?

— Конечно, — ответил я. — За деньги и не такое сделаешь. Главное — помнить, что Юра — анархо-коммунист. Нацизм ему — как молотом по серпу.

Юра старше меня на два года. Он стройный, длинноволосый, с большими чѐрными глазами. По месту основной работы он трудоустроен *никем* и тоже учился *на никого*. Два года жил в Питере, но устал от масштаба. Собрал свой мешок и вернулся за полгода до начала войны.

Там он охладел к музыке, распустил группу «Бросай ментам под ноги мелочь» и занялся рисунком. Кто-то научил его колоть. Прежде чем взяться за чужое тело, Юра изрисовал своё. Я в этом не разбираюсь, но говорят, что он хорош как мастер. Мне больше нравятся его картины — монстры, воплощающие человеческие слабости: тупость, жадность, распутство, озлобленность. В его квартире они повсюду, как иконы в храме. Маленькие, скрюченные, больные, наглые и злобные. Жаль, что их никто не видит. Провинциальные художники никому не нужны.

Взъерошенный, похмельный, с измазанными тушью пальцами, Юра работает самопальной машинкой по безволосому телу. Бородатый пьяный солдат лежит на кушетке и рассказывает о том, что он совсем не умел до войны обращаться с минами, но пришлось. Юра аккуратен. Строчит по горлу, выводит какие-то славянские руны или что-то вроде этого. Я во всех этих «велесовых» приколах не разбираюсь.

Сию и думаю о том пилоте: яркое солнце, слепые небеса, талый снег, кислое вино, остывающая ненависть и взгляд вертолётчика — мне снится это иногда. До старости буду помнить.

Первый заход на территорию Белгородской области был в начале весны. Ночью два вертолёт, держась крайне низко к земле, пролетели через весь город и атаковали нефтебазу. Это запечатлено на видео. Взрыв, зарница, грохот и возгорание. Уходя, они шамальнули зачем-то по зданию типографии.

Помнится, утром на работе я говорил рассерженным патриотам:

— А ведь могли и по жилому дому. Я, например, сплю у окна.

Нефтебаза, источая чёрный дым, горела несколько дней, как гигантская лучина. В первые часы особенно ярко.

Офис паниковал, главным образом его женская часть. Это была демOVERсия ядерного взрыва. Все вдруг поняли, что война не вмещается в один город или даже в одну страну. Ей нужен весь земной шар. Она расплывается по нему, как краска по пасхальному яйчку.

Мой первый сборник рассказов был пропитан ожиданием войны. Последний в нём рассказ написан ещё в двадцатом году. Он о том, как в Чёрное море падает бомба, и литература на этом заканчивается.

С Юрой мы постоянно говорили о войне, культура занималась её осмыслением, неугомный народ её требовал. И всё равно, нельзя было к ней подготовиться.

Ничто не стоит человеческой жизни, но жалеть можно многое. Мне жаль нефтебазу как часть инфраструктуры. Там ведь кто-то работал, стоил её. А война пришла и мимоходом сожрала всё это без хлеба. Мой дед учился в Харькове на Салтовке. Её разгромили, кажется, в первую неделю. Так хотелось там побродить... Почему сизифов камень всё время скатывается с горы? Там война — на вершине.

В тот день, когда горела нефтебаза, по городу кружили русские вертолёт, но от них шарахались, как от самой смерти. Из любого окна был виден столб чёрного дыма.

— Вот чего они кружат? — подавляя плач, спрашивала у меня финансовый директор — баба-кремь, оравшая при мне на итальянского миллионера за нерасторопность.

— Война, — отвечал я, глотая чай из её кружки.

Война — это когда на домах появились таблички «укрытие», когда окна заклеены скотчем крест-накрест, когда делают замечание за фотографирование красивого здания (да я просто, для себя), когда появились первые «знакомые, знавшие того человека, которого убило вчера осколком; мужик, говорят, был отличный, ездил в приграничье кормить собаку и поросят», когда на фото видишь трупы, сильно похожие на тебя.

Мы въезжаем в Краснодар. Деревья вдоль тротуаров, широкие улицы. Ядовитые женские губы с рекламных плакатов, новые высотки, мотоциклы сквозь пробку простёгивают путь. Город, в котором имеются деньги, но, очевидно, не у всех. Раскачиваются параллельно нашему движению трамваи.

Нас ждут. Обещают ужин.

— Вот и преодолели мы часть пути. Понравилось?

— Ну, такое. Лучше бы на поезде поехали.

5

Тонкая, длинноногая, с мелкими чертами лица и большим ртом, в круглых очках, напоминающих фары, действительно радующаяся нашему приезду Аня — сестра Раи — тащит нас в ванную и предлагает умыться с дороги.

Я едва успеваю встряхнуть твёрдую руку Аниного мужа. Оба они мне кажутся совсем детьми. Антон встречает нас почему-то в рубашке и строгих брюках, как сотрудник банка, а Аня в чёрном, почти вечернем платье.

Стаскиваю носки и кладу их в кроссовки. Тайком нюхаю футболку и убеждаюсь в её непригодности. Из крошечной кухни пахнет чем-то неопознаваемым. Рая говорит по телефону, просит не шуметь. Среди нас она самая строгая. Антон самый серьёзный. Аня самая счастливая. А я самый нервный.

— Не чеши, — приказывает Рая и бьёт меня по руке.

Комары в Краснодаре летают с маленькими ножами, а некоторые с пилами. На парковке меня немедленно окружила и принялась истязать комариная мафия. В какой-то момент я перестал различать собственную ногу из-за копошащихся на ней мелких тварей.

Аня перетекает в Раю, а Рая в Аню, когда они накрывают на стол. Сёстры похожи, как два передних зуба, только у Раи (как оказалось) плечи мускулистее и выше лоб. А ещё Рая говорит торопливо и звонко, интонации командные; Аня нежнее, медленнее.

Что там — на моем лице — не знаю, но Аня отходит от плиты, вытирает руки и очень быстро подаёт стаканчик.

— Совсем забыла, — объясняет она. — Пока вы ехали, я прочитала в интернете о том, что обязательно после такой дороги нужно выпить воды и посидеть в тишине. И покушать, конечно. Я про воду думала и забыла. Вот сейчас вспомнила. С тишиной у нас проблемы. Стройка рядом. Зато накормлю. Приготовила пасту с морепродуктами в сливочном соусе с базиликом. Вы едите такое? На базилик ни у кого нет аллергии?

— Не переживай, — отвечает Рая. — Мы всё едим.

— Но не всё готовим, — добавляю я.

Антон курит на балконе, не приближаясь к нам. Он помешан на фитнесе, но сигарету не выпускает из пальцев. Видимо, так компенсирует несчастья, связанные с тасканием блинов в пахнущем пустыми желудками и кислыми подмышками спортзале. Я решаю выстроить необходимый контакт, но Аня огорчённо смотрит на меня и говорит тихонько:

— Мы забыли купить вино. Обойдёмся без него или подождём, пока Антоша сходит?

— Как же мы без него обойдёмся? — удивляюсь я. — Давайте схожу. Расскажите куда.

— Да, — подтверждает Рая. — Один из членов нашего двучлена без вина не обойдётся.

— Давайте я сбегаю. А вы душ принимайте, — предлагает Антон, становится у зеркала и начинает тщательно укладывать волосы.

— Спасибо, Антон, — говорю я. — Нам сухое, пожалуйста. Самое сухое и холодное, если есть.

В светлой и круглой ванной комнате мы с Аней одни. Она показывает, как настраивать душ и глубоко прогибается над ванной. Я замечаю мелкие красные прыщики на её бёдрах и едва сдерживаюсь, чтобы не коснуться их.

— То полотенце для тебя, — говорит она.

— Синее?

— Нет. Это моё. Для вас я распаковала новое, с птичками.

— Окей, — говорю я и решаю, что обязательно оботрюсь синим Аниным полотенцем.

Мы на тесном балконе. Я развалился в кресле, Рая на полу. Антон курит, Аня обнимает его со спины.

Стуча указательным пальцем по головке сигареты после каждой затяжки, Антон рассказывает о партии застрявших из-за войны вибраторов в Китае. Горит предоплата. Его бизнес — это сексшоп «Кончик» в центре Краснодара. Я смеюсь: «Партия вибраторов застряла в Китае». В какой именно части его тела?

— Попробуй ещё масло заказать или солидол, — советую я, и Антон сдержанно улыбается.

Видимо, поэтому они едут с нами в Гагру, а не летят в Анталию. Впрочем, Аня доблестно настаивает на том, что соскучилась по сестре и давно хотела познакомиться со мной. Почему-то она беспрестанно игриво тискает Раю за грудь и трогает её выкрашенные в чёрный волосы.

— Ты не хочешь перекраситься в рыжий, как Аня? — спрашиваю я у Раи.

— У нас в отделении рыжие все. Не хочу.

Доносится гремучая песня неопатриотического жанра. Исполнитель делает упор на связки и абстрактные понятия, такие как «родина», «вера» и «долг».

Наконец-то, песня заканчивается. Резко и пронзительно на кухне шлёпает тостерница. Мы с Раей вздрагиваем, а потом нелепо улыбаемся.

— Вот так у вас, оказывается, — говорит Антон, кивая.

— Да. Нервишки. А у вас тут салют был сегодня — поразительно. Мы даже к обочине прижались.

Мы говорим о войне. Я понимаю, что ребята совсем о ней не думают и знать, в общем-то, не хотят.

— Я, — говорит Антон, — видел у тебя антивоенный стишок. Не стрёмно было выкладывать?

— Деваться некуда. Я — русский интеллигент, — отвечаю ему, подцепляя пальцами кусок колбасы. — Война заканчивается не благодаря победе одной из сторон, не подписанием мирного соглашения, не смертью последнего солдата, а от оглушительного хора ноющих интеллигентов. Этот вой, в конце концов, заглушает залпы орудий и отменяет войну. На какой-то период устанавливается диктатура пацифизма. Всякий буржуй, положивший глаз на сладенькие ресурсы и решивший их

прикарманить с помощью вооружённых гранатами солдат, немедленно признаётся сраным говном и психом. От нечего делать он осекается и довольствуется тем, что уже успел нахапать. А потом опять всё заново. Кажется, у меня понос. Апофеоз пищеварительной системы. Извините.

Антон морщится, но не от слова «понос», а от слова «буржуй».

Моё возвращение из туалета заставляет всех замолчать.

— Я видел видео... там осколок снёс часть дома на улице Шаландина в Белгороде. Вы не там живёте? — спрашивает Антон.

— В этом доме живёт один мой приятель. Его младший брат был дома. Очень перепугался. Прятался в туалете и звонил родителям. Просил приехать. У него сахар подскочил. Он диабетик.

— Ужас какой, — говорит Аня и подливает мне вина.

Рая пытается что-то сказать, но я перебиваю:

— Хотите историю о нашем первом обстреле?

Все заинтригованы.

— В день начала войны ракет мы не видели. Это случилось позже.

Я рассказал им о первобытной мощи этого зрелища, но это не произвело особенного впечатления. Война настолько противоестественна человеческой природе, что представлять все эти гексогеновые раскаты чертовски сложно.

Шёл девятый день войны. Белгород ещё ни разу не был обстрелян. По крайней мере, центральная его часть. Многим казалось, что так будет вечно.

Было морозно и темно. С обеда сыпал, а теперь, к ночи, прекратился, снег. Мы с Раяй преодолели наш район и железную дорогу, пахнущую углём. Это был променад по знакомому маршруту. Домой мы должны были вернуться часа через три. Путь наш лежал сквозь сонный частный сектор, разрезаемый четырьмя положенными крест-накрест дорогами и десятком кривых и трепетных тропинок.

Нас ждал Юра. Мы планировали поболтать с ним, прогуляться и вернуться домой к полуночи. В городе у него была девушка, у которой он ночевал, чтобы не платить миллион рублей за такси до Шебекино. Рая идти не хотела, но я настоял на необходимости свежего воздуха, физической нагрузки и поддержки предпоследних, как я их в шутку называл, дружеских отношений.

Мы поцеловались на фоне движущегося поезда.

— Может, домой? — вздыхая, предложила Рая. Холодными пальцами она легонько дёрнула меня за уши.

— Мы уже на середине пути.

— А что будет, если пойдём по этой тропинке? К церкви выйдем?

— Думаю, да, но я бы не рисковал. Там может быть скользко. Пойдём как обычно, а? Зачем нам церковь?

Узкая нечищенная дорога. Звёзды вокруг луны. Церковь слева, метрах в пятидесяти. Справа предсмертное машинное предприятие, рядом конная школа, огороженная высоким забором с лошадиными мордами. Самых лошадок не видно, а летом они приближаются к забору и жалобно смотрят на прохожих.

Нам следовало идти прямо, к мостику через речку. Там я впервые сунул руку под шерстяной Раин свитер. Это было зимой последней довоенной, ковидной.

Рая заговорила о том, что обязательно нужно съездить за границу летом:

— Я впервые в жизни стала зарабатывать такие деньги, которые позволяют не проверять баланс карты каждое утро. Думаю, к лету накоплю на Турцию. Анька моя каждый год летает.

— И не жалко им денег на это!

— Представь себе!

Рая говорила о том, что когда у нас появятся дети, то уж точно никуда не съездим.

— А может, в Одессу махнём, — рассуждала она. — У меня давняя мечта. Мама по путёвке от училища гоняла в восьмидесятые. Ей понравилось. Рассказывала прикол один. Пошли они колготок купить, и встретили... — Рая не договорила, потому что взорвалось прямо над нами. Шапка на моей голове ожила и нагрелась. Сердце прилипло к лёгким и захлюпало.

Небо стало сначала оранжевым, потом красным, а потом белым. Жажнул ещё один взрыв, и вновь цветная полоса в небе. Её коснуться можно, если подпрыгнуть.

Запахло горелым железом. Я увидел, как осветилась маковка церкви и заискрила. Из-за неё поднялся грибок дыма, и сделалось тихо, как в груди у покойника.

Оказалось, что мы с Раей стоим посреди дороги в обнимку. Вокруг никого: ни людей, ни машин. Там всегда так вечером — промзона. Я крепко прижимал Раю к пуховику, а она пыталась сказать: «Побежали!»

— Куда? Оно же везде. Идём дальше, потихоньку.

На мосту я позвонил родителям и очень серьёзно объяснил, что только что мог погибнуть. Если бы мы пошли по той дорожке, то оказались бы ровно за церковью, откуда теперь тянется дым. Мама охала, но как-то спокойно, так, словно речь шла о разбитой чашке.

Рая попросила:

— Пошли домой. Вдруг ещё раз.

— Больше не будет. Юра заждался. Обидится. Он из-за нас согласился остаться ночевать у этой своей...

— Пошли домой. Пожалуйста, пошли!

Завыли сирены, послышался мужской голос через мегафон:

— Покиньте зону ЧС. Повторяю: покиньте зону ЧС!

— Идём, — согласился я. — Могут дорогу перекрыть. У них паника.

Мимо нас неслись машины с пронзительным воем сирен: полиция, пожарные, «скорая». Пищали, как раненые зайцы.

Я позвонил Юре и отменил встречу. Он сказал, что слышал всё. Окна тряслись в салоне. «И аорта ёкала».

— Ладно, без проблем, — сказал он. — Успокаивай Аду. Представляю, как вы перетрухали.

(Раю он называет Адой с первого дня их знакомства).

На районе мы купили вина и огромную пищу. Её аромат на морозе успокоил наши нервы. Мы даже стали смеяться. Дома занялись любовью, благодаря чему быстро согрелись.

С утра выяснилось, что кусок сбитой ракеты упал на крышу крошечного пенсионерского домика за церковью. Он проломил шифер и успокоился на чердаке. Само тулово ракеты свалилось в грязный сугроб. Его немедленно увезли сапёры. Так, по крайней мере, говорилось в новостях.

Спорили о том, русская это была ракета, случайно сдетонировавшая, или украинская. Я точно знаю, что украинская, благодаря запечатлённой в памяти яркой полосе над головой. Мы видели, что она прилетела со стороны границы.

Это был первый обстрел Белгорода, который многие слышали в тишине вечерней окраины и о котором истерично писали даже федеральные СМИ.

Первый обстрел, и сразу по мне.

Аня укладывает нас спать на кровать. Сами они устраиваются на диване. Ночью их одеяло спускается на пол. В свете луны я вижу такую-же белую и круглую, как луна, Анину задницу в чёрных стрингах. Она гораздо больше, чем у Раи.

В половине пятого бужу всех и требую немедленного отправления без завтрака. Море зовёт меня, как жертва психопата.

Рая глотает кофе, и я прошу:

— Быстрее.

Антон складывает бесконечные рубашки, аккуратно сворачивая их по швам, а я умоляю:

— Быстрее.

Аня, под Раину диктовку, собирает медикаменты: пластырь, от аллергии, от загара, для загара, от поноса, для горла, против температуры, уголь, цветные обезболы и что-то ещё. Презервативов не замечено.

— Быстрее, — умоляю я.

Во дворе выясняется, что Антон забыл зарядку для своего телефона. Преисполненный благородством, я говорю:

— Ну что ж, возвращайся. Бывает. Мы подождём.

Светаёт. Легко и приятно. Солнце хочется свернуть блинчиком и съесть со сметаной.

Аня извиняется за Антона, а я успокаиваю её:

— Со всеми бывает! Мне если Рая сумку не соберёт, то я из дома не выйду. — Вру зачем-то. — Всё теряю и всё забываю. Растяпа ещё тот.

Из тумана проявляются рёбра города.

6

Четверо на «Авенсисе» преодолевают бесконечный сочинский серпантин. Как танцующий змей, он не вызывает ничего, кроме дурноты. (Неужели нельзя проложить дорогу вдоль моря?) Я думаю о водилах автобусов, которые ежедневно выходят на этот тоскливый маршрут. «Сверхпролетарии», — называет таких Юра.

Через кеды чувствую, как плавают колодки. В коленку пробивает хруст передней стойки. Раскалённое лобовое липнет ко лбу. Впрочем, я не злой. Болтаю и даже немного пою.

— Не вой! — просит Рая.

Она слишком боролась за красоту, работу, независимость, молодость. Против страхов и страстей. Из-за этого её сердце покрылось острой чешуёй. Я об неё сначала резал пальцы, а потом всё понял и к сердцу тянуться перестал. Только под юбку и запястья немного мну.

— Давай на заправке кофе возьмём?

— Нет, — возражаю я. — Нужно спешить. Через пять часов у меня свидание с морем. Оно не прощает опозданий. Пей лимонад.

— Жалко ему, — жалуется она Антону. Тот деликатно безучастен. Рассматривает грудь серой горы.

Аня суетится:

— Рай, у нас йогурт есть. И чай в термосе. Хочешь? Сладкий, как мама в детстве готовила. Я могу налить аккуратно. Зефир будешь? Розовый — твой любимый.

— Энергетик есть, — добавляет Антон.

В начале пути его укачивало, но он встал на курс. Правда, по его шее скользит густой пот к чёрной бороде. Только в машине я замечаю, какой он высокий — едва не пробивает крышу черепом.

— А в Абхазии, случайно, не водятся какие-нибудь экзотические животные? Пумы или жирафы? — спрашиваю я.

— Цикад полно, — цокает Аня, наливая из термоса чай. — Аромат шикарный. Ой, капнула. Прости, Саша.

— Ничего. Салон кожаный — вымою.

— Дырявый только, — вздыхает Рая. Её энергетик пахнет подростками.

— *Шо-шо?* — переспрашиваю я.

— *Шчо-шчо?* — пытается повторит Аня. — Забавно как!

— В моём посёлке так разговаривают — на полухохляцком суржике.

— Как это?

— Некая смесь украинского и русского. Всё дело в интонации. Она более воздушная, что ли.

— Ну, скажи что-нибудь!

— *Мы поимхолы из гомроду, де идэм война, в страну, яку разбыа война. Вот и подывымся, шо там. Можно жить, чи не!*¹

— Ого, — пищит Аня.

— Я слегка стесняюсь, поэтому интонационно некоторые слова исковеркал. При родителях, например, я сумел бы — чисто высказался, а при вас робею. Неосознанно выкручиваю звуки до нормы. Важно понимать: настоящим украинским я не владею, хотя от моего Платоновска до границы километров восемьдесят. Разбираю слова только если говорящий не торопится, а ещё лучше, когда поёт. Читаю бегло. И то благодаря украинским каналам. Их полно было в телеке, когда я был школьником. А говорить нормативно, по-русски, я научился, когда в город переехал, чтобы колхозаном не казаться. Суржик — признак забубени деревенской.

— Тихо в посёлке? — спрашивает Антон.

— Да. Платоновск ещё ни разу не обстреливали. Родители мои о взрывах только от меня и слышали. Рассказываю маме, как выбегал недавно в шампуне из душа на Раины крики: «Летит! Сука, летит!» — а мама перебивает и интересуется, продают ли уже в городе клубнику. Интернета у них нет, поэтому война для них нечто внешнее. Да и для меня в общем тоже, когда не стреляют. Это свойство психики. Нужно сильно постараться, чтобы оживить то, что находится за пределами чувственного опыта.

— Могут начать бомбить Платоновск твой?

— Да. Уже на территории других приграничных районов были бои. И убитых полно мирных. Читали об этом? — спрашиваю я у всех.

Аня молчит, а Антон два раза роняет голову на грудь. Он блестит от пота. С такими кусками мышц на жару невыносимо.

¹ Мы поехали из города, где идёт война, в страну, которую разрушила война. Вот и посмотрим, что там. Можно жить или нет.

— Недавно в Платоновск прилетал вертолёт. (Думаю, за всю историю посёлка такого не было. Впрочем, в день, когда Медведев посещал Белгородскую область, мне рассказывали, что видели его вертолёт.) Так вот, в самом центре у Вечного огня, где раньше стоял Ленин, напротив Юсуповского дворца, эта штука выпустила сетку — это такие... вроде искр. Чтобы ракета запуталась.

— И куда бы она полетела, если бы запуталась? — спрашивает Аня и передаёт мне зефир. Я ощущаю лёд её рук.

— Обратно. Прилетела бы в пушку, объяснила бы, что устала и хочет спать. Я не про это. Мой Платоновск показывали не только по федеральным новостям, но и в других странах! Где-нибудь в Америке смотрели на мой посёлок, представляете? Трамп, Тарантино и, может быть, Стивен Кинг.

Все молчат, поэтому я продолжаю:

— Я и про Белгород когда-то думал: «Вот что я тут живу? Дикая провинция, почти безымянная, ничем не знаменитая. Разве что Светлана Хоркина, и Нойз МС¹. То ли дело Питер или Калининград. Про Москву и говорить нечего. А что Белгород... Угораздило же родиться». И вот, оказалось, что Белгород — это теперь столица России.

Ещё я рассказал про первый день войны. Никогда так не было тихо на этаже в нашем офисном здании. Встречаясь на кухне, мы лишь бесшумно здоровались, набирали кофе и разбегались по кабинетам. Даже самые болтливые женщины молча смотрели на туфельки и старались слиться со стенкой.

Гам начался на второй день. Те, кто «за», пританцовывали и хлопали в ладоши, пересказывали друг другу новости, а те, кто «против», молчали, уткнувшись в телефоны. Безразличных не было. А потом они появились. Ими стали почти все.

В девять часов того дня меня вызвал к себе главный босс. Он говорил по телефону, используя громкую связь, когда я вошёл. Выглядел бодрым, как, впрочем, и все, — проснувшись в пять утра от залпов.

Жестом он указал мне на стул, не поднимая головы. Из динамика, бойко звеня, как колокольчик, вещал его бизнес-партнёр. (Москвич, как я понял позже.)

Кстати, в Москве тоже есть суржик: смесь низкого английского и высокого русского. Это невыносимо слушать.

Москвич говорил бесконечно. Босс слушал со свойственным ему терпением.

— Я не смогу завтра приехать, — перебил он, наконец.

— Проблемки?

— Да. У нас, кажется, «грады» работают. Не знаю, что завтра будет.

Собеседнику понадобилось несколько секунд, чтобы осознать услышанное.

— Разве Белгород на границе с... на границе он?

— Да. Сорок минут езды.

— Вот как... Нужно мне знания в области географии освежить. Ну, тогда слушай, может, мы, как в ковидные времена...

«Тупое, зажавшееся, дерьмо», — подумал я, пытаюсь поймать взгляд босса, но тот смотрел на циферблат часов.

В России отношение провинциала к Москве лучше всего выражается фразой «неизбежное зло». Именно поэтому так смешно и многим радостно было следить за воплями москвичей, когда два полудохлых беспилотника врезались в многоэтажку.

¹ Признан иностранным агентом.

«С жителями этого дома даже работали психологи», — прикрывая рот от смеха, говорил мне Юра — комендант расстрелянного Шебекино; погорелец, неизвестный герой, друг одичалых псов и микромародёр.

После завершения разговора шеф спросил, слышал ли я канонаду.

— Ещё бы.

— Где ты живёшь?

Я назвал район.

— Подальше, чем я.

— Знаю.

Хотелось поинтересоваться, будет ли он увозить семью, но деловая этика не позволила. Он — миллионер, а я на «Авенсисе» езжу и ипотеку плачу. Такие разговоры не релевантны между нами. Я промолчал, рисуя крестики. Слегка шумело в ушах.

Накануне заходил Юра, рассказывал об африканских племенах, в которых юноши загоняют косуль до смерти. Животное устаёт и сдаётся. Его режут и долго-долго тащат вождю — «не казни, мы тебя кормим». Этим парням совсем не приходится размышлять о смысле существования. Юра говорил, что война неминуема. Я соглашался, но не верил, что она начнётся через четыре часа.

Выходит, это была наша предвоенная вечеря.

Босс стал надиктовывать задачи. Я записывал их в блокнот, а за окном фигачило так, как в тот день, когда падали ракеты за аэропортом; или как в тот день, когда от взрыва чья-то машина залетела на крышу «Пятёрочки», а посреди улицы образовалась воронка размером с гараж. Многим запомнился визг железа. Это было в пяти километрах от меня — очень далеко. Близко — это там, где только что целовался.

Стерильный, чуждый, как из детского сна, Сочи. Приветливо шелестят незнакомые мне растения. Косматые горы выпячивают затылки, справа море. Прямо — желудок города. Нырять в туннели и проезжаем аэропорт. Сердце колотится, как птичье. Долгожданный отпуск. Мы много работали и мало скопили. И всё же хватит на вино, мацони, шашлык, хачапури, мороженое в стаканчике (без упаковки), беляш и баранью колбасу. Должно хватить, по крайней мере.

— Приятель один уехал в Питер. Не потому, что Белгород бомбят, а ещё до всего. За жизнью, преисполненной красоты, отправился, мудака романтический. За эстетикой балобановской рванул. Он из моего посёлка. Круглый такой, в татуировках с ног до головы, уши проколоты, и здоровенная задница, как пластилиновая. В Питере, как положено, купил себе бежевое пальто до пола (с таким-то сидением и собачьим ростом!) и некий головной убор... чуть ли не шляпу с полями. И вот, выбирает он в марте 2022 года пельмени в супермаркете, чтобы запить их вином. Звонит телефон — бабушка. «Секундочку», — говорит он подруге, принимает вызов и начинает на чистейшем суржике рассказывать о посещении Эрмитажа. Это автоматически происходит — переключение. (Таких, как мы, не берут в разведку.) *Всяки там рыцари, кобылы, як у нашего дядьки Федьки булы... Хороши картины есть, а есть чёрти шо...*¹ Тут он получает по голове. Оборачивается и обнаруживает старуху в алом берете, которая, как ей кажется, рассекретила «бендеровского лазутчика». В руке она вертит

¹ Всякие там рыцари, лошади, как у нашего дяди Феди были... Хорошие есть картины, а есть чёрт знает что.

увесистый зонтик. «Бабуля, я самый русский на свете», — попытался он объяснить, но тщетно. Вышел из магазина на воздух «Парнаса» без пельменей.

В первые месяцы мы постоянно читали новости: и русские, и украинские. Помню, Юра особенно докучал жестокими видео. Я, в конце концов, сказал, что не хочу это смотреть. Без них всё понятно.

Эти видео с разрушенными домами, покорёженной техникой, окровавленными пленными, скрюченными мертвецами, самоуверенными мерзавцами, с чёрной иссякшей землёй, которую жалко, как залитую мазутом простыню, дешёвыми гробиками, командными окриками из мехов сумрака, — всё это в сознании не делилось на государства и тем более нации.

Чей ты брат и сын? Язык один, дни одни, рожи одни, степь одна, смерть одна.

Помню два великих дня журналистики. В первый же день я подписался на все возможные каналы. Простые люди писали об увиденном, как могли. Вчерашняя площадка, посвящённая поношенному тряпью, на глазах превращась в самое интересное и достоверное СМИ. Для этого не нужны были лицензии, диплом журфака и ковыряющийся в носу перст главреда. «У меня во дворе военные!» «Подписчик сообщает, что видел подбитый танк». «Над лесом, за моим огородом, кружились вертолёты, а потом пустили ракеты». Сумбурные, истеричные и растерянные сообщения заполняли Харьковские, Сумские, Белгородские, Курские каналы. Почти все они были на русском языке.

На исходе второго дня свободная журналистика закончилась. «Наши героические парни превращают этих ничтожеств в стружку. Потерь у нас ноль. Только один достойный сын отечества надорвал ноздрю. Но ничего, это не мешает ему и дальше выполнять свой долг перед родиной. Его мать пригласила домой всю деревню праздновать, когда сыну вручили повестку».

Подобные тексты появились везде. И в России, и в Украине (через пару месяцев строго на украинском языке).

Удивительной была попытка обеих сторон убедить читателей, что «прилёт» в города — это «сами себя обстреливают». Позже от этой концепции отказались.

7

На границе с Абхазией, с русской её стороны, стоим два часа. Каждую минуту кажется: ну всё, сейчас те два минивенчика пропустят, и дальше — мы. Рядом слоняется пузатый пограничник и жрёт яблоко. Фуражка плотно сидит на бычьей голове, рукава завёрнуты. Рубашка сухая — спасает тень. На солнце не выходит, подзывает молодых и отдаёт им распоряжения. Те убегают куда-то безвозвратно.

Два часа русские люди издеваются над такими же русскими, только безвластными. В юности у меня был приятель — упоротый националист. Вот бы сюда его!

Абхазам тоже проезда нет. Их — злых, харкающих под ноги, в красивых рубашках, — скопилось человек двадцать. Торгаши-контрабандисты.

За «Авенсисом» вырастает металлический хвост с колёсиками. Плачут дети, запрокидывают головы женщины в коротеньких шортах. Они позволяют абхазам легко переносить это мытарство. Много курят. Кому-то плохо — над беднягой толпа.

Ненавижу очереди. В день, когда взорвали нефтебазу, на заправках с далеко не советскими ценами образовались поистине советские очереди. В запасе бензина

я не нуждался, но немножко нужно было плеснуть. Машины лезли на «Лукойл», как колорадские жуки на куст картофеля. Я же не решился.

Наконец-то мы двинулись. Угрюмая женщина, проверявшая документы, попросила убрать чёлку со лба, потом что-то произнесла невнятное и вернула паспорт. За полтора года войны я сильно располнел, вешу, как два мешка с сахаром. Волосы и бороду отпустил, чтобы щёки не так задорно тряслись при ходьбе.

Абхазский, красивый, вполне способный сделать карьеру актёра таможенник держит руки за спиной. В приоткрытое окно, он едва взглянул на нас и одобрительно кивает. Мы визжим от счастья. Поднимается шлагбаум.

По дороге, как собаки, бродят коровы. На пальмах шевелятся от ветра отростки паразитирующих деревьев. По тротуарам бредут полуголые туристы с полотенцами и яркими кругами. Сочные, почти пошлые бутоны каких-то неведомых цветов. Практически нет дорожных знаков. Справа бесконечное море, а слева немыслимые горы. Гагра растянулась вдоль берега. Широкая улица с хорошей дорогой одна-единственная. Слева гора неумолимой высоты. Мы будем жить вблизи разрушенного автовокзала.

Возникает чувство свободы, но, боюсь, это потому, что мы туристы. Нужно Юру сюда привезти. Такие места будят его воображение — Индия в миниатюре.

У бывшего вокзала, поросшего бурьяном и зататуированного граффити, я останавливаюсь и прошу моих пассажиров уточнить по карте точку следования. Интернет не работает, но Антон как-то обманывает систему. Пока он водит пальцем по экрану, я рассматриваю вокзал — чей-то труд, чьи-то воспоминания; памятник городу, антивоенный аргумент. Сочувствую развалюхе, как льву, живущему в зоопарке.

Проверив наш номер (уютный, светлый, на простыне лишь одно малозаметное пятнышко), Рая уходит контролировать Аню.

— Они безалаберные, — поясняет она.

Бегу следом. Аня уже в купальнике. Заметив нас, смущается, хватается рубашку Антона.

— Поужинаем, сначала, — говорит Рая. — А потом на пляж. Аня, мажься кремом. Быстренько! И не надевай такой узкий купальник. Это вредно для женщины.

После отъезда старшего брата Рая ощутила сиротство. Брат выехал из страны следующим утром после начала войны. Причин было множество. Главная — у него жена украинка.

Их отец считает его предателем. Они ссорятся, когда созваниваются. А ещё пишут гадости друг-другу в соцсетях под постами. Оба обвиняют друг друга в фашизме. Любящей бабушке на всякий случай об отъезде внука (через Грузию! да в Канаду!) до сих пор не сообщили. Рае брат рассказывал, что получил шикарную для его профессии зарплату. И что дочь представляется в Канаде украинкой, а не русской, чтобы не обижали.

Среди моих знакомых или родственников уехавших нет. Брат одноклассника, которого я помнил с прилипшими к заднице трусами, получил Героя России. Он знаменит теперь в Платоновске. Отличный парень: честный и добрый.

Сосед по квартире вернулся с протезом вместо ноги. С виду довольно практичным. Его жена была беременна, когда его призвали. Пару раз я помогал ей с пакетами и воду в бутылках на третий этаж поднимал.

— Скоро мужа отпустят, — сказала она мне как-то.

— Отпуск?

— Да нет. Ранили. Он сейчас в госпитале, подержат немного, а потом домой.

— Рана ерундовая?

— Нет. Тяжёлая. Ступню оторвало. Одну, — добавила она.

8

Заводское абхазское вино ужасное, а вот домашнее ничего. Особенно если удаётся найти холодное.

Сначала мы боялись его пить, но вскоре выяснилось, что больше нечего. Я люблю домашнее вино, но только проверенное. Когда-то мы с Юрой готовили «изабеллу» в его гараже — баклажка рванула и неведомым образом повредила малый барабан.

Первым на дегустацию, конечно, решился я.

Мы отобедали в столовой огненным харчо, хрустящей далмой в чесночном соусе, чебуреком с бараниной, дырявым пончиком и ароматным кофе. Сытость всех усыпила. Даже хотели отказаться от похода на пляж. Я предложил выпить, чтобы взбодриться. Отправились на поиски.

— Домашнее вино, — скептически протянул я. — А кто его одомашнил?

— Что? — не сообразила продавец — девушка лет двадцати с острыми скулами, чёрными глазами, которые можно поместить на обложку любого глянцевого журнала.

— Кто произвёл вино? У кого берёте?

Мы находимся в просторном магазине, посреди которого лежит пара бочек, как пара бурёнок. На полочках теснятся пыльные заводские вина в стеклянных бутылках.

— Ни у кого. Это дедушка мой делает.

Отложив книгу на русском «1984» Оруэлла, продавец набрала в крошечный стаканчик вина и протянула мне. Это красное вино было холодным, сладковатым и отдавало бочкой.

— Литр, — прошу я. — А лучше два!

Заплатили немного. Чека я не получил, а этикетка, естественно, отсутствовала.

— Мало ли что там — в этой бутылке. Я не буду, — говорит Рая.

— И я боюсь, — поддерживает Аня.

— Может, вечером, — пожимает плечами Антон.

— Что, по-вашему, они могут туда налить? Может, и разбавляют водичкой ради наживы, но не коровья же моча тут! А если и моча, то что? Органика. Главное — не технический спирт.

— Абхазы православные? — спрашивает Рая, когда я делаю пару глотков из откупоренной бутылки.

— Конечно.

— Тогда не должны травить.

— А кто же тебя травит пальмовым маслом и консервантами? Буддисты и язычники?

— Я не к тому, — объясняет Рая. — Просто подумала... мы чужие, поэтому нас не жалко. А вот если православные, то должны хоть какие-то представления иметь.

— Никакие мы не чужие той девочке! С Оруэллом! Мразей мало на планете, просто они вопят громче всех. Ещё у них часто полно денег. Мы — бедняки — друг друга не травим.

Провозгласив этот манифест, я делаю пару глотков. Мягкое, медленное, вежливое опьянение расплзается по организму.

Выкупавшись в бурных волнах, я обнаружил Раю с моим вином на берегу.

— И не страшно?

— Вкусное, — признаётся она.

После второго, гораздо более продолжительного сеанса плаванья, когда меня вертело в волнах, как соплю в умывальнике, я обнаруживаю всех троих, распивающих моё вино и горячо обсуждающих мобилизацию. Антон, оказывается, на пару месяцев снимал себе домик под Краснодаром без отопления и газа. Аня ему туда возила котлеты электричкой.

Они говорят громче, позы комфортнее. Аня расстегнула лямки купальника, подставив солнцу голую спину. Замечаю это и присаживаюсь напротив. Рая рассказывает об однокласснике, которого привезли в гробу, а потом о подружке, которая зовёт вступить в тероборону.

— Ей с мужиками не везёт, — заканчивает она и угрожающе толкает меня ногой. — Анька, что ты сиськи вывалила? Видишь, дядя Саша слюной захлёбывается.

— Кто побежит за вином? — интересуюсь я. — Бутылки пусты.

Решает сходить Антон. Натягивая на мокрый зад шорты, он спрашивает:

— А тебя могли призвать?

— Да. Я годен, хоть и не служил. Знаете, что мне запомнилось? В день, когда объявили мобилизацию, в самые первые часов восемь, мне казалось, что женщины (какая-нибудь тётка с пакетом в очереди супермаркета) смотрят на меня с сожалением. Пошли вместе сходим, Антон. А вы с морем осторожнее тут после вина. Дальше вон той волны не заплывайте.

Вечером громадный тропический дождь на всю ширь улиц.

За неделю никто из нас не отравился, не столкнулся с откровенным хамством или подлым обманом. Я был прав: страшнее ближний, чем чужой.

Культура — это ещё и дезавуирование «другого». Когда общество освобождается от страха, ненависти и брезгливости по отношению к «другому», оно становится культурнее. Для этого требуется недюжинная свобода. А может, и наоборот.

В затравленном, несвободном, пребывающем в мировоззренческом кризисе обществе, в серые (чернеющие) времена обязательно сочиняются страшилки о коварстве «другого» — циничного, дикого и расчеловеченного. Это происходит, когда наступает время, противоположное тому настоящему, на которое рассчитывало большинство. Власть всегда этим пользуется.

Я записывал эти истории. Главная их особенность — предельная абстракция: «Люди рассказывали про одного солдата, который шёл как-то по посёлку какое-то время назад, и...»

Первый месяц войны. Уже стреляют с украинской стороны. В Платоновскую больницу, в которой я тридцать лет назад был рождён, привезли странную пациентку.

Женщина без сознания. Незнакомая платоновцам. Её раздели и обнаружили молодое тело, полностью забитое татуировками, а на указательном пальце мозоль.

— И что? — спросил я, не поняв намёк насчёт мозоли.

— Снайперша, мой дорогой!

Боёв на территории Белгородской области ещё не было. Проникновения диверсантов тоже. Это произойдёт, но позже — весной 2023 года. Куда подевалась эта женщина после лечения? Выжила ли? Откуда она взялась, и почему больше никто и никогда о ней не слышал, — загадка.

Весной я узнал от соседки историю о сёстрах-грибницах, обнаруженных повешенными в лесу на соседних дубовых ветках.

— Ужас какой, — сказал я. — А кто это? Из центра или с окраины?

— Не знаю фамилий, — отмахнулась она и добавила, — представляешь, орудут спокойно, как у себя дома.

— Кто? — опять не понял я, но соседка в ответ лишь усмехнулась.

Весной диверсанты впервые напали на приграничные города России, забыв, видимо, об обещании руководства Украины разбираться только с военными. В городе Грайворон¹, куда я многожды ездил по работе, сутки шли бои. Пострадали мирные жители. Мужчина застрелен в голову.

В тот же день, скорбно кивая, начальница моего отдела поделилась информацией:

— Три города: Белгород, Брянск или Курск — выбирают.

— Что выбирают.

— Какой город сдать. Стратегическая необходимость. А в Грайвороне, кстати, воду отравили. Никто даже не умывается.

Кто именно выбирает и зачем — не уточнялось.

Много было толков о поголовной кастрации военнопленных, о специальных отрядах, которые ползают по полю брани и там же вынимают органы на продажу; о «грязной бомбе», которую применяли на моей памяти дюжину раз. Тётки на работе советовали не выходить из дома, а сами шли в обеденное время на рынок за овощами.

К каждому празднику, а особенно к выходным, поговаривали:

— Пожили спокойно, а теперь начнётся.

— Что начнётся?

— Известно что. Праздники заходят. Не поспим. Они к праздникам особенно готовятся.

Как плохо должна работать вся мировая разведка, если о военных планах судачат на офисной кухне.

Об отравленных голубях и комарах, несущих в своих брюшках смерть, думаю, и так известно. Равно как и о том, что нет ни одного вражеского солдата, не имеющего наркотической зависимости. (Мифа о поголовном пьянстве почему-то не распространялось.)

¹ Город в Белгородской области, административный центр Грайворонского городского округа. Расположен в 7 километрах от границы с Украиной и в 66 от города Белгорода по прямой. Население Грайворонского городского округа: 26,8 тыс. человек, города Грайворона — 6,1 тыс. человек.

Люди присматривались друг к другу, прислушивались, как после контузии. Это мучительное бессилие перед собственным неведением испытывают несчастные пленные из Сократовского «Мифа о пещере».

Мне нравятся абхазы. Я не вижу в них врагов. Воспитываю в себе слепоту к нациям и флагам. Это непросто, но важно.

Друг Юра, с которым я долго болтал в первый день моего отпуска, которому я отправил сотню фотографий с горами, морем и пальмами, сказал мне на это:

— И всё же, что делать родившемуся в Абхазии Пушкину или Фредди Меркьюри? Феллини или Эйнштейну? Только уезжать и переставать быть абхазом. Такую красивую родину, как Абхазия, легко любить, но она не вмещает остальной мир, а без него человек засыхает. Особенно молодой и амбициозный.

С третьего дня отпуск становится рутиной: одинаковые развлечения, мысли и пища. Пальмы типично подпирают небеса зелёными причёсками. Разнообразие случается в свете, падающем на листья пальм, да в степени густоты облаков, цепляющихся брюхом за остриё гор. Отличаются порой лишь песни цикад и запах моря.

Утром Рая будит меня и приказывает немедленно отправляться на пляж. Я отбиваюсь, но сон предательски мгновенно пропадает, поэтому я натягиваю плавки.

По дороге мы плотно завтракаем и запасаемся жидкостями: водой, вином и мацони. На пляже я читаю «Опасное лето» Хемингуэя и даже пытаюсь что-то сочинять, рисуя кривые палочки в блокноте. Рая возлежит на полотенце и не шевелится. В полдень переворачивается. К этому моменту я начинаю сходить с ума от безделья.

Приходят Аня с Антоном. Антон обнажается, и мы любимся его телом. Выкурив сигарету, он разбегается, ныряет в море и долго-долго плывёт. Наплававшись, он жестом приглашает Аню. Медленно ступая по гальке, та идёт к воде. Половинки её попы переваливаются, как поршни.

— Ты её кусать скоро начнёшь, — говорит Рая.

— Кого? — удивляюсь я.

Вечером все вместе мы долго сидим на балконе с вином, шашлыком и пустыми разговорами. Над морем распускается салют. Длани фруктовых деревьев тянутся к нам сквозь железные прутья балкона.

В свой номер уходим за полночь. В полусне занимаемся сексом, а потом забываемся, неразьединившись.

И так каждый день.

В последний день ничего, кроме скуки. Рабское подчинение главному принципу отдыха — тупому безделью. Хочется сидеть у моря, но там жарко. В номере комфортно, но тесно мыслям. Поговорить бы, да сказано всё. И книга никак не заканчивается.

На озере Рица мы поругались. Рая считает, что я слишком откровенно приставал к Ане прошлым вечером. Я всё неумело вяло отрицал.

Подошла Аня:

— Я ног не чувствую, — сказала она. — Жалко, что тут нельзя купаться. С удовольствием бы окунулась в ледяную воду. Как же здесь красиво! Как у бабушки

в деревне летом в детстве было. Вода в пруду чистая-чистая. Тут только людей полно — я не люблю такое. А там, у края улицы, всегда безлюдно было, помнишь, Рая? В старших классах я вина напилась и еле взобралась на бугорок. Меня подружки тащили. Так стыдно было!

На Рице действительно хорошо, как в приятном сне под утро. Короткий взор на голубое озеро утоляет жажду.

За Аниной улыбкой угадывается подавляемая ко мне нежность.

— Эх ты, — говорю я. — Нельзя так напиваться. Я как-то перебрал и начался обстрел. Второй в моей жизни. Перетрухал я знатно. Побежал в панике, а ноги не слушаются. Подумал, что так и умру на обочине загородной улицы. Я у друзей был на шашлыках. Помнишь, Рая?

Рая неистово смотрит в сторону:

— Помню.

Была весенняя вечеринка. На даче у друзей — у Игоря — жарили шашлыки. Стемнело, и все уже крепко набрались. Я вышел на тёмную улицу, потому что на территории обсаженного каштанами дворика не было туалета, а переться из темноты в залитый светом домик не хотелось. Ребята смеялись у мангала, накрытого черепицей. Игнали во что-то.

Я встал у кустика. В чёрном небе звёзды, луна, как сырой пирожок. Я журчал, выдыхая густой пар, думал о том, что пора домой. И тут в небе появилась ракета. Она летела довольно низко и, оказавшись над моей головой, ярко взорвалась, поражённая системой ПВО.

«Осколок, — подумал я. — Крошечный осколок врежется в череп и парализует».

Снова взрыв. Сработали сигнализации у автомобилей. Завыли собаки. В сонных домиках вспыхнул свет. Я отметил, что градус исторгаемой мной струи не изменился, но сердце заколотилось.

Взрыв, ещё один. И ещё. В небе белые полосы и огоньки, похожие на горящие спички.

Я так сконцентрировался на мысли об осколках, что не заметил, как бегу. Работаю руками в плаще, смотрю перед собой и не ощущаю направления грунтовой дороги.

Ребята притихли, потому что ракеты разрывались рядом, будто за забором.

Мы сбились пьяной кучкой под навесом мангала и замерли. Врыв — наш протяжный вой — тишина. Глазки углей в выдохнувшемся мангале. Мечущаяся по плитке собачка. Бах — тихо — бах. И так очень долго.

Черепица вздрагивала как живая. Кто-то кричал: «Где мои очки?» Нелепая гибель казалась неотвратимой. Утром напишут: «Пострадал один дом и шестеро человек. Один, толстый, бородатый, самый неудачливый, погиб».

После обстрела мы вышли из-под навеса трезвыми. Пахло порохом и железом. Омерзительный был обстрел.

В третий раз я серьёзно испугался, когда мы поехали с Раей вдвоём на рыбалку. Ночевали в палатке. Под утро нас разбудили свистящие звуки. За ними пошли взрывы. Сквозь сеточку мы наблюдали столкновение пяти или шести ракет. Небо светилось, как днём. Из-за паники мы не могли выбраться наружу. Не справлялись со скользким из-за россы замком. Кружили внутри брезента, как мыши, накрытые ведром. Всё казалось зелёным из-за цвета палатки. После тоже пахло железом. Я протёр глаза

и пошёл к пруду. Поймал увесистую плотву и даже успокоился, а дым от сбитых снарядов ещё витал в прохладе летнего утра. Больше мы туда не ездили.

Все мы крепко напиваемся после Рицы. Короткий дождь не портит вечер. Аня примеряет на всех поочерёдно свою бейсболку. Я ем шашлык с невероятным аппетитом. Антон пытается поделиться радостью: его товар пересёк российскую границу и скоро будет в Краснодаре. Никто не хочет слушать подробности. Лишь я вяло имитирую внимание. Рая лезет ко всем обниматься и требует прогулки, «а то отпуск заканчивается, а мы в отеле сидим».

— На пляж! — командует она. — Купаться ночью. В ночном океане. В море.

Мы смеёмся и почему-то послушно скручиваем полотенца.

— У меня купальник сырой, — жалуется Аня.

— Купайся голой. Последний день отпуска — можно. Саш, ты тоже давай голым ныряй. Мы с Антоном в нужный момент деликатно отвернёмся. Слышишь, писатель, как я выражаюсь? «Деликатно» — нравится?

«Вдруг кто-то утонет, — думаю я. И ещё: — А что если действительно они оставят нас с Аней вдвоём?»

Все смеются, никто ничего не соображает. Даже Ане не стыдно. Она убегает в душевую и натягивает длинную футболку на голое тело. Её грудь просвечивает, и я не могу это игнорировать.

Мы поём и тащимся к опустевшему пляжу. В кафешках живая дешёвая музыка. Хрипловатый певец признаётся в любви лету, морю и той самой, «у которой глаза синие, а волосы красивые». Пахнет горелым мясом и коровами. Галка скрипит под босыми ногами. Крутые волны лупят о берег.

— Остаёмся друг у друга на виду! — командую я.

Рая разбрасывает вещи. Стараюсь подметить, куда улетела футболка. Она не сразу замечает выпавшую из купальника грудь. Белая, как медаль, она выделяется в темноте.

Я захожу в море. Вокруг чернота. Сама смерть вокруг. Безразличие и мудрость. Ничего нет страшнее, чем плыть в ту сторону, где ещё несколько часов назад был горизонт, а теперь лишь мрак и равнодушие.

9

Раю тошнит в море. Сначала она стоит, согнувшись, а потом опускается на колени. Сильная волна сбивает её. Помогаю ей подняться. Аня вертится вокруг. Антон предлагает помощь.

Он курит, рассматривая звёзды. Замечаю: сигарета дымит как-то неправильно. Догадываюсь: не табак.

Конечно!

Вот чем объясняются его долгие уходы то на балкон, то в туалет. Он всегда возвращался весёлым, но с пустыми глазами.

— Никогда в жизни больше сюда не приеду, — говорит Антон, глядя во мрак. — Нищая страна. Сервис отсутствует. Грязно и неудобно. Будто в совок припёрся.

В отеле я раздеваю и укладываю Раю в постель. Она мгновенно засыпает. Я убираю с её лица мокрые волосы. Они пахнут водорослями.

Долго сижу на балконе и пью вино. Даже в темноте Абхазия завораживает. Так много всего разного родила эта земля! Какая щедрость. Так, порой в конце книги находишь абзац, куда писатель сгрузил все самые диковинные метафоры, чтобы они не пропадали напрасно.

«Угостишь вином? — пишет Аня. И добавляет, — Антон уснул. У него голова разболелась».

Я чувствую давление рока и думаю о том, что если мы Аней решим переспать, то придётся это делать в машине, припаркованной под пальмой. Идя в коридор, я беру с собой ключи.

Мы выходим во двор отеля, садимся на скамейку. Довольно душно. Сначала разговор не клеится, зато потом... Я целую Аню в шею, когда она начинает рассказывать о детстве. Эта тема лишняя — в ней много Раи.

Ане нестрашно. Прячется за волосами и ждёт продолжения. Я поглаживаю мочку её уха, поглядываю на «Авенсис», представляя спасительной холод его кожаных сидений.

— У тебя машина сколько метров?

— Что? Не знаю. Зачем тебе?

— Хочу срезать бамбук на память. Видел, вон там, за отелем, растёт бамбук? Там как бы шалаш. Может, сходим туда?

Да, там действительно укромно, тихо и сухо. Длинноногая девушка в огромных очках на крошечном носу зовёт меня в кустики.

— Ань, дорога тяжёлая завтра. Вы-то до Краснодара, а мне без остановки пилить до Белгорода почти сутки.

Она целует меня в щёку, а потом коротко в губы.

Безгрешные, мы расходимся по своим номерам. Я сохранил сестёр. Ненависть постоянно ищет для себя повод. Важно уметь оставить эту суку ни с чем.

Рая спит в майке. Интересно, заметила ли она моё отсутствие?

Засыпая, я роюсь в телефоне — привычка. На утро новости обещают военный переворот или что-то похожее. «Дорогу ещё перекроют», — думаю я и прячу руки под Раину футболку. Там мягко и монотонно работают лёгкие.

Часов в десять Рая дёргает меня за нос:

— М-4 перекрыта. Там на Москву идут военные колонны. С противовоздушными установками. Ростов — пишут — взят. Планируют бомбить трассу М-4. Как её объезжать, непонятно.

— Что? А домой как? Какой переворот? Там как ни верти...

— И я про то! — глотая минералку из стакана, шепчет Рая. — Через Волгоград можно как-то объехать, но это далеко.

— Так, — говорю я. — Нужно поскорее выехать из Абхазии. У нас в машине двое мужчин и белгородские номера. Ребята проснулись? Иди, разбуди их, пусть собираются.

— Проснулись. Аня уже вещи сушиться вывесила. Вы вчера ещё раз на пляж не ходили?

— Я бухал на балконе. Выходил только, чтобы машину проверить. Стихи писал.

— Прочти, что получилось.

Путаясь и импровизируя, я прочёл стих, который как-то сам сочинился на второй день войны. Тогда все, как попугаи, повторяли одну и ту же признанную вне закона фразу. А мне почему-то было противно. То ли сам по себе хор меня раздражал, то ли фальшь исполнителей. А скорее всего, я просто знал наверняка, с каким презрением *такие*, как *они*, относятся к *таким*, как *я*. Поэтому и не хотел вставать рядом. Впрочем, вскоре стало ясно, что деваться некуда. Иные фронты не открыты, и наши, увы, не придут.

Я мог бы стать птицей,
Или морской царицей,
Глянцевой задницей —
Мне без разницы.
Но не дают родители —
Душегубы-вредители,
В пыльных халатах
Сидят на парадах.
От дождя до дождя.
Под речи вождя
Ждут одряхления
Моего поколения.
И Сталин горячий
В стене, незрячий,
Им обещает пенсию
И меня повесить.
Красные птицы,
Кобылы-блудницы,
Ржание и подражание,
Кусаются каторжане.
Мама, зубами бренча,
Твердит: «Саранча, саранча!»
И ветер, идущий с полей,
Так же сладок, как мавзолеей.

— Ну, понятно, — говорит Рая. — Частушки. Юре понравится. Что мы делаем? Собираемся или на пляж?

— На пляж. Последний день всё-таки, — отвечаю я и смеюсь почему-то. — Тебе поесть нужно.

— Другое мне надо, — возражает Рая и усаживается сверху.

— Надо так надо.

Мы быстренько сходили на пляж и окунулись в неприветливом прохладном и наполнившемся из-за шторма мусором море.

По дороге обратно я подсаживаю Раю, и она крадёт у кого-то через забор пару веток лаврового листа. Ей смешно. Вдруг я вспоминаю, как сильно люблю её, как умеет она радовать моё сердце.

В отеле читаем новости: М-4 перекрыта. Сбит вертолёт. Как возвращаться домой — непонятно.

— Переночуем у ребят, а утром видно будет.

— Возможно, это затянется на неделю. Что тогда делать?

— Поживём в Краснодаре, — смеётся Рая.

Я подумал, что в таком случае нам с Аней никуда не деться друг от друга. Неделю, а может, и дольше в закрытой квартире — это сокрушительный удар по моей морали.

Мы уезжаем из Абхазии. В этот раз почти нет проблем с границей. Беспреданно читаем новости и пытаемся предугадать свою судьбу.

— Ощущение, что там, впереди, атомная бомба, которая вот-вот взорвётся, а мы несёмся на неё и ржём как сумасшедшие, — говорит Аня.

— Деваться некуда. Мы в этой бомбе живём.

Из Сочи звоню Юре:

— Тихо у вас?

— Нормалёк.

— «Шебекино возвращается к мирной жизни?» Я читал, что уже на работу гонят.

— Неделю как работаем! Гнёзда без птиц, прикинь! Вчера гремело сильно, но к нам не залетало. Чем, думаешь, кончится мятеж на корабле?

— Ничем, думаю.

— Ты говорил, что и войны не будет, — смеётся Юра. — Ладно, будем на связи. Ты не спеши на М-4 соваться. Посиди в Краснодаре. Бывай! Мне нужно ехать. Знакомый обещал в Белгород подбросить. Я без нормальной жратвы неделю сижу.

— Подожди! Как там твоя баба Вера?

— В порядке! Она давно в коммунизме живёт. Когда «грады» работали — думала, что это гром, поэтому на всякий случай грядку с помидорами полиэтиленом укрывала.

Действительно, я не верил в войну.

23 февраля 2022 года пришёл в гости Юра с собачьим черепом. Рая смотрела какой-то фильм, а я растягивал тесто для пиццы.

— Что это за дрянь? — крикнула Рая, указывая на череп.

— Это не дрянь, это Юра, — ответил я.

— Покрашу в чёрный — красиво будет, — объяснил он и шёпотом упрекнул меня, — ты же говорил, что Ады не будет.

— Подружка стрелку отменила за час до.

— Пицца с луком?

— Я не люблю с луком, — крикнула Рая.

Я пообещал, что удовлетворю вкусы каждого.

Спустя минут сорок мы ели пиццу и пили вино.

— Ну что, — начала Рая, приподнимаясь. — Дорогие мои защитники! Поздравляю вас с праздником. Желаю, в случае чего, доблестно защищать родину и нас — женщин. А вообще, главное, живыми быть и здоровыми.

— Спасибо Ада! Завтра начнётся, — салютуя бокалом, сказал Юра.

Мы выпили. Я продемонстрировал Раин подарок — мягкую и тёплую тельняшку.

— Считаю, что не будет никакой войны. Никому она не нужна. Это дорого, а денюжки они берегут. Обычный политиканский трёп. Забивают голову населению.

— А военные машины в городе?

— Учения, — настаивал я. — Демонстрация силы.

— Нет, Саша. Может, и не завтра, но вот-вот начнётся, — твердил Юра. — Всё готово уже. Ресурсы имеют свойство соблазнять. Мы живём в «Тихом Доне». Сейчас 1914 год. Первый том. Перечитай внимательно.

Закончив с вином, мы открыли коньяк, но лишь пригубили. Потом Рая болтала с кем-то по телефону, а я провожал Юру. Кажется, шёл снег. Мы постояли под фонарём и помолчали. Подъехало такси и, с собачьей черепушкой под мышкой, Юра неровно побрёл к машине. Он планировал переночевать у знакомой девушки, с которой у них нет секса.

Утром мы проснулись от этих самых звуков, которые теперь кажутся привычными. Будто гигантскими молотами били по цинковым бочкам. Для кого-то это был первый обстрел.

— Это соседи ремонт затеяли, — предположил я, несмотря на то что на часах было четыре утра.

Рая носилась по комнате, как ошпаренная кошка, и пыталась дозвониться родителям.

— Началось! — повторяла она.

Ничего за окном не было видно. От этого глухого и мёртвого звука, заполняющего пространство, делалось невыносимо.

Бум-бум-бум! Будто у дома отлетают поочерёдно этажи, и когда дойдёт до нашего — взлетим к самому солнцу.

10

Проклятый серпантин. Мы молчим от усталости. Я думаю о том, каково бы было ехать с Аней в одной машине, когда бы я дал слабину.

Будто прочтя мои мысли, Антон спрашивает:

— Аня, ты вчера из номера не выходила? Я просыпался — не было тебя.

— На балконе сидела. Новости читала.

— На своем балконе? — спрашивает Рая.

К вечеру мы наконец-то в Краснодаре. Я очень рад, что скоро лягу спать. Антон немедленно садится за компьютер и начинает заниматься своим товаром. Говорит, что всё хорошо: бабки умножаются.

Аня кормит нас пельменями. Рая пилит конскую колбасу, которую мы купили на гостинцы. Я думаю о том, что у нас осталось денег дня на три, а зарплата ой как нескоро.

В Ростове танки. Где-то роют окопы.

Смотрю на Аню и не узнаю. Трепетно она подаёт Антону баночку со сметаной, болтает покрытой мелкими волосками ногой и беспокоится о капающем кране. Зачем она мне нужна? Кем она работает?

Припоминаю: она собачий психолог. Консультирует, когда появляются клиенты, в остальное время проходит бесполезные курсы по самосовершенствованию. Сидит в четырёх стенах и смотрит мультфильмы.

Моя Рая — врач-акушер. Она за ночь, бывает, по шесть детей вытаскивает на свет божий.

И ещё Рая целый день плакала, когда мы думали, что Юра погиб в Шебекино.

Это был обстрел, который совсем не угрожал нам, но который мог лишить меня предпоследнего друга.

Помню видео, на котором горит шебекинский супермаркет, а от него в сторону бредёт мужчина, истекающий кровью. Обрывки горящей мишуры и мат. Это было впервые, а потом стало повторяться каждый день.

В Белгороде между тем стало тихо. Редко-редко пролетит вертолёт, или днём, бывает, ухнет где-то за городом. Никто и внимания не обращает.

И вот, Шебекино полностью разбомбили. Началась масштабная эвакуация. Рушились и горели дома, пропали электричество и вода. Отменили маршрутки. От Юры не было вестей.

За день до этого он звонил и рассказывал, что на соседней улице сгорел магазин. Я предложил ему уехать в Белгород и пожить у меня, если нужно, но он отнекивался.

В Шебекино у Юры были несложная работа и гараж с музыкальными инструментами, где он иногда играл с приятелями; где-то в селе, у края шебекинского городского округа, жила бабушка Вера — боевая старушка, не нуждающаяся в уходе.

Сутки его телефон был недоступен. Я читал новости, как маньяк. Речь шла о тысяче выстрелов по крохотному городку. Чёрный дым, красные костры, и зелёные, в самом цвету, деревья.

Мы похоронили Юру, когда увидели дом, очень похожий на его панельку. В каждом его окне танцевал язычок пламени.

На следующий день, вечером, он позвонил в мою дверь.

— Связи нет, света нет. Приехал с мужиком, который людей вывозит. В соседний подъезд прилетело. Сейчас перерыв. Выпить хочешь? Там магаз один разбомбило, так что я с вискарём.

— Я думал, тебя убило.

— Да что мне сделается? Я на детской площадке под грибком всю ночь просидел, а утром в дом пробрался.

— Оставайся тут.

— Нет. Вещи растащат. У меня там картины, гитары. Буду комендантом города. Пару дней тут поночую, и обратно.

— Пропустят?

— Конечно. Не я один такой.

— Я думал, тебя в живых нет, — повторил я.

— В какой-то момент подумал: всё — кончилась песня, — а оно ничего.

— Мёртвых видел?

Юра кивнул и прошёл на кухню.

— А Ада где?

— В магазине. Она очень переживала.

— Ада? Ну это хорошо, раз переживала. Позвони — пусть сигарет возьмёт.

Дня через три Юра вернулся в Шебекино и живёт там до сих пор. Он рассказывал о запахе протухшего мяса в отключённых холодильниках и о стаях бродячих собак. По-моему, мой предпоследний друг — настоящий герой.

Смотрел интервью. Писатель, который «за», и другой, который «против», разными словами высказали схожую мысль. Дескать, ничего тут удивительного. Война давно идёт, и мы, жители Белгородской области, не должны удивляться.

Всё происходящее — естественно. Людей жалко, жизнь продолжается, самое крутое впереди. Их дети между тем в полнейшей безопасности.

«Какое дерьмо», — думал я, садясь за этот текст.

Пять утра, воскресенье. Я просыпаюсь и читаю новости. Мятаж закончился, М-4 свободна. Я бужу Раю, и мы уезжаем.

Антон спит, Аня провожает нас. На прощанье она незаметно трогает мой живот, будто загадывая желание у некоего медного божка.

— Держитесь там, — говорит она. — Надеюсь, всё скоро закончится.

— Главное, чтобы у вас не началось.

— Аня, если что — приезжайте к нам, — наставляет Рая.

— Спасибо, сестра.

Их лица разделяет одна на двоих слезинка. Они шепчутся, а я проверяю шины.

— Солнце встаёт, — говорю. — Поехали. Неизвестно, что там, на дороге. Пока, Аня. Не грущай!

Мы долго выезжаем из Краснодара. Пытаюсь запомнить пейзаж. Рая болтает без умолку. Мы хорошо отдохнули. Вечером будем пить шампанское. Если начнётся обстрел, то выйдем на всякий случай из дома и дойдём до посадки. Там есть присмотренный мною пригорок, до которого не дотянутся осколки.

Трасса М-4 в сторону Москвы свободна. Я жму на педаль акселератора. Слушаем музыку и целуемся на светофорах.

По левому борту, из Ростова, тянется громадная колонна военной техники. Это те самые люди, которые всполошили страну минувшим днём. За ними пробка из гражданских машин. Несчастные люди топчутся у отбойника. Курят, пьют воду. Вечером им подвезут бутылки с минералкой.

На военных машинах разные флаги: чёрные, серые, на них символика. Я замечаю машину с пушкой, к которой прикреплён флаг с Иисусом Христом. Флаг трепещет от ветра, и лик Христа как бы подмигивает нам.

«А мы живём, а нам с тобой повезло назло!» — поёт Глеб Самойлов.

В начале седьмого мы въезжаем в Белгород. На заправке разминаю ноги, потягиваюсь. Рая приносит фруктовый чай.

— Через двадцать минут мы дома.

— Да. Спать будем как мёртвые.

— Главное, чтобы без этих чёртовых бахов.

— Тихо в последнее время. Хотя кто его знает.

— Хорошо в Абхазии, — заключает Рая. — Неустроено только. Разрушено всё. Сквозь эти развалины видна красота, но скоро и от неё ничего не останется.

— Война, — пожимаю плечами.

До полуночи мы смотрим нудное кино и пьём ледяное шампанское, закусывая его сыром «Сулугуни». Рая засыпает раньше, а я долго сижу у раскрытого окна, закинув ноги на подоконник.

Строящийся дом, фонари, объездная дорога, посадка. Раскачиваются деревья. Ждут рассвета фонари. Пахнет дождём и сигаретами. Жутковатая тишина, как в детстве ночью, когда взрослые долго ругаются на кухне, а потом замолкают до самого утра.

Валерий Рыженко

Мимолёт

Рассказ

Везде поперёк каким бы ни было печалям,
из которых плетётся жизнь наша, весело промчится
блистающая радость...

Н.В.Гоголь. «Мёртвые души»

Проскочив по мосту через Дон возле города Серафимович, глотнув свежего бодрящего воздуха, а потом, окунувшись в удушающий запах бензина автозаправочной станции, расположенной примерно метрах в ста от Дона, я выезжаю на самую верхушку невысокого бугра: летом с опалённой травой, зимой оголённого, осенью покрытого грязью, весной обсыпанного одуванчиками...

Остановив машину, выхожу и смотрю не на Дон — могучая река, но мелькает, островки в середине появляются, — а на дорогу, ведущую к Суровикину. Пустая. По сторонам хилые низкорослые посадки, запустевшая и загложнувшая степь. Вдали горизонт. А то, что мне хочется увидеть, — не видится. И так каждый раз, когда я еду в Обливскую.

Я останавливаюсь не потому, что меня измотала почти в тыщу вёрст дорога, забитая тяжеловесными фурами, я наловчился проскакивать между ними, а воспоминания.

Постояв немного, сажусь в машину. До Суровикино сотка вёрст. Они кажутся мне бесконечными. А ведь был день, когда эти вёрсты пролетали, как секундная стрелка по кругу. Иногда я притормаживаю и ползу, словно черепаха, а порой вдруг срываюсь так, что стрелка на спидометре зашкаливает: не надейся, это был сон, это была мечта.

В тот раз, в июльский распаренный день, я тормознул, увидев на верхушке бугра женщину лет двадцати пяти-тридцати, она махала рукой.

Стоп машина. «Добыча» в руки плывёт! Эта мысль, что греха таить, всполошилась от желания.

— Куда?

— А тебе это нужно знать? — отрезала, как бритвой перед лицом махнула.

Я оторопел.

Рыженко Валерий Андреевич родился в 1944 году в Луганской области. Окончил Высшую школу КГБ при Совете Министров СССР. Автор множества книг по кулинарной, спортивной лечебной тематике. Печатался в «Роман-газете», «Нашем Современнике», «Смене» и др. Живёт в городе Домодедово Московской области. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Как говорят, просел одновременно в чувствах удивления и злости.

— Зачем тогда махала, чтоб я остановился?

— Я не тебе махала, прощалась с Серафимовичем. А вообще мне нужно в Суровикино.

— Садись, — успокоившись и распахнув дверцу, сказал я. — Подвезу.

Она, внимательно осмотрев меня, бросила.

— Только я в твои игры не играю. Понятно?

Заинтриговала.

— Какие игры?

— А те, что выше коленочек.

— Это как понимать?

— А так, — насмешливо ответила она. — Приглашают, а потом говорят: расплачиваться как будешь? Деньгами или натурой. Предпочитаем натурой брать. Это твёрдая валюта. Всегда в цене.

— Я не такой, — быстро бросил я.

— Ну, конечно, — с иронией отбила она, — я не такой, я очень хороший. Все вы мужики так говорите, — повела она с сарказмом. — Предупреждаю. — Она сжала сочные губы, блеснула не глазами, а глазищами. — Я одному даже дверку снесла, когда вырывалась.

Она замолчала.

— А дальше?

— Интересно стало? Или ищешь слабинку во мне, чтоб не споткнуться? А дальше вот что. — Твёрдая на голос, мне показалось, что даже слова звенят. — Захотелось ему, родимому, — певуче начала она, — моих коленочек, в посадочку да на мягку травочку.

Как в сказке: «посадочку», «мягку травочку».

— А травочки не оказалось-то. Выпало солнышко. Репейничек один остался. Сердитый и колючий страсть какой. Я со злости изнутри машины и саданула обеими ногами в дверку. Вернее, не саданула, а лягнула обоими копытами. Это для тебя, чтоб образней и понятней было и знал мои способности. Дверка пух, и выломилась, — она развела руки в стороны. — Как же он матерился, боже мой, — она так сокрушённо покачала головой, что я засмеялся. — Я такого не слышала. Бросилась бежать. Он — за мной. Мне-то легче. Я бегу без мата, а он с матом да ещё с дверкой. Почему с дверкой, до сих пор не пойму. Подарить, что ли, хотел мне? Или в качестве памятника на мою могилку поставить? Чуть не задохнулся, бедняжка. Попрошались прилично. Он мне кулак показал, а я ему язык. И ты такой?

— Я выдержанный мужик, к женщинам отношусь с особым уважением и вольностей не допускаю, — похвалил я себя, даже стыдно стало.

— О, — улыбнулась она. — Выдержанный, а если я сейчас юбочку поддёрну и коленочки свои покажу?

— Не веришь? Тогда сделаем так. Ты согласна?

— Нет, — отсекла она.

— Я ещё не успел сказать, о чём речь, а ты уже паришь: нет, — сорвался я.

— Тогда говори, — разрешительным тоном. — Это с чем я должна быть согласна?

Я вышел из машины и направился к ней, она попятилась, потом, быстро нагнувшись, ухватила увесистый булыжник.

— Хочешь силой взять? Смотри. У меня каменюка и когти стальные. Ух. Порву и пискнуть не дам.

Её слова подействовали на меня, и я на всякий случай стопорнул. А вдруг припечёт булыжником?

— Это. Как бы тебе попонятней сказать, — с перебоями стал говорить. — Да. Вот так. — В таких ситуациях нужны слова лёгкие, задушевные, чтоб душу ласкали, а у меня они почему-то выходили тяжеловесными. — Каменюку для других сохрани. Машины легковые можешь водить? — В норму вошёл.

— Да что машины. Начинай с тракторов. До самолёта вот не добралась. Жизнь научила даже на велосипеде ездить, — засмеялась она.

— Тогда садись за руль, а я на место пассажира. И топи.

— Ты что, сбрендил? — удивлённо вздёрнулась она и выбросила булыжник.

— А почему бы и нет? Я устал, из Москвы качусь, малость вздремну, а ты вместо меня порулишь.

— А кустовые сидельцы?

— Кто такие?

— Гаишники. Из кустов выскакивают либо когда машину увидят, либо когда кусты горят. Во всех остальных случаях мёртво сидят, как приваренные.

— По этой дороге они не ездят. Не хлебная она. Федеральная — другое дело.

— А если я врежусь? Машину побью?

— От этого никто не застрахован.

— Выдержанный ты или не выдержанный, — не знаю, посмотрим. А то, что ты, извини, конечно, ненормальный авантюрист, — наградила, — это точно, и знаешь, даже очень интересно стало, — приняла она моё предложение.

«Вот тебе и добыча, — подумал я. — Атакующий хищник. Сама кого угодно добычей сделает, а я кто в данной ситуации? Крадущийся хищник».

— А куда едешь? — спросила она, выводя машину на узкую, поклёванную дорогу.

— В Обливскую. Тестя и тещу проведать.

— Выходит, что женат, — улыбнулась она. — А жаль. Я бы тебя, сонного, к церкви в Суровикино подвезла, обвенчались бы.

— Вот так. Сразу.

— А зачем ждать?

— Выходит, что ты не замужем.

— Какой догадливый. Была. Ушла от мужа. Любил закладывать.

Через час показалась суровикинская телевизионная вышка.

— Лихо едешь. Сто вёрст за час взяла.

— Это я от страха, чтоб ты не передумал и не начал приставать. Ты же не сумасшедший, — ввинтила она, — чтобы на скорости сто километров в час шарить руками по мне, хотя твоя авантюра посадить за руль совершенно незнакомого человека говорит об обратном. Слушай, — она повернулась ко мне. — У меня хорошее предложение. Просто отличное. Соглашайся.

У меня ёкнуло сердце, что задумала, но не давать же задний ход.

— Выкладывай.

— У тебя машина, а не поезд. По расписанию не ходит. Давай махнём назад к Серафимовичу. Покупаемся в Дону. Как ты на это смотришь?

— Просто, — облегчённо вздохнул я. — Разворачивайся. Только внимательно. Сзади фура.

— Послушай, я водитель или ты? — сердито сказала она.

— Ты.

— Вот тогда и помолчи, — осадила она.

Часа два мы купались в Дону. Загорали. Пацанка. Она неожиданно схватывалась с места, мчалась во всю прыть к воде, отталкивалась ногами и, блеснув телом на солнце, обрушивалась в воду. Фонтан брызг, и она среди них.

— Здорово! — весело кричала она. — Это очень здорово!

Выйдя на берег, падала на спину, раскинув руки, и, прищурившись, смотрела на солнце.

— Дразнилка, — говорил я. — Ляг на живот.

— А ты не на меня смотри, а на солнце. И вообще, что здесь такого, если женщина после купания ложится на песок спиной, чтобы её погреть? Может, у меня радикулит.

— И давно он у тебя прорезался?

— Да только сейчас. Год молчал.

— Давай массаж сделаю.

— Спасибо, но ты же говорил, что выдержанный, с особой внимательностью относишься к женщинам, вольностей не допускаешь, ну и прочую ерунду нёс. Так не мешай мне. Дай полюбоваться солнцем.

Она немного поднялась и опёрлась на локти.

— Ух ты! Какое яркое и сочное.

— Как у тебя губы, — подбросил я. — А знаешь?

— Не знаю.

— Да ты послушай. Может, вспомнишь. Мы с тобой уже виделись. В монастыре, который в Серафимовиче, на Пасху. И целовались. Христос воскрес! Воистину воскрес! Может, представим, что сегодня Пасха?

— Так и стараешься подобраться поближе, — сказала она. — А знаешь, что поближе — это действительность чурбанов, а подальше друг от друга — это мечта. Смотри на солнце. Я впервые вижу его таким.

Она перешла на шёпот и поманила меня пальцем.

— Ползи ко мне. Я знаю тайну проклятого места. Оно напротив монастыря на берегу Дона находится. Видишь монастырь?

— Тебя вижу, монастырь нет.

— Послушай мой добрый совет. Я ведь могу и оплеуху влепить. Так вот, — не сбавляя шёпот, понеслась она. — Монашки беременели и, когда рожали детей, то топили их в Дону. Люди, которые ходили к проклятому месту, говорили, что слышали плач новорождённых. В монастыре и чудесный камень Пресвятой Богородицы есть. Его ещё называют Монашкин Камень или Камень Арсении. Я одно время собиралась уйти в монашки, да услышав о проклятом месте, отказалась. Интересный монастырь. Я тебе многое могу рассказать о нём.

— Не нужно, — ответил я. — Был там. А о проклятом месте впервые слышу.

— А ещё ходила я к Камню Пресвятой Богородицы. Молилась, чтоб муж бросил пить, но видишь, ушла, возвращаюсь домой. Не думаю, что это наказание мне. Скорее спасение, потому что с пьющим мужиком тяжело жить. Самой можно запить. Да и разлюбила я его. А может, и не любила. Выскочила в восемнадцать лет. А зачем ты ходил в монастырь? Ради интереса, любопытства?

— Нет. Счастье там искал.

— Ого. Если искал, значит, знаешь, как оно выглядит.

— Знаю.

— Тогда расскажи.

— Оно похоже на тебя.

— Я серьёзно спрашиваю, а ты?

Она вскочила, отломив веточку от куста и стала чертить на песке.

— Что чертишь?

— Пишу, что такое счастье. Жаль, что на песке, ну ничего. Сойдёт и на песке...

Я поднялся и направился к ней, чтобы посмотреть, но она быстро стёрла ногой.

— Зачем?

Она не ответила, посмотрела на монастырь, на Дон, на меня и стала одеваться.

— И откуда ты свалилась на мою голову, — не выдержал я. — Ехал спокойно, и на тебе.

— А я знала, что ты едешь, поэтому и вышла на бугор, чтоб тебя встретить.

— Если вышла встретить меня, зачем тогда за каменюку хваталась?

— Ты не об этом думай, а скажи Богу и мне спасибо, что я не запустила её в тебя.

А ведь могла от радости и шарахнуть.

Пришлось только развести руками.

Время мчалось с бешеной скоростью. Я никогда не испытывал такую жгучую ненависть к нему, но время — как вода. Ни то, ни другое в кулаке не сожмёшь и не удержишь.

— Пора ехать, — сказала она. — Тебе ещё нужно до Обливской добираться.

— А может, заедем к тебе, — бросил я, когда сели в машину.

— Не надо, — вздохнула она. — Мы всё испортим.

Она, оставив руль, потянулась. Я перехватил.

— Ты рули, рули, — выпалил я. — А то в кювет завалимся.

— Ты точно ненормальный. Я и так рулю. Нога на тормозе.

— А если в кювет кувырknёмся, где твоя нога будет?

— А куда Бог положит, — равнодушно бросила она, — там и будет. А если в кювет попадём, то нужно делать вот так.

Она резко тормознула. Хорошо, что я был пристёгнут. Иначе полёт через лобовое стекло был бы неминуем.

— Не сердись. Это жизнь. Кто-то рулит, кто-то тормозит, но все мы попадаем... Понимаешь, я никак не могу узнать, куда мы попадаем. На небеса или, извини, в собственные ароматные изделия. Не подсказывай, хотя ты толком не знаешь. Я сама должна догадаться.

Половину дороги обратно она молчала.

— Что молчишь? — спросил я.

— Да, как-то на душе нехорошо. Садись за руль. Голова закружилась. Наверное, перекупалась и перегрелась.

Я посмотрел на её лицо и внутренне вздрогнул. Это было лицо женщины, словно шагнувшей в шестидесятилетний возраст. Она перехватила мои мысли, то ли интуитивно, то ли каким-то другим образом. Не понятно.

— Не удивляйся, — сказала она. — Это мимолёт.

— Это что? Болезнь такая?

— Нет, — она засмеялась. — Не пытай меня. Не скажу.

Недалеко от поста ГАИ я остановился, как велела она.

— Вот и всё, — вздохнула она. — Простенько, без обнималок и коленочек.

Покатались-покатались и расстались.

Она потянулась ко мне, слегка поцеловала в щёку и нажала на сигнал.

Полоснуло.

— Суровикино! — закричала она. — Встречай свою дочь.

— Ну и выходки у тебя.

— Нормальные выходки.

— Я тебе номер мобильного дам, — сказал я. — Позванивай. Сообщу, когда в следующий раз ехать буду.

— Хорошо, — ответила она.

— Свой номер оставь.

— У меня пока мобильного нет.

Она ушла не оборачиваясь.

Я проехал по центральной улице городка, чтобы выскочить на федеральную трассу, но передумал и стал кружить по улочкам и переулочкам в надежде увидеть её. От этой затеи я отказался, когда стало темнеть.

Я нацелился уже на Обливскую, но передумал. Позвонил теще и сказал, что сломался возле поворота на Михайловку. Машину загнал в сервис. В ней и переночую, а где-то к обеду выеду.

Ночью я почти не спал. Изредка захватывала дрема, и я, как наяву, видел Дон, фонтаны брызг и её среди них, поднимающуюся вверх. Я даже бормотал: протяни руку, чтоб я смог ухватиться, но она отрицательно качала головой.

Утром я подумал, а где собирается больше всего людей в воскресный день? На рынке. Я направился туда. Гремела оглушающая музыка. Из палаток, забитых одеждой, доносились голоса: дёшево, недорого. Торговали свининой, телятиной... На одном конце рынка продавали цыплят, утят, кроликов... На другом — автомобильные запчасти, ковры, картины... Этот многоголосый, копошившийся клубок душил меня. В воздухе носились запахи пота, пива... Я исходил весь рынок. Запала она мне в душу. Хотелось увидеть её, услышать голос, сказать... А что сказать, если в голове моей был хаос? Моя жена и она. Подходя к палаткам, я намеревался спросить, но что я мог спросить? Я не знал её имени. Пацанка, но это не имя, а образ: мчаться по песку и, сверкнув телом в солнечных лучах, бултыхнуться в воду, а, вынырнув, закричать: здорово! Я дошёл до отчаяния и направился к мужикам, выпивавшим на скамье в сквере.

— Мужики, помогите?

— Конечно. Что за вопрос?

— Я ищу одного человека.

— Это хорошо, что ищешь.

— Но я о нём мало что знаю.

— Это тоже хорошо, что мало. Мы знаем больше, потому что коренные. Информация стоит сейчас дорого. Бизнес. Понимаешь?

— Понимаю.

— Это тоже хорошо. Купи нам бутылку, потом обрисуй человека, скажи фамилию, улицу, номер дома, и мы отведём тебя.

Ничего не вышло.

Уходил я уже с опустевшего рынка. Дорогой купил чекушку «Парламента». Выхав из Сурукинина, проехал по мосту через Чир, высыхающий и зарастающий густым, почти трёхметровым камышом, свернул на степную дорожку, остановился и выпил. Гаишников я не боялся, так как знал немало дорожек в степи, ведущих к Обливской. Сурукино постепенно уходило из вида, я оглядывался, пока оно совсем не скрылось.

Я ждал её звонка, но она не звонила. Несколько раз я собирался ехать в Обливскую, говорил жене, что хочу проведать её отца и мать, но поездки откладывались.

Позвонила она через год.

— Почему год ни одного слова?

— Да это, ну времени не было. Это.

Она замолчала.

— Врать ты не умеешь, — сказал я.

Длинная пауза. Только прерывистое дыхание.

— Я боялась, сам понимаешь чего. — И тут же быстро добавила: — Выхожу замуж через неделю. Поздравишь, или как?

Я поздравил, но мне было грустно. Ощущение, что я потерял очень близкого человека, который промелькнул передо мной и должен был исчезнуть, но не исчез.

Иногда я сажусь в машину и выезжаю на трассу, и мне чудится, что я вижу, как она идёт по дороге.

Дорога, дорога! Ты единственное спасение и надежда для меня, когда в душу накатывает грусть, перемешанная с тоской, когда я чувствую, что задыхаюсь среди людей, и мне хочется вырваться на машине в неизвестность.

Колёса наматывают вёрсты с бешеной скоростью. По сторонам мелькают посадки, подлески, бескрайняя степь с полыхающим над ней солнцем, проскакивают мимо деревни, кладбища, городишки, церквушки с позолоченными куполами, одинокие могилки с деревянными крестами, почти такие же, как и были на Руси, переходящие из века в век. А дорога всё вьётся и вьётся и уводит в бесконечную даль.

О чём мечтал, то не сбылось.

О чём не думал, то случилось.

Как хороша ты, прекрасна и пьяняща в яркий солнечный день. Блестишь, словно отполированное зеркало. Не раз ты вводила меня в густые, рослые, тенистые леса, где я, останавливаясь, находил тропинки, протоптанные охотниками за грибами. Я выходил из машины и шёл по этим тропинкам, прямым и петляющим, с чувством ожидания увидеть что-то необыкновенное, неземное, но напрасны были мои мечты, они обрушивались из-за захлестнувшей меня обыденной жизни. Чаще всего я не выбирал тропинки, а шёл напрямик, продираясь сквозь мелкорослые кусты, колючие заросли, ощущая себя иногда одиноким и забытым, иногда свободным, и тогда в порыве свободы и восторга я, заложив два пальца в рот, издавал пронзительный мальчишеский свист, который срывал с деревьев птиц. Порой я скатывался в крутой овраг, родниковую балку или натёкался на небольшие лесные озера, речушки, но не прельщали они меня, и я недолго бродил в незнакомом месте, снова возвращался назад. И ты опять расстилалась передо мной сверкающим, отливающим солнечным полотном.

Ты становилась жестокой и опасной и не щадила меня, когда попадала в темень, когда покрывалась густым туманом, когда начинал хлестать ливневый дождь, когда леденела, и мне думалось, что ты заберёшь меня к себе, и страх наваливался на меня, но проходило время, и ты, вырвавшись из непогоды, снова открывалась передо мной своей свежестью и чистотой. Нет у тебя ни начала, ни конца. Как много у тебя таинственного, непознанного и скрытого. Ты, словно время, бежишь без устали по земле.

Попадались попутчики молодые, постаревшие, и в их глазах, как казалось мне, я видел ту же страсть и любовь к дороге. Мчатся мимо суетной жизни, наполненной и радостями, и горестями, не останавливаясь, и пусть Судьба решит, где сделать последнюю остановку.

Григорий Князев

Длинных волн сердцебиенье

Размышления на Ладожском берегу

Ладоги вода большая
Сводит ноги — хо-ло-дна!
Наши мысли заглушая,
Всё шумит, шумит волна...

Чудом ловят слух и зреньё
Ощутимо, наяву
Длинных волн сердцебиенье,
Ладожскую синеву.

Там, за тонкой пеленою
Воздуха и облаков,
Горизонт стоит стеною:
Доплывёшь — и был таков!

Перед силою стихии
Люди хрупкие слабы:
И слепые, и глухие,
Замираем, как столбы.

Мира малые частицы...
Уходя в песчаный слой,
Как же, как же научиться
Не бояться стать землёй?

Князев Григорий Юрьевич — поэт, филолог. Родился в 1990 году в Великом Новгороде. Окончил филологический факультет Новгородского государственного университета. Публикации в журналах «Новый мир», «Знамя», «Звезда» и др. Автор семи поэтических сборников, в том числе — «Живые буквы» (2022). Лауреат нескольких литературных премий. Участник (2023) мастерской для молодых писателей в Великом Новгороде, организованной Ассоциацией союзов писателей и издателей России (АСПИР). Живёт в Великом Новгороде.

* * *

Дома — тихо и темно,
Но в ушные перепонки
Сквозь прикрытое окно
Проникает отзвук тонкий:

То вдруг пение пьянчуг,
То отчаянная ругань —
Жизни полон всякий звук,
Будоражащий округу.

А иначе — тишина
Смерти маленькой подобна,
И смешались в гуще сна
Мир земной и мир загробный.

Пусть опять бес-сон-ни-ца —
Город мой гудит покамест.
Пусть движенью нет конца —
То с моста, то снова на мост.

Только не смолкай, звучи,
В воздухе чертя кривую.
Раз в глухонемой ночи
Слышу — значит существую.

Памяти Ольги Фокиной

И в конце дороги той
Хоть какой-нибудь постой...
О. Ф.

Осеннего тумана дымка,
Гребут листву, и жгут костры.
И вечно жизнь и смерть — в обнимку,
Две неразлучные сестры.

Меж просек северных и пасек
Мне б дом и дерево прочесть...
«Здесь долго жил и умер классик», —
По свету разлетелась весть.

Печальная улыбка Бога,
Печать живущих на миру —
Узнать, увы, из некролога
Стихи собрата по перу.

* * *

К.Шакарян

Всё полнится, полнится список потерь —
Я сбился со счёту.
Сфальшивить боюсь на разломе двух эр
Трагичную ноту.

И разве что чудом оставшись в живых,
Над временем плачу:
Не как в девяностых, не как в нулевых —
Всё будет иначе.

И к новой эпохе, и к новому дню
Едва подготовясь,
Я прежнее время своё хороню —
Печальная повесть.

Каким оно ни было, стало моим —
До клеточки крови,
И вот превращается в пепел и дым,
Черней и багровей.

И детство уплыло за девять морей,
И юность — куда-то...
А солнце пронзительней, солнце острее
В минуту заката.

Жалея о том, что навек потерял,
И сам не замечу,
Как солнца последнего огненный вал
Несётся навстречу.

Дорога в Феропонтово

В.Наценцов

Деревьев острые макушки
В густом заснеженном лесу,
И редко-редко деревушки
В вечернем светятся часу.
Здесь, в нелюдимои глухомани,
Глубокий северный покой,
И на большие расстоянья
Вдали от жизни городской —
Непроходимые болота,
Непроходимые снега.
Как бы овеена дремотой,
Идёт за Вологду тайга...

Вдруг в этой дымке бело-чёрной
В ещё нехоженой зиме
Высокий храм нерукотворный,
Как крепость, вырос на холме:
От тверди до небесных высей
Среди лесов в земной глуши
Живые фрески Дионисий
Оставил на помин души.
Куда бы ни вела дорога
И как бы ни терялся след,
Нет в мире мест пустых для Бога,
Как мёртвых душ для Бога нет.

Апокалиптическая песнь

Топот бледного коня,
Вечности бессмертный трепет...

А. С. Пушкин

...Второй уже всадник по миру летит —
Нас топчет копытами вслед за чумою,
И с каждой жертвой растёт аппетит.
Нам выпало вымолчать время немое.

Дожить бы, дожить бы до светлых времён,
А там, не растратив в себе человека,
Припомнить как страшный, мучительный сон
Двадцатые годы текущего века.

Всё было взаправду на фоне войны —
Любови и дружбы бесценные наши,
Но что перевесит — семьи ли, страны
На чутких весах две качнувшихся чаши?

Когда же, даст Бог, не случится *конца*
На нашем веку — в смысле истинном, высшем,
То, как Дионисий, по воле Творца
Небесными красками землю распишем!

Игорь Клев

Корсо

Сперва обозначим место действия и время: Львов, Львув, Лемберг, Львив, Льв-wow.

В Советском Союзе имелись две имитации «заграницы» естественного происхождения и карманного формата для туристических и кинематографических целей. Для стран строгого протестантского севера — это города Рига и Таллин, а для барочных центрально-европейских и юго-западных католических — Львов и Вильнюс.

Внешний облик Львова и труппы исполнителей на исторических подмостках неоднократно менялись. Основанный русскими князьями, город был потерян ими, оставив по себе деревянный детинец на крутой горе и такой же деревянный посад под городскими стенами, перенесенный польскими королями на новое место — к подножию Замковой горы с одевшимся в камень Высоким Замком, в подземельях которого после разгрома крестоносцев под Грюнвальдом томились полсотни немецких рыцарей в ожидании выкупа. В этом месте дополнительной преградой, защищавшей Львов от нашествий, служила заболоченная низина Полтвы с притоками, за которой новые хозяева, овладевшие городом и краем при Казимире Великом, принялись возводить укрепления из ломаного камня. Об этом короле историками говорилось, что он «застал Польшу деревянной, а оставил каменной», заслужив от своевольничавшей шляхты, которую серьезно приструнил, злое прозвище «короля холопов». Он проводил политику выведения городов из-под власти местных феодалов и собственных старост, жалую горожанам магдебургское право. Привлекая в страну многочисленных переселенцев, колонистов и инородцев предоставлением им четко оговоренных прав и льгот и своего покровительства, он тем самым способствовал росту городов и развитию в них ремесел, торговли и просвещения. Практиковал также передачу пустующих бесхозных земель во владение польским крестьянам. То есть мыслил государственно и делал прямо противоположное тому, что стало здесь происходить после смерти этого последнего из Пястов и, особенно, с началом Реформации и Контрреформации.

После возведения наружной крепостной стены по периметру Львова и предоставления ему магдебургских привилегий — городского самоуправления и права склада, по которому иноземные купцы обязаны были выставить привезенные ими и транзитные товары на две недели для продажи оптом, а местные торговцы имели право их купить, перепродать или сами продавать уже в розницу, — управление этим космополитичным городом далеко не сразу полонизировалось. Сперва оно

Клев Игорь Юрьевич — прозаик, эссеист, критик, переводчик, редактор. Родился в 1952 году в Херсоне (УССР). Окончил филфак Львовского университета. Работал реставратором. Публиковался в «Дружбе народов», «Знамени», «Новом мире» и других журналах. Лауреат ряда литературных премий. Живёт в Москве.

латинизировалось и онемечилось, а торговая жизнь в нем арменизировалась и «ожидовела», оставив за коренным православным населением галицкой Руси (рутенами-руси́нами-руськими) лишь право продавать горожанам провизию и торговать солью из карпатских копален и солеварен, что, впрочем, приносило недурной доход в прежние века. Сумрачный архитектурный облик города после грандиозного пожара внутри городских стен, в котором выгорело все, что могло гореть, неожиданно италянизировался и посветлел, когда искусство Ренессанса только начинало входить в моду. Город продолжил возводить все более грозного вида крепостную стену с оборонительными башнями и опоясываться валами и рвами, а предместья бурно расплзались виришь и разрастались под его защитой. Он стремительно богател на транзите товаров отовсюду и процветал, но недолго. После захвата османами Константинополя, Крыма и Причерноморья, когда оборвались прямые торговые связи с Востоком, и серии разорительных войн и нашествий последующих двух столетий, когда городу, чтобы избежать худшей участи, неоднократно приходилось откупаться от захватчиков, выплачивая огромные контрибуции очередным татарам, туркам, войскам Хмельницкого и Карла XII, его бывшее торговое значение понемногу сходило на нет. После раздела Польши австрийцы радикально перепланировали и упорядочили его: разобрали ставшие ненужными крепостные стены с башнями, срыли валы и засыпали ими рвы и болота, речку упрятали под землю, разбили бульвары и много чего долговечного и ценного построили в городе. Но все их усилия и труды полутора веков не помогли им присвоить его навсегда.

Возможно, из-за переименования ими в бюрократическом угаре и от балды города Льва не в немецкий Лёвенбург, а в безродный и семантически бессмысленный Лемберг (название которого не смогли бы объяснить даже львовские ашкенази, в диалектном идише которых слово «лем» встречается хотя бы в виде фамилии). Можно предположить, что конический холм над Львовом и болотистая низина у его подножия показались когда-то кому-то похожими на рельеф и ландшафт местности в предгорье австрийских Альп, швабской Юры, где существует гора с таким названием (как известно, «берг» по-немецки «гора», а «лем» — якобы на древнекельтском наречии «трясина, топь, грязь» у ее подножия), и прижившееся в просторечии переселенцев и новожилов прозвище вытеснило славянское имя города, данное ему при рождении. Вдобавок свой Лемберг новые хозяева назначили номинальной столицей другой административно-грамматической химеры и фикции — Королевства Галиции и Лодомерии (Владимиричины, по-русски Волини, неоднократно служившей предметом раздора вереницы канувших княжеств и королевств).

Нельзя исключить, что из-за утвердившегося повсеместно лингвистического произвола и слишком вольного обращения с языком распалась связь времен, и в результате полыхнуло в Первую мировую так, что перевоевали все со всеми: империи, государства, этносы, классы и толпы. Всякий раз при этом, для порядка и за компанию, побивая евреев, отчего множество говоривших на языке идиш ашкеназов, чьи предки некогда устремились на восток от преследований и притеснений в родимой Неметчине, хлынули в обратном направлении из своих местечек и городов, стараясь снять жилье и обосноваться, если повезет, в центре германской столицы поблизости от вокзала на Александерплац, куда прибывали поезда с востока, не подозревая, чем вскоре это может обернуться для них в разоренной и униженной стране, потерпевшей поражение в мировой войне. Иначе и быть не могло там, где сходятся и с грозным скрежетом вращаются шестерни цивилизаций и трутся жернова культур, что перемалывают в муку и пыль, не отделяя зерен от плевел, судьбы народов и людей.

Не прошло и четверти века, как после следующей и еще более чудовищной мировой войны польско-еврейский, торгово-финансовый и развлекательный Львов перестал быть таковым, на полвека сделавшись советско-украинско-русским индустриальным Львовом, оставшись таким же мещанским и межеумочным,

по существу. После чего, считай бескровно, стал сугубо западно-украинским и через пару десятилетий превратился понемногу в весьма заманчивый по соотношению цены и качества туристический аттракцион. Какое-то время это позволяло части местного населения обеспечивать занятость и неплохой заработок, но никогда еще не приносило счастья туземцам и аборигенам, лишая их самостоятельности, превращая в обслуживающий персонал и способствуя развитию паразитизма. Для этого Львів (как, не очень считаясь с украинской грамматикой, полтора столетия назад решили его звать враждовавшие с москвофилами деятели львовского НТШ) оставалось только переименовать в Lviv (как предлагалось горячими сторонниками отказа от кириллицы), когда бы в галичанах не зыграло ретивое и не захотелось им «перевоевать войну» (по выражению одного советского писателя и военкора), отправив на восток городскую бедноту и село, поскольку «дело прочно, когда под ним струится кровь» (как некогда писал поэт Некрасов). Правда, несколько охолонули и принялись разбегаться, когда восемь лет спустя начали сами пропадать без вести или возвращаться «грузом 200» в места постоянного проживания и прописки к удивлению земляков. Однако грамматика может отдыхать, никакие доводы не действуют и слова не доходят до слуха, когда плод начинает двигаться по родовыводящим путям запоздалого этногенеза, желая народиться на свет. Слышавшие краем уха об американском немом фильме с громким названием «Рождение нации» стали так называть и происходящее сто лет спустя на Украине, отчего-то полагая, что она может, должна и обязана сделаться однородной и стерильной. Тогда как все существующие ныне государства, страны и даже города складывались, перекраивались и сшивались из разнородных частей, напоминая этим неоднократно перелицованный и латанный-перелатанный тришкин кафтан.

Остается надеяться, что городская среда рано или поздно урбанизирует и «переурбанист» свое население, но сколько поколений для этого потребуется и к чему приведет — вопрос спорный. Наглядным тому подтверждением участь дичающих по мере расплождения мегаполисов и агломераций в современном мире. Глядишь, неровен час, и крепостные стены могут вернуться — и уже возвращаются в том или ином виде. Когда границы трещат, опять война на дворе и рождение нации в вышиванках все больше походит на очередной выкидыш.

Возможно, от плачевной участи город Львов все же уберет в будущем его неброская красота, над которой потрудились столько народов и поколений. Понимаю огорчение поляков, не раз слышал стенания и восторги, не очень доверяя им когда-то, интуристов, эмигрантов, приезжих из разных мест, а порой и от земляков: «Какой красивый город!» Слышал и обратное — о «зловещей красоте» этого города, пропитанной австро-венгерским ядом декаданса.

Поступавший со мной в университет дембельнувшийся абитуриент из Черкасс просто физически в нем страдал и задыхался: «Серо, сыро, душно, тесно — не могу, домой хочу! Вот у нас выйдешь на широкий проспект над Днепром — кругом белеют новостройки, высокое небо, простор, жить хочется!» Он не поступил тогда на русский девичий филфак — не взяли парня в будущие учителя словесности с вполне реальной перспективой дорасти до завуча или даже школьного директора, если получит партбилет. На первом экзамене он выбрал беспроигрышную, казалось бы, тему сочинения — «Ратный и трудовой подвиг советского народа», но, поскучав и измучив лист бумаги, с ней не справился и, получив троячок, отбыл восвояси.

Мне повезло, что одной из предложенных тем для сочинений была (уж не помню какая, да и значения не имеет) о Маяковском, моем любимом поэте в ту пору, и за свою пятерку, приложив купленный за полрубля в кассе общественной бани талончик, я получил от декана факультета, в молодости пописывавшего стишки на мове, направление в общарпанную студенческую общагу за главпочтамтом и койку с клопами на срок вступительных экзаменов.

Главный секрет обаяния и странной любви к этому неухоженному, неряшливому и на протяжении веков много раз переходившему из рук в руки городу сумела выразить и выдать на гора славистка из Базеля и вторая жена моего близкого друга, — выросшего на Донбассе и стяжавшего в Москве громкую славу русского поэта, эмигрировавшего в последний год существования СССР: «Вы не понимаете, здесь все еще живое — какой была и Швейцария лет пятьсот назад!..»

И я понял тогда: то был стон настигавшей их любви. Только не к самому городу, думаю, а к жизни — ее пульсации в живописном старинном городе, что знавал лучшие и гораздо худшие времена и послужил лишь подмостками для пробудившихся вдруг и нахлынувших на них чувств, обещавших неслыханные переживания.

* * *

Однако пора возвращаться к заявленной в названии теме — львовскому Корсо времен нашей молодости. Это красивое итальянское слово сделалось нарицательным, когда так стали называть главную торгово-развлекательную улицу для променада не только в Риме, но и в других европейских городах, со всевозможными ответвлениями и заведениями: ресторанами, кафешками, киношками, с огороженными уличными террасами и крытыми торговыми пассажами. В мировых столицах ее могли называть еще золотой милей, а в советском просторечии попросту стометровкой, или совсем уж в дырах и без всяких ответвлений — бродвеем.

Львовское Корсо было около полумили длиной и состояло из двух бульваров, нанизанных подобно часовым стрелкам в положении без четверти четыре на колонну памятника Мицкевичу, где босоногий парящий ангел бряцал на лире, навевая культовому польскому поэту вещие сны и помогая находить нужные слова и рифмы. Уже в Москве как-то на меня произвела впечатление кинохроника 1915 года, где последний русский царь со свитой, направляясь к этой колонне, переходил тогдашнюю улицу имени эрцгерцога Карла Людвига (с убийства сына которого годом ранее началась мировая война) с бегающим по ней трамвайчиком, которую переименовывала почем зря всякая новая власть и которая теперь зовется проспектом Свободы, а не Ленина, как тридцать лет назад. Другой центральный бульвар, — с не лишенным изящества прогибом, как у ятагана или птичьего крыла, при поляках звавшийся улицей Академической и подвергшийся переименованию советской властью, с идеологическим прицелом и для симметрии, в проспект Шевченко, — свое название покуда сохраняет.

Когда-то он заканчивался у бывшей кофейни «Шкотской», шотландской то есть, с большим арочным окном в торце похожего на замок здания с эркерами и башенками. В этом заведении по субботам собирались, чтобы обсуждать неразрешимые математические проблемы мирового значения и спорить, испещряя химическими карандашами беломраморные столешницы, гениальные выпивохи легендарной львовско-варшавской школы во главе с Банахом, перепить которых в тогдашней Центральной Европе смог бы разве что десант чешских сюрреалистов и Пражского лингвистического кружка во главе с нашим Ромкой Якобсоном, если правильно сдвинуть столы и расширить список тем для обсуждения.

То был недолгий межвоенный период общего замешательства и помешательства — расцвета несбыточных и жестоких утопий, оптимистической философии неопозитивизма и депрессивного искусства ретроавангарда на обломках Австро-Венгерской империи. Он оказался на удивление плодотворным и породил, в частности, графику и книги Шульца, а в послевоенное время взрастил прозу Грабала и мультипликацию Шванкмайера, театр Кантора и абсурда, повлиял как-то на фантастику и футурологию Лема и целую плеяду карикатуристов, плакатистов, фотографов, киношников и прочие озимые всходы оттепели и весны в социалистическом лагере.

А через дорогу тогда с постамента на травяном газоне взирал с прищуром на философскую пивную и бульварных гуляк, откинувшись на стуле, польский комедиограф

и баснописец Фредро — львовский Фонвизин и Крылов в одном лице. В советское время памятник ему демонтировали и отправили вслед за переселенцами-новоселами в Бреслау, сделавшийся в ПНР Вроцлавом. Кофейню «Шкотскую» переименовали и превратили в столовую, а на опустевшем газоне напротив нее каждой весной флористы стали выкладывать цветочной рассадой в картинной раме насуспенную физиономию Шевченки (и чтобы без обид — аналогичный цветущий портрет, только куда большего размера, имелся и у Ленина на центральной аллее городского Парка Культуры, сразу за помпезной триумфальной аркой входа в него). Позднее арчимбольдеска Кобзаря с вислыми усами в свою очередь уступила место отлитому в Незалежной из похожего на пластилин бурого материала памятнику изобретателю «Украины-Руси» — усевшемуся на подобию трона академику Грушевскому, с бородой лопатой и книгой скрижалей в руке, чье революционное изобретение повергало в искреннее недоумение другого украинского академика и историка Древней Руси Толочко-старшего. Известно, что и рабочее название «Киевская Русь», придуманное только в XIX веке и послужившее Грушевскому для подмены понятий, использовалось историками как термин для удобства периодизации, чтобы отделить домонгольский период русской истории от последующих перипетий и дезинтеграции православного русского мира. И вот через тысячу лет после крещения этой самой Руси серьезному киевскому ученому приходилось безуспешно взывать к здравому смыслу своих коллег и невежественных соотечественников: как можно внука Ярослава Мудрого по отцу и византийского императора по матери Владимира Мономаха (поочередно князя ростовского, смоленского, черниговского, переяславского и киевского) задним числом назначить и признать «украинцем», а его собственных сына и внука (княжившего в Киеве и в нем похороненного основателя Москвы Юрия Долгорукого — и ходившего не только на Киев в феодальных междоусобных распрях и убитого и похороненного во Владимире Андрея Боголюбского) спустя тысячу лет объявить богопротивными и злокозненными москалями?!

Для полноты картины стоило бы добавить несколько штрихов. Кельнеры кофейни «Шкотской» относились к истории похожим образом, стирая с мраморных столиков мокрыми тряпками каракули и алгебраические чертежи, закрывая заведение в конце дня и кланя насвинячивших опять ученых — то ли дело гестаповские офицеры! Тогда как Банах и его безработные коллеги в годы войны, чтобы уцелеть физически и прокормиться, вынуждены были сами кормить вшей в эпидемиологических лабораториях нацистов вместо поисков красивого решения математических проблем, как повязать все мироздание тонкими связями и пропорциями в банаховых пространствах львовской кофейни. Если, конечно, они не оказывались евреями, и в таком случае разговор с ними был совсем коротким не только во Львове.

Между прочим, в советское время существовала похожая возможность заработка для совсем падших или доведенных до крайности людей — посидеть за 70 рублей с целой колонией оголодавших кровососов в сапоге. Рассказывали, что нога после этого жутко распухла и чесалась, и оттого мало кто на такое решался. Рядовые младшие инженеры с дипломом о высшем образовании предпочитали становиться донорами крови — за полагавшийся отгул в день сдачи крови, талончик на полный обед со стаканом красного сухого вина и целых 25 рублей, на которые при зарплате в 120 рублей можно было почувствовать себя кумом королю и хорошенько кутнуть с девушкой в ресторане. Медики уверяли, что для здоровья даже полезно несколько раз в году избавляться от полулитра венозной крови, не говоря о несомненной пользе обществу. Да и алый миниатюрный значок почетного донора «Капля» выглядел очень стильно — не хуже французского ордена Почётного легиона или китайской эмблемы Инь и Ян. Но это уже к слову.

С большой временной дистанции борьба памятников в городах напоминает настольную игру языческих ревнивых богов невысокого полета, в которой расставляются, передвигаются и снимаются с доски фигуры, шашки и фишки в очередной партии нескончаемого геополитического состязания за доминирование и ресурсы, а земные штабы олимпийцев, паралимпийцев и других вершителей судеб народов без усталы подчищают и переписывают запись ходов игроков в пользу своих патронов, спеша занять лучшие места и не веря ни на йоту в неотвратимость Божьего Суда.

Во Львове отправной точкой Корсо и парада памятников с начала XX века служил Оперный театр в венском вкусе, с падшими ангелами сценических искусств на крыше. Огромной серой тушей он затоптал своими сваями из каменного дуба, загнал под землю и утопил в канализации змеящуюся Полтву — хтоническое божество окрестных водоносных холмов на водоразделе балтийского и черноморского бассейнов. А уже в середине этого буйного века появился перед театром не достоявший до его конца памятник Ленину — генеральному конструктору проекта УССР, произносившему с трибуны зажигательную речь. И когда монумент, покоившийся на фундаменте изрытых ивритом кладбищенских надгробий, снесли и устроили «ленинопад» в других украинских городах, оказалось, что на нем, как на крепежном винте, и держалась вся конструкция, от которой скоро стали отваливаться территории, присоединенные преемниками и продолжателями ленинского дела (как в старинном анекдоте о том типе, что пожелал избавиться от досаждавшей ему гайки на животе).

Невозможно править подводой и куда-то приехать, если, как в русской басне, пытаться тащить ее на постромках в разные стороны. Даже квартет не получится сыграть, как ни пересаживайся на стульях между Киевом, Днепропетровском, Львовом и Донецком, что и произошло поочередно со всеми президентами Незалежной, где басни дедушки Крылова еще после первого Майдана были изъяты из школьных программ и библиотек.

До злосчастного Ленина на бульварной аллее центрального проспекта главенствовал польский король-воитель Ян Собеский на вздыбленном коне — герой Хотина и спаситель Вены, за что с позволения австрийцев и удостоился подобной чести в связи с двухсотлетием победы над турками. Однако после Второй мировой войны в результате масштабной геополитической рокировки на карте Европы он усакал на своем горячем коне из Львова в доставшийся полякам от пруссаков портовый Данциг/Гданьск — город героической обороны Вестерплатте, продолжавшейся двести сорок девять с половиной часов, за которые доблестные поляки уничтожили такое же, примерно, количество нападавших фрицев, прежде чем вывесить белый флаг. Город, сделавшийся позднее колыбелью не менее героического сопротивления докеров профсоюзного движения «Солидарность», чей лидер Валенса после падения диктаторского режима генерала Ярузельского победил на всенародных выборах и стал новым польским президентом, сумевшим удержаться на этом посту только один срок. Попытки переизбраться уже в новом веке не имели успеха из-за его всплывшего агентурного псевдонима Болек, по имени героя детского мультфильма. Именно тогда смогла вернуться на каменный постамент конной статуи Собеского припрятанная и сохраненная до лучших времен памятная доска, что этот памятник был воздвигнут столетием ранее во Львове на пожертвования граждан.

Свято место пусто не бывает, и после демонтажа памятника Собескому на опустевшем месте соорудили круглую цветочную клумбу, облюбованную футбольными болельщиками. К концу советского периода, когда вылетела из высшей лиги выпестованная стараниями партийной номенклатуры команда «Карпаты», в центре клумбы выросла голая мачта, будто у солнечных часов, и место вокруг нее превратилось в подобие гайд-скверика для политических споров и манифестаций — сперва сторонников «Руха», а затем и осмелевших пропагандистов ОУН-УПА, грезивших о мести...

и позорно сдрейфивших в дни ГКЧП, отчего их ожесточение только возросло, как только опасность миновала. Тогда мачта на клумбе превратилась в флагшток, на котором они подняли свой прапор, а об игре в футбол все надолго и прочно забыли. Огромный стадион на 60 тысяч зрителей с тартановым оранжевым покрытием гаревых дорожек был отдан новой властью под барахолку, находившуюся прежде в затоптанном голом поле за чертой города и работавшую только по воскресеньям. Обещанная прежней властью горожанам вода в водопроводных кранах круглые сутки не появилась и при новой — по пути от речки Прут она вся ушла в песок, на который укладывались трубы. Так что неподъемные для города средства, потраченные на трубопровод в полсотни верст и обошедшиеся казне ровно в столько же миллионов полновесных советских рублей, вылетели в трубу, можно сказать.

Зато уже через год после принятия Верховной Радой декларации о Незалежности на продолжении бульварной аллеи за митинговой клумбой появился отлитый в Аргентине из бронзы внушительный памятник генератору украинской идеи Кобзарю, завещавшему потомкам: «Поховайтє та вставайтє, кайданы порвитє и вражою злою кровью зємлю окропитє!» В советское время на государственном уровне его мстительный и сентиментальный «Заповіт» принято было считать призывом к крестьянскому восстанию против эксплуататоров и построению на земле справедливого общества собственными силами без всякого бога. А еще через четыре года рядом со статуей поэта была установлена изготовленная также из бронзы на пожертвования заокеанской диаспоры символическая волна гнева и исторической памяти обиженного народа, похожая на пробитый компостером великанский язык высотой в три Шевченки.

Этот новый мемориал отправил на задворки минималистский памятник советской поры казненному поляками козацкому ватажку Ивану Подкове, чья отрубленная сердитая голова осталась торчать в сквере между костелом Иезуитов и бывшей гауптвахтой с арочными окнами, превращенной при социализме в цветочный магазин, где продавались одни комнатные растения в горшках да красные гвоздики перед праздниками. На постаменте под обритой головой с запроваженным за ухо оселедцем валялась козацкая мортирка с раскатившимися ядрами, словно не только голову отрубил козаку палач.

А по другую сторону бульвара соседкой Кобзаря оказалась просидевшая более ста лет на крыше Этнографического музея дальняя родственница нью-йоркской статуи Свободы с таким же факелом в руке, у которой после прихода Андропова во время зимней грозы вдруг отвалилась рука с факелом, убив на тротуаре торопившуюся куда-то студентку-заочницу и мать-одиночку. Руку статуе вернули на место с большим трудом и далеко не сразу, а уже в годы незалежности зачем-то позолотили пламя факела и рогатую корону.

Вообще, центровые боги и герои на крышах и фасадах зданий образуют занятную конфигурацию и говорят наблюдателям нечто не совсем понятное и иное, чем памятники на площадях. Ладно еще аллегория гражданских Свобод на нынешнем проспекте Свободы, некогда сторожившая вклады Галицкой сберегательной кассы, а не музейные экспонаты, или бог торговли Меркурий, бежавший в крылатых сандалетах по крышам банков на тогдашней Банковской улице. Но о чем так горестно задумался голенький Христос, в позе роденовского мыслителя присевший на камень под крестом на куполе часовни Боимов еще в эпоху Ренессанса? Может, кто знает? Даже не глядит на строгий готический Латинский собор перед ним с нахлобученным на высокую прямоугольную башню шлемом, похожим на колющий рачий панцирь в завитушках рококо. Не видит в упор и застроенной в итальянском вкусе площади Рынок с казарменного вида Ратушей, которую австрийцы воздвигли взамен асимметричной средневековой, простоявшей пять веков и внезапно рухнувшей при них. Они же расставили по четырем углам площади чаши фонтанов-бассейнов со статуями

едва одетых древнегреческих богов и богинь и караулом послушного им мифологического зверья: дельфинами, охотничьими псами, диким кабаном и изрыгающими воду тонкими струйками головами львов.

Львов немерено во Львове — целые прайды попарно стоящих, сидящих, лежащих, рычащих и что-то охраняющих. Есть венецианский, крылатый и ученый, с книжкой в лапах, и есть распушенный по хребту надвое, однако с общей для обеих половин мордой, глядящей с угла здания. Самые древние из них щербаты и мало похожи на львов, будучи перенесены туда, где их отродясь не водилось. Со стен подмигивают глумливые маскароны с отбитыми носами; земноводные тритоны выгибают спины, отряхиваясь от слоев растрескавшейся штукатурки; атлеты с буграми мышц подпирают затылками балконы, глядя исподлобья поверх прохожих. Целая каменная книга с забытыми гербами и эмблемами кичливых владельцев зданий на ее страницах, — с рогом изобилия, обещавшим купцам успех в коммерции, с бочками и тюками всякого добра и выпуклыми сценками мануфактурного и индустриального труда, — но также с тщетным напоминанием о подвигах веры и славных деяниях героев прошлого беспамятным потомкам и отпетым безбожникам. Вот, в заглохшем саду в слепой арочной нише над кабинетом искусств библиотеки Политехнического института разлеглась, словно на полу конюшни, кобыла в натуральную величину, позируя неизвестному рисовальщику, вместо того чтобы с фронтона Ветеринарного самой взирать свысока на будущих ветврачей и сельских зоотехников. А вот на фасаде жилого дома представлена неведомым ваятелем в серии барельефов назидательная притча об Онане, где за грех рукоблудия терзать его причиндалы слетает с небес орел, видимо, не насытившийся печенью Прометея. Чьих это рук дело? Кто заказчик? Кому адресовано и зачем?

А затем что город — не обезличенная машина для жизни людей в ней, а живой организм, что знали и в чем не сомневались его прежние строители, когда архитектура была еще не производством, а искусством выращивания городов, с переключкой разнообразных построек в них и никогда не прекращавшимся соревнованием проектировщиков с заказчиками. По сути, мало что изменилось бы в этом деле и сегодня, когда бы не генпланы городов с партитурой их прогрессирующей унификации. Зодчий, строитель, художник, ремесленник и подмастерье являлись тогда разными возрастными и агрегатными состояниями одной и той же профессии — как в средневековых цехах, ренессансных боттегах, артелях или мастерских художников. Мастера обучали учеников и воспитывали продолжателей своего дела, отбраковывая лишенных воображения, способностей и слуха бездарей. Решающим испытанием и экзаменом для будущих градостроителей являлось задание придумать и выполнить в материале каменный портал с входной дверью в здание, которые были бы не похожи ни на чьи другие. Честолюбивых и изобретательных выдумщиков было тогда хоть отбавляй, и оттого в старинной части города такое разнообразие порталов и дверей с ажурными коваными решетками на входе в подъезды домов, что походят друг на друга только своими размерами и назначением. Во Львове и сегодня все зовут их по-польски брамами, то есть воротами между там и здесь.

Своим устройством старинная часть этого города походит на огромную пахучую головку сыра, проеденную мышами во всех направлениях. Отсюда в ней столько проходных дворов и запутанных коридоров, общих балконов по периметру дворов-колодцев, черных лестниц, глухих карманов и запасных выходов, позволявших срезать путь и вдруг вынырнуть ниоткуда уже на другой улочке.

Не говоря о прогульно-торговых пассажах былых времен, которыми город обзавелся по парижской и европейской моде, на улочках параллельных львовскому

Корсо. Самый шикарный из них под остекленной крышей в день нападения немцев на СССР был превращен бомбардировкой люфтваффе в груды развалин, и после войны от сквозной цепочки пассажей с значными и развлекательными заведениями остались только рожки да ножки — советская ларьковая и лоточная уличная торговля. Но и тогда в этих переулках, закоулках и дворовых аппендиксах студенты и простой люд могли поживиться горячими жареными пирожками с ливером, за которыми выстраивались длинные очереди в обеденный перерыв, или же напасть на переложенные слоями пергаментной бумаги в реечных сосновых ящиках рижские шпроты горячего копчения, а позже, если повезет, набредя на завезенные также издалека и выставленные на продажу на тротуарах треснувшие бракованные головки закарпатского сыра сорта эмменталер и литровые бутылки суррогатного югославского вермута, немедленно купить того и другого, насколько позволит карман. Однако все вышеперечисленное было делом редкой удачи, за исключением неизменных загорелых пирожков-«тошнотиков» под кружку разбавленного продавщицей разливного львовского пива (которое и без того стало хуже пениться после смерти довоенного технолога пивзавода и консервации артезианских скважин на случай ядерной войны), за которым приходилось выстаивать еще одну очередь на входе или в глубине старинного Иезуитского сада, побывавшего парком Костюшко, а в советское время ставшего парком Ивана Франко, что карабкался по склону горы перед громадой нашей альма матер — университетом имени того же Франко в здании бывшего сейма Королевства Галиции и Лодомерии, этой химеричной и занимавшей целый квартал цитадели австро-венгерского народовластия, изъеденной червоточинами черных лестниц и кавернами дворов-колодцев и ошутимо пованивающей вблизи туалетов из-за отключений в дневное время воды, однако, по иронии судьбы, увенчанной на аттике фасада помпезной скульптурной аллегорией союза трех рек: Вислы, Буга и Днестра.

Итого посчитаем: жареный пирожок с ливером — 4 копейки, поллитровая кружка пива — 22 копейки, незабываемые шпроты — по цене 1 руб. 60 коп. за кг. Кило треснувшего дырчатого эмменталера или литровый фугас дрянного югославского вермута, что стали продаваться на улицах после окончания нами университета, стоили уже дороже — около 4 рублей, как поллитра водки в то время, когда зарплата в 120—150 руб./мес. не считалась нищенской. Параметры тогдашней жизни, что бы ни пелось на этот счет ностальгирующей братией, выглядят на сегодняшний взгляд удручающими и постыдными, если б она не была сдобрена и окрашена неунывающей молодостью ее свидетелей и участников.

И даже грешным делом кажется порой, что способность радоваться оживает в человеческой груди, когда людям живется трудно или хотя бы бедно и нелегко. А когда комфортно, безопасно, сытно и все доступно — одни скучать начинают, а другие с жиру беситься. Не зря так строго было нам когда-то прописано — в поте лица добывать хлеб свой насущный на земле, рожать и рождаться в муках и возвращаться в прах, из которого были взяты. Умение радоваться, вообще-то, редкая удача и особая способность сродни таланту. Во всяком случае, в зрелом возрасте, когда игры заканчиваются и обступают со всех сторон заботы. Хотя финал для всех един все равно — с радостью, без радости или в угаре. Он известен, и это не хеппи-энд. Дело здесь в чем-то другом, возможно, в до-верии. Согласно несравненно более милосердному и оставляющему надежду приговору, по которому от человеческих созданий требовалось уподобиться собственным малым детям и попросту до-вериться. От чего хуже точно не будет, по утверждению Паскаля, предлагавшего даже на сей счет пари читателям, не поддающееся проверке при жизни.

Поэтому поговорим об удовольствиях, а они все же были. Правоверный львовянин считал себя кофеманом, хотя в городе имелось только два с половиной заведения,

где готовили более-менее приличный кофе, а не бурду плохого помола. Одно находилось ровно посередке Корсо на стыке двух центральных бульваров. Это был открывавшийся уже в начале девятого утра буфет с отдельным входом при некогда фешенебельном отеле «Жорж», переименованном в гостиницу «Интурист». Другое кафе открывалось на два часа позже, располагалось в дальнем конце Корсо на изогнутой улочке и было по сути таким же буфетом с отдельным входом, примыкавшим к кафе «Нектар» в погребке. Третье заведение находилось на старинной улочке Армянской и являлось уже полноценным сидячим кафе с круглыми столиками и кофе из алюминиевых турок, куда молотый кофе засыпала мерной ложечкой продавщица, а обязанностью посетителей было самим следить, чтобы не дать ему вскипеть и эякулировать на раскаленный песок в жаровне. Завсегдатаями первой кофейни были люди преимущественно солидные, немолодые, знающие себе и другим цену и немного шумные — теневые «деловары», фарцовщики, откинувшиеся блатные, гостиничные проститутки, завмаги и товароведы баз, директора клубов культуры и кинотеатров, книжные «жучки», преуспевающие художники и респектабельные преподаватели вузов. Кофе они пили двойной крепости из маленьких чашечек, без жеманства, никогда не отставляя мизинцев своих короткопалых цапок, с рюмкой коньяка, который здесь начинали наливать после одиннадцати. Контингент помоложе, не любящий ранних подъемов, подтягивался с десяти утра и до обеда к «Нектару», облюбованному артистической богемой и технической интеллигенцией. А у «Кофейни» на Армянской всегда тусовался молодежь — начинающие художники, непризнанные поэты и музыканты, полупрофессиональные фотографы и желающие взбодриться юные наркоманы.

Непременный поход в одну из трех кофейен перед работой, а на протяжении дня и в постоянно открывающиеся новые, непременно входил в дневной распорядок многих львовян. Кое-кто из них знал и лучшие места, но все они находились по другую сторону Карпат, где местные умельцы по примеру мажар перепавали какие-то трубки, чтобы поднять давление пара в автоматических кофеварках, а продавщицы с грохотом размалывали в пыль в конических стальных кофемолках пережаренные зерна кофе и тесно утрамбовывали его при закладке, так что от одного аромата можно было улететь. Где в любом закарпатском городишке местное население выпивало по несколько чашечек в день горьковатого термоядерного напитка, от которого сердце в груди кофемана начинало бешено колотиться о ребра, словно желая выпрыгнуть на тротуар, а сам он выглядел, будто аршин проглотил. Взгляд его зажигался, распрямлялась спина, и походка становилась пружинящей. Недостатком было то, что за чашечкой такого кофе обычно приходилось подолгу стоять, особенно если в очереди оказывалась сотрудница какого-нибудь учреждения, отправленная начальством с трехлитровой стеклянной банкой, чтобы принести в ней кофе сразу на весь отдел и удержать подчиненных на своих рабочих местах.

Поневоле подсевшим на кофе львовским гурманам приходилось самим дожаривать на сковородке кофейные бобы и из снобизма молоть вручную перед приготовлением, но таких было немного. Да и кофе мелкого помола в джезве или крупного помола в гейзерной кофеварке никогда не имели и не могли иметь подобной крепости. Портативные кофемашины мы увидели только в новом веке, когда у нас завелись какие-то, не такие уж большие, деньги.

Золотая полумия с гирляндой торговых и злочно-развлекательных заведений на всем ее протяжении, — с гастрономами-«сквозняками», ресторанами и гостиницами разного пошиба, шоколадным и кофейным барами и крошечными стоячими кафешками и забегаловками, тесными довоенными кинотеатрами и одним широкоэкранным, с буфетом и оркестром по вечерам, с фирменными магазинами-кондитерским, обувным и готовой одежды «Элегант», табачным, рыбным, парой

книжных и аптек, закуской с горячими блюдами, пирожковой для перекусов на скорую руку, с выпекаемыми на месте пирожками и кофе с молоком, всегда переполненной детской кафешкой с водами, соками, молочными коктейлями и мороженым в креманках, — стометровка неудержимо влекла и проносила на встречах курсах толпы празднующихся фланеров. Вступившие на нее и подхваченные общим потоком горожане испытывали оживление и обретали тонус, а кое-кто, наоборот, впадал в уныние, не повстречав на ней никого из знакомых и оттого становясь похожим на вынутую из воды рыбу, тщетно хватающую ртом воздух.

Оживленным местом в устье улицы Коперника, особенно в преддверии выходных, был пятачок перед большой витриной кинотеатра документальных фильмов с информацией, что показывают сегодня в полусотне городских кинозалов: от нескольких широкоформатных амфитеатров на тысячу зрителей до самых окраинных где-то на Левандовке, за вычетом клубов, где обычно шел по вечерам выдавший виды трэш или с удивительным упорством годами крутили в полупустом зале только «Андрея Рублёва» и что-то еще «для интеллигенции». Число новых зарубежных фильмов примерно равнялось количеству недель в году, и их просмотр входил в планы большинства семейств получить удовольствие по окончании рабочей недели и посудачить о них с приятельницами или сослуживцами в начале новой.

Я также изредка задерживался у этой витрины с кинорекламой, но в остальные дни меня куда больше манили и интересовали книжные магазины на противоположном берегу бульвара в огромном угловом здании, по левую руку от колонны с Мицкевичем и за пересохшим навсегда фонтаном, которому в годы независимости неожиданно вернут дефицитную водопроводную воду и водрузят на прежнее место новодел статуи Богородицы из более светлого камня. Эти магазины были будто медом намазаны для меня в покоем на гигантскую борть или на улей с входами для пчел по всему нижнему ярусу Дома Книги. То было время небывалой моды на книжки, когда отдохнувшие по профсоюзным путевкам на пляжах Болгарии туристы или даже поработавшие в Монголии простые шоферюги везли на родину чемоданы книг, которых было не купить дома, не имея полезных знакомств с завмагом, товароведом, экспедитором, продавцом, а также — знакомых врачей, театральных кассиров, портных, официантов или хотя бы грузчиков овощного или книжного магазинов, не говоря уж о книжных жучках, которые сами никаких книг не читали, не имея на это времени, желания, а зачастую и аттестата об окончании средней школы, что почиталось особой доблестью в их профессии. Тогда как у собирателей и счастливых обладателей книг считалось особым шиком украсить застекленный мебельный шкаф в гостиной у себя дома корешками многотомных подписных изданий или хотя бы книгами макулатурной серии, продававшимися за сданную на вес целлюлозу (эти-то как раз читались в захлеб — особенно дамами, переводные остросюжетные и любовные романы). Остальным приходилось уповать на везение, прочесывая километры заваленных никому не нужной макулатурой книжных полок и прилавков в поиске хоть чего-то стоящих книг, оказавшихся на них по недосмотру и недостаточной информированности. Но я не положу охулки на это недолгое время, лучше которого невозможно себе и представить хотя бы в одном отношении: люди тянулись к тому, чтобы выглядеть и быть лучше самих себя, но, кажется, надорвались.

Вереница книжных магазинов начиналась за аптекой, возможно, неслучайно. Известно, что эллины и римляне, как до них египтяне, называли библиотеки «аптекой для души». Хотя для меня самого книги ассоциировались не с лекарствами, а с бутылками доброго вина для поднятия настроения и придания бодрости духу и, соответственно, библиотеки и книжные магазины — с винными погребами и лавками, где, во всяком случае, не микстуры должны предлагаться. Однако и тогдашние львовские аптеки не заслуживали охулки, напротив. Мудрые фармацевты

и, предположительно, достаточно грамотные читатели в советском аптекоуправлении сделали все возможное, чтобы уберечь антураж аптек от бесчинств и посягательств дурака и сохранить для потомков. Поэтому почти не пострадали их интерьеры с потемневшими панелями из ценных пород дерева по периметру стен, с звоночком над входной дверью и ведущей на антресоли крученной чугунной лестницей, с латунными ступками, фарфоровыми банками и стеклянными пузырьками с притертыми пробками и надписями на латыни на длинных полках и в застекленных шкафах. Во многих чудом уцелели травленные матовые стекла с проступавшими на них туманными силуэтами бога-врачевателя Асклепия и фей-целительниц, утолявших любые боли и печали страждущих. Даже в унифицированных и стерильных советских новоделах зачастую на прилавке мог стоять допотопный американский кассовый аппарат «Огайо» с чеканными доспехами на могучей груди механизма и серебряным звяканьем, словно у откинутого барабана шестизарядного револьвера, с которым открывался выдвижной ящик с наличностью.

Какая-то логика просматривалась и в очередности магазинов Дома Книги. К аптеке примыкал всегда людный магазин учебников, за которым следовал самый просторный из всех и обычно полупустой магазин общественно-политической литературы. А сразу за ним вожделенный не только для меня магазин книг социалистических стран «Дружба». Ежедневно заходили в него работавшие в центре архитекторы и художники в поисках моментально раскупавшихся польских, венгерских и румынских альбомов по искусству. Так же сразу разметались гдээрзовские двуязычные издания русских поэтов XX века, а в переводах на польский язык здесь можно было найти книги таких авторов, современных и не только, которых в Советском Союзе стали издавать только лет через пятнадцать-двадцать. Дамы не упускали случая приобрести здесь свежий детектив в мягкой обложке из серии с таксой или ключом, чтобы обеспечить себе на ближайшие дни приятное времяпрепровождение и лишний раз убедиться в собственной необыкновенной проницательности. Для меня особой приманкой являлись энциклопедические словари разного профиля, поскольку я был очень невежественным молодым человеком и польский язык начинал осваивать студентом по подписям к карикатурам в еженедельных «Шпильках».

Первые впечатления от искусства авангарда и литературы модернизма многим приходилось тогда получать из зубодробительных монографий и статей зубров идеологического фронта (за что, задним числом, спасибо им). Помню, как первокурсником я почти в беспамятстве повыдирал из библиотечного журнала «Курьер ЮНЕСКО» все глянцевые развороты с цветными репродукциями шедевров живописи XX века размером со спичечную этикетку. Не забыл и каким нокаутирующим ударом в читальном зале центральной городской библиотеки, куда я зашел согреться в непогоду, потому что мне не к кому и некуда было идти, явились для меня «Слова» Сартра в русском переводе, убедив в полнейшем собственном ничтожестве. Позднее я узнал, что в университете, куда я поступил, Сартр пару раз какого-то лешего выступал с лекциями, направляясь с женой-феминисткой в Москву и обратно в начале и в самом конце правления Хрущёва. Сбежались тогда на встречу со знаменитой четой университетские дамы, чтобы вживую увидеть и оценить настоящий парижский шик, и преподаватели инъяза, чтобы самим покрасоваться перед коллегами и гостями, продемонстрировав начитанность и владение французским языком, однако те и другие оказались немало разочарованы как невзрачной внешностью косенького теоретика и идеолога левацкой революции, так и скромным обаянием буржуазии, присущим строгому облику его долговязой жены. Ничего яркого и броского в одежде, никакой экстравагантности и эпатажа в поведении обоих. Полагаю, разочарование было взаимным.

А в тот первый год побега и поступления абы куда в университет, когда на стогнах большого города, как труп в пустыне, я лежал, всем и всему чужой, придавленный

гнетом злой бедности, тусклой повседневности и рутины лекций, монотонных, как метроном или школьные диктанты, питая равное отвращение к своему настоящему, прошлому и будущему, я чувствовал себя не многим лучше таракана, угодившего в стакан, полный мухоедства. Но именно в такой позиции и тогда обозначились передо мной и стали понемногу проступать, проявляться, словно на переводных картинках в детстве, и проглядывать из-под грязных и мокрых катышей бездомных буден ослепительные очертания иной реальности, прекрасного и яростного мира, обещанного когда-то каждому из нас. И вдруг будто пелена спала, завеса разорвалась, стена обрушилась, или бинты сняли и выписали из больницы — и незнакомый кто-то подтолкнул легонько в спину со словами: «Твой ход — ходи!» И я пошел. Правда, для этого необходимо было еще принести в жертву одну девушку, женщину, одноклассницу... Но кого и когда это останавливало?

Всех книголюбов, однако, побивали и легко опережали геологи, что сидели непосредственно над магазином «Дружба» за конторскими столами и венецианскими окнами в пол, дожидаясь завоза книг перед полуднем. Они-то чаще всего и оказывались в очереди первыми, эти недоедавшие и худющие очкарики-инженеры. Комплекцией на них походил следующий за «Дружкой» магазин «Поэзия» размером с узкий коридор, ломившийся от тысяч сборников, брошюр и тоненьких книжиц, чего никак нельзя было сказать об их упитанных авторах, выгрызших зубами места или даже посты в союзе «радяньских письменников» и заслуживших право сочинять и издавать недурно оплачивавшуюся вдохновенную хрень. Сыновья, дочки и невестки некоторых из них учились со мной на филфаке, однако сами стихов уже не сочиняли, что и неплохо. В этом тесном магазинчике толклось всегда немало людей, что не помешало ему позднее бесследно исчезнуть вместе с наполнявшими его прежде прекраснотушными любителями поэзии и чертовой уймой графоманов. В следующем за ним магазине «Художественная литература» картина была если и получше, то не принципиально. Здесь можно было свободно купить роман Воннегута в украинском переводе, если не в лом, а если очень повезет, выловить где-то изданные книжечки Битова или даже Сосноры, но в целом он также был заполнен под завязку соцреалистической продукцией совписов. А поскольку народ был читающий, покупали и ее. В этом отношении магазин «Урожай» за ним был даже предпочтительней. Рассчитан он был на читателей-технарей — инженеров, агрономов, строителей и просто умельцев на все руки, — стремившихся что-то необходимое для себя в нем найти или просто повысить свою профессиональную квалификацию и оттого избегавших пустых и ненужных слов. Ну и сразу за ним (или все же перед ним?) проходной двор, выводящий обратно на центральный бульвар рядом с аптекой и сухим фонтаном, а в конце квартала — всегда оживленные «Канцтовары», в угловом здании перед поперечной трамвайной линией. Может, что-то перепутал или упустил, не проверить уже — но это и неважно.

Прямо напротив магазина «Поэзия» находился проход к часовне Боимов и боковой вход в Латинский костёл, или в просторечии польскую катедру. Портал главного входа поляки наглухо замуровали еще после раздела Польши, якобы протестуя против оккупации Австрией, и чудом объясняли и знамением, что на огромном витраже над хорами в годы Второй мировой войны не пострадала только фигура Матки Боски в центре, которая при взрыве немецкой авиабомбы, обратившей в руину целый дом по соседству, не потеряла ни единого стеклышка и осталась невесомо парить посреди выбитых и разбитых стекол, словно в глазе бури. Правда, Львов никто особо не бомбил и не обстреливал — два-три раза в двадцатом веке буря обходила его стороной, и после очередной мировой войны всего два десятка зданий в центральной части города оказались снесены как не подлежащие восстановлению. С него доставало с лихвой массовых расстрелов, погромов и депортаций — войны били

в нем не по площадям, а по людям, шая из непонятных соображений маткультуру города, подобно придуманной позднее ядерной нейтронной бомбе.

И вот что интересно: вопреки неслыханной текучести, убыли и прибыли народонаселения, сама материальная среда обнаруживала невероятный ресурс самовоспроизводства кадров. Привлекался сюда, оседал и пускал здесь корни повторяющийся ассортимент типов людей с характерными для такой среды профессиональными занятиями и стереотипами поведения в заданных обстоятельствах и рамках. Строго говоря, всякий раз самовоспроизводилась типичная центрально-европейская мещанская среда, независимо от состава данного контингента и его этнических и социокультурных особенностей. Конечно, сохранялась разница от проживания в просторной квартире ее прежних владельцев: с дубовым паркетом, с кафельными печами и газовым отоплением, с открывающимися фрамугами для проветривания и такой невидалью как биде для подмывания срамных мест, — или же в тесной каморке для прислуги, с выходом на черную лестницу и проветриванием поместившейся в коридоре кухоньки посредством распахнутой наружу двери (похожие однокомнатные квартирки поляки звали кавалерками). Но общего у горожан имелось всякий раз больше, чем различий. Это принятое при встрече у жителей МиттельЕвропы приветствие «сервус!», а при расставании «ну то па, ну то цьом!» (то есть «чмоки»), это походы на «кавусю» (уменьшительно-ласкательное от «кава», то есть кофе, по аналогии с названием «нафтуса» местных минеральных вод, слегка отдающих «нафтой», то есть нефтью), это жеманные имена у представительниц дамского пола, такие как Жаннетта, Анжелика, Вероника или Юлия, и мужские — Ярек, Витек, Казик, Стив (Степан) или даже Доля (уменьшительное от Адольф), и совершенно противоестественная смесь скверного образования с непомерным апломбом и неистребимой привычкой к сервильности. При том что от подавляющей части довоенных обитателей галицийских городов почти не осталось следа — ни панской «белой кости», за единичными исключениями, ни прежнего еврейского населения, уничтоженного подчистую нацистами, ни исчезнувших немецких колонистов. От послевоенных телепортаций остался на месте лишь считанный процент поляков — от оказавшихся никому не нужными чернорабочих с начальным образованием, до таких же оставленных бывшими господами за ненужностью «старых пани» из числа уборщиц, кухарок, служанок и консьержек — манерных кошатниц, с плетеными шляпками-таблетками на сухих змеиных головках старых дев и злоязычных сплетниц.

Но положение обязывает — и роль и бытовые привычки ренессансных патрицианок и родовитых немецких купчих, а после них гоноровых польских пань и панночек, переняли новые львовянки. Это они — дочери состоятельных портних и ухоженные жены ювелиров, врачей и ведущих инженеров — заходили помолиться до полудня в Латинский собор, или польскую катедрu, где католики не делали различий для христиан разных конфессий, и откуда, помолившись, выпархивали из боковых дверей напротив входа в магазин «Поэзия» и отправлялись выпить где-то чашечку черной «кавы» с подругой и не спеша посудачить, после чего: «Ну то па, ну то цьом!..» И следующим пунктом назначения для них обычно становился компактный Галицкий колхозный рынок, через дорогу от фантастичного барочного фасада наглухо запертого костёла бернардинцев и по соседству с известной всем страждущим спозаранку забегаловкой «Утро нашей Родины», со спуском напротив нее в подземную общественную уборную. То было одно из полудюжины подобных сумрачных заведений в центральной части города, с монументальными чугунными сливными бачками «Ниагара» под потолком над кабинками и постоянно журчавшей водопроводной трубой над желобом общего писсуара у противоположной стены. Такой тандем двух заведений позволял малоимущим «пиворезам» и бесхарактерным выпивохам по-быстрому избавляться от излишков выпитого пива — от нескольких кружек

студеного пенистого напитка, первая из которых обычно выпивалась сразу залпом до половины, а последующие уже не спеша и вдумчиво, и насколько деньги позволяли и совесть безмолвствовала — под рюмку-другую водки с прыщущими горячим мясным соком чебуреками в волдырях. Тогдашние уличные сортиры были бесплатными и благоухали не дезодорантами первых кооператоров-откупщиков, а шибали в нос едким запахом бедняцкой злой мочи и хлорки, что было, вообще-то, честнее.

В торговых рядах рынка львовянки подбирали продукты для сегодняшнего или завтрашнего стола, украшением которого обычно служила бульонная курочка, искусство откорма которых зерновыми кормами галицийские селяне переняли у довоенных обитателей еврейских местечек. Искушенная городская «пани» первым делом просила продавца дать ей понюхать гузку птицы, или же сама наманикюренными коготками подцепляла ошипанную тушку курицы и подносила к своему носу, чтобы удостовериться в ее свежести. Ни унции подкожного жира и никаких признаков желтизны на белоснежной пупырчатой коже не должно было быть у непорочной, как ангелы небесные, ее избранницы. Для варки концентрированного ароматного бульона, способного пробудить аппетит даже у покойника, докупался пучок перевязанных суровой ниткой кореньев с букетиком зелени. Нельзя было пройти и мимо рядов пахучих копченостей и рубленых колбас, которые все называли куликовскими, поскольку мастерство их изготовления было перенято галичанами у немецких колонистов из местечка Куликов, расположенного на полдороге между Львовом и райцентром Нестеров (как Советы переименовали ренессансную Жолкву — эту захиревшую летнюю резиденцию коронных гетманов и прославивших свое величие польских королей, над которой в начале Первой мировой войны погиб в воздушном бою знаменитый русский летчик). Соответственно, продававшиеся на львовских рынках свиная грудинка, подчеревина или бекон, звались по-немецки шпондером, отличавшимся нежным вкусом из-за чередования слоев сала с мясом, а плоские кровяные колбаски с гречкой для жарки назывались попросту кишкой, перекрученной и отмерявшейся продавцами и покупателями в длину на глаз, — говорилось, дайте мне метр кишки, например, — после чего та отправлялась на весы. Базарная молочка, в отличие от магазинной, была также отменного качества: жирный творог и сметана на любителей, такая густая, чтобы ложка стояла, к которой позднее обосновавшиеся в городе грузинские семьи добавили свои специалитеты, такие как сулугуни и проч. Возились пассажирскими и нелегально грузовыми самолетами с юга цветы, а к Новому году рынки города заваливались сочными абхазскими мандаринами в просторных мундирах не по размеру. Вообще, рынок как базар — штука очень консервативная. И если с выращиванием кинзы галичане еще как-то смирились, как с причудой и «вытребеньками» части горожан, то никакими силами невозможно было заставить их выращивать также кресс-салат и базилик, например, разбивать рыбные пруды вблизи городов или продавать гуцульскую рассыпчатую овечью брынзу дальше колхозного рынка в Косове, хотя бы в Коломые или областном Ивано-Франковске, не говоря уж о далеком Львове. Впрочем, это был вполне объяснимый некроз торговли колхозного происхождения, когда горожанам даже привозную картошку с грузовиков приходилось каждую осень закупать мешками и целыми центнерами, чтобы хранить ее всю зиму в темных подвалах своих многоэтажек, пока у той не начнут открываться незрячие бледные глазки и прорасть, делая клубни вялыми, сморщенными и безвкусными.

На этом львовском рынке мой бывший одноклассник и тогдашний напарник в реставрационных мастерских Серёга запал на мясо нутрий и посадил на него всех своих друзей. Самому ему остро не доставало чувства дома и ощущения домашности, заботы о нем кого-то, — если не разведенных давно родителей, так хотя бы второй жены, не умевшей готовить студентки со сросшимися бровями и отрывистой манерой

говорить, словно лаять. Отсюда так рано развилась у него нешуточная страсть к кулинарии: хочешь поесть вкусно — приготовь что-то сам и накорми других. Когда они ощутят заботу о себе, то испытают в ответ признательность, тепло которой согреет всех собравшихся за общим столом и до тебя дойдет — это и будет Дом.

Ушлые и предприимчивые селяне Галичины разводили этих болотных мышобобров — как кролей, ондатр и других пушных зверьков, — с двойной для себя выгодой. Ободранные шкурки нутрий с длинной и колкой щетиной они высушивали на рамках и продавали скорнякам для пошива меховых воротников и шапок, а мясо ели сами и торговали им на городских рынках. Мясо нутрий не жирное и не постное, очень вкусное, а сами зверьки — плодовые полуводные грызуны, чистоплотные и почти ручные при надлежащем уходе. Когда наберут вес, им отрубают головы с длинными резцами, когтистые перепончатые лапы и голый хвост, чтобы не отпугивать слабонервных покупателей, и атлетичные голые тушки продают на базаре горожанам дешевле похожих на них кроличьих, которые внешне отличались от них бледным цветом диетического мяса, грациозностью телосложения и наличием меховых манжеток на задних лапках. Кролиководы оставляли их для подтверждения принадлежности своих питомцев к благородному старинному роду одомашненных зайцев, и чтобы покупатели не спутали их с безродными переселенцами сомнительного происхождения — какими-то здоровенными водными крысами, которых отродясь в здешних водоемах не водилось и которых здесь прежде никто не ел.

Но у Серёги не было никаких предубеждений и кулинарного шовинизма, когда можно было в день аванса или получки, скинувшись по несколько рублей, купить на соседнем рынке такого зверя размером с крупного кроля и испечь в витражной мастерской в печке для отжига стекла — в выдавшем виды духовом шкафу, разогнав его до температуры воспламенения бумаги, созвать друзей, сгонять за водкой и закатить такой пир брюху, чтобы жир стекал по рукам до локтя, как завещал своему сыну папа Фёдор. И сын твердо усвоил преподанный ему в ранней юности урок: «Мясо, Серёжка, ешь руками — девки любить будут! Я там, глянь в кастрюле в холодильнике, полкозсы с охоты привез — давай, отжирайся...» Папа Фёдор умер от цирроза печени еще до выхода на пенсию. Я же навсегда утратил интерес к мясу нутрии, когда однажды в общей компании у кого-то в гостях Серёга не только запек в духовке свое любимое блюдо, но и приготовил сладковатый суп из головы грызуна, предварительно повидавав клещами жуткие резцы. На этом как отрезало.

Но позже похожая история приключилась у меня самого с поросенком. Перед самым отъездом в Москву навсегда мне захотелось проститься со своими друзьями, которых не так уж много осталось у меня, приготовив поросенка — блюдо, которое мы все до того видели только в кино. В тот день утром бородку-эспаньолку, которую проносил лет десять, я сбрил догола, готовясь в очередной раз начать все сначала, а молочного поросенка придумал запечь, чтобы самому взбодриться и запомнилось всем. На базаре такие не продавались, и помочь мне приобрести его и привезти из села вызвался зубной врач Джубокс, работавший на популярном радио FM ведущим музыкальных передач, но на всякий случай сохранивший за собой прежнее рабочее место в отдаленной сельской амбулатории, куда он ездил раз в неделю лечить гнилые зубы селянам (напоминая этим ту не по-русски предусмотрительную и «очень музыкальную особу... которая ходит в консерваторию и в то же время изучает на всякий случай зубоврачебное искусство и имеет жениха в Могилёве», как поддразнивал Чехов свою будущую жену-«немчушу»). Быть бы ему законченным флегматиком, если бы порой рыбаья кровь в его жилах не становилась горячей, начиная пульсировать в такт звукам музыки его ранней юности, классического рока. В этой области он был докой, и слаще любых песен и мелодий звучали для него уже одни только имена тогдашних рок-музыкантов и названия их альбомов и композиций, — весь этот шифрованный любовный словарь для посвященных. В остальное время дремавшая в

нем душа походила на небольшого размера музыкальную шкатулку с секретом. Запомнилась мне одна мизансцена приема у него на дому в какой-то из редких приездов в оставленный город. Сажу в гостиной на обычном стуле с ватными валиками за щекой, его палец у меня во рту крепко прижимает к десне что-то студёное и держит, а он, отвернувшись от меня, спокойно обсуждает какие-то дела с сидящей на диване женой, к которой прижимается всем телом и пристаёт с ласками ее ухажер. Никого происходящее не смущает, да и меня не очень. Больше беспокоит отсутствие плеватальницы и необходимость как-то сглатывать набежавшую слюну с чужим пальцем во рту.

А в тот день, будучи человеком обязательным и надёжным, не раз проверенным в сплавах по речкам Украины, Джубокс сдержал обещание и к вечеру привёз молочного поросёнка. Однако вид его голого тельца на дне хозяйственной сумки не одного меня обескуражил, а уж в ванне с холодной водой, перед тем как его выпотрошить, окончательно смутил. Другой мой приятель, художник-керамист с гонимой фамилией из заселенного вчерашними селянами рабочего предместья, без лишних сантиментов взялся выскоблить опасной бритвой тушку поросенка, похожего на спящего младенца. Что было дальше почти стерлось из памяти, как и ничем не запомнившийся вкус свинтуса, кроме собственного твердого решения больше никогда так не поступать. Что, впрочем, не превратило меня в вегетарианца хотя бы потому, что не нами сотворен и придуман этот мир, в котором испокон веков хруст костей стоит, и чавканье и хрумканье никогда не прекращаются. Где все пищевые цепочки в итоге обрываются и поглощаются бездонной глоткой времени, без усталости трудящейся в тандеме с неиссякаемой вагиной природы, дающей жизнь мириадам других созданий с идентичными участью и судьбой.

Оттого с не меньшим отвращением я вспоминаю тот борщ, которым однажды меня угощала американская бездетная пара с украинскими корнями. Он — профессор славистики и убежденный веган, она — домохозяйка и, как то принято у них в университетской среде, самодеятельная художница, страдавшая весьма редким видом аллергии на все красное в еде: от клубники до помидоров. Потому легендарный и любимый обоими «украинский борщ» сварен был не на мясокожном бульоне, а на воде, и не могло быть в нем никакой финальной заправки из толченого соленого сала с чесноком по определению. По женской же части, в мутном картофельно-капустном отваре категорически исключалось присутствие томатной пасты, паприки и сладкого или жгучего перца, и даже оранжевая морковка не веселила глаз едокам своим цветом в тарелках с бледной немочью, подбеленной какой-то тамошней молочкой, хотя свекла все же была, но только тоже белая — сахарная! Гаже супа в жизни не ел. Однако съел и даже похвалил как гость. Но это было уже в новом веке и тысячелетии, в другой жизни.

* * *

Вообще, вкусно пожрать при дефиците и скудном ассортименте продуктов было идефикс того давнопрошедшего и приснопамятного времени. В советском общепите, даже ресторанном, весь персонал подворовывал, и оттого мы так любили ходить в гости друг к другу по поводу и без. Покрошить оливье с добытой вареной колбасой или соорудить салат «мимоза» из рыбных консервов с крутым яйцом, растолочь творог со сливочным маслом, чесноком и укропом, натереть плавленых сырков с тем же чесноком и заправить майонезом, который тогда мы сами не умели делать из-за отсутствия в продаже блендеров, да и самого такого слова, как и множества других видов кухонной техники.

То был ласковый с виду оползень, и по мере того, как страна помалу съезжала в пропасть, жизнь продолжалась. Появились и вошли в моду ведомственные корпоративные дискотеки для сотрудников в конце рабочей недели со всеми

полагающимися наворотами — от децибелов и стробоскопов до ди-джеев. В городе открывались все новые бары и танцполы, финские сауны, химчистки и автоматические, как в заграничном кино, прачечные вместо привычных советских, с нашитыми на рубашки и простыни номерками, стали появляться крошечные забегаловки с дорогими горячими бутербродами, попытавшиеся безуспешно конкурировать с любимыми горожанами традиционными пирожковыми, где все пирожки с начинками на любой вкус вручную лепились из дрожжевого теста и выпекались на месте в горячем цеху. Похожим образом старались держать марку вареничные и понемногу деградировали, по понятным причинам, пельменные, а в восьмидесятых вдруг повырастали, как грибы в сезон, и стремительно размножились гриль-бары с нанизанными на вертел загорелыми тушками бройлерных кур, которых давно уже почти невозможно было купить в магазинах даже в предпраздничные дни, а здесь на тебе — пожалуйста, с хрустящей корочкой и неизменным водянистым соусом из томатного сока с аджикой! В районе окраинных новостроек открыли магазин «Океан», с маринистской мозаикой на бетонной стене и небольшим буфетом внутри, с жиденьким кофе и замечательными «канапками» с давно забытыми всеми сайрой или шпротами из консервов. А через дорогу от него простояло все восьмидесятые годы мрачным укором на голом пустыре здание недостроенного универмага «Львов», похожее на великанский утес строение в стиле вавилонской архитектуры периода правления Навуходоносора, возведенное по проекту ленинградских архитекторов. Зато открылся за ним на том же пустыре и заработал новый большой платный бассейн. Всерьез обсуждался властями план запуска подземного трамвая через весь город, так и оставшегося наземным и надземным на единственном лишь участке, где трамвай с разгона взлетал на путепровод над трассой — по касательной к магазину «Океан» и необитаемому скальному острову универмага — и, избавившись от пассажиров у плавательного бассейна, круто разворачивался на трамвайной петле в обратном направлении к центру города, где конечная остановка уже ломилась от стекавшихся к ней отовсюду обитателей спальных районов.

Но так было только в городах крупных или растущих, где по мере удаления от административного центра с каждым километром материя нищала и дегенерировала, пока не впадала окончательно в ничтожество, словно раздевающийся и разуваящийся по пути домой голодранец с мешком на плечах, что в районном или сельском продмаге в день завоза удачно запасася буханками белого или серого хлеба для всей семьи на целую неделю и спешит теперь с добычей в свою хату с барахлящим телевизором и репродукцией «Последнего дня Помпеи» Брюллова на голой стене. При том что в довоенное время и такого хлеба могло не быть в селах нищей Галиции.

Городки и местечки походили на таких же оборванцев, но только в городской одежде, и потому к ним применим был расхожий штамп старинных беллетристов: «по нему было видно, что он знал лучшие времена». У них имелась какая-никакая история, иногда даже славная и древняя, как у разжалованного из областного центра в районный Дрогобыча, пониженных в статусе старинных Коломыи и Стрия или переставших быть райцентром Рудок.

В средней школе этого городишки я проходил педпрактику на одном из старших курсов и ходил каждый день мимо здания придорожного костёла с обломившейся башенкой с крестом, что лежала наподобие перекладины креста поперек островерхой крыши, которую никто не собирался чинить и спустя тридцать лет после окончания войны. Я не знал тогда, что в крипте этого костёла был похоронен знаменитый польский комедиограф Фредро, здешний уроженец и дед львовского митрополита Шептицкого — польского графа-униата и русофоба. Фредро тоже ходил в молодости на Москву с Наполеоном и дошел с ним до Парижа, где, как грустно острил автор комедий и водевилей, пути их разошлись: император отправился на Эльбу в ссылку,

а будущий драматург вернулся восвояси в родовое имение рядом с Рудками. Сцена прославила имя Фредро, но в жизни и после смерти ему не очень везло. Он был чересчур ничьим, чтобы невольно не сделаться чужим для всех умственно помешавшихся на чем-то. Его соотечественникам нужны были трибуны и пророки, а не хорошие водевили. Своего лучшего комедиографа тогдашние властители дум заклевали за недостаток патриотизма и натравили на него учащуюся молодежь, сочинявшую про него похабные дразнилки, вроде «стары Фредро в ксёнжках гжебе, студент его жоне ебе», за что получили по мордасам когтистой лапой не утратившего хватки и глазомера старика: «Ебце, ебце, мои дзятки, я ебалем ваше матки». Последние пьесы писались Фредро в стол и опубликованы были только посмертно, его прах остался покоиться в другой стране, а замечательный памятник ему в конце львовского променада поляки забрали с собой и перевезли в доставшийся им от немцев Вроцлав/Бреслау. Этот печальный экскурс в коллективное прошлое напоминает чем-то неотправленное и забытое письмо, написанное от руки скверным почерком и чернильной ручкой на обратной стороне винтажной почтовой открытки, с виньетками и фотографией островерхого костёла со сломанной башенкой и проломленной крышей, существующей только в моих памяти и воображении.

Тогда как на той практике в Рудках куда больше врезался мне в память постой у сухонькой пожилой учительницы начальных классов, где мы с беременной женой прожили около месяца. Это была давно овдовевшая русская баба, оставшаяся после войны в тогдашнем райцентре с демобилизованным командиром Красной армии, которого назначили директором местного шиноремонтного заводика, а потом осудили на десять лет по делу о хищениях, поскольку он мешал настоящим расхитителям, якобы евреям. Из мест заключения ее муж вернулся с туберкулезом, кашлял и умер через пару лет, только один раз проговорившись о затопленном ледяной водой карцере. Единственной отрадой в ее жизни оставался сын от него, проходивший срочную службу в армии где-то в Поволжье и писавший оттуда ей письма. Не считая малых чужих детей, наверное. На улице крепчал мороз, уборная была во дворе, вода в доме не всегда, свет тоже, и когда отключалось электричество, эта училка проверяла тетрадки своих учеников на полу при свете горящих в кафельной печке дров, открыв дверцу и опустившись на четвереньки. В школе шушукались и сплетничали в учительской, что практикант на открытом уроке показывал детям «голых жинок» — так поразил педагогов, еще больше замерших учеников, привезенный мной из далекого города в полусотне километров от Рудок альбом живописи импрессионистов с сидящей бабищей Ренуара на обложке. Я же горестно думал, что во всей этой средней школе от силы два-три ученика из класса, что узнаются сразу по живому любопытному взгляду, смогут поступить в какое-нибудь училище или техникум хотя бы в райцентре, чтобы не вернуться в свой гиблый городишко, где число покойников на кладбище, тянувшемся по другую сторону трассы, многократно превышает все его население. Где в единственной придорожной харчевне кормили чанахами в горшочках, по непонятной причине не воруя жилистого мяса, а в ларьке через дорогу наливали желающим скверное вино, от которого сворачивало шею и которое мы даже студентами не пили, несмотря на его дешевизну. Память странная штука, и запомнилось, как какой-то житель Рудок подбадривал товарища: «Ото французськи селяне пьють таке червонэ вино — и йдуть на косьбу!» Считалось нами, что это звавшееся «Алжирским» красное сухое вино заливали в плохо сполоснутые танки нефтеналивных судов, чтобы «не гнать порожняк» на родину. В чем почти не приходилось сомневаться, зная такое популярное у львовских выпивох место, как Броник под Кайзервальдом — тупичок, куда железнодорожники загоняли цистерны с молдавским крепленным суррогатом для винзаводов, а охранники охотно наливали его покупателям в принесенные банки, бидоны или канистры по рублю за литр. «Алжирское» вино из танкеров стоило примерно столько же и продавалось в гастрономах в поллитровых бутылках,

а настоящее алжирское вино в винных бутылках с арабским орнаментом на этикетке (как-никак бывшая французская колония) стоило вдвое дороже, но было такой же кислятиной, разве что без нефтяной отдушки.

Следующим на этой трассе был старинный Самбор, с такой же, как во Львове, квадратной площадью Рынок и затейливой Ратушей с часами на башне, с полудюжиной действующих и бездействующих храмов разных конфессий, с административными и казенными зданиями строгих пропорций, неоднократно поменявшими свое назначение и насельников, с хранящими следы былой красоты фасадами трехэтажных жилых домов, с уцелевшими кое-где особняками, виллами и даже палаццо, но только более низкорослыми и неказистыми, как бы в удешевленной версии для малоимущих. Имелся в городке крошечный парк без скамеек и фонарей и даже общественный туалет под Ратушей, в крошечную тьму которого, словно в подтопленную пещеру, рисковали спускаться по ступенькам разве что хорошо воспитанные и прилично одетые пожилые горожане старой формации. С достойным восхищения упорством они ступали по брошенной на кирпичи доске и скрывались в непроглядной темноте, где почти сразу оступались, промочив ноги, зачерпнув тухлую воду засорившейся клоаки манжетами брюк довоенного фасона, сетуя и бранясь, однако не оскорбив ничей слух громким матом. Что могли они делать в этой пещере в потемках — загадка, однако все здесь давно уже привыкли жить послушно и бедно.

А ведь это был когда-то славный городок, однажды даже отважившийся поучаствовать в большой игре на европейской исторической сцене лет четырехста назад. Здесь в резиденции воеводы и самборского старосты Юрия/Георгия/Ежи Мнишека клочкотали страсти шекспировского масштаба, плелась интрига похода за московским престолом и готовилось адское ведьмино зелье для Смуты, от которой Русское царство едва не окочурилось, но оправилось, устояло и окрепло, а польское королевство со всей королевской ратью и Речью Посполитой с той поры пошло вразнос, не без помощи иезуитов, зашаталось и через полтора века само перестало существовать как самостоятельное интегральное государство на следующие полтора века. И действующие лица той исторической драмы куда как хороши! Разнорукый, синеглазый и рыжеволосый самозванец Лжедмитрий (Отрепьев или не Отрепьев — значения не имеет и только украшает интригу). Папаша Мнишек (от патронима «мних/монах»: «монашек», «монахов», «монастырский» или «монастыренко») — отчаянный авантюрист и интриган, который еще форы дал бы иным итальянским кондотьерам времен Возрождения. И его дочь Марина, такая же безбашенная, как ее отец, но расчетливая и холодная, как лед, жестокая и властолюбивая, как леди Макбет, жена обоих Самозванцев и одного донского атамана, юная ведьма, волчица, матриарх, одним словом — сука, стерва. Пушкина-драматурга в холостые годы интриговал и волновал подобный женский тип, и потому в его письмах того времени Марина — это «мраморная нимфа» и «славная баба». Тогда как в глазах Гоголя, который страшился всю жизнь и избегал физической близости с женским полом, но смолodu разбирался в ведьмах несравненно лучше женолюбивого поэта, она могла быть только Панночкой. Также Андерсен, сочинявший сказки для девочек и боявшийся как огня тех взрослых женщин, которые из них вырастали, сразу узнал бы в ней похищавшую мальчиков Снежную Королеву и бежал бы от нее на своих ходулях без оглядки.

И пьеса та вроде была задумана что надо, и сыграна отменно, однако на исторической арене успеха она не имела, поскольку, несмотря на захватывающую интригу и обилие кровопролитных сцен, отсутствовали в ней хеппи-энд или хотя бы катарсис, необходимые сказке или трагедии. В итоге театр прогорел к огорчению исполнителей главных ролей, заказчиков, постановщиков и меценатов. Зато посмертно все они стяжали громкую славу в литературе благодаря скандально провалившейся

пьесе — как, согласно русской поговорке, «ходила синица море зажигать, моря не зажгла, а славы много наделала».

С той поры этот городишко захирел и сильно обветшал, сделавшись советским райцентром. Для двух его храмов в конце семидесятых я нелегально реставрировал и изготавливал витражи с кем-то из помощников из числа неимущих инженеров, работавших на космос в львовских НИИ. Началось с того, что Серёга, с которым мы расстались, подрядился восстановить с кем-то из новых подмастерьев витражное остекление двух алтарных окон костёла, в котором в 1604 году Марина Мнишек обручилась с Лжедмитрием. Но, едва успев начать, он забросил дело и захотел избавиться от заказа, ставшего невыгодным из-за его дешевизны и потраченного им аванса, да и в профессиональном отношении не представлявшего для него интереса. Получив от кого-то гораздо более заманчивое предложение, он, в свою очередь, предложил мне выручить его и перенять заказ на эти алтарные окна, выполнив за него всю работу, за которую я охотно взялся, будучи на мели.

Удовлетворившись ее результатом, католики пожелали продолжить и заказали такие же незамысловатые витражи с геометрическим орнаментом в боковые стрельчатые окна костёла, согласившись поднять цену. А когда, что называется, пошла брехня по селу и начались пересуды, прихожане православной церкви на той же улице захотели по примеру католиков так же украсить окна своего храма витражами. Уговаривать попа им долго не пришлось, поскольку столь благое дело сулило рост пожертвований прихожан и одновременно обезоруживало завистников и злопыхателей.

За несколько лет оба храма оделись витражами. Суровый позднеготический костёл Святого Иоанна Крестителя покрылся поблескивающими доспехами, подобно паладину и рыцарю веры, вспомнившему, для чего был рожден. А бирюзовой каменной церкви Рождества Пресвятой Богородицы, построенной в стиле запоздалого барокко и походившей на рассевшуюся на яйцах клушу, начало грезиться порой, будто в какой-то прежней жизни она умела плавать и летать, — когда, расправив паруса и поймав в них ветер, как на крыльях неслась вслед за солнцем по лазурным волнам безбрежного океана к заваливающемуся горизонту в поисках неведомой безгрешной земли, которую отважные мореплаватели вскоре назовут Новым Светом, а приплывшие вслед за ними и ослепленные тяжким блеском золота крестоносцы примутся рыскать по нему в поисках Эльдorado, — когда сама она была еще построена из дерева и звалась, кажется, «Санта-Марией»... И от таких сладких грёз и цветных видений было ей счастье, только немножко кололо и побаливало сердце в алтарной части. В итоге в обоих храмах не осталось ни единого окна без витражей, даже там, где их отродясь не было и не могло быть по определению — во всяком случае, в православной церкви.

Заканчивал я эту затянувшуюся витражную одиссею уже в собственной мастерской со своим новым напарником, отменно умевшим чертить и рисовать архитектором. И вишенкой на торте стал последний витраж с фигурой Богородицы для окна над хорами одноименной церкви, с которым уже я, взяв аванс, потеряв работу и уйдя из прежней семьи, чуть не год волянил, а меня безуспешно искали гонцы из Самбора, оставляя корявые записки карандашом. Серёга приходил тогда помочь нам расписать лики и ладони Мадонны с младенцем, накладывая тени и блики на них аэрографом, которым он наловчился работать нашими легкоплавкими красками. Таким образом круг замкнулся. Незадолго до Рождества несколько зимних дней мы в последний раз работали сообща, одной бригадой — как ренессансная боттега, или три товарища.

Священником самборского костёла был латышский коёндз, имевший еще два прихода — во Львове и Мостиске на границе с Польшей, — между которыми он каждую

неделю и курсировал с личным водителем на специально купленной для этой цели служебной новенькой «Ниве». У его прихожан денег было немного, как немного и самих римокатоликов в Самборе из числа самых бедных, оказавшихся забытыми сородичами, подобно Фирсу в трагикомедии Чехова, но оставшихся нужными далекому Ватикану и несравненно более далекому Создателю. Стропила внутри храма для установки витражей в окна возводила небольшая бригада пожилых и неухоженных, то и дело что-то ронявших и оттого трогательных, как дети, строительных рабочих с польскими именами, сильным акцентом и неразвитой речью. Вооружившись веревками, они помогали нам поднимать на леса ящики с витражными блоками или сколачивали из двух лестниц одну, длинную и шаткую, чтобы я смог обмерить с нее следующий оконный проем, а сами глазели снизу, как матросы на палубе, что там делается наверху, на мачтах. Окончание монтажа всегда завершалось неизменным ритуалом выставления могарыча мастерам, к обоюдному удовлетворению. Из видавшего виды облупленного железного сейфа и тощей стопки мятых рублевых купюр староста извлекал строго отмеренное их количество и кого-то из бригады отправлял за поллитрой водки, буханкой хлеба и банкой кильки в томате. Было что-то уже в сцене скудной общей трапезы за голым столом и преломлением хлебов с почти бессловесными работягами, но окончательно срубила меня однажды выщербленная надпись по-польски на постаменте каменной статуи Матки Боски, обнаруженной мной под стеной внутреннего дворика: «Не мешайте им приходиться ко мне». И от этих выбитых зубилом неотесанного кладбищенского каменотеса слов о «малых детях сих» из Нового Завета у меня впервые, кажется, лет в двадцать семь, ёкнуло и оборвалось сердце.

Расплачивавшийся с нами ксёндз в своих непрерывных разъездах жил почти что баринком. В костёле над приделом на втором этаже имелись специально оборудованные для него апартаменты, где он мог при необходимости переночевать и где держал в холодильнике привозимую им из родной Риги дивного качества жирную селедку, которой угостил однажды нас с помощником по завершении работ и, по моей просьбе, подарил каждому на прощание по большой церковной свече с декалькоманией фигурки Девы Марии в обрамлении из красных роз с зелеными листьями, просвечивавшей из-под желтой толщи воска.

У православного священника по фамилии Голод и с весом тела центнера полтора приход был несравненно многочисленнее и богаче — и, соответственно, сам он не так прижимист, куда более расположен к людям и снисходителен к людским слабостям. Он легко откупался от местных инспекторов ОБХСС и бесчисленных контролеров с ревизорами, имя которым легион, с пониманием их потребностей и нужд, видимо, считая небольшие регулярные подачки не столько подкупом должностных лиц, сколько расходами на благотворительность. Жизнерадостный и хлебосольный был дядька, и его счастье, если повезло ему не дожить, в силу возраста, до нового церковного раскола. Люди народ беспощадный, ему бы припомнили все — и в первую очередь, его паства, переметнувшаяся под руку Ватикана или чью-либо еще в очередной раз. Для чего существует в мове слово «перекиньчик», а у нас выражение «переобуться в воздухе». Замечу только, что все знакомые мне тогдашние попы являлись одновременно хозяйствующими субъектами и завхозами своих храмов, обычно закончившими Ленинградскую Духовную Академию или семинарию, которые для галичан были словно медом намазаны. На Западной Украине находилась чуть не десятая часть из действовавших тогда церквей РПЦ.

Не мое дело, и нет у меня никакого права судить о вопросах веры и тому подобных непосильных для моего ума вещах. По мне, пускай верующие веруют во что, как и с

кем хотят, только не дерутся и друг друга не проклинают. Что-то я знаю и могу сказать только о людях, которым всегда жить непросто и нелегко, даже если им самим так не кажется. А в советской провинции им жилось туго и в самые мирные, спокойные и благополучные десятилетия. Я же как приехал, так и уехал, и оттого из своих поездок на периферию возвращался в большой город почти всегда нетрезвым и на грани нервного срыва. И это же не ахти какой город был, сам являвшийся типичным середнячком и представлявшийся безнадежной периферией для обитателей столиц и мегаполисов, городов с подземкой, да и бесчисленного множества других мест и городов на свете — южных, приморских, жизнерадостных, богатых и благополучных, не говоря уж о вечных. Загвоздка состояла в том, видимо, что, не приемля коммунизм казарменного типа со школьных лет, я сам оставался пропитан утопией как губка, как вата в воде. Меня всегда привлекали живущие в полную силу, предприимчивые и непохожие на других люди, но почему-то только с пораженными в правах от рождения и живущими без надежды людьми у меня возникало острое ощущение солидарности и повязанности с ними, и я ничего не мог поделать с реликтовым и абсурдным чувством собственной вины и стыда перед ними, которым мне не с кем было поделиться. Вдобавок — невозможно, чтобы не сделалось еще стыднее. Как-то я попытался. К счастью, он ничего не понял.

То был главный библиограф самой крупной во Львове библиотеки с миллионами единиц хранения в фондах. Еврокоммунист (больше евро, чем коммунист) и начитанный знайка, с деланным баском и торчащими, как иголки ежа, колкими усами. Пожилой коротышка из числа тех работников умственного труда, что на свой стул за рабочим столом вынуждены подкладывать намозоленный толстый словарь и, при необходимости или по нужде, не вставать с него, а сползать или съезжать на пол, до которого не достают ногами. Он выбирался из города и с насиженного места только на какие-то семинары и научные конференции, где в гостинице старался поселиться в одном номере с известными в ученом мире персонами, чтобы завязать с ними тесное знакомство, что не всегда удавалось. По его признанию, одним из безусловных авторитетов являлся для него польский марксист ревизионистского толка Адам Шафф. Подобно этому уроженцу Львова и перекрасившемуся сталинисту, он считал, что марксистское учение было извращено дремучим и диким народом, не заслуживающим лучшей участи, что меня возмутило. Как, — папаша Маркс здесь ни при чем, а это советская власть сама нагуляла невесту от кого и где и родила ублюдка?!

Этот библиотечный работник был вдовцом и один растил сына, моего младшего приятеля, закончившего московский литинститут поэта и переводчика, еще в перестройку эмигрировавшего в Швецию, а оттуда в Штаты. Он гостил у сына там и там, но сам покинуть Львов не мог, пока были живы еще его собственные родители. Шведский социализм ему понравился, и понравилось в нем все: образ жизни и съёмное жилище сына, понравилась его новая жена, эмигрировавшая ранее него наша соотечественница, понравилось рабочее место сына, его письменный стол с компьютером, на котором грелся и дремал породистый кот, а сын перед экраном курил вересковую трубку с ароматным табаком, записывая что-то в блокнот паркерской чернильной ручкой за двести долларов, подаренной ему знаменитым русско-американским поэтом. По мнению библиотекаря, только и оставалось в подобных условиях что сочинять стихи, переводить чужие и преподавать.

Его сын перед отъездом за бугор попросил меня позаботиться о своем отце, если тот обратится за помощью ко мне, и вообще не забывать. Особой необходимости в том не было, пожилой отец со всем справлялся сам и шел по наезженной колее. Навещал своих совсем дряхлых стариков, как примерный сын, что было ему не менее необходимо, чем им, вредных привычек не имел, в своей квартире в другом районе на четвертом этаже всегда держал полную ванну воды, чтобы не зависеть от графика

ее подачи, работая в самом центре города, по будням ходил обедать в ресторан «Интурист», как многие скромные служащие делали тогда — комплексные ресторанные обеды стоили рубля полтора. Но лафа закончилась, когда наступили стрёмные времена.

Однажды он позвонил мне сказать, что его избили и ограбили в собственном подъезде вечером, когда подобные вещи стали уже обычным делом. Проблема заключалась в том, что обнаружившим его соседям пришлось разбить выходящее на общий балкон окно его квартиры, чтобы запасным ключом отпереть дверь и впустить его к себе домой. Оконного стекла у меня в мастерской не было, поэтому пришлось взять такси, съездить в магазин хозяйственных или стройматериалов, чтобы привезти лист стекла и вставить взамен разбитого. У меня была запарка на работе, и я слегка рассердился, что пол нежилой комнаты завален пыльными кипами газет, которые он якобы намеревался «обрабатывать», а подоконник усеян кусками битого стекла.

— Давайте, — сказал я, — пока я освобожу место на полу, чтобы вырезать стекло по размеру, вы уберите, пожалуйста, битое стекло с подоконника.

Мои слова его несколько обескуражили, но он послушно сходил в мягких тапочках на кухню и вернулся вскоре с совком и щеткой. Убирал он осколки с подоконника не больше секунды или двух. Я оглянуться не успел, как он торжествующе предъявил мне свой средний палец с выпуклой капелькой крови: «Ну вот, я так и знал — порезался!»

Это дорогого стоило, и больше всего мне захотелось расхохотаться. Теперь я должен был не только почувствовать себя виноватым и сам расчистить подоконник, но и вдобавок еще и ухаживать за раненым!

Так получилось, что всю жизнь он был убежден почему-то в собственной привилегии жить баловнем на культурную ренту, но не заладилось, и эта история не имела хорошего конца не только для него одного. В девяностых, когда костлявая рука рынка взяла всех за горло и умерли, наконец, его родители, угасли, как два опавших божьих одуванчика, он съездил к родной сестре в Штаты и к сыну погостить, но вынужден был возвратиться восвояси и подсесть на дотацию «на время дожития» от кого-то из новых хозяев жизни, под залог или завещание доставшейся ему просторной родительской квартиры на первом этаже люксового дома в парковом районе города, которая в итоге тому и досталась. Хоронили его чужие люди. Это не вся правда, но достаточно и этой. И мне хочется надеяться, если Бог есть и все видит, что этот библиотекарь не останется без дела и опеки и в райских кущах, куда ангелы доставят ему кипы перестроечных газет, которые он там сможет обрабатывать хоть вечность, с удовольствием и никуда не спеша, и вносить в каталоги для небесной канцелярии. Аминь.

Командированные из центральных областей России, ездившие в Москву «колбасными» электричками, львовянам говорили: да вы забурели — у вас рыбные консервы можно еще купить в обычном гастрономе, а в кооперативных магазинах даже копченую колбасу по 10 руб. за килограмм! Знакомый татарин, главный сантехник новосибирского Академгородка, рассказывал, что земляки отказывались ему верить: да ты не темни, будто из Львова столько разных колбас понавоз — признавайся, что по знакомству пролез в какой-то распределитель для номенклатуры в столице! Вернувшись из командировки в свой Новосибирск, тот вскоре уволился и перебрался со всей семьей во Львов, устроившись на равноценную должность при штабе ПрикВО или 5-й воздушной армии, о чем в то время нисколько не жалел, напротив. Квартиру в Академгородке получилось обменять на две львовские, в большей из которых он поселился с семьей, а требовавшую ремонта меньшую отвел себе под мастерскую и склад сантехники, в том числе раритетной, за которой он припраслился охотиться на львовских рынках и скупать у спившихся наследников

потомственных мастеров-сантехников и водопроводчиков былых времен — предвоенного и послевоенного или даже австро-венгерского, если повезет. Ему удалось собрать целую музейную коллекцию инструментов, деталей, технических приспособлений и хитроумных механизмов в стиле ретро или стим-панк (такого слова не было тогда в нашем словаре, что не мешало нам восхищаться изобретательностью и сумрачным германским гением их создателей).

Я любил заводить разговоры с ним о его профессии, чтобы навести на рассказы, в которых весь мир представлял в неожиданном сантехническом разрезе. До Академгородка он заведовал сантехникой в здании ЦК компартии засушливого Узбекистана, где велись партизанские насосные войны, в которых он сделался гроссмейстером и позднее для частных заказчиков в подвалах зданий подвешивал на пружинах бесшумно работавшие насосы, качавшие воду на верхние этажи в обход и к недоумению жителей нижних этажей, в квартирах которых напора воды не хватало, и это было только началом подобных войн. Попутно от него я узнавал о традициях и особенностях гигиены испражнений у мусульман и существующих для этого технических приспособлениях для взрослых и младенцев. Он был по-татарски хитер и простодушен, как дитя, и так же предприимчив, никогда не ленился поменять шило на мыло и по-хохлацки любя «свежую копейку». К тому времени дефицит всего стал приобретать угрожающие формы, и народ бросался сметать с полок магазинов подчистую то спички и свечи, то сахар и муку, то простаивать по несколько дней в очередях попеременно всей семьей, чтобы оформить и оплатить коммунальные платежи авансом до конца года из-за опасений неминуемого роста тарифов и подорожания всего и вся. И нашего татарина тоже не миновал этот коллективный психоз. Ему подфартило купить где-то как-то пару мешков муки впрок и закинуть их в свою меньшую квартиру, однако проникшая в нее крыса испортила всю муку из-за отсутствия остекления в проеме над дверью между комнатами. Что предпринял огорченный татарин? Он поменял своим приятелям-витражистам текущие отечественные краны и смесители в квартирах на импортные, а те для него изготовили и установили в наддверный проем классический витраж на свинцовой спайке в декадентском вкусе с фиолетовыми ирисами, которые уместнее смотрелись бы в его жилой квартире, а не над дверью в темную подсобку захламленной сантехникой мастерской. Он всегда искал приработка на стороне или взаимовыгодного обмена услугами. При штабе в кооперации с кем-то он наладил производство фляг из нержавеющей стали в виде книг в коленкоровом переплете, которые можно держать на книжной полке дома или в кабинете для прикола — прекрасный подарок кому-то из нужных или важных лиц к юбилею и шутка в армейском вкусе, обхохочешься. Мне также одна такая досталась по блату и знакомству вскоре после того, как у меня пошли первые публикации в печати. То был гулкий пустопорожний том полного собрания моих сочинений, с картинкой маслом на обложке кисточки полкового художника, подаренный мне друзьями вскладчину на день рождения в последний месяц существования СССР, что так же не пережил последовавших испытаний и остался только в благодарной памяти именинника.

Конечно, этот никогда не унывающий энтузиаст и вечно очарованный странник не мог не податься через открывшиеся границы в Китай за дешевой паленой сантехникой из порошкового металла. Однако на радостях он накопил ее столько, что на обратный поезд опоздал, оставшись стоять один на перроне над клетчатыми сумками для челноков с оборванными ручками в руках. Как тот персонаж повести Венички Ерофеева, что «стоит и плачет, и писает на пол, как маленький» от обиды, оттого что поезд ушел, а сама его еще вчера огромная Родина вдруг оказалась таким же чемоданом без ручки.

Вот и я стою, стараясь по частям собрать и затолкать в узкое горлышко своей повести «невпихуемое» — нашу жизнь в слинявшей на глазах у нас и дважды переобувшейся, пересобравшейся стране, что сумела отряхнуться от наваждения и вновь вынырнуть из небытия на бескрайних просторах Азиопы, сорвав слетевшимся и подтянувшимся отовсюду стервятникам и падальщикам запланированный банкет на трупе заваленного гегемоном колосса. Да что там жизнь одной отдельно взятой страны затолкать в горлышко бутылки, когда задача куда невыполнимей и состоит в том, чтобы попытаться протиснуть и продеть в игольное ушко жизнь как таковую на единственной в своем роде обитаемой планете, ставшей местом нашего появления на свет и временного пребывания на ней. Для всех людей эта планета является, по существу, планетой одноклассников, где ученики и выпускники одной школы тысячелетиями пробуют научиться чему-то важному, хорошему или хотя бы жизненно необходимому, чтобы существование на ней биологического вида гомо сапиенс не пресеклось, что у нас из рук вон как плохо получается. Для нас по-прежнему ломать — не строить, а зачем, никто точно не знает. Можно только о том гадать и валить на борьбу всего живого за место под солнцем и действие беспощадного закона естественного отбора, без надежды уповая — *dum spiro spero* — на генетический дрейф и такую мутацию или эволюцию, что позволила бы нам, пройдя через угольное ушко, вернуться в гипотетический Эдем.

«Стою, держу весло, через миг отчаю — сердце бедное свело скорбью и печалью!..» — как пелось в студенческом гимне середины 1970-х (или «семидесяхнутых», как позднее острили) и плясалось нами до упаду и изнеможения с однокурсниками филфака. Лихая мысль посещала меня в те годы: если у меня нет врагов — так, может, я ничтожество? У всех были, а у меня их нет! Тогда как то были всего лишь блаженные два десятилетия без особой вражды, зависти и предательств — золотой век холодной войны, конкуренции и мирного сосуществования двух социальных устройств — с 1961 по 1979, — что привели к власти страшившихся перемен дряхлых старцев, стагнации и застою (как задним числом состарившиеся молодые окрестили наставшее время). Они же были годами нашей терпимости, легкомыслия и недомыслия, продуктом естественной ферментации молодости в возрасте до тридцати лет. Такая вот загогулина во всемирной и естественной истории.

Однако пора возвращаться из эмпиреев на землю и ставить точку в этой безобразно затянувшейся экскурсии по топографии, гастрономии, сантехнике и философии мироздания, куда занесла автора нелегкая по свернувшейся, как кусающая себя за хвост змея, эллиптической траектории Корсо того трансграничного города, который никогда и никому не принадлежал целиком и безраздельно — ни древнерусским князьям, ни польским и венгерским королям, ни средневековым армянским купцам и немецким бургомистрам, ни итальянским застройщикам и австрийским администраторам, ни иудеям и римокатоликам, ни нацистам, ни советам, ни униатам и нынешним «свидомым», — хотя бы оттого, что на самом деле он представляет собой ветхий свиток длиной в восемь столетий и выскобленный палимпсест с местами сохранившимися на нем силуэтами и контурами давно исчезнувших построек и людей и многократно переписанными историческими хрониками города Льва, второе и подлинное имя которого читается совсем не так, как пишется, и в горнем мире оно звучит — Уроборос.

Владимир Высоцкий

«Как корабли из песни»

Судьба поэта

Люди выбирают себе певца.

Кто знал, что этот выбор коснётся коренастого паренька со светлой прядкой на лбу, с поднятым воротником сутулящейся куртки?

Чуть помедленнее, кони,
Чуть помедленнее...

Это великая песня и великая поэзия, где голос, отбросив гитару и смыв с губ бытовую усмешку, оторвавшись от пластикового диска «Мелодии», отдаётся высочайшему духу поэзии, стихии и правде страданий — не шансонье, а судьбу поэта слышим мы в ней.

Коль дожить не успел, так хотя бы допеть...
Чуть помедленнее...

Но кони несли, как несли его кони!

Для сельского сердца Есенина загадочной тягой были цилиндр и шик автомашины, для Высоцкого, городского сорванца, такой же необходимостью на грани чуда стали кони и цветы с нейтральной полосы.

В нём нашла себя нота городских окраин, дворов, поспешно заасфальтированной России — та же российская есенинская нота, но не крестьянского уклада, а уже нового, городского. Поэтому так близок он и шофёру, и генералу, и актрисе — детям перестроенной страны.

Я встретил его впервые в 1965 году, когда «Таганка» ставила «Антимиры». Был он так, один из таганцев, в вечно подростковой куртке своей, в арсенале его было пять-шесть песен. Но огромная затаившаяся энергия уже угадывалась в нём.

Это было задолго до того, как вся страна томительно ворочалась, опутывая его, подобно Лаокоону, магнитофонными плёнками.

Но голос его уже хрипел на ветру времени.

Когда пел он, за него страшно становилось: он бледнел исступленной бледностью, мукой было глядеть на него — казалось, не голос сорвётся сейчас, горло перервётся, он рвался изо всех сил, из всех сухожилий; в эти минуты он становился поэтом.

Стихи он читал не по-актёрски, а как поэты читают — такова вся таганская школа, — не выстраивая смысл повествования, а выпевая интонационный нерв стиха, суть стиховой стихии.

Иногда мы выступали с ним на вечерах, он пел, я читал — особенно запомнился ревуший зал «Комаудитории» университета, куда он принёс свои спортивные

песни, — но это были вечера не песен, а поэзии, ибо за джинсовой курткой его уже стояла судьба поэта.

Повторяю, он был тих в жизни, добр к друзьям, деликатен, подчёркнуто незаметен в толпе, его все любили, что редко в актёрской среде, но гибельность аккомпанировала ему, и не в переносном смысле, а в буквальном.

Дважды его реанимировали. Помню, однажды спас его врач Л.О.Бадалян, самозабвенный друг поэзии. Высоцкий три минуты был «на том свете». Тогда я написал «Реквием» по нему. Его напечатала «Дружба народов».

О златоустом блатаре рыдай, Россия!
Какое время на дворе — таков мессия.

Когда приезжала русая французская русалка, он просил меня читать ей эти стихи.

Трудно писать ещё о нём, такая мука слушать его диски — так жив он во всех нас.

Смерть его просветила даже снобов. Многие нынче повернулись к нему, появилось много прекрасных стихов его памяти. Это хорошо. Хорошо, когда цветы ложатся на могилу, но как они нужны ему были при жизни! Неужто умереть надо, чтобы люди поняли и поверили?

Мать его, Нина Максимовна, сокрушённо рассказывает, что могилу его на Ваганькове постоянно обворовывают, мародёры снимают несметный урожай его цветов, может быть, мурлыча про себя его песни.

Художники наивны.

Высоцкий страстно, по-мальчишески мечтал напечататься. Он наивно хотел стать членом Союза Писателей. Хотел свои певчие строфы, как птиц, запереть в металлическую сетку печатного шрифта. Удалось однажды напечатать его в «Дне поэзии». Сейчас сыплются его публикации, порой поспешно составленные, но в них оживает мир певца. Он был тонко образован. Любил Бальмонта, В.Иванова, Мандельштама. Их культуру он наполнял живой нынешней речью.

Сколько писали о Гамлете!

Я — Гамлет. Холодеет кровь...

И Блок, и Цветаева — их великие Гамлеты — маски духа. «Гамлет» Высоцкого — Гамлет изнутри, это исповедь поэта, работающего Гамлета, он пахнет потом профессии, житейской судьбой. Пастернак, переводя «Гамлета», задумывался над неким новым Гамлетом — уличным. Таким сыграл его Высоцкий — таганский Гамлет с гитарой.

По людскому обычаю на сороковой день после смерти я написал строки, ему посвящённые:

Наверно, ты скоро забудешь, как жил на краткой земле.
Ход времени не разбудит оборванный крик шансонье.
Несут тебе свечи по хляби.
И дождик их тушит, стуча.
На каждую свечку — по капле.
На каждую каплю — свеча.

Подобранные здесь редакцией «Дружбы народов» стихи — не обычные литературные произведения. Перед вами, дорогой читатель, куски жизни и судьбы Владимира Высоцкого. Будьте бережны и внимательны к ней.

Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Из дорожного дневника

Ожидание длилось,
а проводы были недолги.
Пожелали друзья:
«В добрый путь, чтобы всё без помех».
И четыре страны
предо мной расстелили дороги,
и четыре границы
шлагбаумы подняли вверх.
Тени голых берёз
добровольно легли под колёса,
залоснилось шоссе
и штыком заострилось вдали.
Вечный смертник — комар
разбивался у самого носа,
превращая стекло лобовое
в картину Дали.

Сколько смелых мазков
на причудливом мёртвом покрове,
Сколько серых мозгов
и комарьих раздавленных плевр!
Вот взорвался один,
до отвала напившийся крови,
Ярко-красным пятном
завершая дорожный шедевр.

И сумбурные мысли,
лениво стучавшие в темя,
всколыхнулись во мне —
ну, попробуй-ка останови.
И в машину ко мне
постучало военное время.
Я впустил это время,
замешенное на крови.
И сейчас же в кабину
глаза из бинтов заглянули
и спросили: «Куда ты?
На Запад? Вертайся назад...»
Я ответить не мог:
по обшивке царапнули пули.
Я услышал: «Ложись!
Берегись! Проскочили! Бомбят!»
И исчезло шоссе —
мой единственный верный фарватер.
Только елей стволы
без обрубленных минами крон.
Бестелесный поток
обтекал не спеша радиатор.

Я за сутки пути
не продвинулся ни на микрон.
Я уснул за рулём.
Я давно разомлел до зевоты.
Ущипнуть себя за ухо
или глаза протереть?
Вдруг в машине моей
я увидел сержанта пехоты.
«Ишь, трофейная пакость, — сказал он, —
удобно сидеть».
Мы поели с сержантом
домашних котлет и редиски.
Он опять удивился:
«Откуда такое в войну?»
Я, браток, — говорит, —
восемь дней как позавтракал в Минске.
Ну, спасибо, езжай!
Будет время, опять загляну...»
Он ушёл на Восток
со своим поредевшим отрядом.
Снова мирное время
в кабину вошло сквозь броню.
Это время глядело
единственной женщиной рядом.
И она мне сказала:
«Устал? Отдохни — я сменю».
Всё в порядке. На месте.
Мы едем к границе. Нас двое.
Тридцать лет отделяет
от только что виденных встреч.
Вот забегали щётки,
отмыли стекло лобовое.
Мы увидели знаки,
что призваны предостеречь.
Кроме редких ухабов,
ничто на войну не похоже.
Только лес молодой
да сквозь снова налипшую грязь
два огромных штыка
полоснули морозом по коже,
остриями — по мирному —
кверху, а не накреньясь.
Здесь, на трассе прямой,
мне,
не знавшему пуль,
показалось,
что и я где-то здесь
довоёвывал невдалеке.
Потому для меня
и шоссе, словно штык, заострялось,
и лохмотия свастика
болтались на этом штыке.

Мой Гамлет

Я только малость объясню в стихе,
на всё я не имею полномочий...
Я был зачат, как нужно, во грехе —
в поту и в нервах первой брачной ночи.

Да, знал я, отрываясь от земли:
чем выше мы, тем жёстче и суровой;
я шёл спокойно прямо в короли
и вёл себя наследным принцем крови.

Я знал — всё будет так, как я хочу.
И не бывал в накладе и в уроне.
Мои друзья по школе и мечу
служили мне, как их отцы — короне.

Не думал я над тем, что говорю,
и с лёгкостью слова бросал на ветер.
Мне верили и так, как главарю,
все высокопоставленные дети.

Пугались нас ночные сторожа,
как оспую, болело время нами.
Я спал на кожах, мясо ел с ножа
и злую лошадь мучал стремями.

Я знал, мне будет сказано: «Царуй!»
Клеймо на лбу мне рок с рожденья выжжет.
И я пьянел среди чеканных сбруй,
был терпелив к насилью слов и книжек.

Я улыбаться мог одним лишь ртом,
а тайный взгляд, когда он зол и горек,
умел скрывать, воспитанный шутком.
Шут мёртв теперь... «Аминь! Бедняга Йорик!»

Но отказался я от дележа
наград, добычи, славы, привилегий:
вдруг стало жаль мне мёртвого пажа...
Я объезжал зелёные побеги.

Я позабыл охотничий азарт,
возненавидел и борзых, и гончих.
Я от подранка гнал коня назад
и плетью бил загонщиков и ловчих.

Я видел: наши игры с каждым днём
всё больше походили на бесчинства.
В проточных водах по ночам, тайком
я отмывался от дневного свинства.

Я прозревал, глупея с каждым днём,
и — прозевал домашние интриги.
Не нравился мне век и люди в нём
не нравились. И я зарылся в книги.

Мой мозг, до знаний жадный, как паук,
всё постигал: недвижность и движение,
но толку нет от мыслей и наук,
когда повсюду им опровержение.

С друзьями детства перетёрлась нить.
Нить Ариадны оказалась схемой.
Я бился над словами «быть — не быть»,
как над неразрешимой дилеммой.

Но вечно, вечно плещет море бед.
В него мы стрелы мечем — в сито просо,
отсеивая призрачный ответ
от вычурного этого вопроса.

Зов предков слыша сквозь затихший гул,
пошёл на зов — сомненья крались с тылу,
груз тяжких дум наверх меня тянул,
а крылья плоти вниз влекли, в могилу.

В непрочный сплав меня спаяли дни,
едва застыв, он начал расползаться.
Я пролил кровь, как все. И, как они,
я не сумел от мести отказаться.

А мой подъём пред смертью — есть провал,
Офелия! Я тленья не приемлю.
Но я себя убийством уравнил
с тем, с кем я лёг в одну и ту же землю.

Я Гамлет, я насилье презирал.
Я наплевал на датскую корону,
но в их глазах — за трон я глотку рвал
и убивал соперника по трону.

Но гениальный всплеск похож на бред.
В рожденье смерть проглядывает косо.
А мы всё ставим каверзный ответ
и не находим нужного вопроса.

Ямщик

Я дышал синевой,
белый пар выдыхал...
Он летел, становясь облаками.
Снег скрипел подо мной,
поскрипев — затихал,
а сугробы прилечь завлекали.
И звенела тоска,
что в безрадостной песне поётся,
как ямщик замерзал
в той глухой незнакомой степи...
Усыпив,
ямщика
заморозило жёлтое солнце.
И никто не сказал:
— Шевелись, подымайся, не спи!

Я шагал по Руси —
до макушек в снегу,
полз, катился,
чтоб не провалиться.
Сохрани и спаси!
Дай веселья в пургу!
Дай не лечь, не уснуть,
не забыться.
Тот ямщик-чудодей
бросил кнут и —
куда ему деться?! —
помянул о Христе,
ошалев от заснеженных вёрст.
Он, хлеща лошадей,
мог бы этим немного
согреться...
Ну, а он в доброте их жалел,
и не бил, и замёрз.

Отраженье свое
увидал в полынье —
и взяла меня оторопь: в пору б
оборвать житие,
я по грудь во вранье!
Выпить штоф напоследок —
и в прорубь.
Хоть душа пропита —
ей там, голой, не выдержать
стужу.

В прорубь надо да в омут,
но — сам, а не руки сложа.
Пар валит изо рта...
Эх, душа моя рвётся наружу!
Выйдет вся — схороните,
зарежусь — снимите с ножа.

Снег кружит над землёй, над страной моей.
Мягко стелет, в запой
зазывает...
Ах, ямщик удалой!
Пьёт и хлещет коней!
А не пьяный ямщик замерзает...

* * *

Сначала было слово
печали и тоски.
Рождалась в муках творчества планета,
рвались от суши в никуда
огромные куски
и островами становились где-то.

И, странствуя по свету,
без фрахта и без флага,
сквозь миллионолетья, эпохи и века,
менял свой облик остров,
отшельник и бродяга,
но сохранял природу и дух материка.

Сначала было слово,
но кончились слова.
Уже матросы землю заселяли,
и ринулись они по сходням
вверх на острова,
для красоты назвав их кораблями.

Но цепко держит берег,
надёжней мёртвой хватки,
и острова вернутся назад наверняка.
На них царят морские,
особые порядки,
на них хранят законы и честь материка.

Простит ли нас наука
за эту параллель,
за вольность толкований и теорий?
А если уж сначала было
слово на земле,
то это, безусловно, слово «море»!

* * *

И снизу лёд, и сверху — маюсь между,
пробить ли верх иль пробуравить низ?
Конечно, всплыть и не терять надежды,
а там за дело в ожиданье виз.

Лёд надо мною — надломись и тресни!
Я весь в поту, как пахарь от сохи.
Вернусь к тебе, как корабли из песни,
всё помня, даже старые стихи.

Мне меньше полувека — сорок с лишним,
я жив,
двенадцать лет тобой и господом храним.
Мне есть что спеть, представ перед всевышним,
мне есть чем оправдаться перед ним...

Июнь 1980

*Публикация Марины ВЛАДИ
«ДН», 1982, № 1*

Владимир Гандельсман

Выемки и выкладки

* * *

Статья о Мандельштаме и Бродском — «Оси координат».

* * *

Есть религиозный и атеистический пути в искусстве. Им соответствуют: смирение и бунт. Смирение принимает тот язык, который есть. Религиозный человек принимает мир, сотворенный не им — Богом. Каков бы он ни был. Бунт создает свой язык. Никакого Бога. Всё делаем заново.

* * *

Если ты стучишься в дом, никогда не войдёшь. Потому что там никого, кроме тебя, нет, а ты из-за стука не услышишь.

Два вывода: 1. В дверь стучаться — в дом не войти. 2. Войти в дом можно, только открыв дверь.

* * *

Крохотный городок. Сельмаг. Церковь в основном на замке. Кладбище, на котором покоится много больше людей, чем живёт вокруг. Матч выигран с большим перевесом.

* * *

Смущённое свидание с девушкой в фетовском «Зное» заканчивается строфой:

И как будто истомю жадной
Нас весна на припёке прожгла,
Только в той вон аллее прохладной
Средь полудня вечерняя мгла...

Из ничего сделано всё. (Мгновенно вспоминается из Георгия Иванова: «Только в мутном пролёте вокзала, / мимолётная люстра зажглась...»)

Вообще — существенность его концовок. Как в «Упрёком, жалостью внушённым...»:

О, я блажен среди страданий!
Как рад, себя и мир забыв,
Я подступающих рыданий
Горячий сдерживать прилив!

И ещё в пандан к словам «в той вон аллее» в другом стихотворении Фета:

Ласточки пропали,
А вчера зарёй
Всё грачи летали
Да как сеть мелькали
Вон над той горой.

Это указание потом поддержит Набоков: «...Запомнишь вон ласточку ту?»

Вечности указывают, где она должна быть: здесь и сейчас — над *той* горой и в *этой* ласточке.

* * *

Женщина после смерти любимого (и известного) мужа, лет через 20, в интервью: «Лишний кусок жизни остался».

* * *

Ноев ковчег — больной зуб.

* * *

Бывает, моешь посуду, а она не кончается.

* * *

Я думаю, простая гениальность Пушкина недоступна не только школьникам, но и неопытному взрослому читателю. Школьников мучают образами Татьяны, Ленского, рассказывают, что Онегин нехороший человек и т.д., а потом школьник становится тем самым «неопытным взрослым».

Говорить надо о самих стихах.

Объяснить, почему так прекрасна пушкинская речь, невозможно, но то и дело я предпринимаю рациональные попытки это сделать. Вот из «Онегина»:

И так они старели оба.
И отворились наконец
Перед супругом двери гроба,
И новый он приял венец.
Он умер в час перед обедом,
Оплаканный своим соседом,
Детьми и верною женой
Чистосердечней, чем иной.
Он был простой и добрый барин,
И там, где прах его лежит,
Надгробный памятник гласит:
Смиренный грешник, Дмитрий Ларин,
Господний раб и бригадир
Под камнем сим вкушает мир.

Ясный покой, ровно длящийся. Какая-то целомудренная невозмутимость. Звук же не просто безукоризненный, нигде не выпирающий, но интуитивно мастерский.

Обратите внимание на третью строку от конца «Смиренный грешник, Дмитрий Ларин», на то, как этот «надгробный памятник» стоит на четырёх «р». Не стоит, а покоится. То же происходит с третьей строкой от начала: «Перед супругом двери гроба» — те же четыре «р». Нет, это не сознательный приём, не умышленная игра в симметрию. Это гениальный слух, и это стихи, запоминающиеся с первого прочтения.

* * *

Особенная тоска в городах проездом.

Местные — как они живут? Туристу их жизнь представляется завершённой и даже конченной, поскольку расписана и разлинована в соответствии с жизнью их родни, с самым чертежом города, режимом учреждений и транспорта, тогда как у твоей нет здесь ничего предначертанного (судьбы). А что есть? Неизвестное и «чарующее» продолжение.

Та же ошибка восприятия у аборигена: турист — что за бессмыслица этот скучающий господин, учащённо заглядывающий в кафе, глазеющий на витрины и зевающий на достопримечательности, или уже сытый и влачащийся ко сну?

Хорошо, если в таком восприятии преобладает жалость, а не презрение.

Причина ошибки? Отсутствие энергии, рассредоточенность, желание во что бы то ни стало удержаться на поверхности заведенного порядка общения. Нецелостное, фрагментарное существование, небрежность «чтения». Беглый раб самого себя, никогда не обретающий свободы. Пусть не грех, но он несомненная погрешность, которая есть залог прижизненной маленькой и добровольной смерти. «Заграница — маленькая смерть».

* * *

Концовка пастернаковского «Лета»:

И это ли происки Мери-арфистки,
Что рока игрою ей под руки лёг,
И арфой шумит ураган аравийский,
Бессмертья, быть может, последний залог.

В гениальных стихах звук опережает смысл, и опережает так, что смысл углубляется, не зная об этом.

Мандельштам услышал прежде всего звук, когда мимолётно, увидев в гостях книжку, прочитал эту концовку и воскликнул: «Гениальные стихи!» Он никак не мог знать тех смыслов, которые обнаружили потом исследователи. (Например, что Мери — это Зина, жена Нейгауза, которая из пианистки превратилась почему-то в арфистку... Почему? Потому что надвигался ураган аравийский, шумящий арфой. Действительно, чем еще шуметь урагану?)

Как только Пастернак вышел из звука, так сразу всё поблёкло в строке «бессмертья, быть может, последний залог».

Характерная черта Бориса Леонидовича в записи о поэме Маяковского «Человек» в исполнении автора: «Вещь необыкновенной глубины и приподнятой вдохновенности». Мало просто вдохновенности, ему подавай тавтологичное усиление: приподнятую вдохновенность. Но он знал, что говорил.

* * *

У неё безвкусная фигура, но развитое обаяние.

* * *

Женщина в мобильник: «Дыни пока в горшке, не знаю, пересаживать в землю или рано... А огурцы в этом году такие масенькие-масенькие...»

* * *

Всю свою читательскую жизнь возвращаюсь к Фолкнеру. И всякий раз поражаюсь. Откуда ощущение, что это происходит в вечности? Оно возникает почти мгновенно,

с первой страницы. Мифологичность человеческой жизни. Её нетленное протяжение во времени. Как если бы речь шла о каких-то богах, хотя это самые простые люди.

Фолкнер переживает жизнь как что-то абсолютно значительное.

* * *

Борис Годунов после известия, что в Кракове появился самозванец, и разговора с Шуйским, в котором он хочет увериться, что Дмитрий был воистину убит (ему ли не знать?!), произносит монолог:

Ух, тяжело!.. дай дух переведу...
 Я чувствовал: вся кровь моя в лицо
 Мне кинулась — и тяжко опускалась...
 Так вот зачем тринадцать лет мне сряду
 Всё снилось убитое дитя!
 Да, да — вот что! теперь я понимаю.
 Но кто же он, мой грозный супостат?
 Кто на меня? Пустое имя, тень —
 Ужели тень сорвёт с меня порфиру,
 Иль звук лишит детей моих наследства?
 Безумец я! чего ж я испугался?
 На призрак сей подуй — и нет его.
 Так решено: не окажу я страха, —
 Но презирать не должно ничего...
 Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!

(Обращает ли внимание читатель на строки «вся кровь моя в лицо /мне кинулась — и тяжко опускалась...»?)

Этот монолог — одно из свидетельств того, как гениально Пушкин усвоил уроки Шекспира. Явление призрака, напоминающее явление Банко на пиру в «Макбете»... И весь строй монолога, и рифмованная концовка, как это бывает у Шекспира для выражения сильной эмоции.

Другой пример — сцена Самозванца и Марины Мнишек (чудесно, что в сцене дважды звучит её фамилия в преображенном виде: «Не мнишь ли ты...» — сначала этот оборот употребляет Марина, а затем Самозванец). Марину интересует Самозванец только в том случае, если он истинный царевич Дмитрий и сын Ивана Грозного. Сколько драматических поворотов на трех страницах! Признание Самозванца, что он не Дмитрий, отчаяние Марины и её угроза выдать его, затем резкий поворот Самозванца от любви к «Не мнишь ли ты, что я тебя боюсь?» И вновь надежда Марины на то, что трон будет у него, пусть он не истинный наследник престола...

Двойственная глубина сцены ещё и в том, что Марина не может знать точно, кто он. А если он проверял её любовь и хотел вызнать, будет ли она любить в нём просто человека, а не Дмитрия?.. Нет, не будет.

Здесь Марина напоминает леди Макбет, для которой главное — захват мужем королевской власти.

Не знаю, указывал ли кто-нибудь на любопытный факт: «Макбет» писался между 1603 и 1606 годами, и это время — время действия в трагедии Пушкина, соответствующее историческим событиям.

* * *

О Гоголе написаны тома, и эта писанина никогда не кончится, потому что разгадать его невозможно. Я предлагаю краткую и романтическую разгадку. Причём не только Гоголя.

Она — в «Портрете», в сцене, когда художник Чартков, замороженный и напуганный живыми глазами, глядящими на него с портрета, засыпает, а затем трижды

просыпается из одного страшного сна в другой, пока, наконец, не просыпается окончательно и не обнаруживает в портрете клад — свёрток с 1000 червонных. Они ему снились в вешем сне.

(В одном из тех снов, где время идёт в обратном направлении, — он видит то, что ему ещё предстоит увидеть наяву, — то есть энтропия, необратимое рассеяние энергии, уменьшается; однако события, уменьшающие энтропию, как было показано когда-то в мысленном эксперименте итальянского физика Макконе, не оставляют информационных следов, а значит, их невозможно изучать; добавлю от себя: сон таких следов не оставляет).

Вот так миру снится Гоголь, пока мир с какого-то раза не просыпается окончательно и не обнаруживает, что это — литературное сокровище, свалившееся на него с неба. Энтропия благодаря такому сокровищу уменьшилась. Но мир, подобно Чарткову, пускается в дешёвый разврат, наполняясь чичиковыми и прочими плюшкиными, и гибнет. Распад берёт реванш.

В отличие от единичного случая Чарткова, случай так называемого мира — многократный: мир периодически воскресает, приходит в себя, затем ему снова снится Гоголь и т. д.

Разгадка в том, что ни Гоголя, ни мира на самом деле нет, поскольку нет окончательного пробуждения.

А вот и заключительное предложение «Портрета», когда после долгой речи сына художника на аукционе, из которой выясняется, что это портрет ростовщика из Коломны, дьявола, а не человека, что портрет по праву должен принадлежать ему, сыну художника, что отец просил перед смертью это дьявольское изображение уничтожить, — портрет исчезает:

«И долго все присутствовавшие оставались в недоумении, не зная, действительно ли они видели эти необыкновенные глаза или это была просто мечта, представшая только на миг глазам их, утруждённым долгим рассматриванием старинных картин».

* * *

Заезженная пластинка: «Писать стихи после Освенцима — варварство, и это подтачивает и само осознание того, почему сегодня невозможно писать стихи». Из этого высказывания Адорно следует, что уйма писавших и пишущих после Освенцима поэтов — варвары. Но ведь так и есть. На то они и варвары, чтобы не останавливаться в своих стремлениях.

Всё же надо уточнить: речь о плохих поэтах, а поскольку плохой поэт не поэт, а графоман, постольку речь о графоманах (варварах).

Поэты бывают только великие, и для них Освенцим никогда не прекращается. На их стихах — всегда печать трагедии. И тут мнение Адорно вздорно (прошу прощения, рифмовать не собирался). Стихи писать возможно. Каждый невинно убитый — освенцим, и каждое стихотворение это помнит. Оно есть покаяние и искупление вины тех, кто не помнит.

Замечательное стихотворение Ахматовой:

Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит.
Крапиве, чертополоху
Украсить её предстоит.
И только могильщики лихо
Работают, дело не ждёт.
И тихо, так, Господи, тихо,
Что слышно, как время идёт.
А после она выплывает,
Как труп на весенней реке,

Но матери сын не узнает,
И внук отвернётся в тоске.
И клонятся головы ниже.
Как маятник, ходит луна.
Так вот — над погибшим Парижем
Такая теперь тишина.

Эти стихи — покаяние и искупление вины сына, не узнающего свою мать (погребённую эпоху), и внука, отвернувшегося в тоске. Они не хотят помнить. Они варвары.

Трагизм подчёркнут очевидной аллюзией на трагедию «Гамлет», на утопившуюся и плывущую по реке во многих стихах и на многих картинах Офелию. А раз уж Ахматова говорит о погибшем Париже, то мы неизбежно и прежде всего вспомним строки из «Офелии» Рембо: «По сумрачной реке уже тысячелетье/ плывёт Офелия, подобная цветку...»

Есть память разума, но человек легко его теряет, и для этого не обязательно сходить с ума, и есть память сердца, которое имеет обыкновение охладевать и черстветь.

Поэт по определению не может очерстветь сердцем и утратить память. Батюшков: «О, память сердца! Ты сильнее / рассудка памяти печальной...» (Добавим с грустной иронией: поэт, потерявший на склоне лет рассудок, знал, что говорил.)

Как огромная бойня — напоминание о каждодневной трагедии, так и великий поэт — обострённый случай человека и напоминание, что можно не потерять, не очерстветь и не утратить...

Мне хочется закончить не так пышно, но простой биографической справкой: Ахматова — Анна Горенко, родилась в Одессе.

* * *

Бродский: «Смерть — это то, что бывает с другими».

Фолкнер в «Шуме и ярости»: «Девственность ведь выдумка мужская, а не женская. Это как смерть, говорит, — перемена, осязаемая лишь для других...» (Это говорит отец Квентина.)

Джузеппе Томази ди Лампедуза. Князь, герой его романа «Леопард», говорит молодому племяннику Танкреди: «Смерть — это то, что случается только с другими».

* * *

Одна шестая часть чуши.

* * *

Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!
Я нынче славным бесом обуян,
Как будто в корень голову шампунем
Мне вымыл парикмахер Франсуа.

Почему на вопрос Липкина (или Тарковского?): не написать ли «парикмахер Антуан», — Мандельштам обвинил его в отсутствии слуха? Было бы слишком гладко зарифмовано? В «Франсуа» рифма звучит не в упор, но — располагаясь на благородном расстоянии?.. И тут меня осенило!

Вот что написано в книге воспоминаний «Господин Пруст» Селесты Альбаре:

«Часто я видела, как он в постели занимался ногтями, и с какой тщательностью! Но зато сам он никогда не брился, а если не выходил из дома и никого не ждал, так и оставался небритым. Но когда ему нужно было куда-нибудь идти, я быстро бежала к г-ну Франсуа, неподалеку, на бульваре Малерб. Он, наверное, ходил еще к отцу

г-на Пруста. Г-н Франсуа сразу же являлся, это было всегда вечером; весь набор его инструментов — ножницы, кисточки, щетки и бритвы, — так и лежал у нас на бульваре Османн».

Мандельштам просто не представлял себе другого имени для парикмахера.

* * *

Женщина, потерявшая рассудок (как теперь говорят: деменция) помнит не больше трёх-четырёх фраз, которые всё время повторяет. Подходит к зеркалу, видит своё отражение и произносит одну из них: «Ты меня любишь?»

* * *

У Набокова в рассказе «Порт»:

«Попался навстречу негр в колониальной форме, — лицо как мокрая галоша», — это расизм по нынешним меркам. Неужели Набоков ещё не запрещён в Штатах?

А вот, скажем, так: «Вошёл англичанин с лицом как бледная поганка», — совсем другое дело.

* * *

Абсолютная оригинальность Набокова, если не причислять его к детективщикам, в том, что читатель для него соперник, которого он хочет перехитрить. Как в шахматах, до которых он был большой охотник.

Всегда есть шах, и за ним следует мат. Допустим, в рассказе «Удар крыла» мат — это смерть Изабель. Но до этого есть шах: опьянение Керна, его сон с заходом в комнату Изабель, прилёт ангела и удар крыла, предупреждающий её смертельный полёт на лыжах на следующий день.

В рассказе «Месть» — ложное подозрение мужа-профессора, что жена ему изменяет (в шахматах такое недоразумение называется зевком). Мститель подкладывает в её постель скелет горбуна, что приводит к смерти жены от испуга (профессор-биолог привёз его для университетской коллекции). Мат. Трагикомическая история с кукольным финалом. Напоминает увлечение Набокова закалывать бабочек.

Рассказ «Случайность» — невстреча в поезде из-за набора зевков-случайностей двух поневоле разлучённых, и как результат — самоубийство Алексея Лужина. Мат.

То же и во многих других его трудах. Всегда есть обманный ход, ловушка. И очень часто Набоков заигрывается и «ставит мат» уже не в естественной «шахматной партии», а в «шахматной задачке»...

Ситуация в повествовании из жизненной и живой превращается в мёртвую и придуманную. Ситуация — да, но проза — нет.

* * *

Жизнь дана человеку, чтобы привести себя в порядок.

* * *

В России нет культуры невмешательства в личную жизнь собеседника, кем бы он ни приходился тому, кто совершает вторжение. Вторжение — это агрессия, которая легко переходит в агрессию не такую безобидную, как спор, сплетня и проч., но в агрессию настоящую: в драку, в войну... Русские недоумевают за рубежом, глядя на иностранцев: они скучные, сидят по домам, говорят о ерунде... А они просто не вмешиваются в жизнь соседа, зная: «скучный» мир лучше «веселой» распри. Закрытый, трезвый быт и регламент в дружеских отношениях лучше открытых душевных объятий и братаний, влекущих за собой чёрт знает что.

* * *

Унизительно, когда вас ставят на колени (в прямом или переносном смысле, не важно) и диктуют свои условия, для вас непотребные. Но главное унижение состоит в том, что вы обращаетесь к высшим силам только тогда, когда вас принудили к ним обратиться, лишив связи со всем материальным миром, что вас ткнули мордой в это, и вы насильственно поняли, что высшие эти силы существуют, в то время как связь с ними должна быть непрерывно переживаема, потому что она есть.

* * *

Личная жизнь доводит до личной смерти.

* * *

Оден говорил, что верлибр — это игра в теннис без сетки. Предполагал ли он вариант игры не только без сетки, но и без мяча? Что есть, наконец, игры без зрителей?

* * *

Отсутствие таланта как приём. Можно сделать из этого отсутствия литературу. Изначально безграмотные стали писать неграмотно, делая вид, что это приём. Пустота как приём. Бесчувственность как приём. Культурность как приём.

* * *

Он тот, кто чувствует себя лучше, когда выходит из храма, а не входит в него. То же и с храмом искусств.

* * *

Хочешь вызвать к себе ненависть человека — облагодетельствуй его.

* * *

Чувство собственной правоты — спасительный ход обделённых.

* * *

В интернете рядом со статьёй «Благовещение» горит реклама: «Как увеличить член на 10 см. Доказано!»

* * *

Страшно, когда взрослый человек прибавляет в росте.

* * *

Она ненавидела всех, кто любил не её.

* * *

Режиссёр завершил свое выступление на съезде кинематографистов словами: «Я счастлив и свободен, чего и вам желаю!» Так может сказать только глубоко несчастный человек. Разве счастливый станет объявлять миру о том, что он счастлив, а тем более говорить нечто, подразумевая совсем другое. В данном случае: «Смотрите, меня ничего не берёт, я неуязвим. Завидуйте мне, победителю». Завидовать нечему. Счастья у него нет, потому что он никогда не был первым и лучшим. Неистребимая боль, тяжёлая зависть, злоба и ненависть. Он и выглядит как загримированный мертвец. С ляжкой лица.

Вот оно, это лицо, склонённое набок, и эти глаза, скошенные на лацкан своего пиджака, когда к нему прикрепляют орден.

Короче говоря, лицо человека предъявляет ему лицевой счет.

* * *

Когда о ком-то говорят в превосходной степени, чаще хотят не столько его возвысить, сколько принизить остальных. Все конкурсы и соревнования созданы именно для этого. Как можно быть организатором этого «бега в мешках»? Как можно быть членом жюри?

* * *

Культура — красивая жизнь смерти.

* * *

Заурядная доброта — разновидность равнодушия. Не зря говорят: раздобрел. (Ходасевич: «А маленькую доброту, как шляпу, оставляй в прихожей...»)

* * *

Подсознание у всех одинаково, так что нечего делать из него искусство.

* * *

Если бы я не осветил Т. светом её любви ко мне, она так бы и жила в медленном потускнении своих недоразвившихся начал.

* * *

Репортёр из Москвы, затянутой дымом: «Люди выходят из дому только по большой нужде».

* * *

Во фразе из «Подростка» — «Улыбка была до того добрая, что, видимо, была преднамеренная» — весь Ф. М. Д.

Человек Достоевского? Бездарный скрипач, воображающий себя гением. Спивается. Но главное: он хочет оставаться бедным и несчастным, чтобы у него было оправдание его непотребной жизни.

* * *

В жизни интересно только начало.

* * *

Блистательность — признак слабости.

* * *

О детях необходимо забыть, чтобы облегчить их участь.

* * *

Людей к старости начинает пугать их забывчивость. По-моему, надо радоваться.

* * *

Хороший человек вызывает подозрение.

* * *

Прикосновение большинства писателей к восточным философиям и практикам немедленно превращает их в кучу дерьма.

* * *

Залог долгожительства — умение унижаться и быть морально подвижным.

* * *

Игра на понижение (в прозе Л. и многих других) не имеет предела, поскольку нет предела человеческой низости. Это всегда игра провинциала (не по месту рождения, но по его духовному происхождению), словно бы рождённому не в любви, а в слякоти. Каждый его шаг — шаг в собственное ничтожество, признание в котором он считает страдательным подвигом. Чувство его превосходства над другими основано на подозрении, что любой другой точно такое же ничтожество, но он не имеет мужества грязного исповедания. На самом деле это мстительная зависть к тем, кто подобных склонностей не имеет.

* * *

Если человек внутренне, в душе своей, ничем не занят, это непременно обернётся агрессией. Любое внешнее проявление человека — агрессия.

* * *

Прочитал страниц десять книжки о романе «Евгений Онегин».

Ни слова о стихах, всё о тайных сексуальных смыслах, недоступных читателю. Написано языком лакея, презирающего господ, которые судят о романе. Некто, затесавшийся в компанию Набокова, Лотмана и пр. и то и дело дергающий их за полы: «Вы, конечно, гении, не то слово, но вот ведь не заметили ни того, ни этого, ай-яй-яй, нехорошо-то как получилось!»

На кухне плюнул в тарелку с едой, а потом вынес посетителю: кушайте! Отошёл за кулису, похохатывает в кулачок...

Заглянул на последнюю страницу, чтобы убедиться в том, что суть лакейская — пошлость. И мгновенно убедился. Отбросив фиглярский тон, автор в самом конце совершенно серьёзно сообщает: «Страшно подумать, сколько миллиардов накрыла тьма, а гений сияет, не меркнет. Над непроницаемой мглой сияют только вершины».

* * *

Журналист говорил умные вещи. Но по тому, как он сидел, было ясно: идиот.

* * *

Наблюдение: каждому удаётся прожить дольше кого-то.

* * *

Я бы катапультировался. Но некуда. Всюду люди.

Анна Воропаева

Дальний Восток: стирая границы

Если на школьной доске начертить разноцветными мелками несколько параллельных линий, а потом провести по ним ладонью, останутся ли линии прежними? Если несколько национальностей поселить на одной земле на продолжительный период времени, что из этого получится?

Дальний Восток — огромная территория, которая занимает около 40% площади нашей страны. Можно бесконечно восхищаться нашими богатыми природными ресурсами, величественно-опасными вулканами Камчатки, сверкающими алмазами Якутии или загадочным северным сиянием на Чукотке, но то, что делает Дальний Восток по-настоящему богатым — это люди.

Якуты, буряты, нанайцы, коряки, чукчи, эскимосы и другие коренные народности, а также татары, корейцы, евреи, украинцы, китайцы и, конечно же, русские, все мы — жители Дальнего Востока, и у каждого из нас — своя история жизни в этом разнообразном по культурным обычаям регионе, на Дальнем Востоке, в краю, где я родилась, выросла и куда вернулась после многих лет скитаний по чужеземным странам.

Миллионка

В центре Владивостока есть кирпичное трехэтажное здание, построенное в виде колодца, с тусклым двором внутри. Приморские художники разрисовали его фасад в память о давних временах, когда в Миллионке бурлила жизнь. В XIX веке она представляла собой скопление фанз, в которых, набившись, как сельди в бочке, в нищенских и антисанитарных условиях жили работяги-китайцы. На территории Миллионки процветали опиумные притоны, бордели и игорные дома. Она была пристанищем азиатской мафиозной группировки хунхузов. Этаким трущобный чайна-таун, или, если угодно, владивостокская Хитровка, куда можно было зайти и больше никогда оттуда не выйти... Городские власти упорно пытались выселить китайцев с захваченного ими места, но, несмотря на постановления думы, усилия чинов полиции и даже указания генерал-губернатора, сделать это не удалось. Миллионка, названная от вроде бы «миллиона» китайцев (хотя жили в ней и корейцы,

Воропаева Анна Владимировна — китаистка. Родилась во Владивостоке в 1983 году, окончила факультет востоковедения ДВГТУ по специальности переводчик китайского языка и магистратуру Университета иностранных языков в китайском городе Далянь. Более 10 лет прожила в Китае. В настоящее время живет во Владивостоке, работает переводчиком и преподавателем китайского языка, занимается научной работой.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2022, № 6.

и японцы, и греки, и малоимущие русские, и вообще бог знает кто), оставалась на месте.

Надо отдать должное советской власти, она вытащила-таки «миллионную занозу». Все, что осталось от Миллионки в современном Владивостоке, — это то самое разрисованное здание, рядом с которым теперь располагается высоkokлассный ресторан под названием «Миллионка». По теперь уже вполне уютным подворотням «владивостокского Арбата» с кафешками и магазинчиками проводятся экскурсии.

Но это дела давно минувших дней, я же хочу рассказать о том, что видела и знаю сама.

Кому в Приморье жить нелегко

Когда я вспоминаю детство, перед глазами всплывает картинка, как в девяностых мы с мамой ходили на китайский базар покупать дешевые вещи. Помнится, тогда наши еще бедные соседи-китайцы хлынули мощным потоком на заработки в Приморский край, заполонив крытые синим брезентом лавки разноцветными «леггинсами» (так у нас тогда называли нынешние лосины) и непромокаемыми белыми «мойками», которые носили все поголовно, считая некачественную китайскую обувь шиком.

Прошло уже около тридцати лет, а китайский рынок на Спортивке¹, как прозвали владивостокский чайна-таун местные жители, до сих пор существует. Только теперь кроме китайцев здесь обосновались еще и вьетнамцы, узбеки, таджики — иностранные граждане, которые решились приехать в наши далекие земли из дружественных стран Средней Азии. Такой вот вполне себе восточный базар.

Базар... Место, где взаимодействуют, смешиваются, сливаются культуры, традиции и обычаи. У каждого тут свое строго отведенное место под навесом. В закутке, гордо зовущемся «Салон красоты», вьетнамцы делают маникюр и новомодные стрижки. Не всегда, правда, получается ровно, зато живенько и по вполне демократичной цене. Тут же, в двух шагах от «салона», рыбный ряд, которым, кстати, заведуют русские. А вот мясной халаль и фрукты взяли на себя граждане Узбекистана.

Китайцы же в основном держат магазины одежды и бытовой техники. Кстати, с момента введения санкций и ухода с российского рынка известных иностранных брендов на китайском рынке... ничего не изменилось. Тут тебе и Nike, и Adidas, и Louis Vuitton с Versace — остается только выбирать, гордым обладателем какого бренда ты себя ощущаешь.

Ну, а изюминкой рынка на «Спортивной» является, конечно же, китайская кухня. Яркие вывески манят избалованных приморских гурманов.

«Добрыня и Аня» — самая горячая точка китайского питания. Пока остальные рестораны привлекают клиентов шутками да прибаутками, в открытые нараспашку двери «Добрыни и Ани» люди текут рекой. А все оттого, что хозяйка заведения знает секретный ингредиент, который кладется не в блюда (хотя я уверена, что и у ее повара тоже есть свои «примочки»), а в людские сердца. Каждый, чья нога ступает во владения хозяйки Ани, чувствует себя особенным. Улыбчивая китаянка с бизнес-хитрецей в глазах помнит каждого, кто к ней хоть раз заходил. Смекалистая лаобаньян² умудряется держать в голове не только имена своих клиентов (большинство которых, по мнению многих китайцев, на одно лицо, как и для некоторых русских все азиаты), но и их истории, вплоть до их увлечений, родственников, недугов и даже недугов их родственников.

¹ Рынок называется Спортивный, в обиходе Спортивка, по расположенной рядом автобусной остановке «Спортивная», которая, в свою очередь, была названа в честь стадиона, на котором теперь и находится сам рынок.

² Хозяйка, владелица (*кит.*).

— Сколько лет, сколько зим! — радостно приветствовала меня Аня на практически уже безукоризненном русском языке. — Отлично выглядишь!

— Да что ты, время бежит, — улыбнулась я в ответ.

Надо признаться, в последний раз я захаживала в это местечко с полным набором всех возможных вредных, но вкусных жиров и калорий несколько лет назад и уж точно не ожидала, что приветливая лаобаньян меня вспомнит. Но, как оказалось:

— Правда! Ты так красиво зубы сделала, — ничуть не смущаясь, тут же доказала свою хорошую память Аня. — Раньше у тебя была дырка между зубами. — И, вздохнув, добавила: — Ах, и мне бы своими заняться, — без стеснения демонстрируя свои кривенькие зубы.

— Ты тоже прекрасно выглядишь! — подключилась моя сестра. — Столько лет прошло, а ты совсем не изменилась. Прическа у тебя — класс!

— Да это я просто сегодня голову вымыла, — кокетливо ответила Аня, легким движением поправляя начес.

Я улыбнулась всеми своими новыми зубами — вполне себе разговор по китайским душам.

Базар много лет жил своей межнациональной жизнью, говорил с разными акцентами русского языка, пока кому-то из наших уважаемых чиновников не пришла в голову светлая мысль, что у братьев наших китайских жизнь слишком уж «мёдом кажется». И тут же состряпали закон о том, что отныне китаец не может быть сам себе и продавцом, и лаобанем¹ в одном лице и обслуживать русских покупателей на чайна-русском диалекте. Закон гласил: даешь русского продавца! Никаких азиатских лиц на переднем плане!

Китайцы затылки почесали, убытки посчитали, да продавцов русскоязычных понабрали.

Ох уж этот русский язык! На какие только ухищрения не идут прибывшие на российскую землю иностранцы, чтобы получить сертификат о должном уровне знания великого и могучего. Узбеки пошли дальше всех и открыли «курсы русского языка». Почему в кавычках? Потому что курсы-то ненастоящие! А столкнулись мы с этими самыми курсами, когда моему тогдашнему молодому человеку Сене, китайцу по происхождению, понадобилась рабочая виза.

Сделать такую визу для китайца самому — задача почти невыполнимая. Хотя наши державы в последнее время по телевизору и демонстрируют крепкую дружбу и волю к сотрудничеству, на деле все выглядит немного по-другому. Дружить и сотрудничать легко получается разве что у хороших инвесторов и монополистов. А у простого люда выбор невелик. Тут либо выкладываешь кругленькую сумму и берешь все риски на себя, «если вдруг что», либо, если этой суммы нет и риски брать на себя все же не хочется, проходишь несколько кругов ада, имя которому — иммиграционная служба.

Иммиграционная служба города Владивостока — внешне ничем не примечательное двухэтажное здание в центре города. Но то, что это иммиграционная служба, становится ясно сразу, даже если ты в этом месте впервые, — по веренице граждан Средней и Восточной Азии, растянувшейся на несколько километров вдоль дороги.

И тут надо отдать должное узбекам, есть у них с китайцами что-то общее, умеют они деньги зарабатывать, в отличие от нас, русских. Народ в очередях стоит не по одному часу, и есть хочется всем. И вот они, через дорогу — шаверма с самсой и горячим чаем «У Фаруха».

А напротив иммиграционной службы, в соседнем здании, есть комнатка два на два метра, с самым важным для визы агрегатом — принтером. Тоже бизнес, открытый

¹ Хозяин, босс (*кит.*).

гражданами солнечного Узбекистана. По моему скромному разумению, иммиграционная служба ведет скрытую борьбу с решившимися приехать в Россию на заработки иностранцами. А с самой иммиграционной службой ведет борьбу устарелая система зависающих компьютеров и нехватки кадров.

Как бы ты ни уточнял список документов, как бы ни пытался заполнить все необходимые формы правильно, зайдя в душное, благоухающее арабским парфюмом здание и отстояв огромную очередь, будь уверен, что строгая тетя за письменным столом обязательно развернет тебя за какими-нибудь дополнительными копиями какой-нибудь очень важной бумаги, например, свидетельства о сдаче экзамена на знание русского языка. И вот ты, измочаленный, почти потерявший надежду на продление визы и уже мысленно готовящийся к депортации, выбираешься из этой геенны огненной (потому что летом в помещении невыносимо жарко), а напротив большими буквами: «Копировальные работы у Навруза». Чем не дар божий?

Но вернемся к русскому языку и курсам. Сеня тогда по-русски говорил на уровне «знаю буквы». Как тут визу получить? Пришли мы в такой вот центр по обучению русскому языку («обучают» ему там, заметьте, представители Узбекистана). Сеня промямлил по-русски «сдастуйте», узбек, мгновенно поняв всю плачевность нашей ситуации, назвал некую сумму, сунул Сене бумажку с текстом, велел идти в угол, сесть на стул и тренироваться. Спустя два часа тренировки видео с записью Сениного «выступления» было отправлено в нужные для выдачи свидетельства органы.

Нелегко приходится у нас иностранцам, но они удивительным образом всегда находят лазейки и подстраиваются под наши строгие законы. Как говорится, крутятся и выживают.

К слову о «крутятся и выживают». Есть у нас одна знакомая семья китайцев. Приехали они в те же суровые девяностые. Аня и Ваня — так на русский лад звали супружескую пару. «Опять Аня? — скажете вы. — Совпадение?» Нет, за этим кроется другая история.

Представьте себе картину: в малюсеньком синем контейнере ютятся несколько кособоких столиков, сколоченных на скорую руку, стены обклеены дешевой пленкой с видами водопадов, а в углу — корзина с искусственными цветами. Не хоромы, но отобедать можно. Сама кухонька — пристройка два на два метра, из которой через прорезанное в контейнере окошко время от времени, как по волшебству, появляются руки повара с огромными порциями вкусно пахнущих блюд. Ни тебе воды, ни электричества, ни туалета. Это было самое первое кафе китайской кухни на Спортивке. И называлось оно «Добрыня и Аня».

Именно жена Вани и была первой лаобанян, которой достало смелости открыть подобное заведение, каким-то неисповедимым образом умудрившись совладать с нашими госструктурами и договориться с уважаемыми органами поборов суровых девяностых. Как хрупкой и миловидной китаянке это удалось, известно разве что иностранным гражданам из Средней Азии.

Но факт остается фактом: ресторан китайской кухни, похорошев, процветает по сей день, веселые кунички¹ зазывают прохожих, обещая «вкусно, дешево, большие порции, потому что ты моя подлуга», а из открытых нараспашку дверей вздыхает Григорий Лепс с рюмкой водки на столе и обещает «всё для тебя» любимец всех женщин Стас Михайлов.

Ваня пошел по более сложному пути, подавшись в преподаватели специализированной школы с углубленным изучением китайского языка. Позже выяснилось, что представление о преподавании китайского языка русским детям было

¹ Девушка (*кит.*). Куня — привычное обращение приморцев к китаянке, ошибочно кем-то воспроизведенное и вошедшее в обиход. Куничка — уменьшительно-ласкательное обращение.

у него довольно расплывчатым. Наши русские ребяташки сразу Ваню раскусили, и проявленные им по отношению к ним альтруизм и гуманность ничуть не оценили. Не привыкший к отсутствию дисциплины Ваня учителем был тихим, по-русски говорил плохо. Ни тебе четко поставленного командирского голоса, ни ругательств, ни метания мела через весь класс, и даже ни разу — указкой по столу.

Дело в том, что в Китае преподавание зиждется на трех китах: учитель — закон, у детей с утра до ночи зубрежка, родители права голоса не имеют. Все просто, организовано и с жесткой дисциплиной. С утра — хором гимн Китайской Народной Республики на спортивной площадке, зарядка, и не дай тебе бог забыть красный галстук — отправят восвояси с позором в назидание другим.

Только мы-то не про Китай толкуем, а про Приморский край. Так вот, в той же самой школе, в классе моей младшей сестры, с тройбаном по китайскому языку учился кошмар всех перемен, мальчик по имени Вова, по совместительству сын учителя Вани. В силу своего непоседливого характера и охотно усвоенного русского свободомыслия Вова был частым гостем в кабинете директора. А уж как он доводил русскую учительницу китайского языка, поправляя ее произношение каждый раз, когда она с русским акцентом объясняла новые слова!.. В общем, Ваня, папа Вовы, так же, как и сын, у директора бывал как по расписанию и настаивал, чтобы с сына сдирали десять шкур, не шадя и не давая поблажек. И благодаря то ли беспощадным требованиям отца, то ли строгому воспитанию матери Ани, Вова вырос парнем толковым и прекрасно говорил на обоих языках.

Кстати, Вова был не единственным учеником-китайцем в школе. В надежде на то, что их дети смогут хоть как-то освоить родной язык, приморские работяги-бизнесмены из Поднебесной часто отдают своих детей в школы с «китайским уклоном», где те с завидным упорством получают по родному языку заслуженный трояк. «Как же так? Настолько сложный язык?» — спросите вы. А вы попробуйте постичь китайскую грамоту, будучи китайским ребенком, совсем не знающим русского языка, когда учитель преподает ее, китайскую грамоту... по-русски. К тому же и менталитеты у китайских и наших детей разные. Китайские дети привыкли к зубрежке. С самого детского сада они ровными строчками выводят иероглифы. У них вообще все заиклено на прописывании как можно большего количества информации от руки. Помнится, как-то дернул черт за ногу Сениного племянника не сделать домашнее задание по математике. Учитель заставил его переписать в тетрадь всю тему из учебника десять раз. Больше черт племянника за ногу не дергал, и все задания он сдавал вовремя.

Китайцы заточены на коллективный разум. У моей русской одноклассницы, когда мы с ней вместе учились в магистратуре в городе Далянь, сын посещал китайскую школу и постоянно приносил неуд по китайскому языку. А все оттого, что писал сочинения слишком вольно. «У вас странный ребенок, — говорила учительница его маме Наташе, — все дети пишут одинаково, а он что-то выдумывает». Менталитет. И как тут китайским детям понять нашу систему образования?

Однако Вова китайцем был особенным, потому как гражданство у него — русское. Дальновидная китайская мама Аня родила сына на территории Российской Федерации, и в соответствующем возрасте Вове был предоставлен выбор: гражданином какой из двух стран он предпочитает стать. Владимир Иванович Ван предпочел бордовый паспорт гражданина Российской Федерации.

Отучившись в школе, он был тут же направлен мудрой мамой в Канаду для продолжения образования и обеспечения благополучного места под солнцем для себя и своих родителей. Не знаю уж, что у них случилось, но позже мама Аня перебралась к сыну, оставив Ване в качестве приданого их общий российский семейный бизнес — небольшую гостиницу с довольно престижным китайским рестораном на первом этаже.

Как им это все удалось? Секрет успеха китайцев так же прост, как и секрет успеха многих граждан Узбекистана. Приезжая на чужую землю, проживая практически в нищенских спартанских условиях, они держатся друг за друга и много копят. Семья ли, друзья ли, соседи или просто знакомые — все на чужбине становятся родными.

Позже, когда Вова как-то приехал из Канады на каникулы повидать отца, я у него спросила, кем он себя все же ощущает, китайцем или русским? На что предпочитающий домашнюю китайскую еду Вова на чистом путунхуа¹ ответил, что он русский, а китайцы для него — нация с другой планеты. И где прикажете проводить черту между нациями, культурами и традициями? Не знаю, как вы, но я затрудняюсь.

Если на школьной доске начертить разноцветными мелками несколько параллельных линий, а потом провести по ним ладонью...

Симбиоз по-восточному

Так же, как и в мире природы, в жизни людей симбиоз бывает разный. Взаимовыгодное сотрудничество — наиболее частое явление на территории Приморского края. Будучи людьми восточными и хорошо смыслящими в торговле, жители Поднебесной и граждане Узбекистана, например, тонким чутьем нашли общий русский язык друг с другом. И получился неординарный тандем двух абсолютно разных культур и верований, закрепившийся на территории нашего российского государства.

Помните тот самый закон: «Даешь русского продавца! Никаких китайско-азиатских лиц на переднем плане»? Ну так вот. Вести дела на рынке так, как ведут их китайцы, мы, русские, не привыкли. Кто же его поймет, когда скидку надо сделать, когда чуть слишком спелый товар за подарок выдать. Русские продавщицы с их советской закалкой и опытом челночниц суровых девяностых слушать своего лаобаня попросту не хотели, а иногда с видом «знаем, плавали» еще и объясняли китайскому боссу, кто в доме хозяин. Недолго думая, китайцы в законе еще раз поковырялись да лазейку-то и нашли. Оказывается, формально продавец нужен был не русских кровей, а русскоговорящий! С тех самых пор и потек китайско-узбекский симбиоз по венам и артериям восточного базара. Сертификаты-то, слава богу, у всех узбеков имеются.

Но взаимовыгодное сотрудничество на этом не закончилось.

Дальневосточный гектар! Думаю, нет человека, который не слышал бы об этом заманчивом приглашении на бескрайние дальневосточные земли. И Приморский край, конечно же, не исключение. Мы даже когда-то с Сеней немного об этом помечтали, кадастровые карты с участками посмотрели, фигу через полгода после подачи заявления поноухали и больше к этой теме не возвращались. Но это мы такие горемыки-недотепы. Есть особый пласт людей, которым взять заветный гектар все-таки удастся. В основном это пасечники, которым ни электричества, ни дорог к участку вести не нужно. Вторую категорию счастливых землевладельцев я называю «гениями русского бизнеса». Дело в том, что, получив участок на определенный срок, нужно доказать, что ты его используешь, а это дополнительные вложения и труды, и не факт, что через этот «определенный срок» тебя сочтут своего участка достойным. Так вот, эти «гении» участков в глуши набрали да китайцам в аренду посаждали. Кто сказал, что это плохо? Земли не пустуют, китайские фермеры, привыкшие к суровым полевым условиям, наконец воплощают свою мечту обработать как можно больше бесхозных российских земель, а русские денежки зарабатывают. Есть, правда, одно «но!» — история с пестицидами, но это уже совсем другая история.

¹ Путунхуа — официальная норма китайского языка в КНР.

И самое интересное во всем этом винегретном симбиозе то, что способствуют сближению и сотрудничеству живущих на приморской земле наций наши глубокоуважаемые госслужбы. Сами того не подозревая, издавая новые законы, дабы не распоясывались тут граждане «понаехавшие», они зачастую получают эффект, прямо противоположный ожидаемому.

Один из примеров. «Помогайка». Вам знакомо такое слово? Наверняка нет. А вот любому жителю Приморского края — очень даже. И тут тоже не обошлось без госорганов. Закон гласит, что ты имеешь право провезти через границу из приграничных городов дружественного нам Китая вещи только для собственного пользования. Найдут товар в количестве, чуть превышающем законные ограничения, — штраф и изъятие, потому как это уже личная выгода.

А теперь представьте себе торговца-китайца, который от безысходности поехал на чужбину, чтобы прокормить семью. Не все ведь еще в Китае безбедно живут. Неподалеку от нашего дома есть торговый центр, к которому исправно приезжает повидавший виды маленький микроавтобус с ярко-красной наклейкой: «Ремонт обуви, замена замков на одежде». Хозяин этой неказистой мастерской — сгорбленный сухопарый старичок. Стоит он у торгового центра каждый день и в жару, и в стужу. Руки у него золотые — хоть все в мозолях да в клее, — мастерит на славу и продает понемногу. «Отчего домой не едете? Разве не скучаете?» — как-то раз поинтересовалась я у него. «Когда уж тут скучать, — отозвался старичок, — семью кормить надо». Вот и весь сказ.

Я это вот к чему. Таких ремесленников и торговцев ширпотребом или дешевой китайской обувью довольно много на базаре. Так же, как и потребителей их товаров и услуг. Не всем же в Versace из соседней лавки ходить. Вопрос: как таким вот трудягам «по белому» ввозить необходимое да пошлины таможенные платить? Ну и придумали они схему: устраивать туры русских «помогаек» в приграничные города Китая. Поездка абсолютно бесплатная, оплачивается даже проживание в какой-никакой гостинице, а от русских туристов требуется лишь помочь перевезти товар вроде как «для себя», потому как выгоднее устроить двухдневный тур для «помогаек», чем платить таможенные пошлины. Конечно, наша таможня не лыком шита и все прекрасно видит, но закон есть закон: «для себя» — значит «можно».

Чего только не придумает коллективный межнациональный разум жителей Приморского края! Даже в научной сфере существует свой, так сказать, симбиоз. Дальневосточный трепанг известен своей пищевой полезностью, а также тем, что исчез из акватории Японского моря. Когда-то в бухте Золотой Рог водилось огромное множество этих склизких и на первый взгляд неприятных заморскому духу беспозвоночных. Но трепанг высоко ценится в Азии: и в Китае, и в Японии, и в Корее. Выловом трепанга китайцы промыслили задолго до того, как первые русские переселенцы ступили на земли Приморского края, отчего и прозвали город Владивосток Хайшэньвай, что в переводе с китайского значит — Бухта трепанга. Так вот, с 2013 года вылов дальневосточного трепанга был запрещен, а сам редкий представитель акватории занесен в Красную книгу. В местных профильных институтах были введены программы по изучению и разведению трепанга. Только не все пошло так успешно, как хотелось бы. Сколько бы наши ученые ни бились и ни кичились, у китайцев и морская трава зеленее, и трепанг растет быстрее. Тут и научный коллективный разум проявил смекалку: плантации трепанга наши, а кормление и забота о нем — ваши. Прибыль пополам.

Однако симбиоз не всегда бывает взаимовыгодным. Именно с таким угроздило столкнуться моей семье.

— Сеня! — Моя сестра с порога бросилась в комнату. — Я нашла тебе друга!

Мы оба уставились на Катю с непониманием. Оказывается, бизнес-дела нашей семейной компании завели Катю в город Уссурийск, неофициальный международный

центр корейской и китайской бизнес-диаспор. Там-то она и повстречала Антона (он же господин Фан, выходец из Уханя) — предприимчивого бизнесмена на белом «Лексусе». Приехав на российские земли, господин Фан, не знавший ни слова по-русски, нашел себе пару русских смысленных парней и состряпал фирму. Занимался Антон якобы производством и продажей комбикормов для сельскохозяйственных животных и неплохо, по его заверениям, зарабатывал. Услышав такую новость, Сеня очень обрадовался. Неужели здесь, на дальних приморских землях, его соотечественник, и даже земляк, успешно ведет бизнес? Антон предложил Кате надежное сотрудничество и инвестиции, а также работу для Сени. Ведь, по словам господина Фана, не мужское это дело преподаванием заниматься, мужик должен делать серьезную работу, зарабатывать много денег, и он как земляк обязательно о Сене позаботится. Позаботился Антон тогда о Сене своеобразно. Как сейчас помню, подобрали мы сбежавшего с работы Сеню посреди чистого поля где-то в глуши Хасанского района, грязного, помятого и разочарованного в крепкой дружбе земляков. Оказалось, что у китайского предпринимателя было несколько свиноводческих ферм, которые он методично скупал у местных фермеров, прокручивая разные махинации. На одну из них он и пристроил Сеню, магистра со степенью по биохимии, осуществлять надзор за рабочими, делать прививки свиньям да мясо отвешивать приезжающим оптовикам. И все бы ничего, только вот условия труда на этих самых фермах, мягко выражаясь, оставляли желать лучшего: рабочие — граждане Китая — трудились много, денег получали мало, а прав не имели и вовсе никаких, ибо визы у них закончились еще за несколько лет до того.

За господином Фаном стояли сомнительные китайские инвесторы, которые вкладывали свои капиталы, дабы мирным путем вытеснить местных производителей и укорениться на приморских землях. Закончилось наше сотрудничество с господином Фаном плачевно: по неведомым нам причинам он свой бизнес свернул, обещанные златые горы Сеня так и не обрел, равно как и нового друга, а сделанные было инвестиции в наш семейный бизнес господин Фан по зрелом размышлении решил востребовать обратно, так что наша компания еще и осталась в долгу перед китайским горе-предпринимателем...

Можно ли в данном случае винить китайский национальный менталитет? Конечно, нет. Винить следует лишь человеческие свойства господина Фана. Однако у китайцев есть на этот счет мудрая пословица: крупинка мышинового помета портит целый котелок рисовой каши...

Хого — международный самовар содружества

Есть у нас один день в году — выбирается он обычно в конце октября или в начале ноября, — когда, как бы все ни были заняты, как бы ни погрязли в рутине повседневной жизни, стоит только бросить клич: «Время хого!» — и мирская суэта ставится на паузу, все наши друзья собираются на острове с патристическим названием Русский, на нашей даче на берегу Японского моря. Ну, дача, может, и слишком громко сказано — так, кунг¹ да деревянная к нему пристройка-веранда на лесном участке. Зато какая благодать: свежий воздух, море, лес.

О том, что такое хого, знают даже не все приморцы. Культура этого мероприятия лишь начинает внедряться в русскую среду, хотя я уже видела в городе как минимум одно такое заведение, открытое предприимчивыми китайцами. Но одно дело сходить в ресторан, а другое — устроить все самим, поучаствовать в процессе подготовки. «Хого» с китайского языка переводится как «огненная кастрюля». По-русски его чаще

¹ Тип закрытого кузова-фургона военных грузовых автомобилей и прицепов.

называют китайским самоваром. Суть очень проста: все рассаживаются вокруг стола, на котором устанавливается этот самый китайский самовар. Внутри диковиной конструкции горит древесный уголь, а во внешней емкости булькает наваристый бульон, в который ты сам кладешь любые приготовленные на столе ингредиенты на собственный вкус: сам варишь, сам и ешь. Иногда, конечно, уже не разобрать, где чье, и нашинкованная лепестками картошка, и нарезанная тончайшими пластинками говядина расхватываются всеми на ура, тут уж, как говорится, в большой семье клювом не щелкай. Ингредиентов может быть неограниченное множество. Тут тебе и разные диковинные китайские грибы, и тофу всех сортов, и сладкий картофель батат, который новички принимают за морковь, и зелень, и мясо, и тефтельки, и сосиски, и корень лотоса. Интересно наблюдать за поведением сотрапезников. Завсегдатаи клювом не щелкают, а те, кто на мероприятии впервые, настороженно задают кучу вопросов. Особенно скептически настроены мужчины: не лучше ли, мол, было шашлык учинить или хоть сосиски на шампурах? Но стоит только опустить палочки в ароматнейший бульон — и куда девается весь скептицизм?

Теперь уже желающих поучаствовать в хого-аттракционе очень много. А подарил нам этот обычай все тот же Сеня, которого многие любят и всегда ждут на русской земле.

Если несколько наций селятся на общей территории на продолжительный срок, что из этого получается? Меняются ли их менталитеты и культурные привычки, соприкасаясь с чем-то новым, порой диковинным, часто полезным и всегда очень интересным? Если вы спросите меня, я отвечу: скорее да, чем нет. И Приморский край тому наглядное подтверждение.

От редакции: Фотографии автора, иллюстрирующие текст, можно посмотреть по ссылке.



Сергей Самсонов

Открытие родины, или Как самка богомола приняла меня за дерево

Она объявилась на самом углу обеденного стола в просолнеченном дворике приморского пансионата — немедленно определённая нами как самка богомола, инопланетянка с выпуклоглазой треугольной головой и долгим вытянутым тельцем на коленчатых ножках, — и больше у меня перед глазами ничего не осталось. До неправдивости реальная, она степенно-крадучись, как будто исполняя некий ритуал, подбиралась к моей левой кисти, надолго замирала, и вправду как в молитве, складывая на весу могучие передние конечности, и начинала по-шамански танцевать на двух парах задних, с непогрешимостью сомнамбулы раскачиваясь вправо-влево, заворожённая своей, одной только ей ведомой целью, и завораживая тех, кто целью её не был.

В её булавочной головке с различным разве что под микроскопом нервным узелком было своё таинственное самоощущение и мировосприятие — не бесконечно примитивнее, не выше человеческого, а настолько другое, отличное от моего, что кто-то из нас как будто и вправду не принадлежал вот этому миру, недостоверный выходец неведомо откуда, — или она, или я сам.

Я смотрел на неё и думал, что любовный свой каннибализм и хищную суть вообще она выбирала не более чем свои же антенны, мандибулы и способ мимикрии. Тогда как человек всё время волен выбирать между жестокостью и милосердием, безразличием и соучастием, то есть, в конце концов, между собой и образом, по которому он сотворён. Любая встреча с братом меньшим, который ни на йоту не отступает от своей природы, — это всегда напоминание, что ты способен поступать иначе, чем привык. Что ты в этом мире не главный, а сам себе — столь же нечаянный, необъяснимый дар, как и присевшая неподалёку птица или божья коровка, которую вдруг замечаешь. Чем пристальнее вглядываешься в жизнь деревьев, птиц и насекомых, в недосыгаемо синее море на грани видимого, тем более нелепыми, уродливыми, дикими представляются все наши старания настоять на своём, насильно утвердить свои понятия об истине и справедливости в творении, где несовершенен один только ты.

Самсонов Сергей Анатольевич — прозаик. Родился в 1980 году в Подольске. Автор нескольких романов, среди которых «Железная кость» (2015), «Соколиный рубеж» (2017), «Высокая кровь» (2020). Лауреат премии журнала «Дружба народов» и премии «Ясная Поляна» (2019) за роман «Держаться за землю» («ДН», 2018, № 8,9,10). Участник проекта АСПИР «Творческие командировки». Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — роман «Высокая кровь» (2020, № 3).

Она приближалась к моей левой руке. Единственной зелёной вещью на нескольких квадратных метрах, помимо неё самой, была моя толстовка, и я не шевелился, пока богомолка не перебралась ко мне на рукав и не вскарабкалась до самого плеча, и, вполне возможно, сочтя меня кустом — предметом неодушевлённым и, значит, безопасным. На какое-то время я вовсе перестал понимать, что я такое, как сюда попал и для чего я здесь.

Одно из самых первых моих воспоминаний — железная дорога, вдоль которой я гулял с отцом, сначала держась за его указательный палец, а вскоре уж, напротив, порываясь на свободу, стремясь максимально расширить границы собственного бытия, шагнуть за край уже освоенного, вдоль и поперёк исхоженного мира — в святой убеждённости, что за горизонтом творится нечто совершенно замечательное. Стук поездных колёс на стыках рельсов — один из самых властных, гипнотических звуков человеческой цивилизации — вошёл в мою кровь и навсегда связался для меня с идеей бесконечности и гармонического космоса, с детским восторгом первооткрывательства и в то же время с чувством возвращения домой. В почтовом отделении подле родительского дома до сих пор сохранилось огромное, во всю стену, панно — шестая часть суши, рельефная карта со струнами, протянутыми от Москвы до Мурманска и Душанбе, Улан-Удэ и Кишинёва, Хабаровска и Симферополя. «Сын, родившийся под Красною звездой», сам для себя и альфа, и омега, я зачарованно смотрел на очертания великой страны, читал составленные будто из случайных букв названия далёких городов и всё никак не мог вообразить, что они существуют, что в каждом из них и впрямь живут люди — другие и точно такие же, разноязыкие и разноликие, но и странно единые, словно некая сила, безымянная и непонятная, обнимает нас всех, прижимая к себе и друг к другу на безмерных пространствах холодных снегов и безводных пустынь, на сводящем с ума беспредельном ветру. Сказать по правде, не могу поверить в это до сих пор. Теперь уже как взрослый человек, который знает о небратском и неродственном состоянии мира, о его «ненавистной раздельности».

Когда позвонили из АСПИР и спросили: «Поедете в Крым? Самолёты туда не летают», — я сразу же ответил утвердительно, не помышляя об идейно-политическом аспекте этого вопроса. «Чей Крым?» Чьи Карадаг, Ай-Петри, Роман-Кош — геологическая вечность глыбовых поднятий и вулканических пород, неприступно молчащие горы, перед лицом которых даже время признаёт своё бессилие и которые существовали задолго до появления человека на земле. Сарматы, скифы, греки, ордынцы, генуэзцы давно уж превратились в нагретый солнцем камень и горький запах голубой полыни. «Годы, люди и народы...» И в то же время Крым необсуждаемо, мучительно-горестно русский — порукою тому ещё один горный массив от «Севастопольских рассказов» до булгаковского «Бега» и шмелёвского «Солнца мёртвых». Последняя полоска отеческой земли, сухой, «как прах», «как скит, которому гореть», и впрямь сгорающей, как порох, под ногами отступающих в изгнание солдат. На чужбину — как в небытие. Или прямо утопленных заживо красными — уходящих под воду с чугунными колосниками на ногах.

Когда смотришь на мир из окна скорого поезда, о «семейной вражде» совершенно не думаешь, забываешь о ней, поглощённый вещами, которые между собою не враждуют, а если и воюют, то только поневоле — полями, облаками, перелесками... Странное это было путешествие. Я знал, куда мы направляемся и что со мной будет происходить (нечто похожее на ощущения от первых поездок за край уже освоенного мира), но в то же время будто бы не знал ни нашего маршрута, ни расстояния, которое нам предстоит преодолеть, ни уж тем более конечной точки странствия. Поезд двигался медленно, подолгу останавливаясь на скромных полустанках и многолинейных станциях и начиная двигаться в обратном направлении, электротягою прицепленного уже к хвосту локомотива, и создавалось впечатление, что цель вот этого тягучего движения всё время от тебя отодвигается, что между нею и тобою возникают всё новые

пространства, меняют свои очертания реки, лесные массивы, проливы, моря, и оставалось только верить, что чем расплывчатее призрачно-потусторонний полуостров, тем встреча с ним неотвратимее.

Поля и перелески средней полосы с их небогатыми цветами и вечной недоговорённостью в полутонах, с их потаённо пасмурным, стыдливо-синим небом сменились выжженными плоскими степями, как будто бы скроенными из бурого войлока, нескончаемыми бороздами вертящихся гончарным кругом пашен, одним сплошным месторождением неубранной пшеницы, ячменя, овсов и их золотистой стерни, солдатскими шпалерами тёмно-зелёных виноградников и ведьмовскими мёглами пирамидальных тополей. Космическая пастораль, где каждая звезда, невидимая в полдень, и каждый стог на своём месте, ничто никем не изуродовано и не вернётся в хаос никогда. По-матерински улыбающийся лик природы, счастливая невинность и время землепашца, идущее по кругу. Путь зерна.

Наутро — ветер гуттаперчевой стеной на платформе Тамань Пассажирская, досмотрщики с овчарками и металлоискателями, блаженство перекура, свободы от купейных клеток и синей слюдяной глазурью застеклённый Керченский пролив. Мы не увидели моста со стороны, глазохватом, целиком. Косые балки мощной стальной арки скрещивались в громадные римские цифры двадцатого века. Сооружение, я полагаю, рядовое для нормальной империи.

А дальше — снова та же степь, обглоданная ветром и выбеленная временем, как кость, местами — уже соляная пустыня, где у живого нет надежды ни на воду, ни на тень, а трава цвета высохшей вулканической серы разучилась жалеть себя раньше, чем пробилась на немилосердно палящее солнце. Я мало сказать, что люблю нашу степь — оренбургскую, волжскую, а теперь и таврическую, — её «залёгшее бесчеловечие» и в то же время зов её пространств — шагать, шагать за край земли, лихим ли человеком, очарованным ли странником, с мечтой о перемене участи на любую другую, с непонятной любовью и преданностью неизвестно кому и чему. Ни горы, ни море мне уже будто не были нужны, однако же неотвратимо приближались.

Сошедши с поезда на симферопольском вокзале, я не увидел ничего, что делает Крым Крымом в глазах человека, знакомого с местностью только по книгам и картинкам Гугла, но это был определённо южный город, в одно и то же время млеющий в истоме и меланхоличный, странноприимный и заброшенный, полный солнечной благодати, но и чеховской скуки. Заборы из ракушечника и песчаниковых плит, увитые плющом и виноградом частные дома, строить которые из камня здесь дешевле, чем из дерева. Проспект, полонённый ползучим скопищем автомобилей, — почти что московская пробка. «Когда Крым вернулся домой...» — так начал отвечать наш провожатый и водитель на один из дежурных вопросов. После подобного «когда...» вам не услышать уверений, что жизнь на полуострове преобразилась до совершенной благодатности, став беспечальной и безбедной. Жизнь стала другой: в чём-то труднее, в чём-то легче — так нам говорили. Автомобили сделались доступнее, но вместе с их притоком появились и уличные пробки. В высокие правительственные кабинеты не пришли кристально честные «служители народа» (откуда же им взяться, бескорыстным? ведь если не из нас самих, то больше неоткуда, да?), бензин и хлеб до противоестественности дороги, зато положение дел в медицине и вправду изменилось едва не фантастически: врачи с «большой земли», сложнейшие оперативные вмешательства в Москве и Петербурге — всё то, что раньше стоило огромных денег, теперь проходит по разряду почти конвейерной обыденности.

Таксисты, как известно, народ балагуристый, но тот, что вёз нас в гости к Славе Харченко, не только перепрыгнул в наличную реальность напрямую из «Брата-2», но и явно был склонен к метафорическим экспромтам: «Сначала стены этого дворца были усыпаны мраморной крошкой и на солнце сияли, как золотые купола». Поэт Переверзин, завсегдатай этих мест, был нашим Вергилием в крымском

краю — то есть в мире, для меня вполне потустороннем. Не знаю уж, АСПИР или судьба предусмотрела, чтоб сей большой топографический талант попал в одну поездку с таким топографическим кретином, как я, но лучшего попутчика вот в этом смысле желать было нельзя. Как, впрочем, и в литературном смысле, и в чисто человеческом.

Бросив вещи в гостинице, мы двинули к старинным переверзинским друзьям, живущим и работающим в Симферополе. Я не был знаком ни с Александром Барбухом, ни с Вячеславом Харченко, но знал, что и тот, и другой учились в незабвенном Литературном институте, а им было известно, что там учился я. Если надо объяснять, то не надо объяснять. Общежитие на Добролюбова, 9/11, предупреждения и выговоры за «диспут, вылившийся в драку», убеждённости в своей гениальности и несбыточности юных надежд на неё, невозвратимость и самих надежд, неизбежность расплаты за юность, поглощённость редакторской или сценарной подёнщиной, семейным бытом, несложениями личной жизни и постоянные, как у подопытной собаки, гальванизируемого трупа, колебания от отчаяния до решимости возвратиться к тому непрестанно откладываемому главному, ради чего и «поступал на прозу».

Литинститут имени Горького — метка невытравимая, неизгладимое клеймо всех беглых каторжников, чей острог — пустая белая страница. Рассеянные по стране и миру и скованные одной цепью из кириллицы выпускники и недоучки — в Челябинске, Самаре, Подольске, Симферополе — определённо образуют волчье братство одиночек и, даже незнакомые друг с другом, общаться могут, как бы продолжая оборванный вчера на полуслове разговор. А впрочем, если бы не Маша Базалеева — наш проводник и, так сказать, куратор от АСПИР, — не помогли бы, очень даже вероятно, ни массандровские вина, ни память золотых литинститутских дней, и мы так и остались бы насупленными молчунами, каждое слово из которых приходится тянуть клещами. Я — уж точно. А так — те четыре стены, в которых мы сидели, и в самом деле стали домом, ведь женщина способна создать дом повсюду и для кого угодно, кто б ни оказался рядом. В плацкартном вагоне, на голой земле, вокруг придорожного камня, ветрами превращённого в подобие стола. Раскладывая на столе нарезанный ломтями чёрный хлеб, вкрутую сваренные яйца, колбасу, огурцы, помидоры и спичечный коробок с солью.

Итак, все действующие лица — по крайней мере, главные — худо-бедно представлены. Официальная часть такого рода творческих командировок мне, признаться, тягостна. На следующий день нас ждала огромная, богатая, я бы даже сказал, фешенебельная республиканская библиотека имени Франко, где я был представлен собравшейся публике как лауреат, финалист и т.п. и вновь ощутил себя бесправным самозванцем, Хлестаковым, которого «нигде ещё так хорошо не принимали». Ведь, говоря «Толстой» и «Шостакович», никто уже не добавляет «писатель» или «композитор», а подавляющему большинству из нашей современной братии приходится таскать с собою все свои «регалии» и долго разъяснять, кто ты такой.

Под вечер мы снова были у Харченко и слушали стихи Андрея Полякова в исполнении автора:

Мы знаем снежные колонны
и холод звёздного штыка
и голос Музы, почти влюблённый
летающий вдаль издалека
Он звал и пел, сияя славой
над всем, чему нельзя помочь
пел над шинелью от крови ржавой
в которой ты упал в ту ночь

Чем и зачем живут такого класса авторы в Крыму? В глазах туриста, человека пришлого и постороннего, Крым — волшебное, райское место вне времени и вне печалей, где всё — «поэзия» и «для поэзии», и это самое банальное истолкование пространства. А для родившегося, выросшего или долго прожившего здесь человека существует другой образ Крыма и целого миропорядка. Заброшенный, горестный край, где жизнь под беспощадным солнцем превращается в постылый сон о жизни («Есть ли города летом вид постыло-знакомей?»¹), где купоросно-синий летний или же пепельно-сгоревший зимний воздух отравлен чувством быстротечности и конечности нашего пребывания здесь, где солью на древних камнях проступает трагическая формула человеческого бытия — «несбыточность, невозвратимость, неизбежность». И это-то и есть единственное подлинное содержание поэзии.

Как живой, говорю о разлуке
о последней разлуке земной
а дымок, обнимая мне руки
не желает расстаться со мной

Всё равно мы рассеемся, милый
через несколько Божьих минут...
Мы вообще не из этого мира
*Я забыл, что мы делали тут.*²

Для Барбуха и Полякова Симферополь — родина. А родина — это такое место, полагаю, в которое нельзя вернуться, даже если ты и не покинул его, и из которого нельзя уйти, даже если сейчас ты находишься на другом континенте. В Крыму, как и в пустыне, некуда деваться от себя самого: куда бы ты ни шёл и на какую бы вершину ни поднялся, над головой горят всё те же проклятые «вопросы на ответы».

На следующее утро мы с Переверзиным разъехались по разным городам: он — в Бахчисарай, а я — в Саки, старейший бальнеологический курорт, где Гоголь в позапрошлом веке «пачкался в минеральной грязи». Электроприводные инвалидные коляски в Саках — отдельный и даже как будто бы главный вид транспорта. «Водители» их — полноправные хозяева вот этого тихого, идеально-схематического города, его променадов и парков, солёных озёр и пахнущего йодом воздуха. Сияющие перистые облака стояли в небе веерообразными столпами, молочное солнце прохлёстывало сквозь кроны чёрных сосен и пирамидальных тополей — будто негативов, теней ли или первообразов недостижимо-далёких облачных хвостов.

Происходящее в пространстве обращало мысль к школьным опытам с магнитными полями на бумаге: солнце было магнитом, все частицы наличного мира — опилками. Ненарушаемая связь всего живого была ясна, как мало где и редко когда. На встрече с читателями в модельной библиотеке им. Гоголя я разглагольствовал о музыке как о Богоявлении: «и по огни глас хлада тонка...»³ и так далее.

Расстояния между крымскими городами сравнимы с подмосковными, но голая равнина с протяжными холмами и призраками гор на горизонте создаёт для путешественника ощущение безмерного пространства. И вообще тут происходит поединок не столько плоти и пространства, сколько твоего сознания и времени. Живущие дольше тебя на много миллионов лет горы безмолвно утверждают над тобой ту власть, которую всё неподвижное имеет над подвижным, и сообщают тебе твой настоящий масштаб — вот именно по отношению ко времени. Ко времени земной коры и магматических пород, базальтовых столбов и водородно-гелиевых звёзд.

¹ Иннокентий Анненский. «Тоска белого камня».

² Андрей Поляков.

³ 3-я книга Царств 19:12.

Считается, что сочинитель проверяется тем, как он пишет постельные сцены. Мне представляется, не в меньшей, а может быть, и в большей мере — тем, как он пишет природу: степь, лес, горы, море — Творение. Быть может, потому-то в наши дни никто особенно природу и не пишет. Не хотят проверяться, оправдываясь тем, что таковые описания — «прошлый день», нечто занудно-нафталиновое и памятное нам по школьным изложениям Паустовского и Пришвина. Что ж, в данном случае я готовно признаю своё поражение перед лицом Ай-Петринской яйлы и Чатырдага — или, по крайней мере, откладываю эту баталию на будущее.

Когда мы ехали из Керчи в Симферополь поездом, цепь горных вершин невнятно-призрачно синела на самом горизонте, и облака казались достовернее, прочнее и незыблемее гор. Когда же мы выехали из Симферополя в Алушту на машине, они, хребты и пики, явились нам во всей своей неотменимой вселенской весомости. Завалами каменной макулатуры, которую в век не перечитать до самого триаса и юры, снимая светлые и тёмные слои кварцитовых песчаников и сланцевых кладок, спрессованные бесконечным грузом неба. Громадными скрижалями завета, растущими прямо из тверди земной и испещрёнными нерасшифрованными письменами. Небесными телами, чья вечная пустынность и немая неприступность родом не с Земли, а с тех планет, от которых они откололись когда-то непроглядно давно. Но странно: они не проламывали меня тяжестью своего векового молчания — не различали, не жалели, но и не давили, определённо занятые большим, чем наши земные дела, и равнодушные до нежности. Чем дальше, чем синее, тем нематериальнее, так что уже неясно, *что* через час или минуту станет паром, а *что* останется незыблемым в век века: вот эти горы или облака над ними. Там, вдалеке, они казались сделанными из одного материала — и облака, и горные вершины, — из чего-то нежнее, чем снег, и прочней, чем гранит.

Дальше хочется написать что-то вроде «первый чёрный кинжал кипариса полоснул по сетчатке», но обойдёмся без наивно-неуклюжих подражаний Иличевскому. «Кипарис!» — возопил я, как «поймали!» на первой рыбалке с отцом. На южном побережье Крыма эти чёрные акварельные кисти, обмокнутые в кубовое небо, господствуют в пейзаже, сам этот узнаваемый, открыточный пейзаж и создавая, и принимаются уже за нечто обязательное, обиходное, как клёны и берёзы в средней полосе.

С алуштинского променада мы увидели море — по-северному серое под лиловато-пепельными небесами на закате, оно плоско катило на галечный берег свои неисчислимые валы и узурпировало слух своим однообразным, безумолчным шумом, ненастоятельно гася все прочие, не столь протяжённые звуки: разносящиеся водопадными брызгами мелодии и ритмы популярной музыки из всех прибрежных ресторанов и кафе, не говоря уже о человеческом гомоне и шелесте автомобильных шин. Всему разнообразию земли оно противопоставляло постоянство своего единственного тона, сколь неохватно-колоссального, столь и неизбыточно-печального. То был определённо голос самого дистиллированного, в чистом виде, времени, тот голос, слушая который, перестаёшь жалеть себя, приговорённого к исчезновению.

Отсюда, от моря, мы двигались уже как будто только вверх — извилистыми тропами и лестничными маршами по заросшим акацией и кипарисами склонам, каменистым террасам Профессорского уголка — в очаровательно-нелепую гостиницу со многими лестницами, переходами и запираемыми по-тюремному калитками, в дом-музей академика Бекетова, где ждала нас ещё одна встреча с читателями, и выше — в дом-музей Шмелёва, прозревшего сквозь «Солнце мёртвых» таинственный фаворский свет своими широко посаженными, огромными от скорби и ужаса глазами. И выше — по несчётным петлям серпантина — к вершине Ай-Петри, к утёсу Шишко на 1182 метрах над уровнем моря. Трещиноватые и смуглые зубцы недостижимой высшей точки, изветренные, стёртые, изъеденные временем. Так высоко, что в окоём

вмещаются и сахарная крошка Большой Ялты, и медвежья спина Аюдага, и синее, как медный купорос, почти неотделимое от неба море. Одна огромная растительная клетка со своими хлоропластами, следы удивительной жизни в единственной капле воды, плевок Левенгука в бескрайнее синее свечение неба и моря, микроскопическая частная вселенная посреди светоносного, совершенно пустого и безмолвного космоса.

На обратном пути, под метрономный стук колёс на стыках рельсов, в голове моей билось: «Дозволь же мне и опрокинуть до дна, теперь не шестая, а просто одна. А значит, без громкого тоста, без иста, без веста, без оста»¹ (спасибо Переверзину, который, как мог, заполнял зияющие дыры в моих познаниях о родной поэзии).

Я думал, что любое продолжительное путешествие в пределах, где главенствует материнский язык, есть открытие родины, ещё одного её образа, лика, доселе тобою невиданного и, в общем-то, непредставимого: торжественного, радостного, величавого, строгого, порою изуродованного, горького, убогого, но всякий раз такого, что нельзя ни отвернуться, ни забыть. Одна ли шестая часть мира, десятая ли, благоденствующая, разорённая, разбитая, словно склешенный корневищем ком земли, на несколько кусков — всегда одна.

Премудрый стоик Эпиктет сказал: «Из существующих вещей одни находятся в нашей власти, другие нет». И все несчастья человека проистекают из того, что он упрямо путает одно с другим: то, что он волен изменить, с тем, что предрешиено. Когда мы появляемся на свет, для нас невозможны другие родители, дом, другое солнце, снег, отечество, другие мы сами — мы принимаем всё это как данность и, в общем-то, необсуждаемо любим, да и возможно ли сказать «люблю» о том, что есть твоё начало и ты сам?

Любой из нас в отдельности беспомощен передо всеми центробежными и центростремительными силами, что разрушают и воссоздают страну, в которой чёрт ли или Бог догадал нас родиться. Нам могут подменить отчизну, свободу, нас самих — ещё до того, как мы вырастем и начнём что-то смыслить. Мы можем сами промотать, продать за стеклянные бусы и то, и другое, и третье. Мы можем... нет, не взять реванш, но обрести дом там, где нам от дома, казалось бы, уже бесповоротно отказали. В конце концов, каждый из нас рождается не только в России, Америке или Монголии, но и по Цветаевой: «Было то рождение/ В мир — рожденьем в рай». Рождается и начинает жить тоской по изначальному единому миру. Не разделённому враждой и аппетитами различных государств. И не принявшему на веру, что самый лёгкий способ возвратиться в рай — это устроить ад другому. У меня нет ответов на «кто виноват?» и «что делать?» — или, по крайней мере, они не кажутся мне удовлетворительными, — но я не возражаю против Крыма как ещё одного лица моей родины. Это без объяснений. Причины есть у мести, зависти, обиды, ненависти, а любовь не имеет причин и сама есть причина. Когда видишь Крым — не то сон человека о камне, не то сон камня о человеке, — то хочется самому что-то сделать для этого Крыма.

¹ Денис Новиков. «Околица».

Варвара Заборцева

О первых рифмах

Мне было двенадцать, когда во сне привиделись первые рифмы. Вспоминать их неловко, но они легко вспоминаются:

Научиться бы жить,
А не существовать,
Научиться б любить,
Чтоб на век, чтоб на пять.

Проснувшись и первым делом записала, пока не растворился хотя бы малейший фрагмент, похожий на текст в рифму. Давно думала сочинять песни — тогда многие девочки моего возраста мечтали о музыкальной группе, а тут первые слова сами пришли. Решила показать написанное учительнице по литературе. Мне везло с учителями — я доверяла им. Елена Павловна внимательно изучила мои попытки писания в столбик, выдержала паузу и вручила книгу «Основы стихосложения». А главное, посоветовала подумать, о чем я по-настоящему хочу сказать. Что я знаю и к чему смогу подобрать свои рифмы. Елена Павловна Абрамова (фамилия педагога тоже будто одна из первых рифм!) знала о моей любви к Пинежью, она тоже была связана с моими родными краями, о которых я по любому поводу рассказывала в школе. И добавила, что скоро будет городской конкурс юных поэтов имени Фёдора Абрамова. Сказала, попробуй вначале пойти за писателем-земляком, расскажи о Пинеге своими словами.

Книжку по теории стихосложения я освоила быстро. Помню, уловила главное — рифмы бывают не только глагольные. Вот и стала рифмовать, всё, что видела на Пинеге:

Раздолье, пение кукушки,
Прогулки вдоль родной речушки...

Детство пригodiлось — кроила рифмы из него. Потом сшивала их — стихосложение напоминало мне тогда кройку и шитьё. Надо понять, какие отрезки взять и как их потом соединить. И так пять лет до окончания школы каждый февраль писала одно стихотворение на абрамовский конкурс юных поэтов. Он всегда проходил после 29 февраля, дня рождения писателя. Каждый раз я писала Пинегу, только разными словами. Постепенно будто привыкла искать рифмы в феврале. Мне и сейчас хорошо пишется в это время — самое прочное на Севере. Реки никуда не бегут, со снегом смирились, но думается все же о тепле, главная мысль — простая и ясная: скорей бы весна.

Заборцева Варвара Ильинична — поэт, прозаик. Родилась в 1999 году в посёлке Пинега Архангельской области. Окончила Академию художеств имени И.Репина (факультет теории и истории искусств). Печаталась в журналах «Юность», «Звезда», «Новый мир» и других. Участница проектов СЭИП и АСПИР. Лауреат литературных конкурсов, в т.ч. литературной премии «Лицей» (2023). Живёт в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2023, № 11.

Наталья Сырцова

Первый опыт

Осень. Наконец, после жаркого лета в Волгоград пришла осень. Я первоклассница в парадной форме, с огромным белым бантом на голове. Мама ведёт меня в школу. Мне едва исполнилось шесть. Страшно и любопытно одновременно. Плачу, пытаюсь вырвать свою маленькую ручку из маминой... Впереди школа, большая, белая, и такая любимая впоследствии. Первый звонок, как в тумане, и вот мы в классе с нашей учительницей — Самохиной Ниной Андреевной. Какая она была? Степенная, добрая, с длинными каштановыми волосами, собранными на затылке в «ракушку». Её выдавали глаза; как же для меня это было важно и тогда, и теперь. Кто бы мог подумать, что спустя два года, благодаря школьной учительнице, я напишу свои первые прозаические миниатюры о временах года. Хотя начальную школу помню плохо, но поездки по музеям города остались в памяти навсегда. Где мы только ни были: и в художественной галерее, и в планетарии, и в краеведческом музее, да и в детскую библиотеку записались все вместе. И вот там, впервые в жизни, заполняя читательскую анкету, я написала, что самыми любимыми предметами считаю русский язык и литературу. Читала много, учила наизусть стихи Фета, Есенина, Пушкина, очень любила Пришвина, особенно его «Кладовую солнца», рисовала иллюстрации к школьным сочинениям, но сама что-то сложить не пробовала, не дерзала. На летних каникулах мне в руки, случайно ли, попались «Янтарные хроники» Роджера Желязны, и понеслось...

Нет, это была не поэзия, а проза, конечно, в чём-то похожая на Желязны, но всё равно моя. «Город фантазий» — небольшая, от руки написанная книжка, личный опыт девятилетнего человека, мои переживания, думаю, я ещё вернусь к ней. Разве я могла представить, что пройдёт немного времени и от моего сочинительства останутся рожки да ножки? Нет, я не бросила, я начала!

В моей семье всегда жили книги, мама очень любила читать, она и свою маму научила, да, бывает и такое: дети родителей учат. Бабушка рано потеряла своих: мать умерла, отец пропал без вести во время Великой Отечественной, не до учёбы. Есть нечего, одну пару сапог делила она со своим старшим братом, пока до школы добежит да обратно, — ноги мокрые. Так и ушла моя бабуля в лучший мир с четырьмя

Наталья Сырцова (Мозалевская Наталья Николаевна) родилась в 1983 году в Волгограде. Печаталась в журнале «Новый мир». Автор поэтических книг «Зелье зимы» и «Осенины». Участница проектов АСПИР и «Всероссийской школы поэтического мастерства». Живёт в Волгограде.

неполными классами, но читать научилась, а какие частушки сочиняла, да и человеком была простым и незатейливым, добрейшей души, ушла в предновогодний день, важный и сумеречный, день, когда мне вручали членский билет союза писателей России. Дождалась.

Среди русской и зарубежной классики, советской литературы, многочисленных научно-популярных журналов я нашла книгу, которая перевернула моё сознание — это был Николай Михайлович Рубцов, в шутку ли сказать, что мой отец по дате рождения и смерти стоит рядом с ним и является его тёзкой. Открыла и обомлела — «Тихая моя родина»...

Звуки, звуки, звуки, понятные, простые, правдивые, волшебные звуки поэзии, разве я могла остаться равнодушной? Нет, не смогла. Я с тринадцати лет слышу эту прекрасную музыку, её божественный ритм, ведь это он помог мне пережить смерть бабушки и деда по отцовской линии.

Кто мои учителя? Это вы, такие разные, но любимые — Желязны и Рубцов, это вы, Самохина Нина Андреевна, научившая меня читать и писать на любимом моём языке, это мама, приходившая с работы и ни разу не отказавшая мне в чтении вслух «Волшебника изумрудного города», это, многим позже, поэт Василий Степанович Макеев, убедивший собственным примером крепко любить Великое русское слово и, конечно же, Алексей Давидович Алёхин, в буквальном смысле заставивший поверить в себя...

Осень. Наконец, после жаркого лета в Волгоград пришла осень, и я снова могу вернуться к своим тетрадям, дневникам, письмам, воспоминаниям. Я часто задаю себе вопрос, кто же для тебя важнее, — тот, кто учил, или тот, кто продолжает учить? А может, это тот, кто растёт вместе с тобой и в итоге поселяется в сердце? Сегодня, сейчас, уже будучи сорокалетней женщиной, матерью двоих детей, я понимаю, что все любимы и важны, но один, всё же, стоит особняком — Борис Леонидович Пастернак, мой воздух, моя опора. Он возник не на пустом месте, но это уже совсем другая история. Мечты сбываются, пишу не по наитию — по любви: о начале пути, о стихах, о людях, — и где бы вы думали, в поезде Волгоград — Москва, угадаете, куда еду? А еду я к Борису Леонидовичу в Переделкино, почтить память, да просто поговорить.

А закончить хочу собственными строчками, написанными давным-давно:

— Осень, что тебе нужно, осень?
— Очень хочу полюбить...

...Я искренне и навсегда полюбила поэзию, в которой живёт Бог, дарующий бессмертие.

«Я хочу рассказать вам...»

Итоги 2023 литературного года подводят критики

*Ольга Балла, Мария Бушуева, Борис Кутенков, Елена Ленишева,
Александр Марков, Николай Подосокорский, Валерия Пустовая,
Елена Сафронова, Аглая Топорова, Александр Чанцев,
Кирилл Ямищиков*

Вопросы для обсуждения:

Ваш круг чтения в 2023 году: остался прежним или изменился (расширился? сузился?), отслеживали новинки, наверстывали упущенное или перечитывали?

Что читали больше: худлит или нонфикшн, отечественное или переводное?

Открытия года: имена и книги.

Что посоветуете не пропустить, обязательно прочесть?

Ольга Балла, литературный критик (г. Москва)

Формы выговаривания мира

Последние шесть с лишним лет, с тех пор как оказалась в редакции «Знамени» на правах редактора отдела критики и библиографии, я только и делаю, что открываю для себя (а потом, если удастся, и читателям) современную русскую литературу и именно что систематически отслеживаю новинки — затем еще, чтобы обременить своих авторов задачей их рецензировать. (И да, в этом отношении, пожалуй, можно говорить о наверстывании прежде упущенного, потому что в пору своей работы в одном только журнале «Знание — сила» — до августа 2017 года — я мало читала современного художественного, гораздо больше нонфикшн, зато теперь сплошные открытия.) В этом смысле в 2023 именно году ничего не изменилось. Степень интенсивности чтения как резко повысилась в 2022-м (хотя, казалось бы, куда уж больше), чтобы не сойти с ума, так и остается таковою, — тем более что в моем случае границы между рабочим и личным чтением давно уже пропали, а рабочий режим с поздней зимы 2022-го тоже весьма интенсифицировался. Увы, давно ничего не перечитывала. И вправду жаль, потому что (не говоря уж о том, что это — возможность путешествия во времени) существует по крайней мере три способа глубокого, основательного, «интериоризирующего» — вращивающего книгу/текст внутрь — прочтения: это рецензирование, перевод и перечитывание. (Есть и четвертый: конспектирование с комментариями; но по большей части оно входит в состав первого способа как его предваряющая стадия.) Не перечитывающему недостает глубины. А она, конечно, отчаянно нужна.

А впрочем, только сообразила, что круг чтения на самом деле как раз расширился — в неожиданную сторону. В него вошел, во-первых, казахстанский журнал «Дактиль» — двуязычный, русско-казахский, из которого я, увы, понимаю только русскую половину, — я его вообще стала читать только в этом году и время от времени даже писать для него, — и (отчасти в связи с этим, а отчасти с тем, что некоторая часть друзей и родственников переместилась в Алматы) литература, пишущаяся и издающаяся в Казахстане по-русски (прежде всего поэзия), на которую я стала обращать более-менее систематическое внимание.

Если попытаться дать количественную оценку, то больше всего, пожалуй, читала поэзию, эссеистику, критику, литературоведение, гуманитарную теорию (и не только из рабочих соображений, но и потому, что они, каждая по-своему, приводят внутреннее пространство человека в порядок: критика с теорией проделывают это с умом своего читателя, а поэзия — с ним в целом; фокусирует и усиливает его). А эссеистику (не только потому, что она, в одной из лучших своих форм, прозаическая сестра поэзии, а в другой, не менее лучшей, — неакадемическая сестра философии) едва ли не единственно за тем, что мне вообще очень мила эта форма выговаривания мира.

Если говорить о написанном по-русски, то из поэзии необходимо назвать начавшее выходить собрание сочинений Андрея Таврова, к большой моей печали умершего в сентябре (первые два тома как раз поэтические); большой — избранное за тридцать с лишним лет работы — сборник Ирины Ермаковой «Медное зеркало» и совсем небольшой сборничек «Ледники» Льва Оборина. Из критики — с интересом прочитала я книгу Сергея Костырко «Критика-2», из литературоведения — только что дочитанные «Новые и новейшие работы» Мариэтты Чудаковой и прочитанный несколько раньше сборник текстов Ольги Седаковой «О русской словесности. От Александра Пушкина до Юза Алешковского»; хочется назвать сборник статей о поэтике Алексея Парщикова «Фигуры интуиции» (он датирован 2022 годом, но прочитала я его в этом, и нельзя оставить его неназванным). Из гуманитарной теории — «Память и забвение руин» искусствоведа и теоретика культуры Владислава Дегтярёва; страшно интересная на мой профанский взгляд книга Лоренса Крамера «Гул мира. Философия слушания». Из эссеистики — сборник римских речей Сергея Аверинцева «Слово Божие и слово человеческое», «От Библии до пандемии: поиск ценностей в мире катастроф» Михаила Эпштейна, книгу Александра Гельмана «Со всеми наедине» (где не только эссеистика, в числе которой дневниковые записи, но и стихи, и публицистические статьи, и одна пьеса), «Духи для роботов и манекенов» Александра Чанцева, а также совместную книгу прозаика Анны Север и художницы Ольги Васильевой «Волки на Невском: Сны и явь Петербурга», совершенно прелестную своей глубиной и чуткой точностью портрета главного героя книги — их и моего любимого города. Очень радует меня Михаил Бару, выпустивший в этом году целых две книги о маленьких русских городках, которые он систематически объезжает и делает видимыми для культуры в целом: «Скатерть английской королевы» и «Челобитные Овдокима Бурунова».

Если говорить о самой яркой / важной / сильной прозе года, то — в том порядке, в каком идет на ум, и стараясь не писать разбухающих списков: две книги — одна последняя прижизненная, вторая уже посмертная — Андрея Левкина: «Проводки оборвались, ну и что» и «Место без свойств» (смерть автора в минувшем феврале — огромная потеря для нашей литературы); роман Дмитрия Гаричева Lakinsk-project; сборник Геннадия Барабтарло «Полупрозрачный палимпсест» и два дебюта в прозе —

Ваш круг чтения в 2023 году: остался прежним или изменился (расширился? сузился?), отслеживали новинки, наверстывали упущенное или перечитывали?

Дениса Безносова и Алексея Конакова, — о которых скажу чуть ниже, в ответ на вопрос об открытиях.

Из-за того, что моя рабочая обязанность — отслеживание происходящего в литературе, пишущейся на русском языке, фокус внимания у меня поневоле сдвинут в сторону отечественной словесности, но переводное все-таки в него тоже попадает, — большей частью в облике всяческой теории; к счастью, не только.

Из переводного необходимо в первую очередь назвать «Статьи и письма (1934—1943)» Симоны Вейль и «Чашку паломника (Моранди)» Филиппа Жакоте (обе книги — в переводе с французского Петра Епифанова). Из переводной поэзии мне видятся важными два небольших сборничка переводов из идишских поэтов, выполненных группой авторов в рамках переводческого семинара под руководством Игоря Булатовского: «Сонеты для моего брата Нотэ» Ицика Мангера и «1919» Лейба Квитко (вообще литература на идиш — без преувеличений, великая — пока остается мало известной читающим по-русски, и вот соратники Булатовского работают над тем, чтобы ситуация изменилась).

Повторюсь: два особенно интенсивных, пристальных способа прочесть некоторый текст — это, во-первых, написать о нём и, во-вторых, перевести его. В этом году мне выпала счастливая возможность не только первого, но немного и второго: перевела я с позволения и под мудрым руководством Вячеслава Середы несколько текстов для сборника эссе одного из важнейших ныне живущих венгерских писателей Петера Надаша «Золотая Адель» (к моменту, когда этот опрос будет опубликован, он, может быть, уже и выйдет в Издательстве Ивана Лимбаха).

Два известных и ранее автора были, и не только мною, открыты в этом году как интересные прозаики: это поэт Денис Безносков с романом «Свидетельства существования» и литературовед, теоретик культуры, литературный критик, эссеист и поэт Алексей Конаков — с прозой «Дневник погоды. Дисторшны». Моим персональным открытием стал поэт и эссеист Андрей Першин, выпустивший совершенно замечательную, с громадными внутренними объемами книгу «Сопоставления: Диалоги визуального и поэтического», в которой он ищет «срединный путь» между словесными и визуальными искусствами. Это из тех книг, о которых хочется и представляется нужным немедленно думать письменно.

Честно сказать, не чувствую себя вправе что-нибудь советовать, да еще как обязательное, городу и миру: и мое понимание слишком далеко от универсальности, и люди слишком разные, — но о своих пристрастиях и очарованиях (куда без них!) как не сказать. Пусть это будет адресовано братьям по устройству восприятия. Сформулируем топ-3 (крайне трудно, потому что хочется назвать и Седакову, и Чудакову, и Левкина, и Симону Вейль, и Филиппа Жакоте... но три так три, должна же быть дисциплина).

Мне очень не хотелось выпускать из рук — и по сию минуту не хочется — вышедшую этой весной книгу Сергея Гандлевского «Незримый рой: заметки и очерки об отечественной литературе» — сборник его текстов о русской словесности за три десятилетия, — такой он умный, глубокий и, наверное, как-то соответствующий моим внутренним не вполне осознаваемым установкам, потому что его хочется большими пластами цитировать. Одним из самых счастливых чтений этого года — я бы сказала, обновляющих и настраивающих восприятие и мышление — я бы назвала книгу Владислава Дегтярёва «Память и забвение руин». И третьим пусть будут «Сопоставления» Андрея Першина.

Что читали больше: худлит или нонфикшн, отечественное или переводное?

Открытия года: имена и книги. Что посоветуете не пропустить, обязательно прочесть?

Мария Бушуева, литературный критик (г. Москва)

Глубинное и резонирующее

Перефразирую известное высказывание: ни дня без чтения. Так с детства. И ничто на это не повлияло: ни трагические события в семье, ни социальные ветра. К бумажным книгам прибавилось чтение с экрана компьютера, позже — электронная книга. Использую для чтения и смартфон.

И перечитываю. Как раз в этом году открыла незамеченное в «Охранной грамоте» Бориса Пастернака, перечитала «Котика Летаева» Андрея Белого. И, конечно, постоянно обращаюсь к русской классике XIX века. В ней есть выход на глубинное, запредельное, на то, что мы ощущаем за всеми декорациями и суетой. Мгновенно откликавшийся на социальные проблемы Тургенев, все равно не этим, на мой взгляд, ценен — а угаданными им отсветами бытия. В книге «Почти два килограмма слов», которую прочитала осенью, Алексей Поляринов как раз рассуждает о реакции на социальные проблемы и трагедии, подчеркивая быстрый ответ на травматические события в современном американском искусстве и осуждая замедленное реагирование — у нас. Но оценочное суждение в данном случае вряд ли применимо — отличаются две культуры. Представим экстраверта и интроверта: первый откликается быстро, выбрасывает переживания вовне, одновременно перерабатывая, у второго травматический след уходит в подсознание — и там происходит переработка. Долгое освобождение через подсознание гораздо более полное. Собственно это и доказывает книга Дженни Оффилл «Погода» (2023) — роман вышел в переводе Юлии Змеевой. В легкой почти блогерской манере автор рассказывает о постоянных (отноудь не изжитых) страхах и фобиях типичной американской семьи: манипуляция сознанием обычного человека определяет погоду в семье и в обществе. Приятно удивило, что Дженни Оффилл сумела создать образ хорошей сочувствующей женщины — главной героини. Цифровая цивилизация, которую писательница обойти, конечно, не смогла, рожденная интровертами, как ни парадоксально, в результате оказалась ориентированной на утилитарно-экстравертивный подход, отсекая все «запредельное», не коррелирующее напрямую с тем, что актуально и выгодно. Потому ценность русской классики, сохраняющей иные измерения восприятия, возрастает. За великими именами скрываются талантливые писатели, почти неизвестные читателю: продолжала читать прозу Якова Буткова. О ранней смерти Буткова скорбел Достоевский.

Поскольку занимаюсь литературной эссеистикой, писала рецензии на самые разные книги (издания 2022—2023 гг.), заслуживающие внимания и порой резонирующие с чем-то мне близким. Вот несколько таких книг: «Девочка на шаре, или Письма из детства» (2022) — сборник женской прозы; Антология литературных чтений «Они ушли. Они остались» (2023) — стихи рано ушедших поэтов; «Выбранные места» (2023) — стихи Юрия Цветкова; «Тритонови очки» (2023) — сказки для детей и взрослых игумена Варлаама (Борина); «Сочинительница птиц» (2022) — проза Галины Климовой; «Новое Будущее» (2023) — сборник рассказов, составленный Сергеем Шикаревым. С «Новым будущим» перекликаются некоторые трансгуманистические рассуждения Михаила Эпштейна в одной из глав его книги «Первопонятия: Ключи к культурному коду» (2022). В этом вопросе мне ближе С.Хоружий, параллельно читала его работы,

Ваш круг чтения в 2023 году: остался прежним или изменился (расширился? сузился?), отслеживали новинки, наверстывали упущенное или перечитывали?

в том числе «Герменевтику телесности в исихастском опыте»: в определенном смысле опыт исихазма — всееляющая надежду духовная альтернатива попытке выхода «за пределы» с помощью сугубо материалистической технобиоконвергенции. Сноска на странице «Первопонятий» вывела меня на труд «Универсум. Информация. Общество» Никиты Моисеева, которому принадлежит термин, вынесенный в заглавие книги М.Эпштейна. Поле нон-фикшн вообще богато «витаминами» для интеллекта — читала книги разных издательств, в том числе вышедшую в Ridero «Метафизику целого и части» (2023) Р.Шорина. А книга критики «Предназначение» (2022) В.Лютого, изданная в Воронеже, открыла мне новые имена поэтов и прозаиков-традиционалистов. Пишу о текстах авторов разных направлений, поскольку убеждена в ценности многообразия: литературный процесс не должен быть однокрылым, иначе сможет лишь ковылять... Что еще запомнилось? Открыла для себя «Науку о человеке» В.Несмелова — признаюсь, не знала ранее этого незаурядного философа, вышла на него благодаря отзыву Н.Бердяева.

Были прочитаны и художественные новинки 2022 года, о которых не писала, упомяну лишь три из них: Алексей Сальников «Оккульттрегер», Олег Рябов «Интересная дамочка и новые рассказы» (2022), Анатолий Ким «Любовь Ла». «Оккульттрегер», еще раз продемонстрировав городскими зарисовками, что автор — поэт, показал и отторжение прозаической реальности — резкое снижение поэтического до «делириозной мути», сводящееся к остроумному рецепту — воспроизвести подобное с помощью подобного. Рябов верен себе: рассказ за рассказом создает свою нижегородскую летопись. Признанный еще советским классиком, Ким, к счастью, не окаменел и продолжает удивлять. Оригинальный роман «Любовь Ла», отрицающий власть времени, метафизичен, символичен, в нем, кроме прочего, интересен прием одновременного многоголосия, правда, показался спорным контраст возвышенного с некоторой модернизацией лексики, вкрапленный в поэтическую ткань текста.

И, конечно, постоянно читаю журналы бумажные и сетевые. Журналы — это проводники.

Борис Кутенков, поэт, литературный критик (г. Москва)

О тенденциях и новинках, классиках и дебютантах

В 2023-м нон-фикшн занимал в моем чтении приоритетное место по сравнению с художественной литературой. Возможно, к тому располагает характер времени, которое требует более прямолинейных ответов на свои вопросы. Это, пожалуй, не касалось поэзии, с которой я продолжаю работать как редактор («Прочтение», «Формаслов», «Полёт разборов»), и открытие новых авторов и стихов, как и перечитывание знакомых, органично входило в процесс кураторства, будучи лишь отчасти чтением «для себя». Самые серьезные вопросы для редактора в этом контексте: как избежать рутинизации и остаться искренне заинтересованным; как найти грань

Что читали больше: худлит или нонфикшн, отечественное или переводное?

Открытия года: имена и книги. Что посоветуете не пропустить, обязательно прочесть?

между бескорыстной погруженностью и сферой самодисциплины, реперными точками повседневности, не дающими закоснеть и вынырнуть из рефлексивной сферы в пользу чистого (но развивающего ли?) удовольствия. Однако о нескольких сборниках, при чтении которых стерлась эта граница между «для себя» и «для работы/самодисциплины», скажу.

Пожалуй, еще одна тенденция — утрата дистанции между новинками литпроцесса и перечитыванием; это только отчасти произошло из-за уплотненного графика, но — в большей степени — опять же, из-за характера времени, которое побуждает вернуться к хорошо знакомым (о, эта каждый раз счастливо опровергаемая иллюзия!) книгам, искать в них ответы уже с позиции сегодняшнего дня. Таковыми для меня стали все произведения Лидии Чуковской, пристрасно перечитанные в этом году, в особенности ее дневники, повести «Софья Петровна», «Памяти детства». И — записные книжки и статьи другой великой Лидии, Гинзбург, которая при таком сопоставлении кажется едва ли не ее антиподом. Праведный гнев первой, направленный на мракобесные тенденции советского времени, и рациональный аналитический вуайеризм второй (в лучшем смысле слова: отстраненное и предельно внимательное, безэмоциональное, прячущееся наблюдение с непрерывным личностным акцентом; постановка умных «диагнозов» наблюдаемому обществу) — два полюса, создающие равновесие моего мира.

Таким же необходимым чтением стали две книги Сергея Чуприна: «Оттепель. Действующие лица» и «Оттепель как неповиновение» (обе — «Новое литературное обозрение», 2023). Под конец года вышли его лекции «Современное литературное пространство», читаемые студентам Литинститута (М.: Литературный институт им. А.М.Горького). Казалось бы, разные жанры — но объединяет чупрининские книги скрупулезный энциклопедизм: для историка литературы ни одна блоха не плоха, поэтому (как уже отмечалось в «дружбинской» рецензии Светланы Шишковой-Шипуновой — 2023, № 10) героями «Действующих лиц» стали не только безусловные творцы, но и — чиновники, сметенные временем, оставившие определенный след — скорее не в литературе, а в социокультурном быте эпохи. В изложении Чуприна их вплетенность в литпроцесс — и сложная порой соотносительность с судьбами творцов истинных — обрastaет едва ли не детективными взаимосвязями. Каждый очерк в «Действующих лицах» преподнесен как захватывающее мини-эссе, где оценочность (переходящая и в область этики, осознания простой человеческой порядочности или ее отсутствия) гармонирует с фактологической точностью и беспристрастностью. Статьи из «Оттепели как неповиновения» объединены сюжетом пребывания писателя во времени с его жестокой цензурой — и, опять-таки, важны нам как возможность соизмерить тех или иных персонажей с героями хаотичного «сегодня». Это все — о нас самих через историю. Зона личной ответственности, борьба с цензурой и уход в подполье, ярость против настоящего и прагматический взгляд в будущее (по Солженицыну из «Архипелага "Гулага"», выждать и сказать свою правду миллионам), — осмысление всех этих тем делает чтение книг Чуприна своевременным и обязательным.

«Современное литературное пространство» читаю прямо сейчас — и отмечаю все то же сочетание беллетристической занимательности с энциклопедизмом. Однако последнее качество здесь соотносится скорее с вниманием к массовой культуре — мимо нее автор не прокатывается на роликовых коньках снобизма, как это чаще всего бывает, но анализирует на уровне персоналий как, может быть, низменную, но всё равно неотъемлемую часть литпроцесса.

Ваш круг чтения в 2023 году: остался прежним или изменился (расширился? сузился?), отслеживали новинки, наверстывали упущенное или перечитывали?

Эссе Михаила Эпштейна (книга «От Библии до Пандемии», «Азбука-Аттикус») и Ольги Балла («Дикоросль-4», издательство «7 искусств») в очередной раз доказывают подвижность границы между чтением и перечитыванием: давно знакомы основные авторские сюжеты (и это знание внушает отдельное удовольствие), но поиск ответов из «сегодня» делает осознание каждой строки в этих книгах едва ли не ошеломительно новым.

Еще одно открытие — вряд ли только нынешнего года, оно продолжается в режиме нон-стоп, но ощутилось и в 2023-м, — насколько умное, интеллектуальное и граждански ответственное сейчас поколение двадцатилетних и тех, кто чуть младше. (В недавнем интервью «Учительской газете» руководитель «Подписных изданий» Михаил Иванов осмыслил социологические причины этого: «Нас посещают дети нулевых и конца 1990-х, когда уровень жизни в стране повысился в связи с ростом цен на энергоресурсы. Эта молодежь воспитывалась в особой среде с запросом на интеллектуальную составляющую. На рубеже веков чувствовались отголоски 90-х, было модно быть дерзким, злым и агрессивным. Сейчас в обществе есть запрос на то, чтобы быть умным...») Списки лучших поэтических дебютантов уже третий год составляю для «Формаслова» (очередной выпуск — 15 декабря), о подборках и именах могу говорить много, но, поскольку речь о книгах, то отмечу четыре сборника.

Стас Мокин («Дневник», книга, вышедшая в самиздате): переживание юности, подростковости с ее потоковым выговариванием, некоторой сумятицей переживаний и — что важно — сюжетом произрастания «странного» ребенка в мире недетского ужаса. Речь с явными признаками неопрIMITивизма, но обнаруживающая органику внутри непривычного для поэзии типа высказывания. Здесь сложно говорить и о подражании искушенного поэта наивному письму, и о простоте массовой культуры, — стихи Мокина не встраиваются в схемы, каждый раз оставляя нас с перевернутым представлением о привычном.

«Свалка» Ростислава Ярцева («Формаслов»). Вторая книга автора, переросшего, пожалуй, статус дебютанта и занимающего полноценное место в современной литературе, — речь на краю невозможного. Здесь становятся органичными и высокопарность — ушедшая, казалось бы, из поэзии, — и редкое сочетание метафорической сгущенности с остросовременной социальностью. О возвращении «слов, образов, приемов, которые казались общими и потускневшими», об их способности «снова обретать индивидуальность и яркость» пишет и Валерий Шубинский в предисловии к сборнику, интересной статье о новом поколении молодых лириков. Но основная линия сборника — драматический нарратив, впрочем, тоже разнообразный: здесь и семейный эпос, и масштабные вещи социального характера, и краткие философские этюды, не миновавшие влияния Виталия Пуханова.

«Долгое дыхание» Павла Сидельникова (издательство «Наш современник»). «И жизнь. И жаль. И женщина шумела,/ Как яростный камыш в болоте топком,/ где водоросли — это волосы жены/ (за образ — получу по морде шлепком)./ А все другие камыши восхищены». Удивительная трансформация шестидесятничества, высокопарность которого намеренно снижена — и доходит чуть ли не до постмодерновой эклектики; одомашненная ирония, и все это — при сохранности прямоговорящего лирического начала.

«Причина идти дальше» Матвея Цапко (вышедшая в электронном варианте). Как мне кажется, после этой книги должна измениться наша привычка говорить об осознанных приемах «версификации» и «техники» как о порицаемом «умении писать».

Что читали больше: худлит или нонфикшн, отечественное или переводное?

Открытия года: имена и книги. Что посоветуете не пропустить, обязательно прочесть?

Цапко своим методом доказывает, что архитектурная сконструированность может быть продолжением поэтического дыхания, а не эквилибристикой. Вдвойне интересно, что эта изощренность — внутри подлинного верлибра, где специфически значимый для прозы сюжетный уровень сочетается с пронзительным лиризмом.

Из старшего поколения хотелось бы отметить книги «Голоса в голове» Нади Делаланд («Делаландия») и «Раздетый свет» Елены Севрюгиной («Синяя гора»); оба сборника объединяет погружение в стихию языка, так точно отмеченное Геннадием Калашниковым в предисловии к Севрюгиной. Другое открытие — «Облако всех» Евгения Кремчукова (М.: Воймега; Ростов-на-Дону: Prosodia). Сборник Кремчукова удивляет гармонией, не свойственной современной поэзии, погружает в гармонию, настаивает на ней: от образа семейственности, который становится центральным в первом же стихотворении («разные земли и воды прияли в себя остальных/ но протекает сквозь сон однокомнатной жизни/ медленный вечер в котором все еще живы/ тетки за женской беседой —/ в сторонке от них») и который красной нитью проходит через всю книгу, — до соприкосновения прошлого и настоящего, где отменяется линейность времени и все находятся рядом, священные близкие и любимые призраки.

Однако самым большим открытием стал сборник поэта ушедшего (и до сих пор не ясно, существовавшего ли; и, как ни «удивительно», — сборник, прошедший мимо критики). Книга Фёдора Терентьева (1944—1983) «Неполное собрание стихотворений» вышла в самиздате благодаря ростовским энтузиастам во главе с критиком Сергеем Толстовым. Лукавая книга, таящийся создатель которой, явно не избегший «последующих» за его альтер-эго влияний поэзии (в том числе Рыжего и Жданова), намеренно входит в образ трагического героя-маргинала. Однако в силу абсолютного инкогнито автора каждое из таких суждений остается лишь в области догадок. Важнее — стихи: «я встал от шума бензопил/ деревья режут/ как эллинов у Фермопил/ и слышен скрежет/ цепи гуляющей внутри/ ствола осины/ напоминает кровь зари/ цвет древесины». Удивительные, с их перевернутой логикой мироздания, мандельштамовской логикой ассоциаций — и его же соседствующим пребыванием в мировой культуре и авторском настоящем.

Елена Лепишева, литературный критик, прозаик (г. Минск)

Разобобщение культурного поля

Круг чтения, конечно, сузился. Более того, я могла бы озаглавить эту часть своих лититогов-2023 «Письмо в бутылке без джинна и без ответа».

А получить его хотелось бы. И ответ, и письмо, да, пожалуй, и джинна, если понимать под ним чуткого собеседника, заинтересованного в том, чтобы вспышка между вами переросла в интерес к литературе, поиск ее новых берегов, а не «алкоголя». Желчное, настоянное на нереализованных амбициях, или слащавое, угодливое конъюнктуре — вовсе не то, что хотелось бы видеть в качестве флагманов литературного

процесса. К сожалению, видеть приходится. Как и разобщение культурного поля на фрагменты, страты, мотивированные ментально и идеологически.

Для меня уходящий год выявил сложность в отслеживании книжных новинок. Связано это прежде всего с сосуществованием литературы в метрополии и эмиграции, что заставляет вспомнить опыт советских лет. Очевидное отличие в использовании IT-технологий, благодаря которым новые произведения, изданные за рубежом, становятся доступны читателю, но вот политика книжного рынка, где над эстетикой доминирует прагматическая установка, налицо.

Остановлюсь на опыте белорусских издательств в условиях релокации. Независимые проекты направлены на поддержание национального вектора литературы, создающейся на аутентичном (белорусском) языке. В результате среди десятков книг, вышедших в издательствах «Вясна» (Чехия), hochroth Minsk (Германия), Skaryna Press (Великобритания), «Янушкевіч» (Польша), практически все написаны по-белорусски. Такой приоритет, безусловно, понятен, однако думается, русскоязычные авторы не менее нуждаются в поддержке и выходе к широкой аудитории. Остается надеяться, что акторы литературного процесса придут к необходимости консолидации общих усилий для поддержания национальной культуры (для которой языковой фактор не является доминирующим в силу исконной гетерогенности), что крайне важно в условиях бифуркации мирового сообщества.

Если же говорить о круге чтения, то признаюсь, что он включил неожиданные вещи. Год прошел с обостренным ощущением ценности культуры, гуманитарного знания о мире — стремления охватить его разные полюса, хотя бы пунктирно наметить ответы на вызовы современности. Мир — разноцветный флаг с множеством полутонов — мир прочитывался мной в научно-популярных координатах. Открыла для себя Асю Казанцеву* («Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости» (Москва: АСТ, 2023)), научную журналистку, окончательно убедившую меня бросить курить, доступно раскрывшую проблемы социального гендера, женской биометрии, причины осеннего сплина etc.

А вот чтение книг, выстроенных на стыке научного исследования, журналистики и документальной прозы, обращенных к болевым социально-политическим точкам XX века, оставило впечатление если не тревожности, то драматичности исторического момента. Интеллектуальную летопись 2023 года мне сложно представить без работы журналиста-международника Александра Баунова «Конец режима: как закончились три европейские диктатуры» (М.: Альпина Паблишер, 2023), посвященной тоталитарным режимам в Испании, Португалии и Греции.

Что касается художественной литературы, то здесь мое внимание было сосредоточено на ее заведомо непримиримой ипостаси. Создается она отнюдь не «топовыми» авторами, привлекательными, однако, тем, что в их эстетических стратегиях напряженный поиск доминирует над стремлением вписаться в одну из существующих жанрово-стилевых ниш. Интересно живое, трепетное, возможно, мимолетное — то, что правильнее было бы назвать интенцией развития литературы. История учит, что именно на этой основе рождается новое, примером чему служат эксперименты Серебряного века, отголоски которых ощутимы в направлении, обозначенном как «метамодернизм».

Так, обращает на себя внимание «гротескный» стиль с элементами фантастического реализма, реализованный в произведениях Филиппа Хорвата, писателя, критика, книжного блогера. Запомнились рассказы «Моя борьба»

Что читали больше: худлит или нонфикшн, отечественное или переводное?

Открытия года: имена и книги. Что посоветуете не пропустить, обязательно прочесть?

(на платформе «Прочтения»), «Числа Чибоначчи» (на «Дискурсе»), повесть «Красные оттенки серого», пока не опубликованная. Так вышло, что ко мне попала не только ее рукопись, но и повесть Михаэля Кондратовца «Архивариус» (вышедшая на «Дискурсе»), объединенные подступами к травме современного молодого героя с его небезосновательным социальным скептицизмом, тотальной (само)иронией, погруженностью в виртуальный мир, поданными с помощью гротеска.

Могу ошибаться, но по написанию лититогов складывается вектор моей читательской рефлексии (неотделимой от научно-критической). Новейшие тексты ищут ответ на вопросы: что происходит с человеком в атомизированном обществе и действительно ли обстоятельства препятствуют его выходу из модуса Homo Confusus (согласно определению известного биолога и психолингвиста Татьяны Черниговской, данному еще до пандемии)?

В силу своей профессиональной деятельности критику я чаще писала, чем читала. Но по той же причине познакомилась с новейшими драматургическими текстами, созданными авторами из Беларуси. Конец предыдущего года ознаменован для белорусского культурного пространства утратой одного из его виднейших представителей — театроведа, критика, педагога Алексея Стрельникова, которого я считаю неформальным лидером культурного андеграунда нашей страны. В память об Алексее был создан сборник пьес «Внутри слов», открывший серию «Стрелы тишины» в издательстве Романа Цимберова. Помимо текстов русскоязычных драматургов, принадлежащих к разным поколениям, Константина Стешика, Алёны Иванюшенко, Влады Хмель, Марии Белькович, Коли Музыченко, книга снабжена двумя предисловиями: «Непрерывные шаги» о личности Стрельникова и его роли в развитии независимого искусства в Беларуси и театроведческим — о новых интонациях белорусской драматургии.

В 2023 году обратилась и к «женской» литературе. Не скажу, что выбор был обусловлен читательскими симпатиями, скорее профессиональным интересом: проблемой «женской» стратегии письма, взаимодействием разных уровней эстетической иерархии литературного процесса, корректностью их разделения, исходя из новейших писательских практик. В белорусском (русскоязычном) контексте меня привлекли книги Аллы Златковской «Страшно жить, мама» (Мінск: Янушкевіч, 2018) и подготовленная к изданию «Девочки-стекло» (изд. Р.Цимберова), раскрывающие жизненные перипетии матери и дочери, тесная связь которых делает их версиями одной судьбы. В этих текстах мне не хватило масштаба авторского мышления: бытовые подробности, узнаваемые детали Минска с его заснеженными микрорайонами, пустынной набережной в парке, привычкой жить тихо, не привлекая к себе излишнего внимания, выписаны точно, но могли бы сложиться в срез социальный, который углубил бы проблематику повести.

Не хочется проводить некорректные параллели, но вот в зарубежной версии «женская» тема выстраивается с проекцией на общечеловеческое. Так, Виктория Ллойд-Барлоу вошла в лонг-лист Букеровской премии 2023 года с романом «Маленькие птички сердца», в котором сугубо личная проблема героини — расстройство аутического спектра — подается как ментальный эскапизм, невозможность нащупать ниточки диалога с дочерью, а «зеркальность» ситуации в случае с «нормальным» подростком делает проблему эмоциональной глухоты универсальной.

Ваш круг чтения в 2023 году: остался прежним или изменился (расширился? сузился?), отслеживали новинки, наверстывали упущенное или перечитывали?

Пожалуй, в некотором смысле стратегии писательниц уравнивает Екатерина Манойло, которая уже обращалась к проблеме взаимоотношения родителей и детей в дебютном романе «Отец смотрит на запад», отмеченном престижными российскими премиями, а в новой книге «Ветер уносит мёртвые листья» (М.: «Альпина. Проза») продолжает поиск художественного решения проблемы самоидентичности юных женщин, преодоления «зоны комфорта», которой парадоксально становятся насилие, инертность восприятия потери.

А вот на нонфикшн / автофикшн в 2023-м по странности не тянуло. Слышала о новинках в этой области — книгах Михаила Шемякина «Моя жизнь» и Дениса Драгунского «Подлинная история Дениса Кораблёва», но пока желание ознакомиться с ними уступило интриге в связи с выходом «Киноспекуляции» (Cinema Speculation) Квентина Тарантино (М.: «Индивидуум», 2023). Здесь меня привлекло смешение жанров: ненавязчивая, предельно субъективная версия теории кино, поданная в форме заметок на полях, сочетается с размышлениями о режиссерской практике Бергмана, которая становится триггером для самого Тарантино, что, по-моему, носит характер не уязвленных амбиций, а лукавой улыбки Джокера.

На другом полюсе моего читательского интереса оказались книги, предлагающие альтернативные модели реальности, перемеженные с повседневностью. Среди них произведения как русских (сборники рассказов Евгении Некрасовой «Золотинка» и Анны Старобинец «Серебряный Ашолотль»), так и зарубежных («До самого рая» Ханьи Янагихары, «Книги Якоба» Ольги Токарчук) писателей. Объединяет их совмещение модусов до и после катастрофы, которую можно понимать многопланово (от исторического слома до апокалипсиса), созидающее художественный универсум, выстроенный на взаимопроникновении знакомых маркеров реальности и ее изнаночной, «иной» версии. При этом экзотика мира, смоделированного авторами (будь то сочные описания быта Подолья XVIII века у Токарчук или три параллельных исторических среза у Янагихары), не препятствует восприятию его эмоциональных контраверз и недотыкомов, оставляющих послевкусие грядущей беды. Насколько «экзотичен» тотальный контроль и пандемия Янагихары, есть ли «фантастика» у Старобинец или откровенно хоррорская вуаль — ширма реальности, смывшей глянец телеэкрана? Для меня вопросы открыты.

В мире по-прежнему множество разных людей, разнообразных интересов, взглядов, прочтений. Ощущение от первой страницы зависит от скорости восприятия, опыта, дня недели. Поэтому не могу не посоветовать пропускать все, что вашей душе угодно пропустить, а читать то, что необходимо вам прямо здесь и сейчас. Если это кофе с молоком, то пускай будет кофе с молоком. Пока чай с жареным рисом стоит на полке и ждет своего времени.

* Внесена в специальный реестр иностранных агентов Минюста РФ.

*Что читали больше: худлит или нонфикшн, отечественное или переводное?
Открытия года: имена и книги. Что посоветуете не пропустить, обязательно прочесть?*

Александр Марков, литературовед, культуролог (г. Москва)

«Здесь и сейчас» как интуиция постпандемийного мира

В 2023 году исчезло желание следить за «новым», как ждут нового Пелевина, нового Сорокина или нового Водолазкина. Дело не в том, что писатели стали хуже писать, а в том, что изменилась сама социальная ткань. И Сорокин, и Пелевин работали с пористой тканью советского и постсоветского языка, с ее заплатками, лакунами, швами, показывая, что будет, если эти слова начнут действовать серьезно, какая на самом деле реальность будет зиять там, где мы чувствовали прежде только нехватку смысла. Теперь ткань стала другой, и иногда кажется, когда читаешь мировые новости, что сейчас историю пишет какой-то захудалый писатель, не умеющий сводить концы с концами, допускающий провисание сюжетных линий в пределах десяти страниц, не мотивирующий поступки героев. Такое письмо должно было вызвать ответ романистов, и назову только два из прочитанных в 2023 году переводных романа. «Времеубежище» Георги Господинова — дистопия, с большим числом цитат из «Волшебной горы» Томаса Манна, в которой показано, что будет, если плохой писатель нашей истории сведет концы с концами и все дружно проголосуют за возвращение в прекрасное прошлое. «Новые волны» Кевина Нгуена — тоже дистопия из мира сетевых стартапов, в которой исчезающие сообщения мессенджера должны отправлять всех в прошлое, но и концы бунтов тоже свести невозможно.

Расширился круг чтения или сузился, сказать трудно. В тех областях, которые меня больше всего интересуют как критика, книга уже не выступает отдельной единицей: она может быть сначала представлена как сетевой сериал (что было с «Комнатой Вагинова» Антона Секисова, о которой я уже писал в журнале («ДН», № 12, 2023), или же сопровождаться большим числом реальных и сетевых мероприятий, как это происходит с поэзией. Конечно, и во времена Сапфо поэзия была погружена в литературный быт, но сейчас книга может быть и стримом, и текстом, и представлением ее одновременно. Причем в отличие от популярной поэзии, где это необходимое рекламное сопровождение, здесь это эксперимент с самой формой, каким он был и в эпоху «книг художника», и в эпоху ксерокопированных авторских изданий. Сегментация литературной жизни после пандемии также способствует кристаллизации местных литературных школ и их способов самопредставления.

Как раз по количеству наименований я больше читал нон-фикшн, который позволял посмотреть на происходящее со стороны. Скажем, вполне впечатлила недавно переведенная книга «Геометрия скорби» Майкла Фрейма — попытка разложить скорбь на составляющие и смоделировать философию здесь и сейчас. Вообще, это «здесь и сейчас» как интуиция постпандемийного мира, что нужно здесь, в своей квартире, собрать мир, лежит на многих новинках нон-фикшн, включая все исследования природы, экологии, мхов и слизи, которые во множестве сейчас выходят. По-новому стал звучать русский авангард: скажем, прочел вышедшее в 2023 году четырехтомное собрание Бориса Арватова, теоретика производственного искусства. Этот авангард покоряет умением сказать, что история — это не ряд образов, которые

Ваш круг чтения в 2023 году: остался прежним или изменился (расширился? сузился?), отслеживали новинки, наверстывали упущенное или перечитывали?

мы частично отбрасываем, а частично сохраняем, а целые пласты высказываний, и пока не научился смело говорить сам, нечего судить о закономерностях истории. Все бесплодные споры, каков наш исторический момент и прав или ошибся Фукуяма, разбиваются об эту смелость.

Открытием для меня стал выход русского перевода второго тома труда «Индивид» Жильбера Симондона. Без этой книги трудно понять споры во французской теории, о тексте, теле, разуме, подражании природе. Симондон создал для французской теории такую сетку понятий, как Гегель для немецкой философии, так что даже человек, не ссылающийся на него, когда нужно заострить проблему, мыслит как Симондон. Существенно, что этот мыслитель вел диалог с кибернетикой, пытался понять, когда в мире машин может произойти индивидуация — и это необходимо в нынешних спорах об искусственном интеллекте.

А так впечатлений много, например, только что прочел новую книгу нашего культуролога Владислава Дегтярёва «Память и забвение руин». В ней меня привлекла идея различения меланхолии, которая делает человека сверхчувствительным, и ностальгии, которая в чем-то инфантильное чувство: ностальгия возвращает нас в детскую, но детскую, полную продуктивных фантомов, мечты о далеком плавании. Дегтярёв, разбирая истории естественных и искусственных руин, эстетики руин, показывает, как можно найти равновесие между меланхолией и ностальгией, которое и не позволит прятаться во «времеубежище». Вот эту книгу я бы посоветовал прочесть.

Как всегда, радуют серии нон-фикшн, скажем, серия «Интеллектуальная история» издательства «Новое литературное обозрение». Есть книги, которые я сейчас начал читать, прежде всего, «Семечки», издание записных книжек Константина Вагинова. Дело не только во внимании к фигуре Вагинова, которое будет только возрастать по мере сегментирования литературного поля, но в том, как вообще функционировало письмо в авангардную эпоху. Мы привыкли к письму, которое кажется плакатным и фельетонным, — таково упрощенное восприятие авангарда. Но на самом деле письмо авангарда — выражение сознания героев, которые уже допустили для себя что-то — собственную смертность, или собственное гротескное величие, или собственное юродство. Такое письмо, как у Вагинова, и в записных книжках, и в романах, пытается найти тело для этого допущения, все-таки как-то облечь это телом, чтобы произошло, по выражению А.Л.Зорина, появление героя. Но в романах приходится подчиняться романным условностям, тогда как в записных книжках мы видим само это дело поиска. В каком-то смысле Вагинова надо читать для понимания Булгакова, или Олеши, как Симондона надо читать для понимания Делеза и Дерриды.

Если же говорить о моем читательском опыте на протяжении всего 2023 года, — то это опыт перечитывания. Например, со студентами мы читаем работы Вальтера Беньямина о Бодлере или работы Жака Дерриды о Целане. Еще десять лет назад казалось, что это просто опыты критической теории и критики языка, когда вслед за поэтом философ показывает, что далеко не все можно сказать, что поэзия оказывается инструментом зазора между необходимым и возможным, катастрофой, обрушением привычного. Но сейчас в этих работах открывается еще один мотив: поэт как вдохновение для себя, поэт как неожиданное божество самому себе. Романтический культ гения был напыщенным, но это не значит, что постепенно голос другого, голос друга не может стать таким голосом гения, голосом, указывающим, что вот, достаточно посмотреть — и само бытие возвращается к нам.

Что читали больше: худлит или нонфикшн, отечественное или переводное?

Открытия года: имена и книги. Что посоветуете не пропустить, обязательно прочесть?

Николай Подосокорский, литературовед, литературный критик, блогер (г. Великий Новгород)

Идеал как вызов, дела царевича, мир сновидений и «Путешествие в Элевсин»

Ежегодно я полностью прочитываю примерно девяносто книг. Некоторые книги, помимо этого количества, читаю лишь фрагментарно (к примеру, нужные мне главы из больших обзорных трудов) или бросаю их читать, если они вдруг оказываются неинтересными и бесполезными.

Структура моего годового чтения вот уже несколько лет остается почти неизменной: это несколько священных и душеполезных текстов, два-три десятка исторических монографий, одна-две дюжины классических художественных произведений, ряд научных трудов о Достоевском и мировой литературе, несколько сборников поэзии и современной прозы и проч. В январе в течение всего месяца я медленно и вдумчиво перечитываю Новый Завет, и это погружение в главную книгу христианской культуры дает мне заряд творческой энергии на весь последующий год. Также в течение года перечитываю отдельные книги Ветхого Завета и труды выдающихся христианских подвижников. В этом году на меня сильное впечатление произвела «Книга Товита», рассказывающая о том, как архангел Рафаил помог вернуть зрение благочестивому Товиту и изгнать демона Асмодея из Сарры, ставшей женой Товии (сына Товита). Впервые прочел и знаменитый «Путь Паломника» Джона Беньяна, написанный им в тюрьме, в которой он в общей сложности провел двенадцать лет за свои религиозные убеждения. На мой взгляд, эта великая аллегория христианского пути к Богу во многом и стала такой популярной именно потому, что за ее создание автором была уплачена столь высокая цена.

В этом году я много читал книг, посвященных жизни и трудам митрополита Антония Сурожского, который для меня является одним из главных светочей христианства в XX веке и настоящим мудрецом, значение которого выходит за рамки одной религии. Я убежден, что со временем его и официально канонизируют. Владыка Антоний учил тому, что и сегодня христиане могут и должны быть подобны апостолам, готовым «перевернуть мир», и что им «не следует стремиться быть незаметными и приспособливаться к существующему положению вещей». Он говорил: «Идеал — не мечта, идеал — вызов, нечто, что должно быть достигнуто».

Также традиционно читаю несколько книг фэнтези и фантастики — в этом году это были романы «Бесплодные земли» Стивена Кинга (из его цикла «Тёмная Башня») и «Мельмот Скиталец» Метьюрина (его я впервые прочел лет пятнадцать назад, и потому решил освежить впечатление); сборники рассказов «Разговоры с дьяволом» Петра Успенского, «Рассказы о привидениях» Монтегю Родса Джеймса, «Новое Будущее» под редакцией Сергея Шикарева, «Таков ад. Новые расследования старца Аверьяна» Владимира Микушевича и др.

Каждый год новым замечательным романом радует Виктор Пелевин, и это для меня тоже обязательное чтение. Замечу, что его «Путешествие в Элевсин» лишь по форме похоже на фантастику, по сути же — это чистый реализм, который можно

Ваш круг чтения в 2023 году: остался прежним или изменился (расширился? сузился?), отслеживали новинки, наверстывали упущенное или перечитывали?

назвать *мистическим* или *реализмом в высшем смысле*. Лично я воспринимаю его книги абсолютно всерьез и считаю их автора глубоким и оригинальным мыслителем, который, впрочем, не отделим в нем от гениального художника.

Кроме того, ежегодно я прочитываю в среднем более десяти книг, посвященных наполеоновской эпохе. Мой интерес к этой теме давний, и он связан с моими научными изысканиями. В этом году это были несколько биографий британского вице-адмирала Горацио Нельсона (М.Куриева, В.Шигина, К.Хибберта), жизнеописание младшего брата Наполеона — Люсьена Бонапарт, разные мемуары времен царствования Александра I (особенно поразили меня воспоминания лейб-медика Дмитрия Тарасова), биографии А.А.Аракчеева и М.М.Сперанского и проч. Графа Аракчеева в последнее время все больше принято считать «эффективным менеджером», который не жалел никого и ничего ради решения высших государственных задач. Но когда читаешь подробности его отношения к зависимым от его произвола людям, то понимаешь, что его недобрая слава была во многом заслуженной. К примеру, в его новгородском имении Грузино от телесных наказаний не освобождались ни женщины, ни старики, ни дети. Активно применялись графом кандалы и рогатки. Как пишет историк В.А.Фёдоров, «по неделям и месяцам ходили люди с рогатками на шее (даже на богослужение в церковь), которые не давали провинившемуся возможности прилечь». Подвергшиеся же жестоким истязаниям (из тех, кто знали грамоту) должны были писать своему мучителю, что они «рабы презренные и верноподданные его испытали достойное возмездие за свое согрешение, мучаются угрызением совести и умоляют господина своего укротить праведный гнев свой».

Из личных открытий года отмечу труд писателя и историка Якова Гордина «Царь и Бог: Пётр Великий и его утопия» (Вита Нова, 2023), в основе которого лежит подробное рассмотрение «высокой исторической драмы» — дела царевича Алексея, обвиненного в заговоре против отца-самодержца и погибшего в тюремных стенах в результате жестоких пыток. Гордин показывает, что фигура наследника престола Алексея Петровича была гораздо более сложной, чем о ней долгое время было принято думать. Цесаревич знал немецкий, латинский и польский языки и был весьма начитан (в числе прочих книгами его снабжал князь Дмитрий Голицын, обладатель огромной библиотеки исторических и политических трудов). По выпискам, сделанным Алексеем из «Истории» Барониуса (Цезаря Барония), мы можем судить, что «форсированная жестокость властителей вызывала его явное осуждение». Неразрешимый конфликт между венценосным отцом и сыном был неизбежен еще и по той причине, что Пётр был «человеком войны по сути своей личности», а для Алексея «мир был императивом». Именно последнее во многом и ставилось ему в вину. Характерен в этом смысле донос властям на цесаревича от его любовницы — «чухонской девки» Ефросиньи, которая сообщала: «Да он же, царевич, говаривал: когда он будет государем, <...> войска-де станет держать только для обороны, а войны ни с кем иметь не хотел, а хотел довольствоваться старым владением...»

Наибольшее же впечатление из всего прочитанного за год на меня произвел роман Бонавентуры «Ночные бдения», впервые изданный в 1805 году. Собственно о его существовании я узнал сначала во сне (мне приснилось, что я его читаю как «роман Шеллинга»). До этого я и не догадывался, что помимо философских сочинений Шеллинг написал великий роман (с конца XIX века его авторство активно оспаривают, но при его жизни в этом ни у кого не было ни малейших сомнений). Главный герой «Ночных бдений» — «ночной сторож» (сын алхимика и цыганки) — последовательно читает книгу своей жизни, в которой сокрыта тайна мира сновидений.

Что читали больше: худлит или нонфикшн, отечественное или переводное?

Открытия года: имена и книги. Что посоветуете не пропустить, обязательно прочесть?

Валерия Пустовая, литературный критик (г. Москва)

Проверка контакта

В минувшем году я впервые участвовала в работе премии «Большая книга» в качестве эксперта. Предстояло в сжатые сроки прочесть десятки номинированных произведений. Для критика это, конечно, работа мечты: погружение в потоковое чтение, резкая синхронизация с литературной реальностью. Обычно я выбираю книгу поближе к своим жизненным интересам, литературным предпочтениям. А тут не приходилось выбирать, к тому же в силу особенности премии, ее широты, можно было не беспокоиться и о выборе между поколениями или жанрами, историей и актуальностью, бытовухой и фантастикой. Этот опыт действительно расширил мое поле чтения, хотя и не поколебал настройки восприятия. А необходимость оценивать прочитанное вынуждала до конца прочувствовать, насколько та или иная книга мне кажется состоятельной, наполняющей, обновляющей восприятие жизни и литературы.

Я предпочитаю следить за определенными авторами и жанрами, а также за внезапным созвучием между книгами, которое может перерасти в тенденцию или просто поможет, благодаря сопоставлению, лучше понять особенности каждой. Новая книга интересующего автора — риск для читателя, проверка контакта. Хочется сказать прежде всего об авторах, чьи новые произведения превосходили ожидания. Меня удивили книги рассказов «Остановка» Романа Сенчина и «Золотинка» Евгении Некрасовой, а также экспериментальный фантастический роман Аллы Горбуновой «Ваша жестянка сломалась». Здесь авторы остались максимально узнаваемы, верны себе — и в то же время достигли новой литературной свободы. Роман Сенчин сносит рамки того, что называют «историей» в значении story, пишет остросюжетный рассказ без события, оправдывая подзаголовок книги — «неслучившиеся истории». Евгения Некрасова убедительней и дерзновенней, чем раньше, венчает фольклорную архаику с ломовой злобой дня: раньше казалось, это современность плывет от прикосновения мифа, а теперь видно, как и сам мифологический слой корежит от токсичной актуальности. В то же время мрачные ее сказки странным образом укрепляют: герои Некрасовой все решительней оставляют роль жертвы, выучиваются владеть собой и судьбой. Роман Аллы Горбуновой мне показался автофикшном навыворот. Книга будто далека от того, что сделало поэта Горбунову известной как прозаика: здесь нет исповедальности о взрослении в девяностые, нет прямого самоисследования. Все в романе чужое, в максимальной степени не-я: и придуманная машинная личность, наделенная всезнанием, и не совсем обычные, а то и не вполне адекватные люди, которые свидетельствуют о контакте с ней. К тому же в число свидетелей автор набирает и известных людей, приводит чужие стихи и установки. Когда перед нами Ларс фон Триер изливает мечту об идеальном кино без изображения, это кажется насмешкой над жанром исповеди. Но в итоге эта книга, где столько голосов и все голоса точно принадлежат кому-то другому, оказывается странно близка. Горбунова погружает нас в стихию речи. Исповедальность тут сродни поэзии. Мы словно слышим хор и не замечаем, как сами к нему присоединяемся. В небольшом, но тематически обширном романе обязательно найдется точка входа для читателя — момент, когда и ему захочется взговорить. Несмотря на разноголосицу,

Ваш круг чтения в 2023 году: остался прежним или изменился (расширился? сузился?), отслеживали новинки, наверстывали упущенное или перечитывали?

книга чувствуется очень цельной из-за единства тревоги. Это роман, где жаждут будущего, но боятся его сокрушительной силы.

Книги-открытия — от авторов, чью прозу я до этого не читала. Арсений Гончуков не новичок в литературе, однако его роман в рассказах «Доказательство человека» воспринимается как яркий дебют. Потому что это книга для широкого читателя, не поступающаяся серьезностью литературы. Гончуков пишет фантастические истории о конфликте между параллельными человечествами: биологическим, привязанным к телу, и цифровым. И сюжеты берет как для боевиков: подавление восстания, побег, погоня, десант, боевое братство, офицерская ошибка и т.п. Но все это воплощено на осознанном отдалении от киношности. Рассказы открываются как психологические. И книга если что и доказывает в человеке, так это неистребимость его привязанности ко всему хрупкому, ветхому — старообразно реальному — даже в эпоху цифрового бессмертия.

А вот на самом деле дебютировавший автор — Пётр Воротынцев. Я узнала его как автора книги для детей об истории театра. И только потом прочла его первые опыты в художественной прозе. Заглавная повесть из его сборника «Заведение» публиковалась в «Дружбе народов» (№ 4, 2022). Мне очень понравилась повесть, в которой оригинально соединились далекие сюжеты: взросление, творческое образование, быт людей с особенностями, неполная семья, фальшивый наставник, ложно понятое призвание. Книга же вовлекает и в мир рассказов автора — сжатых, порой миниатюрных, но психологически точных, задающих найденным жизненным противоречием. Есть рассказы фантастические и бытовые. У меня впечатление, что автор особенно настроен на фиксацию прозы жизни, ее шероховатостей и зазубрин. Житейская наблюдательность в сочетании с неприукрашенным, лаконичным и едким письмом делают Воротынцева в моих глазах литературным единомышленником Романа Сенчина.

Очаровал и еще один дебют — первый роман Ильи Мамаева-Найлза «Год порно». По виду легкое, даже одобренное юмором повествование о жизни молодого неудачника удивительным образом не скатывается в беллетристику. Книга получилась занимательной — но совсем не развлекательной. Герой, который не добился взаимности любимой девушки, разочаровался в дружбе, ушел из дома и зарабатывает подпольным трудом — переводит скудные реплики в порнофильмах, — оказывается проводником в неустроенность родного города и многих судеб. И именно благодаря особенному восприятию героя мы проникаем в чужие тайны и слабости без осуждения и без спасательского самомнения. Это книга о том, как ценно и побыть рядом — и вовремя почувствовать, что пора разойтись.

Две горькие книги, с которыми как раз хочется побыть подольше. Цикл очерков Дмитрия Данилова «Пустые поезда 2022 года» и повесть Леонида Юзефовича «Поход на Бар-Хото» — несмотря на то, что первая погружает нас в личное пространство и настоящее время, а вторая переносит на сто лет назад в Монголию, обе книги проникнуты общим переживанием тщетности. Это глубокая, заведомо явная тщетность. Зрящность усилий, обреченность любви, бесследность подвигов, растворимость слов. Обе книги являют ту глубину поражения, на которой только и возможно настоящее понимание жизни и принятие человека таким, каким он сумел быть в тисках личных или исторических обстоятельств.

Об этом принятии для меня и книга Оксаны Васякиной «Роза», завершающая ее трилогию памяти. Третья книга вызвала особенно полемичную реакцию. А мне она

Что читали больше: худлит или нонфикшн, отечественное или переводное?

Открытия года: имена и книги. Что посоветуете не пропустить, обязательно прочесть?

показалась самой пронзительной, до глубины ясной. Если в первых двух книгах автор разбиралась с образами отца и матери, то здесь воссоздан образ сестры матери — человека, которого и при жизни не очень-то замечали. Рядом с матерью и отцом героиня неизбежно дочь, а это тянет за собой и неутоленные запросы, и неисполнимые ожидания. Рядом с никому не интересной, не удалой, не знающей себя тетей героиня куда более свободна как наблюдатель. Фокус романа в том, как отражаемый и отражение меняются местами. Не только героиня, но и каждый читатель может ощутить себя на месте той, кому посвящена «Роза»: человеком без слоев защиты, без брони социальности, голым, обреченным, зависимым. Литература умеет превращать чужое в личное впечатление, личный опыт. И у Оксаны Васякиной получилось говорить о себе, глядя на не слишком близкого человека, и сказать о человеке, говоря по видимости о себе.

Елена Сафронова, литературный критик, прозаик (г. Рязань)

О том, что творится силою воображения

Круг моего чтения остался прежним: он всё так же широк и состоит в основном из книжных новинок, следить за которыми — задача критика. Не обязательно на все откликаться, но фиксировать вновь вышедшие книги критик... сказала бы «должен», но сама же на круглом столе Русского ПЕН-центра «Литературная критика или навигация? Что важнее для читателя?» в рамках IX книжного фестиваля «Красная площадь» говорила о некорректности модальности «должен». Моя реплика называлась «Что и кому должна критика?» и гласила, что критика никому ничего не должна, как и любое другое искусство, ибо творится для истории. Критика символизирует «прочитанность» книги обществом и ее востребованность во временной момент. В идеале критический отзыв — не столько обязанность критика, сколько везение автора. Это кажущееся отступление важно для ответа на «опросник».

Я читаю столько же, сколько и в предыдущие годы, но в последнее время чаще воздерживаюсь от написания рецензий, что делаю, когда книга «не моя», чтобы это не сказалось на отзыве. Меня равно не привлекают литературная неинтересность, малохудожественность — и гиперактуальность, обостренная политизированность. К художественной литературе я всегда тяготела, и в нынешних обстоятельствах тяга усилилась. Я постоянно цитирую «Толковый словарь» Владимира Даля: «Писатель — это литератор, сочинитель»; «Сочинять — значит творить силою воображения». По мне, писательство начинается там, где заканчивается исповедальность и «сиюминутность», — или там, где они преодолеваются, и человек говорит не о том, что лично видел, а о том, что творится силою его воображения.

В числе отрецензированных мною в 2023 году книг — журнальные версии романов Игоря Шумейко «Неконтактные племена», и Руслана Козлова *Stabat Mater*, и «легендария» Григория Аросева — Евгения Кремчукова «Святые рыбы реки Вспять». Сборник рассказов Елены Долгопят «Хроники забытых сновидений». Романы Шамиля Идиатуллина «Возвращение “Пионера”», Максима Замшева «Вольнодумцы»,

Ваш круг чтения в 2023 году: остался прежним или изменился (расширился? сузился?), отслеживали новинки, наверстывали упущенное или перечитывали?

Екатерины Басмановой «Миллионы не моего отца». Сборники прозы Галины Климовой «Сочинительница птиц» и Галины Калининской «Идти по прямой». Все эти книги несхожи по замыслу, стилистике, идейной и идеологической базе, и они произвели на меня совершенно разное впечатление, не только комплиментарное. Однако все их авторы не писали «с натуры», а продумывали и простраивали художественные миры для развития повествования — то похожие на наш, а то совершенно ирреальные. Хочется остановиться на книге еще не «маститого» автора — Татьяны Жирковой из Санкт-Петербурга. Я откликнулась на ее книгу «Светлячок»: 10 рассказов с отдельными сюжетами и цикл историй о школе «Герасимов и другие». Писательница создает реалистичную и неприкрашенную, но добрую и теплую прозу. После «Светлячка» Жиркова издала книгу «Травка полевая», куда вошли старые и новые рассказы. О мощном гуманистическом послы автора говорят и нарочито «детские» и сентиментальные названия. Душевной прозы о детях в текущей литературе мало, и потому я надеюсь, что выход двух книг подряд будет благоприятен и для биографии писательницы, и для литпроцесса.

Я уже сказала, что сегодня меня особенно привлекает фикшн. Последний нон-фикшн прочла в 2022-м: монументальный труд Сергея Белякова «Парижские мальчики в сталинской Москве». С тех пор предпочитаю худлит, благо, много интересных книг критику сами плывут в руки. Критические статьи читаю в «толстяках», но если Бог пошлет хорошую книгу критики, отказываться не буду.

В числе книг, находящихся на стыке жанров, упомяну сборник «Немилосердные лета» поэтессы и прозаика Натальи Аришиной, изданный после смерти автора. Он произвел на меня впечатление эклектичностью в хорошем смысле слова: в нем есть пронзительные и проникновенные стихи, по большей части на публиковавшиеся ранее, содержательные мемуары и дневники (особенно любопытны страницы о литературной жизни СССР и Москвы перестроечного периода) и удивительная повесть «Восьмислойные облака». Вещь сложная, с дальневосточным колоритом, апеллирующая к владивостокской молодости писательницы, к японской культуре и мифологии и слабо поддающаяся пересказу, но раскрывающая Аришину как незаурядную «сочинительницу» в понимании В.Даля. Вообще же в последние годы я с беспокойством отмечаю засилье в современной прозе автофикшна. В глобальной дискуссии об этом явлении, которое одни называют жанром, а другие методом, я на той стороне, которая полагает: как явление ни назови, но для общего литературного фона оно, скорее, плохо. Как будто «серьезные» современные писатели утратили воображение, и оно осталось уделом только авторов, принадлежащих к стану условно «развлекательной» литературы. К ней я, к слову, отношусь с неизменным пиететом. В 2023 году написала большую статью о книгах Роберта Гэлбрейта (псевдоним Джоан Роулинг) и Елены Михалковой. Этот сравнительный анализ остросюжетных сочинений, русского и английского, о частных сыщиках, опубликован в журнале «Сибирские огни» (№ 5, 2023).

Для меня открытием ушедшего года стали исторические детективы о Золотой Орде краеведа и прозаика из Сызрани Сергея Зацаринного. Я прочитала два романа — «Венгерская вода» и «Шведское огниво» (АСТ) — и пришла к выводу, что это в гораздо меньшей степени детективы, нежели добротные исторические романы. Они лишены многих примет детективного канона. При этом ведущиеся в книгах расследования, начинающиеся с каких-то пустяков, порой якобы мистических, вписаны в контекст масштабных исторических событий и процессов, двигавших жизнь Золотой Орды

Что читали больше: худлит или нонфикшн, отечественное или переводное?

Открытия года: имена и книги. Что посоветуете не пропустить, обязательно прочесть?

в годы, которые занимают автора. О них Зацаринный знает если не все, то очень многое (в сравнении с кругом познаний о Золотой Орде рядового читателя, даже образованного). Книги Зацаринного выходят, видимо, издательской волей, в серии «Мастера исторического детектива». Но я бы назвала их удачным примером сочетания жанров. Легкий флер приключений и тайн в этих книгах вызывает в памяти романы по истории Отечества для юношества, которые в изобилии писались и издавались в годы моего детства — например, Константина Бадигина и иже с ним. Те были и научны, и идеологичны, и читались буквально взахлеб. Не стану рекомендовать «обязательно прочесть» Зацаринного всем желающим. Но тем, кто, подобно мне, ценит умение в увлекательной форме рассказать о сложном, его исторические романы с элементами детектива, думаю, понравятся.

Аглая Топорова, литературный критик (г. Санкт-Петербург)

«Неожиданно открыла для себя Василия Шукшина»

В 2023 году мой круг чтения сильно изменился: я стала читать гораздо меньше новинок — социальные и политические события происходили сейчас так быстро, что вряд ли существует творческая да и техническая возможность их отражения и осмысления в прозе. А в последние полтора года у меня появилось так много новых вопросов к жизни, что на них вряд ли сможет ответить очередная книга о неудачной дефлорации, нарко-алкогольно-дискоточном опыте, семейная сага или дистопия о чем-то, что еще недавно пугало, а нынче прочно забыто. Так что в 2023 году я в основном перечитывала и читала мемуары и позднесоветскую литературу — Людмилу Петрушевскую, Ингу Петкевич, Юрия Нагибина, Владимира Маканина, Андрея Битова и др. Неожиданно открыла для себя Василия Шукшина — раньше мне как-то не приходило в голову его читать. Не обошлась я и без текстов, признанных в свое время антисоветскими или изданных в нашей стране только в начале 1990-х — например, «Говорит Москва» Юлия Даниэля, «Шатунов» Юрия Мамлеева, «Колымские рассказы» Варлама Шаламова. Чтение этих книг не то чтобы позволяет разобраться в происходящем вокруг, а скорее успокаивает в том духе, что ад не столько снаружи, сколько внутри.

Мемуары и дневники, особенно блокадные, я стала читать и перечитывать еще в ковидный карантин: апокалиптические прогнозы, паника первых дней, разговоры о том, сколько купить тушенки, а сколько водки, и улицы с редкими прохожими требовали чужого опыта переживания — и физического, и эмоционального — надвигающейся катастрофы. В общем, ковид прошел, а привычка читать дневники и мемуары осталась. Тут ведь как в интернете: видишь имя, событие или цитату и идешь разбираться дальше — а кто это был такой урод или, наоборот, такой умница.

Но все-таки в 2023 году я не только зарывалась в прошлое. В январе руки дошли до «Степи» Оксаны Васякиной. Замечательный роман. Вообще, меня удивляет, почему произведения Васякиной принято относить к так называемой «литературе

Ваш круг чтения в 2023 году: остался прежним или изменился (расширился? сузился?), отслеживали новинки, наверстывали упущенное или перечитывали?

травмы» — «Степь», например, это отличный роман о дороге, этакий прозаический вариант роуд-муви, где движение из пункта А в пункт Б переплетается с движением людей к пониманию и принятию друг друга.

Еще в этом году я прочитала столько стихов (текстов, записанных в столбик), сколько не прочитала, наверное, с юности. Правда, читала я их не с подростковым ощущением восторга от непознаваемого, сколько с холодным исследовательским и отчасти ерническим интересом. И это были не просто тексты, а произведения так называемой Z-поэзии — достаточно агрессивного в своем продвижении феномена современной литературы. Поскольку толковых статей, посвященных Z-поэзии и Z-поэтам, практически нет — в тех, что есть, разбор с точки зрения литературной ценности каждого поэта и каждого текста подменяется биографическими данными авторов: шахтерская дочь; потеряла любимых на войне; военкор; участник штурма такого-то населенного пункта, даже «взял рюмочную в Зюзино» и т.д. — то осмелюсь высказать свое мнение. Думаю, что это все-таки не феномен культуры, а некое общественное движение, тесно связанное с благородной волонтерской деятельностью и немного нелепой борьбой, причем в публичном поле, за госзаказы и всенародное признание. Ну и как в любом общественном движении в Z-поэзии есть и люди талантливые, и искренне убежденные, и конъюнктурщики-карьеристы, и ментальные инвалиды. В общем, как везде. Единственное, что их всех объединяет и, честно говоря, удивляет меня как наблюдателя, — это какая-то патологическая депрессивность лирики: смерть — героическая или случайная, тщетное ожидание, много крови и, опять же, на мой взгляд, напрасных обращений к Богу. У Z-поэтов не найдешь ни од, посвященных великим победам, ни героических баллад, где герой бы побеждал врагов и выживал, а не умирал, из последних сил выполнив боевую задачу. В общем, есть ощущение, что нового «Василия Тёркина» от Z-поэтов не дождешься. Да и с сатирой в адрес врага, если они вообще к ней обращаются, тоже получается на уровне третьей лиги КВН. Да и сам враг в Z-поэзии скорее экзистенциален: не поймешь, воюют они с конкретным жестоким противником или с бесами в собственных головах. И очень жаль, что нет пока критических текстов, которые осмыслили бы современную военную и антивоенную поэзию не в сугубо комплиментарных или, наоборот, нравственно-уничтожительных категориях, а говорили бы о ценности каждого конкретного текста вне зависимости от биографии или политической позиции автора.

Хотя с критикой — а я всегда читаю много критических статей — в последний год стало как-то совсем печально: либо восхваления текста и его автора почти до пафоса некролога, либо разгром прокурорского свойства. Единственная, кому, на мой взгляд, удастся сейчас говорить о текстах и писателях разумно и нетривиально, это Анна Жучкова. Остальная критическая когорта — см. выше.

Самое приятное впечатление в 2023 году на меня произвел сборник эссе «Зоны отдыха», в котором москвич Антон Секисов рассказывает о своих прогулках по петербургским кладбищам. И хотя лично я кладбищ боюсь и разглядывать чужие могилы не особо люблю, «Зоны отдыха» — книжка одновременно познавательная, причем не только для тафофилов, трогательная и бодрая. Искренне рекомендую даже тем, кто не верит, что рано или поздно все мы там окажемся.

Что читали больше: худлит или нонфикшн, отечественное или переводное?

Открытия года: имена и книги. Что посоветуете не пропустить, обязательно прочесть?

Александр Чанцев, культуролог, литературный критик (г. Москва)

Диверсифицированное чтение

Сузился. Сужают дела. Сужается он и сам со временем, как сужаются старые вещи, сохнут, трескаются.

Я всегда пытаюсь диверсифицировать чтение. Даже если читать *сгème de la сгème*, в каком-то одном направлении, то чтение может приестся, потерять вкус — после нескольких пробников духов в парфюмерной лавке дают понюхать кофейное зернышко, перебить и возродить. За новинками, как за публикациями и даже новостями (200+ вечно обновляющихся, чуть ли не ежеминутно, каналов в Telegram'e) следить в современном мире давно невозможно, поэтому постольку-поскольку, точно, по самым верхам, прыг-скок.

Перечитываю всегда Юнгера и Чорана, антидотов и антагонистов белого шума и некачественного стиля повседневности. Из старого брал еще Бибихина и Шестова, Эверса и Газданова, Шмелёва и Гуро, Шершеневича (кстати, и не совсем перечитывал, были новые издания) и Коупленда, Владимира Казакова и Целана, Налимова и Пригожина. Без них было бы хуже.

Больше читал нон-фикшн. Не только он гуще выходит, но и в процентном, так сказать, исчислении. Проза — это роман и рассказ? А все остальное, получается, нет. Нищие — скорее нет. Да даже книги Николая Алейникова, которые он мне по эпистолярной дружбе присылал, проза ли? Мемуары, рассуждения, вкрапленные стихи — да, это проза, но новая. На такую, кстати, я более чем согласен, обычная же (вот взял распиаренные «Комитет охраны мостов» Дм.Захарова и «Гарторикс» Ю.Идлис) — слишком жидкий суп, даже без таракана на дне тарелки.

Из открытий и удивлений нового в прозе как раз отметил бы «Книги Якоба» Ольги Токарчук — неожиданно зайдя в область исторического и очень большого романа, почти саги, она была прекрасна.

Из наверстываний и упущений — потрясающий жесткий автор Энс Бьернебу, правда, на английском, потому что его до сих не удосужились перевести на русский. Из скандинавов и тоже на английском — книга об Иване Агуэли, западном суфии, анархисте, мистике, традиционалисте, экоактивисте, который, кажется, вдохновил обратиться в ислам самого великого и ужасного Генона.

Следует отметить и еще одно мое досадное упущение — роман «Мальчик» Олега Стрижака, который издал «Городец» в 2021. Настоящий стилист, Стрижак писал свою книгу в самые, казалось бы, враждебные тонкому и изысканному письму годы — в 1970-е — 1980-е. (Роман Олега Стрижака «Мальчик» был опубликован в журнале «Дружба народов» — 1991, № 8—9. — *Прим. ред.*).

Впрочем, лакуны иногда заполняют — «Моего трудного ребёнка» Альберта Хофманна и «Приближения» Эрнста Юнгера издали, но в пиратском, анонимном, сетевом переводе (то есть творчество масс, а не издательств, интересный момент).

Дивное было совершенно «Бегство из времени» Хуго Балля, да перевод тоже или не видел редактора, или пострадал от его креатива.

«Эротику» Лу Саломе издали гораздо лучше, слава белокурым бестиям.

И еще интересный момент. С английского и немецкого переводят/издают халтурнейше зачастую, а вот с японского, корейского и китайского — отлично. И даже весьма сложных, неформатных авторов вроде Юмэно Кюсаку, — но отмечу не имена, а деятельность востоковедческих издательств «Гиперион» и «Жёлтый двор». Возможно, ибо действуют профессионалы-энтузиасты.

Как и в случае упоительного «Дирижабль осатанел» Бориса Поплавского.

Хороши были новые исследования тех авторов, у которых они всегда хороши: Владислава Дегтярева, Александра Маркова и Корнелии Ичин. Из тех, что упустил раньше, это филологические работы Ильи Бражникова и посмертный сборник Людмилы Вязмитиновой «Тексты в периодике», что читается — отчеты о литературных вечерах 90-х и нулевых — не как что-то архивное, но как совершенно живой роман (к вопросу о смутных границах-фронтирах фикшна и нон-фикшна).

Новые Хёг, Уэльбек и особенно Пелевин были весьма так себе, увы.

А вот Лю Цысинь — опять восточная литература вырывается вперед — на космическом уровне всегда, на краю научных изысканий.

Выход новой книги Татьяны Горичевой и, увы, посмертной (как много их даже в этом тексте!) Андрея Левкина — события, касающиеся не только ума, но и сердца.

Продолжающийся масштабный труд по русской Симоне Вейль Петра Епифанцева — настоящее подвижничество.

Нельзя не отдать должное и тому, что Алексей Дьячков продолжает работу по изданию наследия Виктора Іваніва — в издательстве «Коровакниги» под конец года вышла очередная его книга.

И, если можно минуту рекламы, то яркие и глубокие, уходящие в те пещеры и выси, где живут религия, философия и просто необычные идеи, книги я старался собрать на этих же журнальных страницах в моей рубрике non-fiction Pro.

Кирилл Ямицков, литературный критик (г. Москва)

Всё, что было

В прошедшем году читал много, неумно. Может, потому что книги раз за разом попадались хорошие? Хроники, биографии — от «Кто убил господина Лунный Свет?» Дэвида Хаскинса до «Ангеловой куклы» Эдуарда Кочергина; уйма знакомой поэзии, изученной внове: *без перевода*. Роналд Стюарт Томас, Шеймас Хини, Уоллес Стивенс, та же «Озерная школа».

Хватило и Средневековья (Петр Абеляр, Эразм Роттердамский). Брел кругами, перелистывал забытое. Увидел в «Книге воды» Эдуарда Лимонова больше холода и снега, чем в любом датском анекдоте. Очень хорошо. Возможно, даже *слишком*. Близкое по впечатлению — «Спокойной ночи» Абрама Терца, «Лестницы Шамбора» Паскаля Киньяра, «И поджег этот дом» Уильяма Стайрона. Все, стоит заметить, примерно из одной грусти.

Ключевой глагол: *удивляло*. Речь, как правило, о книгах, которые я даже не намеревался открывать. «Римские откровения» Александра Бреннера и Варвары Паники

Что читали больше: худлит или нонфикшн, отечественное или переводное?

Открытия года: имена и книги. Что посоветуете не пропустить, обязательно прочесть?

(свежо), «Школа призраков» Романа Кима, «Люксембургский сад» Михала Айваза. Примерно так же попадались исследования, научные труды: Евгений Тарланов с монографией о Константине Фофанове, «Искусство жить либертена» Мишеля Делона, «Милош и долгая тень войны» Ирены Грудзинской-Гросс.

Не думаю, что во всем этом прослеживается методология или попытка собрать эстетическое переживание, но я взаправду удивлялся ветхой прозе и случайной документалистике. С огромным наслаждением перечитал двухтомник Венедикта Марта и трехтомник Гийома Аполлинера. Читать томами забавно. Как будто устаешь — и вместе с тем переизобретаешь восприятие. Так, наверное, легче проступают водяные знаки.

Однако — работа, благородное чтение, патина влияний. Был рад наконец-то приобрести «Эльд» Бориса Усова и прочитать на бумаге то, что годами слышал и переслушивал. Безупречные тексты; хочется назвать их поэзией, но чувствую, что определения здесь неуместны. Впрочем, цитирую, помню наизусть целыми страницами. Беспредельно трогательный мир.

Главное, конечно, за открытиями. Мне сильно понравился дебютник Анастасии Сопиковой «Тоска по окраинам» — своеобразный прорыв интонации, тоска и резкость, которых лично мне не хватало. Хороший старт: есть чем заинтересоваться. Близок ему «Валсарб» Хелены Побяржиной, книга также первая и также заметная. Польское барокко/белорусская неоготика прямо с туманов Дикой Охоты.

Занятно.

Сильное впечатление произвела на меня и поэзия Ксении Ковшовой. Эта своевременность, беспечность, с которой теряется любой испуг перед миром, не может не восхищать. Любопытно и то, что поэзия Ковшовой — совсем не литературных порядков, а, скорее, вызволенный хор, хор всеобщих человеческих ненастий, полифония без полифонии. В этих стихах попросту больше улицы, чем кабинета; тем и хорошо.

Да и более уместного названия для этого дебюта — «Легкие» — не подыскать. Книга, настроенная элегически-отчужденно, взаправду тянет за собой, играет, не наскучивает. Джазовые распевки, сбитые ноты, неровность и патологическое разнообразие. Живое, что ли, дыхание. Очевидно, что впереди еще много работы, но передо мной точно поэзия — и точно литература.

Продолжая тему биографий, упомяну «Значит, ураган» Максима Семеляка. В год выхода это чудо прошло мимо меня, но, кажется, нарочно; чтобы в нужный час прийти на помощь. Мало того, что это великолепное документальное исследование — исследование без дистанции, взгляд к взгляду, ведь Семеляк много лет дружил с Егором Летовым, — но это и первоклассная проза, которой трудно насытиться.

На моей памяти почти не было случаев, чтобы строго жанровая (с ясными ограничениями) книга работала вне контекстов и пониманий. Тут попросту все — и энциклопедия, и антропология, и пара-тройка курсов по истории музыки, и сама музыка: очарование мелодий, известных с детства, и попытка их отражения внутри стройного документального нарратива.

Именно такие тексты напоминают мне об условностях «ситуаций» литературы: подлинное рождается ниоткуда. Мы вольны находить стиль во всем, на что падает взгляд; и в воспоминаниях Семеляка этого стиля значительно больше, чем в повторении традиций, которые, вероятно, давным-давно и желали бы исчезнуть, но все еще держатся на ветру, подрагивают.

Что касается статистики, то, пожалуй, в моем чтении за год ничего не изменилось.

Ваш круг чтения в 2023 году: остался прежним или изменился (расширился? сузился?), отслеживали новинки, наверстывали упущенное или перечитывали?

Привычная эклектика — и желание понимать: далекое, зыбкое, малозаметное. Я рад переводу романа «Догра Магра» на русский язык; это событие. Рад и тому, что у нас теперь есть Дженет Фрейм — поразительно талантливая новозеландская модернистка, которой недоставало внимания. Все меньше пробелов и все больше ясности. Как такое может не воодушевлять?

Инициативы перевода от года в год становятся значимей. Нельзя бесконечно пенять на времена, нравы; следует просто брать и делать. Должен появиться «Саттри» Кормака Маккарти; не так давно издали «Повести Нэвериона» Сэмюела Дилэни. Раньше казалось, что спроса на экспериментальную прозу нет, но это великое заблуждение, и сейчас оно (как ни странно) рассеивается.

Очевидно, что интерес большинства все еще перевешивает в сторону переводной литературы, но мы выходим из контекстуального тупика. Готовность открывать свои феномены, расцвет независимых издательств, увлечение диковинными, загадочными артефактами культуры — и соответствующие им исследования — сильно облегчают последующие труды.

Да и возможностей по-прежнему достаточно. Важны постановка вопроса и строгая, бескорыстная работа. Некий простой в художественной прозе обусловлен временем, паузой целеполагания, но все еще безупречны литературоведение, культурология, поп-механика и внимание к ним. Прятать голову в песок нет смысла: развитие продолжается. Я прочитал много книг, изданных в двадцать третьем году, и вполне доволен прочитанным.

В любом случае — без энтузиазма открытие невозможно. Великолепную книгу могут упустить по тысяче всевозможных причин; лавина производства обуславливает затертость взгляда, и наша задача — рассказывать о действительно интересном, обращать внимание на то, что действительно заслуживает внимания. Время драгоценно, а книг, несмотря на проклятия в сторону литературы, меньше не становится. Что тут сказать? Продолжаем.

Что читали больше: худлит или нонфикшн, отечественное или переводное?

Открытия года: имена и книги. Что посоветуете не пропустить, обязательно прочесть?

Валерия Пустовая

Чудо тёмное

Три не-триллера, нагнетающих страх — игровой, эстетический. Три отмеченных в премиальных списках романа признанных авторов, которым понадобилось прищипорить в читателе заметенные под коврик переживания: пустоту, бессилие, гнев. Три объемных высказывания, в которых ужас — центр удержания внимания, но не смысла. Три повествования, где страдают дети, — очевидно, чтобы о чем-то своем задумались взрослые.

Как и зачем в романе запускается темное чудо кошмара, куда уходит смех, за что расплачиваются дети и в какого бога верят насельники пугающей аномалии?

Мы исследуем ценностный мир и структуру фантазий, чтобы пробиться к жизненной правде, которая всегда сокрушительней страха.

И если в жизни страх — форма принуждения, то в литературе — форма художественного притяжения к правде.

Неуловимый Ча

Эдуард ВЕРКИН. снарк снарк. Книга 1: Чагинск. — М.: Inspiria. Эксмо, 2022.
Эдуард ВЕРКИН. снарк снарк. Книга 2: Снег Энцелада. — М.: Inspiria. Эксмо, 2022.

Двухтомник Эдуарда Веркина, по его признанию, вырос из впечатлений единого дня. В романе этот день занимает главу объемом около ста страниц, называется «мучительным»: потому что «долгим», «слишком много» вместившим, — и обрывается на слове «несчастье». «Несчастье стало с нами», — плачет один из героев на исходе долгого дня, хотя ни он, ни читатели еще не ведают, что случилось: о несчастье нам объявят в главе следующей, и то — к концу. День, вместивший «слишком много», событие — вытеснил. День, растянутый, как гармонь, на два банкета, с плясками, тостами, розыгрышами, объедаловом и тошнотой, не содержит центра. Праздничный день-паразит, он нарастает на повествовании, как гриб чага, в честь которого назван Чагинск — маленький северный городок, не отпускающий героев Веркина на протяжении двух томов. «Если говорить про зерно, то это оно», — указывает исходную точку автор в интервью. И точке дает название: «Такая дурная бесконечность возникла»¹.

Как отследить развитие того, чего нет? Роман не стоит на месте, но будто и не движется. Мелькает, рябит, пошевеливается — зримо реагирует на главное, чего и глаз неймет. Мы чувствуем созревание сюжета: что-то жадно набухает, сыто лопается, разбрызгивает последствия, замарывая всех, — а что в точности произошло, не сможем

прощупать даже умом. Роман похож на вихрь темных мест — но в их кружении просматриваются и смысл, и структура.

«Исчезновение» — так герои называют то, с чем столкнулись в первом томе и к чему вернулись через семнадцать лет, в томе втором. Расследуют убийство, но называют — «исчезновением». В тот долгий праздничный день в Чагинске действительно произошло несчастье: пропали два мальчика-подростка. Но «исчезновение» — это не только про них. Мальчики пропадают — и запускается повествование с зиянием вместо центра. И все, что не пропало, протискивается через эту дыру и выходит наружу измененным, как наизнанку вывернутым. Исчезновение в романе материально. Это не развоплощение, а нарастание другой плоти.

Удача Веркина — макнуть читателя в потустороннее, не вынимая из коробочки. В околдованном городе тикают часики проклятия и грозно вещает старая ведьма, болота скрывают космодром и тоскует майской утопленницей станция «Мир», но небесный покровитель все уладит волшебным квадрокоптером, если только успеешь намазаться заговоренной «звездочкой», чтобы не почувал тебя и за тобой не пришел лесной хозяин шушун. Все это в романе существует — но на правах ассоциаций. Веркин и не пытается прописать незримое в реальности. Напротив, охотно подтверждает, что шушун произошел из детсадовской игры в прятки и от слухов, пущенных по наущению мэра для привлечения туристов. Про космодром герой сболтнул подростку в приступе красноречия, или, ехидствует роман, «логореи», и как потом всерьез отнестись к свидетельству, что пропавший мальчик «такую штуку видел»? Ну а ведьма просто местная сумасшедшая: шастает по городу, эксцентрично опираясь на велосипед, и изрыгает гадости о каждом, кого увидит.

Нагнетая саспенс, Веркин сам же его пародирует, и герой его начинает вольной цитатой из «Аэлиты» Алексея Толстого — в параноидальную старуху, сующую гостям в качестве оберега «звездочку».

«— Старая школа, — пояснил я. — Намажься желтой мазью, бедный сын Тумы, и нос Ча не учует тебя этой темной ночью.

— Кто такой Нос Ча? — спросил Роман».

Бытийный вес призракам придает не автор — а реакция персонажей. Шушун перестает казаться анекдотом, когда люди отгораживаются от того, кто разыграл с ним встречу. Космодром обретает мистические очертания портала из Чагинска в мечту, когда два подростка действительно собираются в лес на его поиски. То, что не распознавший цитату и отвергнувший волшебную мазь Роман передумал и «тщательно втирал “звездочку”», наглядно удостоверяет: «Ча здесь». И сумасшедшая набирает авторитет, когда выступает медиатором и экспертом: она единственная привлекает у себя заезжих героев, как Баба-яга на границе сказочных миров, и дважды, в каждом из томов, является без приглашения на похороны, чтобы скорректировать неловкий ход обряда:

«— Крышка... криво встала, — пожаловался Роман. — Не лезет... Что делать?

Мы дружно посмотрели на Снаткину».

Снаткина — Знаткина: так хочется переозвучить фамилию сумасшедшей старухи. Родство ее с магическим миром видно и по тому, как соединены в ней нарочитая, фольклорного толка грубость, неряшливость, телесность: Снаткина проламывается через кусты, орет и воет, хлебает суп из кастрюли, возится с прогнившими посадками; и призрачность: она возникает внезапно и своевольно уходит, говорит в никуда, будто бредит, и в то же время «неприятно удивляет» ясным пониманием ситуации, о которой высказывается без обиняков — например, перед похоронами: «Как потоптаться, так все рады, за углом не сосчитаешь, а закапывать и за бутылку не соберешь...»

Снаткина может служить ориентиром для классификации персонажей: «межевым камнем», разводящим их пути. Персонажи делятся на простодушных свидетелей, жертв, злодеев и тех, кто ищет источник зла. Путь персонажа определен двумя

альтернативами: «знает — не знает» и «делает — не делает». Снаткина торчит межевым камнем потому, что совмещает в себе варианты: все знает — но живет заложником ситуации, много делает — но ни на что не влияет. И подсказки ее самые общие. «Уезжай отсюда!» — Снаткина театрально вступает в роман с реплики, которую будет потом твердить на разные лады.

«— Девке своей скажи, чтобы бежала <...>. Бежать ей надо, — повторила Снаткина. — А то опоздает.

— Куда? — спросил я.

— Откуда, дурак, — ответила Снаткина».

«Дураки» в романе — те, кто чувствуют, не осознавая, и осознают, не делая. Это персонажи в эпизодах: множители слухов, ретрансляторы страха. Это и жертвы: к ним, помимо пропавших мальчиков, можно отнести мать одного из них, Кристину, чье детство мы видим куда ярче невнятной и рано оборвавшейся взрослой жизни, а также мэра Механошина, обвиненного в растратах и подозреваемого в непреднамеренном убийстве мальчиков. Мэр будет карнавально развенчан в ролике, демонстрирующем, как он голым выловлен из реки рыбаками, но умрет тихо — кажется, оттого, что так и не разобрался, кому и сколько тут «заносить».

Сохранней те, кто пытается выйти из позиции жертвы: вести расследование. Это плясун Роман и библиотекарь Аглая, соревнующиеся с писателем Виктором за главную роль. Виктор формально главный и в романе, и в расследовании, но уклоняется. Осознанию противится, фактами не делится, инициативы саботирует. Он до самого конца удерживается от выбора пути. И это занятно отражается в образах его ближайшего окружения.

В двухтомнике Веркина интенсивно работает удвоение. Дурная бесконечность — это еще и о законе парных случаев, рокировке двойников, отзеркаливании.

Второй том — зеркало первого: писатель Виктор и плясун Роман возвращаются в город, где сами же боялись увязнуть и откуда их снова, как семнадцать лет назад, вытесняют местные. Возвращаются, чтобы расследовать дело, обреченное остаться нераскрытым. Об этом в каждом из томов сказано с афористической точностью: «Мы что-то явно узнали, но мы не знаем, что мы узнали, — повторил Роман»; «Мы можем что-то найти <...>. Но вряд ли мы сможем использовать то, что найдем». Правда, которой доискиваются Роман и Аглая, неуловима, и поиск их выглядит наивно, как напрямик заданный вопрос.

Во втором томе, действуя заодно с Романом и Аглаей, писатель Виктор попадает в треугольник, зеркалящий отношения детских лет. Приезжая подростком в Чагинск, он втягивался в опасные игры с местными детьми Кристиной и Фёдором, — и теперь, уже сорокалетний дядя, снова втянут в не им придуманную игру, и снова с привлекательной, как когда-то Кристина, девочкой Аглаей и другом-соперником Романом, в этой роли дублирующим мальчика Фёдора. «Поиграли в детективов», — так отзывается Виктор об остросужетной интриге второго тома.

Виктора, Романа и Аглаю объединяет не только интерес к расследованию, но и неопределенность социальной роли. Роман бросает танцы, как Виктор уже бросил художественную литературу, и Аглая — библиотекарь на замену, бывшая жена, уволенная пиарщица — «неудачница», как характеризует ее, несмотря на влюбленность, Виктор. Впрочем, когда-то Аглае несказанно повезло. Вырасти в несчастливую женщину и полноценную героиню во втором томе ей удалось, потому что «выкрутилась», не пропала в первом: тогда, будучи еще «мрачной девочкой», она вовремя заболела и не пошла с приятелями-мальчиками в лес, откуда они не вернулись.

Призвук неудачи, обреченности есть и в образе как будто торжествующего над Виктором друга детства. Выросший во взрослого дядю Фёдор играет против главных героев: грозит, старается вытурить, даже покупает Виктору и Роману билеты

из Чагинска, обещая вручить на перроне вместе с отобранными паспортами. Фёдор — единственный в книге сотрудник местной милиции, во втором томе большой начальник. И все же он не ловчей Романа, над которым смеется. Фёдор при власти и при деньгах, но за ним тянется шлейф трагикомической неудачи. Вот он мечтает отдохнуть за шашлыками — но вместо удовольствия получает ожог. Жалуется, что жена его не хочет рожать, а соседи «окучиком шлепнули» любимого питомца. Всю жизнь он презирует «мелкий вониючий городишко» Чагинск, но так и не находит стимула переехать. А главное, он, как и Роман, тщетно пытается выяснить, что происходит. Угрожая героям, он транслирует чужую волю: «Я чувствую, тут опять что-то мутится, а мне никто не рассказывает». Фёдор с детства лжив и хамоват, но он не тот, кто творит «настоящее зло».

Роман в отношениях с писателем Виктором — двойной дублер: заменяет ему и друга детства Фёдора, и напарника по бизнес-проделкам Хазина. В начале первого тома Виктор прибывает в Чагинск с фотографом Хазиним, но их пути расходятся, а рядом с Виктором появляется Роман. Как и положено двойнику, Роман знакомится с Виктором по ошибке: вселяется в номер Хазина. Подмена напарника значима: наглядно иллюстрирует перепутье Виктора. Роман честный, но в противостоянии злу беспомощен. С ним не считаются, называют «смердом», принимают за оруженосца или прихвостня Виктора. Хазин, напротив, переходит на сторону сильных: начав заодно с Виктором, предаёт его. Присваивает их общую подработку, наряду с чиновниками впрягается в подготовку Дня города — еще одного праздничного дня, которым тут прикрывают какое-то другое дело, изнаночное, темное, страшное. Те, кто участвует в нем, — вершители. Они не только чувствуют и знают «настоящее зло», но и — творят его.

«Мне не нравится слово “выбор”. В нем безнадежность ночного перекрестка», — отбивается Виктор от предложения выбрать сторону силы, тем более что она в романе одна. Не хочешь играть на стороне силы — якшайся с неудачниками. А неудача для Виктора — болезненный опыт, триггер.

Виктор не встает на сторону силы, потому что не видит в ней доброго. И не делает доброго, потому что не верит в его силу.

Путь Виктора прочерчен недеянием, как последние страницы дневника пропавшего мальчика — таинственным красным прочерком. «Отползай, ты же в этом деле мастер», — подначивает Фёдор. И сам Виктор признает: «Я старался отодвинуться, хотел стоять в стороне, не слушать и не участвовать». Он прикидывается «идиотом» и даже «на всякий случай» проговаривает вслух: «Я не представляю угрозы».

Подобно волшебнику-дошколенку из вселенной «Гарри Поттера», Виктор творит магию неосознанно. Его сила не более чем побочка ерничества и тоски. Но ореол могущества возникает. По мнению Снаткиной, Виктор «вроде как спас Аглаю» — хотя он лишь участвовал в споре, по итогам которого девочка Аглая выиграла ведро мороженого, заболела и не пошла с приятелями в загадочный последний поход. Покровитель Чагинска бизнесмен Светлов ковыряет Виктора требованием писать «настоящую» книгу, прямо указывая на силу, которой писатель наделен, но не пользуется: «Вы, Виктор, злостный уклонист, а терпение муз не безгранично. <...> Жизнь — есть сокращение и укорачивание, в сущности, падение в воронку. Задача писателя — это падение затормаживать, в идеале из ямы вытягивать, во всяком случае стараться. А вы... скажем так, пренебрегаете».

О силе слова как центральной идее романа проницательно пишет автор развернутой рецензии на «Фантлабе»: «...Слово против мира. Все 1450 страниц, по сути, посвящены тому, как человек с переменным успехом противостоит реальности с помощью языка. <...> Автор показывает, что против пугающей реальности у человека ничего нет, кроме слов, из которых можно соорудить себе как своеобразный скафандр в агрессивной

среде чуждого пространства, так и целый виртуальный мир, заслоняющий то, на что говорящему почему-то очень не хочется смотреть. <...> Мир не меняется от сказанных слов, магическая функция языка действует иначе: она перестраивает мировоззрения людей, поверивших услышанному или написанному»².

Пока наивный Роман доискивается правды, Виктор творит мир из лжи — то есть из слов, не подкреплённых реальностью. Конкуренция мифов, вспыхнувшая было между официальной линией Чагинска и выдумкой Виктора, погашается зеркальным омутом романа, «дурной бесконечностью». Ни патриотичный богатырь Пересвет от мэрии, ни просветительский адмирал Чичагин от Виктора никогда не существовали в истории Чагинска, и поэтому знаменательно пуст постамент для исторического памятника в центре города. Чичагин не пророс на почве Чагинска, потому что надобности в просветителях тут нет. Зато пускают корни и побеги другие выдумки Виктора: подросток верит ему, что в лесу строят космодром, а весь город подпадает под обаяние пушечного им слуха, что в Чагинске построят атомную станцию. Город верит в то, что давно выбрал сердцем: гарантированные атомной станцией рабочие места, строительство, льготы и пенсии. Зеркальный выворот этим чаяниям придан той же трикстерской волей: именно Виктор сболтнул про потекший при раскопках для станции радон, и, когда строительство замораживается, а Чагинск вступает на путь из города к поселку городского типа, местные винят радиацию как безличную, подставную ипостась зла.

«Настоящая» книга против «настоящего» зла — красивое и романтическое прочтение. Вот только требование «настоящей» книги исходит из уст героя, зарекомендовавшего себя треплом. Фигура бизнесмена Светлова — одна из самых притягательных и загадочных в романе: если Снаткина — ведьма, то Светлов — верховный маг. Не только будто бы говорящая фамилия окутывает эту фигуру, как Гэндальфа, белым плащом. В сцене, где мы впервые видим Светлова, работает волшебное искажающее зеркало романа, сопоставляя этого персонажа с мэром Механошиным. Сатирический слой повествования тоже сшибает эти два образа: можно долго и зло распространяться о безнадежности социального строительства, в котором чиновник постигает, как ковер, город под ноги денежному мешку — потому что мешок, в отличие от чиновников, готов предложить местному обществу внятную модель развития. Но в системе романа важнее невербальные сигналы силы. Механошин в первой же своей сцене ведет себя как будущая жертва. Каждый жест его пробивается через сопротивление среды и тут же срезается. Мэр заводит часы через дырку в пленке — но, когда часы начинают бить, пугается и отскакивает. Пытается открыть окно — и не может. Его все время дергают, вызывая из кабинета. А в кабинете хлам из-за ремонта и нет воды — как нет силы жизни. Мэр выглядит кукольным, действующим не по своей воле. Напротив, Светлов, потягивающий из пластиковой тары «бесконечную», как заговоренная жизнь, лапшу и от души, не по шелчку похихатывающий, выглядит в чужом кабинете богом — настолько сильным, что может позволить себе расслабиться под личиной человека.

И то, что божество это облажалось в попытке «осчастливить» чагинцев, не убавляет его обаяния. Казалось бы, в системе романа Светлов заслуживает разжалования до неудачника. Недаром в конце первого тома он наравне с неудачниками Виктором и Романом, случайно встряв, участвует в похоронах никому в Чагинске не нужной, осиротевшей без сына Кристины. А во втором томе и вовсе пропадает — мы встречаем его только под конец книги в образе «психа с удочкой», инкогнито явившегося в вымирающий Чагинск рыбки половить. «Налимов в ведре скопилось много, вода стала густой от слизи. Хотел окуней, а ловит налимов. Это же скучно, пора бы бросить, но он ловит их и ловит», — Виктор наблюдает за Светловым с возрастающим отторжением. А нам в этот момент может прийти на ум странная фраза-рифма из первого тома, где Светлов высказывается о творчестве как о своеобразной рыбалке: «...Человек должен

писать стихи, рисовать картины, сочинять музыку. Это — сеть, только в нее можно поймать...»

Светлов хотел построить в Чагинске бумкомбинат, реорганизовать библиотеку, музей, больницу — образы будущего в его устах раскатисты, как гром, и так же бесследны. «Мы серьезно относимся к экологии. — Светлов жевал. — Рекультивация, технологии восстановления, глубокая переработка». Ну а мы серьезно относимся к словам Светлова, пока за ними маячит материализация нового будущего. «Поправим. Все обязательно поправим», — обещает он, картинно приподняв, но так и не запустив остановившиеся в кабинете Механошина часы. Но едва получив денежную помощь, учреждения города закрываются: на реорганизацию, как на вечный сон о не наступившей весне. И котлован, раскопанный под комбинат — или, как местные надеются, под атомную станцию, — остается затопленной ямой, пополняя скудный бестиарий города образом местного Кракена.

Создается материально не подкрепленное, как словеса о будущем, впечатление, что Светлов — бенефициар. На день города не явился, будущее провалил — но не явился и провалил потому, что свое получил.

Едят ли кошки мошек, едят ли мошки кошек? Гибнут ли два подростка оттого, что хиреет Чагинск? Или Чагинск погибает потому, что из него исчезли двое детей? Два исчезновения: мальчиков и города — в романе оказываются связанными.

«Тому, кто в Твин-Пиксе ни разу даже на долю секунды не задался вопросом, кто убил Лору Палмер», адресует роман «снарк снарк» Евгения Лисицына³. Наиболее точно и органично вписанная в роман разгадка «исчезновения» двух подростков требует выхода за пределы двухтомника, подключения к контексту того, что Веркиным написано ранее. Автор этой трактовки — критик Василий Владимирский, но и он ее ввернул не в свою рецензию на «Горьком», а в дискуссию к чужому Телеграм-посту. Я уцепилась за коммент и попросила Василия Владимирского дать развернутый комментарий — специально для этой статьи и тех читателей, кого все-таки мучает вопрос, «кто убил». Я и сама из таких, и до того, как мне попался коммент Владимирского, рада была собрать самые разные читательские версии — как крохи искомой в романе «правды». Так, пользователь Нифонт на «Фантлабе» убедительно развивал гипотезу о жертвоприношении подростков, дойдя в своих наблюдениях до обвинения в каннибализме⁴, а комментатор дискуссионного поста о романе «ВКонтакте» цитирует трактовку читателя под ником bag66, в которой Светлов предстает в самом деле богом, раздающим по заслугам: «В первом томе Светлов помогал рассказчику, надеясь, что тот станет Человеком и Писателем, но в промежутке между томами рассказчик явно не оправдал надежд <...>, и поэтому во втором томе Светлов его не жалеет и никак не помогает ему»⁵.

Трактовка Владимирского, в отличие от приведенной, сохраняет амбивалентное обаяние Светлова. «Алексей Светлов из “снарка” до степени смешения похож на другого веркинского “гения, миллиардера, плейбоя, филантропа” — центрального антагониста из раннего цикла “Хроники Страны Мечты”. Обаятельного, харизматичного, очень неглупого, говорящего много воодушевляющих, правильных слов. Который, сюрпрайз, выкупал детей из неблагополучных семей, из детских домов, а иногда просто похищал, чтобы использовать их в своих экспериментах. Такая параллель, в общем, многое в “снарке” объясняет: не трудно догадаться, что убийца — дворецкий» (*полный текст комментария Владимирского читайте в сноске* ⁶).

Я не боюсь сослаться на разгадку — потому что по многим причинам это не спойлер. Скорее — самоутешение читателю, который может удобно повернуть роман под свет выбранной интерпретации. Ведь даже эта трактовка освещает в романе многое — но не все. Двухтомник Веркина выстроен не под разгадку — а под ее отсутствие, «исчезновение». Текст романа безусловно сигналил о связи между пропажей мальчиков и гибелью Чагинска, и все же не назначает мальчиков первопричиной

событий. Прочитываются и намеки на жертвоприношение — причем вроде бы не вполне завершенное, так что во втором томе выросшей Аглае все еще угрожает невидимая опасность. Но попытки принять любую версию за полную «правду» упираются в то же отсутствие — фактических обоснований. Как сетует читатель в упомянутой дискуссии «ВКонтакте»: «А вообще откуда инфа, что принести в жертву надо именно троих, а не одного или двух? К тому же дети в Ч. водились, можно хоть каждый месяц нового...»

Скажу больше: связь между исчезновением мальчиков и угасанием города не кажется узловой. Это не Рубикон, не поворот из света во тьму: из многообещающего будущего в сжимающуюся микровселенную Чагинска.

В зеркальной анфиладе романа поворотных моментов не счесть. Узловую позицию на какое-то время занимает, к примеру, укус лесной мыши. Фотограф Хазина кусает мышью — а три дня без сознания в больнице валяется Виктор и, когда приходит в себя, обнаруживает в очередной раз, что «Чагинск изменился»: Хазин перековался, а его самого выписали из гостиницы и из проекта.

Но может быть, дело не в мыши и не в мальчиках, а в этом проекте? И рокировка случилась еще в детстве, когда стать писателем мечтала Кристина — а писать начал Виктор? Обнаружил в себе талант по приколу — и не научился относиться к литературе всерьез. Романтичная Кристина, честный Роман, даже начитанная Аглая пытаются ввязаться в литературу со всей ответственностью — но сюжеты в изобилии, цепкие наблюдения, яркие и живые образы приходят к тому, кто литературу предал. «Второй роман так и не взлетел», — второе же предложение, зачин долгостроя Веркина, сообщает об «исчезновении» творческом. Неплохо дебютировав романом, который он обещал посвятить Кристине, но отмахнулся от обещания так же, как от своего таланта, Виктор попытался, как Хазин, перековаться — в коммерчески успешного «писателя ужасов, большого и счастливого человека». Но признан в качестве «мастера локфика, мастера для никого»: автора парадных книг о прилизанной истории «трудов и славы» маленьких городов. Вот и в Чагинск, город детства, он вернулся только ради заказа от здешней мэрии, возмечтавшей о «книге про Чагинск, город высокой культуры и славы».

Или, может быть, дело в самом этом возвращении? Ведь бабушка велела Виктору никогда не возвращаться в Чагинск: «не цепляться за мертвецов», не дразнить шушуна, который «тебя чувствует»?

Или дело в самой бабушке, ведь она «не просто так женщина» — по словам Снаткиной, к концу романа сдувшейся из ведьмы в такую же пленницу Чагинска, какими предстают героини-неудачники? Бабушке, которая застряла тут на всю жизнь, потому что полвека прождала мужа, пропавшего в годы войны под Сталинградом? И тогда в центре событий — «исчезновение» не мальчиков, а деда...

Получается, нет в романе переключателя из реальности «правильной» в вывернутую, нет перехода из Чагинска, чьи улицы герой «помнит прямыми», в город «безлюдья» и «кривизны».

Сломанные часы и отсылающая к знаку бесконечности восьмерка колес велосипеда Снаткиной — Никита Мина, подчеркнув в рецензии эти детали, проводит ассоциации с «Матрицей» и признает Чагинск «уже давно мертвым»⁷. «...А вообще здесь давно ничего нет, и никого нет, только он. — Кто? — Так он. Остальные все умерли», — подходящая цитата из романа тут как тут. Но такие прямые, как линейкой в лоб, символы — не Веркина уровень. Он кормит страх читателя тем, что подвернется и, вопреки названию второго тома, вовсе не нуждается в миссии к снегам Энцелада, чтобы соприкоснуться с непознанным.

Достаточно посмотреть, как однажды утром к его герою в окно лезет Хазин, чтобы жуть включилась, как древний инстинкт — вопреки глазам и разуму. Напарник Виктора подставил, поэтому ничего удивительного, что он не жает лица, приходит

тайно. Но в пластике его прочитывается приневоленность зомби — романом о которых Виктор напрасно надеялся преуспеть: «Хазин настырно проталкивал нетренированное туловище в окно. Это продолжалось так долго, что я засомневался — не дурной ли это сон <...>. Хазин извернулся и вдвинулся в окно спиной. Это был, пожалуй, самый нелепый из опробованных им способов, мне показалось, что Хазин застрял — спина ерзала в окне, Хазин кряхтел — и вдруг, как крем из кулинарного рукава, выдавился в комнату. Перекатился боком, вскочил, навис над постелью, схватил меня за жилетку и стал трясти. Делал он это абсолютно безобразно: вытаскивал из койки, затем бросал обратно, вытаскивал — бросал».

Не остановка времени — а одновременность всего, не переключение реальностей — а их проницаемость. Веркин создает пространство смещаемого смысла, где из слов и вещей, людей и отношений постоянно выкатывается ядро. Получается развернутый на два тома лимерик, оправдывающий любой абсурд. И «слово против мира» тут не работает, потому что тоже подвержено подмене. Веркин обращает не прямое высказывание в многожанровое искусство. Слово в романе «ерзает», лезет в мир «спиной», «безобразно» заедает. Черновики писателя, застольный треп, казенные речи, звоночки деменции, легенды, слухи, клевета — как выделить из этого космического бульона лжи первовещество информации?

«Переплетение огромного количества нарративов в рамках одного произведения размывает границу между реальным и выдуманным и помогает автору создать фантастическую действительность, не допуская при этом грубых и явных нарушений законов физики и элементарной повествовательной логики», — Никита Мина приходит к точному и неизбежному выводу, что роман не ограничивается магией остановленного времени и велосипедной «восьмерки».

То, как распорядился герой во втором томе уликами, собранными с трудом и без славы, кажется честному Роману предательством общего дела. Однако к этому моменту не только главная улика — кепка одного из мальчиков, запачканная кровью, — обращается из факта в подлог, но и цель расследования зеркально разбегается в отражениях. Герои Кэрролла охотятся на Снарка, а настигают зловещего Буджума. Герои Веркина, наоборот, ищут убийцу — и не замечают, как в мыслях создают ему антагониста, «пилота»: именно «пилот» инициирует действие второго тома, разослав главным «неудачникам» первого значимые вещи, которые кажутся им «подсказками». «Тот, кто хочет препятствовать нашему расследованию, вредит, а тот, кто хочет нас поддержать, помогает», — честный Роман расчерчивает мир надвое, думая, что уловил суть. Но суть в том, что они не только легко могут совпасть, как совпали в романе «подсказки» и уловки, творчество и «сеть», благодетель и демон, корни и пустота, знатка и свихнутая, «лучшая девушка» и «неудачница», — но и могут оба оказаться проекцией героев, «настырно» ищущих в абсурдной реальности центр.

«Кто?» — раз от раза остающийся без ответа, ключевой вопрос романа являет лик пустоты и одновременно прирастает смыслом. «Выходит, что расследование ведется не о том, куда пропали мальчики, а о самопознании», — опять попадает в точку уже цитированный рецензент с «Фантлаба»⁸. Непрямое говорение героев Веркина — способ самораскрытия.

Как и говорение прямое, принадлежащее в романе единственно Снаткиной. В отличие от других чагинцев, она не повторяет слухи, а сама творит послание. И в отличие от писателя Виктора, ее слова знаменуют поступки, а поступки проявляют отношение. Виктор, с подростковых лет таящий обиду на Кристину, застревает в безразличии, которое только во втором томе прорывается вышедшей из-под контроля острой болью утраты: «Я не успел прикусить до боли язык. Не успел хлопнуть себя по щеке, чтобы досталось еще по зубам, шелкнуть по носу, закрыть глаза и рывкнуть, не успел, я вспомнил ее так быстро, что не смог ничего этому противопоставить.

Кристина».

Тогда как Снаткина — единственный в городе человек, проявивший к Кристине деятельное милосердие, в романе, впрочем, неизбежно искаженное зеркальностью. Вот она расшевеливает горющую по сыну Кристину, как мертвую: «Надо есть. Надо ходить. Надо помыться. Сейчас поедем и причешемся, а потом пойдем гулять», — и обращается к ней на похоронах, как к живой: «Ничего, не переживай, я по тебе поплачу...»

«Поворот не туда», — только и может подумать Виктор о несчастной Кристине. Но «туда» ли поворачивает в финале сам? Критик Евгения Шафферт прочит Виктору за границами романа «задачу поистине вселенскую: предполагаю, что теперь он вечно будет помогать Снаткиной и компании сохранять временное безвременье Чагинска»⁹. Внук «не просто так женщины», автор сбывающихся врак, Виктор вполне способен взять на себя миссию по спасению Чагинска — что в двоящейся реальности романа равнозначно тому, чтобы целиком провалить свою жизнь. Подобно адмиралу Чичагину и Пересвету, Виктор «никогда не жил в Чагинске» — но именно поэтому может занять символическое место на пустующем постаменте. Как сам он парадоксально объясняет плясуну Роману, он тут «чужой в квадрате», «потому что остался»: никто из настоящих чагинцев не остался бы в Чагинске, если бы прибыл в город извне.

Мы приближаемся к разгадке тайны детства, изобильно проявленного в романе — но на правах сна, воспоминания, из которых нет портала в нынешний Чагинск, как из Чагинска — на Энцилад. Возможно, ключевое «исчезновение» романа — не детей, а детства, причем не как концепции — а как личного опыта.

«Веркин с легкостью имитирует “крапивинский стиль”», но детство как последний островок чего-то ясного, чистого и светлого — определенно не его идея-фикс», — замечает Василий Владимирский в рецензии¹⁰, а в данном по моей просьбе комментарии раскрывает в Викторе «результат эволюции» еще одного «типажа» фантастической прозы Веркина: «Неоднозначная фигура, человек, когда-то побывавший в той самой Стране Мечты, мечтающий вернуться туда — и одновременно боящийся возвращения, не верящий в чудеса, но мечтающий о чуде».

Чагинск не «Страна Мечты», и чагинское детство не утопия: слишком связано с болью. Старшие ругают, юная Кристина не отвечает взаимностью, Федька одерживает верх, бабушка доживает и после не велит приезжать, чтобы попрощаться. Кроме того, летние приключения трех друзей из воспоминаний подсвечивают самую реалистичную, бытовую версию «исчезновения» двух мальчиков из нулевых: становится очевидно, что в годы детства и Виктор мог в любой день навернуться, покалечиться, подраться, заблудиться, пропасть.

И все же Чагинск будто возвращает Виктору утраченную часть личности — и именно детскую. В герое оживают детские мечты, вплоть до мечты о «маленьком паровозе» с «синим дымом», и детские сны о «высокой траве» и близком небе: «подпрыгни чуть выше, и оно тебя унесет», — и детский же, взрослого Виктора «пугающий интерес» к жизни. Как мальчик, он зависает на велосипеде под окном понравившейся девушки, хотя и опасается, что та выберет соперника помоложе. Да и Снаткина с велосипедным ломом в доме может символизировать не только восьмерку бесконечности, но и воссоединение с детской памятью.

Старость в сознании героя — абсурдная подмена, еще один выворот реальности: «Когда видишь старух, никак не можешь представить, что они когда-то были детьми. <...> Потом, непонятно когда, начали стареть. И непонятно от чего. Пошли в лес за грибами, а вернулись другими». Так и повзрослевшего героя словно подменили. «Ты был хорошим, добрым мальчиком, — сказала Снаткина. — Я помню». Герой мысленно продолжает ее реплику: «Я был честным и добрым мальчиком, но с годами стал сволочью и дерьмом».

«Кто» виноват, кем подстроен «поворот не туда»? Герой демонстративно клянет Кристину: «воспитала своего придурка в придурочном духе», — не потому ли, что дух

этот так понятен ему, и себя называющему «идиотом»? В самоописании Виктора, «притянувшегося» в Чагинск, проступают подневольные черты увлекаемого ребенка и выловленной рыбы: «...Что-то меня тянуло, волокло за сальные вихры, за скользкие жабры», — и в то же время — осознание полной свободы: «...Мог бы не ехать, мог отказаться, никто и не принуждал...»

Детское поле романа показывает, что «исчезновение» так же связано с жертвоприношением и убийством, как и со свободной волей детей к риску и поиску. Непойманный убийца манипулирует природой детства — преследующий его герой убивает детство в себе. А в нем все то, с чем больно сжиться.

Виктору из начала первого тома, вопиющему о неудаче «не взлетевшей» книги, отвечает Виктор из финала второго тома, принимающий неудачу как часть себя: «Ненаписанная книга — это очередное поражение, — сказал я. — Про это неприятно вспоминать, но поделаться с этим нельзя ничего... Надо жить дальше».

Дурная бесконечность — это реальность, не имеющая в себе источника управления. Вопрос «кто?», задаваемый своему отражению. Оставаясь «жить дальше» в городе, которого всю взрослую жизнь избегал, Виктор, возможно, приносит себя в жертву детству — зеркально отражая так и не раскрытое жертвоприношение детей.

Чагинск для него — воронка неудач. Память обо всем, что не удалось, он вытеснял, стараясь выстроить жизнь ловко, рационально, по-взрослому. Но жизнь с вытесненной сердцевинкой изматывает, как «сюрреалистические сны»: когда «сознание отторгает», оно «работает на повышенных оборотах, ты словно проживаешь еще один день, порой более мучительный».

Утверждающий практику «купирования мыслей и редукции эмпатии», Виктор всю жизнь бегал от абсурда реальности. А оказалось, что сам, напрягая силы, его творил.

Когда начинаешь рассказывать о романе со слова «несчастье», трудно подобрать к тому, что делает его читателя счастливым: смеху. А между тем смех — принципиальное измерение текста Веркина. Нонсенс — эхолот ужаса, — красивенько придумала я о романе, но можно сказать и наоборот. Смех в романе мерцает, взаимно обращая друг в друга глупость и жуть. Я помню, как, слушая роман в первый раз в формате аудиокниги, будила ночью спящую рядом грудную дочь — потому что натурально тряслась от смеха. Но это роман растрясывается, окончательно слетая с оси.

Ужас романа — в иссечении ядра: из личности и города, из литературы и любви, открываемых любому наполнению. И смех «против мира», как «слово против мира», тут не работает. Смех заодно с миром — против человека, который ловил его в сети своего смыслополагания и не поймал. В том числе — против автора, тоже словно иссеченного из истории, целиком передоверенной герою-писателю, роли автора избегающему.

Это центробежный мир, который истово ищет ядро нового притяжения — чтобы вовремя срулить. Правды мы не познаем. Но в себе расслышим новую, натренированную романом отзывчивость к нелинейным подсказкам жизни.

Морок справедливости

Анна СТАРОБИНЕЦ. Лисьи броды. — М.: Рипол-Классик, 2023.

«Логику хаоса» воспев, роман Анны Старобинец «Лисьи броды» помещает читателя в оковы порядка. Это кажется парадоксом, пока гипнотически действует ключевой рефрен романа, подчеркивающий, что в реальной жизни, «по логике вещей», исход коллизии очевиден, «но есть еще логика хаоса — его иногда называют судьбой», и потому в романе сейчас все будет не так, как бывает. «Бывает так» —

еще один рефрен романа, приглашающий читателя разделить сочувственное внимание к герою, напрасно думающему выиграть спор с судьбой. Непреклонная воля, подстраивающая мир под себя, — атрибут каждого из героев романа, но всех обставит автор: нацеленно сведет множество сюжетных линий в одну точку. Можно сказать, что эта точка — городок Лисьи Броды в Маньчжурии, «проклятое место», где «в человеке рождается зверь» и откуда только «мертвые могут выйти». К чести автора, впрочем, отполированные эти слоганы произносят персонажи: в кошмарном сне — и в приступе безумия. Но можно назначить точкой, где все сходится, идейное поле романа, про которое в критике писали, что «идей тут нет»¹¹.

Нет идей, нет исторической правды, нет психологизма, нет новизны. Или, напротив, есть, и слишком много: персонажей, фактуры, непредсказуемости, слоев смысла. «Это очень скучная вампука», — выносит приговор Вадим Нестеров, отказывая роману во «внутренней логике». Ниже на онлайн-странице его коллега по работе в жюри премии «Новые горизонты» Екатерина Писарева выдает роману поздравительные ярлыки: «Виртуозно, свежо, по-хорошему жутко и смело»¹². Дихотомичные отзывы сродни миру романа: в нем тоже важна «дихотомия» — это опорное для анализа слово употребляет критик Наталья Ломыкина¹³, имея в виду то самое противопоставление «логики вещей» — «логике хаоса». Не единственное, кстати, в романе, сталкивающем такие взаимоисключающие понятия, как «человек» и «зверь», «свой» и «чужие», «живое» и «мертвое», «наука» и «сказки».

Но в том и дело, что дихотомию роман не выстраивает — а побеждает.

«Лисьи Броды» — книга осознанного выбора, и выбор делает в пользу хаоса. И городок Лисьи Броды героям кажется «проклятым местом» только потому, что им самим трудно заметить, до какой степени он отвечает их сути. Замкнутое пространство, откуда ведут магически окрашенные пути: через мост, через лес, в лодке по реке, — создает намеренную условность, сказочную аномалию. Эта сказка удерживает героев внешне — но внутренне позволяет полностью раскрепоститься. Слоган «в человеке рождается зверь» стоит понимать не как околдовывание — а, напротив, как саморазоблачение. Главное же — счистить с этого обещания плевки страха. В Лисьих Бродах в человеке рождается зверь — и это скорее зачаровывает, чем пугает.

Темное обаяние романа — следствие его нарочитой сказочности и нацеленного сопротивления этой сказки тому, как «бывает».

Метафоры романа пропитаны духом гниения и кровью — это выглядело бы нарочито, если бы не общая яркость фона. Тягучие рефрены, ритуальные любезности, перескок точки восприятия, настырные детали, рвущиеся дослужиться до символа. Шрам в виде иероглифа, который в романе истолковывают как знак «хозяина», на груди главного героя, меняющего имени, но не кожу, — интригует. Но тот же шрам на теле его антагониста, или вырезанный недоброжелательным визитером на столе, а то и на груди проститутки, а то и проступающий родимым пятном на животе не собиравшегося обнажаться персонажа, — начинает мозолить глаз. Лисицы с двумя или, бери выше, тремя хвостами у Лисьего озера, на секретном фото из испытательной лаборатории, в хищном логове — «Гроте Посвящённых» — прошивают роман янтарным орнаментом. Но взблеск золотой фигуры лисицы с двумя хвостами, красноречиво выпавшей из чемоданчика с проклятыми сокровищами посреди осеннего леса, — уже подбешивает. В особенности тем, что не сотрется, как будет торчать перед внутренним взором, к примеру, сцена побега одного из персонажей из Лисьих Бродов через мост.

Персонаж расплачивается за легкомысленное нарушение табу — пожизненным пленом в границах города. Наконец у него появляется надежда преодолеть запрет. Безоглядней, чем когда-либо раньше, он «ступил на мост» — «и мир изменился». Трудно сразу определить, насколько необходимо было разыгрывать сцену «морока» на мосту с такой степенью изменений. С засиявшим вдруг небосводом, который словно

срывает с себя «блеклое» небо реальности, как «повязку». С бамбуком, аутентично закачавшимся под ногами. С красавицами, зазывно стреляющими в читателя глазами цветов драгоценных камней и позволяющими любоваться собой так долго, что едва не пропускаешь выполняемый ими молниеносный трюк картинного умерщвления. Каждая следующая красавица подпускает к себе ближе — и в шаге от свободы путь персонажу преграждает врагиня нагая.

В этой избыточной, кричащей сказочности нет нужды — но есть послание. Эпизод на мосту — своеобразный тизер всего романа, который над «блеклым» миром утверждает, как сияющий небосвод, сказочные порядки.

«Лисьи Броды» — роман-морок, нагнетающий дурные предчувствия о «проклятом городе», а на деле создающий убежище от всего, что грозит за его пределами. Логово хаоса, куда сбегаются все, кого пугает порядок вещей.

О «тонкой, легко рвущейся пленке социального» в романе написала критик Ольга Балла¹⁴. У меня вывод противоположный. Социальное — настоящий источник ужаса в романе, бесперебойный, незыблемый. Прорвать его, как «пленку», возможно именно в рамках сказочной аномалии.

Полюс «порядка» и представлен в романе социальным, стайным. «Стая» — это рота красноармейцев в городе, и зашифрованная структура «особистов», и банда «котов», и беглое сообщество староверов, и тайное племя лис-оборотней, и собственно стая — бродячих псов, и обреченная группка сбежавших из японской лаборатории зверолов, зараженных препаратом, который запускает в них «метаморфоз» и превращает в настоящую звериную стаю. Пожалуй, только о последней вариации «стай» роман повествует сочувственно. Видимо, потому, что эти недооборотни — красная тряпка для «стай» как чисто человеческих, так и чисто звериных. Они жертвы лаборатории, где тоже до поры, несмотря на дикие эксперименты, правит «логика вещей».

То, что любое организованное людское сообщество легко проявляет порядки — повадки — собачьей стаи, — говорит о еще одном измерении романа, уравнивающим сказочный напор. Это — ирония. Простая, бытовая, ехидная — например, когда «стукач замполит» принижен через взгляд уличной собаки, которая недоумевает, почему перед таким непредставительным «псом» в людской стае принимают «позу покорности». И — тонкая, сюжетостроительная, создающая структурно значимые перевертыши мотивов и отношений.

К примеру, центральный перевертыш «учитель — ученик». Полковник Аристов, менталист, путешествующий туда и обратно по чужим мыслям и снам, приграничью мертвых и предчувствиям будущего, ищет бывшего ученика и соратника Макса Кронина. На протяжении всего романа Аристов выглядит сверххожаком и мнит себя организатором событий. В начале повествования он Макса Кронина прогоняет: «оскопляет», «лишает чуда», заставляя забыть о сверхспособностях, запирая его сознание в реальном мире без мистики. Однако стоит Аристову подступить к ученику ближе: вторгнуться в сны, воспоминания, чтобы напомнить о давней связи и как бы невзначай выяснить, где сейчас Макс, — как тот атакует: оружием сна, но пробивающим Аристова до реального, телесного измерения. Постепенно до читателя, который захочет не просто наслаждаться «аттракционом»¹⁵, а постичь ту самую «внутреннюю логику», в которой критика роману отказывает потому, что автор не там и не тогда разместила урановый рудник, откуда сбегает Макс Кронин¹⁶, — в общем, до читателя начинает доходить, что это ученик изгнал учителя. Разуверился, оттолкнул, перерос. Макс Кронин — настоящий организатор событий, потому что он в них вмешивается и исход меняет. Аристов же только подбирает за Крониным крохи — в том числе, к примеру, совершает одно из вершинных открытий благодаря убогости слуги, которого ранее так «непрофессионально» — «недопустимо» для ученика менталиста — оставил в живых и отпустил Макс Кронин.

Оборотничество — сюжетобразующий мотив романа — тоже пронизано иронией. Опять же и простой, трюкаческой — недаром Макс, потеряв память менталиста, помнит себя «артистом цирка» и в Лисьи Броды въезжает как артист: исполнять в местной роте красноармейцев роль убитого им по пути «особиста» Шутова. Фамилия «особиста» значима, как выпавшая на палую листву золотая лиса с двумя хвостами: секретное погоняло Шутова — «Клоун» — переодетый им бывший циркач воспринимает как подмигивание судьбы. Но куда значительней перевертыш иронический. Шутов послан расследовать темное дело — исчезновение капитана, как-то связанное с не вполне успешным штурмом японской лаборатории, — и красноармейцы его боятся. Тогда как Макс под личиной Шутова чувствует себя без пяти минут добычей обещанного ему в подмогу отряда СМЕРШ.

Перевертыш силы и слабости — не просто клоунский трюк. Это принципиально повторяющийся в романе акт развенчания силы. Тут — цель восстания «логики хаоса» против «логики вещей». Ведь по «логике вещей» сильный побеждает слабого, обратное возможно в сказке. В том, как вершится эта сказочная, компенсаторная справедливость, чувствуется авторская пристрастность. Роман оттаптывается на сильных: каждого из персонажей, кто мнит себя власть и право имеющим, он обсмеет, разжалует, сотрет. Читатель может быть уверенным, что всякое насилие тут будет поименно, точно отомщено.

Отвращение к силе, которая прет, потому что может, рождает в романе отторжение от социального: стаи, порядка, иерархии, системы. Самоутверждение сильного — главный кошмар «Лисьих Бродов». И одновременно — источник иронии: не сотрясающего живот, тихого и злого смеха. «Просто это вообще не смех», — как объясняет героиня-оборотень свое звериное хихиканье в ответ на обиду. «Лисица издает такие звуки, когда чувствует угрозу. Она так защищается».

Изысканный Аристов, который проверяет прицел пистолетов на живом слуге, полностью подчиненном его воле менталиста, в идейном поле романа унижительно рифмуется с уличным псом, который ходит «брат» старую больную суку, потому что «она была слабой и за нее некому было вступить». А менталист-самоучка Юнгер — соперник Аристова и Кронина — унижительно прозрачен для тех, кого пытается подчинить своей воле: слуги-оборотня и древних лисиц, — и жалок в глазах читателя, раньше него понявшего, что Юнгер прошляпил и главную лисицу, и волшебную армию, и свой уникальный препарат, который собирался выменять на бесценный эликсир вечной жизни.

Унижение — главный страх сильных, потому что означает добровольную утрату места в иерархии. Но именно путем унижения, понижения в иерархии, отказа от силы, риска собой, самопожертвования идут в романе герои, которых можно причислить к полюсу человечности. Добираясь до метафизических оснований романа, Ольга Балла пронизательно замечает, что мир «Лисьих Бродов» «обезглавлен с обеих сторон, и “светлой” и “темной”»: не чувствуется, мол, в нем, несмотря на священника и староверов среди персонажей, присутствия «Христа и хоть кого-нибудь из христианских персонажей и сил, включая Бога Отца», равно как и «противник его тоже не представлен — упоминается христианкой-староверкой как привычная ей фигура миропонимания, но среди действующих сил его нет». Но я бы снова поспорила с «впечатлением» Балла, что «темная» сторона «в романе выражена существенно сильнее». Потому что за «светлую» сторону играет сама структура романа. Выдвигающая в победители тех, чьи поступки соотносятся с ценностями христианскими: милосердием, смирением, бескорыстием, самоотречением, любовью. В то же время жесткой иронией просвечен образ староверки, которая испускает ненависть под видом молитвы и, проклиная «бесовку» — женщину-лисицу, — напрасно возлагает на нее всю ответственность за свой разлад с мужем. Ощетинившаяся против «бесовки» толпа староверов названа «ненасытившейся, униженной хищной стаей». А дети староверов,

изводящие девочку — дочь женщины-лисицы, — проявляют худшие стайные инстинкты. Христианского сообщества, христианской церкви в романе нет как явления, но это в структуре «Лисьих Бродов» выпад не против веры — а против системы.

Одиночки — главные герои романа. Одиночка перед стаей — носитель «логики хаоса». Одиночке выиграть — пойти против «логики вещей». Полковника Аристов и циркача и беглого зэка Кронина, единственного священника и единственного доктора, медсестру-медиума и кицунэ-«полукровку», лисицу-«отступницу» и раскаявшегося ученого японской лаборатории, безумного Юнгера и его слугу-тигра Ламу, охотника-старовера и китайца папашу Бо, угощающего красноармейцев настоянной на змее водкой, — этих персонажей объединяет стремление навязать системе свой интерес, переломить или проломить ход вещей, который принят как общий и естественный.

В этом смысле сам роман уподобляется своим героям, выстраивая маршруты мимо исторических магистралей тридцатых — сороковых годов прошлого века. «Истории, в которой все это происходит, которая все это объемлет и, по идее, определяет, — почти нет», — замечает Ольга Балла, безоценочно на фоне рецензентов, нацеливших из романа исторических неточностей. В жизненном выборе героев — например, майора Бойко, капитана Деева, ученого Оямы, медсестры, Юнгера — большая история сказывается. Другое дело, что само отдаление революции и мировой войны на кромку повествования, выдвигающего в центр 1945 года маргинальные поиски в душном городке, выглядит сказочной условностью, нарушением «логики вещей». И — утверждением «внутренней логики» романа, в котором ошибка с размещением уранового рудника не принципиальна потому, что весь он посвящен отсевкам большой истории, осевшим, как сор в сите, в сказочной, отключенной от широкого мира аномалии Лисьих Бродов.

Одиночность — условие игры, а не ее цель. И тут я снова вижу перевертыш верхнего и глубокого слоев романа. Несомненно, Анне Старобинец удался впечатляющий писательский трюк: множество линий героев, отмеченных разнообразными мотивами, она так или иначе замыкает на одной фигуре — таинственного мастера Чжао, даоса с бессметностью лиц, оберегающего святилище с кладом и владеющего ключом к бессмертию. Но прежде чем тоже упереться в этот легендарный образ, хочется отмотать назад и проверить: так ли уж разнятся интересы героев?

Аристов ищет Кронина, Кронин — жену Елену, сбежавшую с братом в эмиграцию, но оставившую след в Лисьих Бродах. Брат Елены жаждет оживить волшебную армию, «глиняное войско» — Терракотовую армию императора Цинь Шихуанди, подлинное захоронение которой роман предлагает искать за болотами Лисьих Бродов. А для этого Юнгера нужен секрет бессмертия от неуловимого даоса. Слуга Юнгера, человек-тигр Лама, предан Юнгера в меру своего интереса: когда-то даос недооценил преданность Ламы, прогнал от себя, и Лама жаждет его найти, чтобы заставить переменить решение. «Стукач замполит» мечтает об амбициозном разоблачении контры внутри армии, а его командир, майор Бойко, напротив, ищет способа избежать разоблачения. Медсестра хочет укрыть в городе отца, с которым сама когда-то порвала, а доктор — из города скрыться. Кицунэ-«полукровка» ищет снадобье, созданное на пересечении магии и науки, которое поможет ее дочери пережить первый «метаморфоз», а сама девочка хочет удержать дружбу мальчика из враждебной семьи староверов.

То, что эти и прочие пестрые, разбегающиеся интересы в итоге сойдутся на тайне даоса, кажется литературным чудом. Но герои жаждут чуда иного.

С образом оборотней в роман вплетается мотив утраты души: «Плоть оборотня сильна <...>. Но душа оборотня всякий раз тоскует». Обратничество описано в романе как мука повторяющегося прохождения через смерть, распад и возрождение. «...Сделана впечатляющая попытка показать сознание оборотня его собственными глазами — притом с почти научной (если бы такое поддавалось научному наблюдению)

точностью (вплоть до времени, которое занимает переход, до изменений в крови у переходящего...)), — отмечает это особенное достижение романа Ольга Балла. И именно на фоне физиологического обоснования «перехода» обостряется вопрос: что в этом «почти научно» описанном опыте переживает душа?

«Душа» — слово-призвук Ламы, куда более тигра, чем человека, и потому особенно разрываемого между силой тела и тоской души. Он ищет даоса, чтобы доказать ему свою силу, но сам же ее придерживает — ради «дуновения» души, которое чувствует рядом с медсестрой-медиумом. Интересно, что она доверяется тигру Ламе вроде бы по наущению отца — но в каком-то смысле этого требует ее душа, уставшая сопротивляться «плохим» мыслям и видениям. Так и Макс Кронин сбегает из лагеря за женой Еленой, которую теперь, многое забыв, знает не лучше, чем медсестра — Ламу: он ищет не жену, а то, что ему кажется обещанным в образе жены, — свою душу. И «счастье», которое испытывает «стукач замполит», когда просекший его происки армейский товарищ наконец признает его место в иерархии роты и предлагает ему «вместе» разоблачить переодетого Кронина, — разве о карьере, а не о душе? Да и Аристов, предавший доверие ученика, кажется, душевно им тронут: «непрофессионально» обижается на непослушание Кронина и почти отечески любит тем, как, даже «оскопленный», «великолепен» «его» Макс. Или посмотрите, как счастливо идет, «наслаждаясь каждым вдохом и каждым шагом», по колдовскому мосту тот, кто думает, что наконец сбежит из «морока» города, как из плена.

Вернуть душу — значит словно бы ожить. Не пустое слово в романе, где каждый из героев проходит свои стадии распада и «Черноты. Пустоты. Ничто», неизбежные при оборотничестве. Оборотень, проходя через распад, покидает одно тело, чтобы воплотиться в другое. А тот, кто не перевоплощается, покидает себя.

«Это ты оборотень», «перевертыш тут только один <...>. Это ты...», «это вы утратили человеческий облик», — выговаривает Кронин оппонентам. Но и без этих подсказок легко заметить, что зверолоуды и древние лисицы — вовсе не те, на ком в романе держится мотив оборотничества. Человек-тигр, кицунэ-«полукровка» просто следуют своей природе. «Я не хочу тебе зла. Но это моя природа», — говорит «полукровка». А вот обозлившийся майор, отчаявшийся доктор, перепуганная медсестра, взбесившаяся от ревности староверка природу свою — меняют, предают. Для таких персонажей характерно отчуждение от «оборотной» ипостаси: «я не такой», «я не воровка». И тигр, нацеленно убивающий в себе человека, в этом как раз уподобляется людям, стирающим из реальности себя прежних.

Зато образы зверолоудей, выведенных в лаборатории, — вообще не про оборотничество. Это скорее про границы человеческого и страх перед «чужими». Новые звериные повадки неприродных оборотней страшны именно в свете осознания их еще человеческим умом. Напротив, «душа зверя» в них принимает даже убийственные порывы спокойно, уверенно. Это — новая подсветка темы силы в романе: зверю естественно хотеть зарезать ребенка, как «свинку», но когда тем же чувством распахнется человек — он пострашнее недооборотня.

И именно человеческая память определяет в романе путь недооборотня. Простодушный Никитка-«солдат» парадоксально верен себе в переходном состоянии: говорит, что «просто теперь он за другую стаю воюет», и, действительно, сохраняет своеобразную способность к рассуждению, состраданию, волевому выбору. А попавшегося в лабораторию старовера «переход» ломает, стирая в нем все, кроме суеверного страха. Он видит в постигшей его судьбе — отвержение Бога, которого, как думает, прогневал. И путается в верованиях, и тщится занять место пророка при новом своем божестве-оборотне, и едва не приносит ему человеческую жертву.

Судьба старовера воспринимается трагичней, потому что его «переход» — это прыжок в отрицаемое: герой оказывается на стороне тех, кого в его среде принято проклипать, — преследуемый теми, с кем у него изначально общие ценности.

Перевертыш «свой — чужой» расширяет для читателя поле сочувствия, а также спасает роман от жесткого разграничения героев симпатичных и «плохих».

Так, «стукач замполит» ни в коей мере не оправдан в романе — но и ему достается почтительная доля читательского сочувствия в последний момент, в сцене, где его буквально заколачивает в гроб, «так сказать» — словечко замполита, — боевой товарищ. Товарищ куда более близок и симпатичен нам своими поступками и мотивами, но вдруг что-то перещелкивает, и мы видим его хищным оборотнем-насекомым: «В напряженных его губах зажаты тонкие гвозди», отчего он «похож на насекомое с множеством хоботков. Он вытягивает изо рта эти хоботки и один за другим вонзает их в крышку твоего гроба».

Еще один яркий прием, расшатывающий предопределенность сочувствия, — беглая точка восприятия. Мы видели стукача отстраненно — и вот уже обращаемся к нему на «ты», проговаривая для него то, что он не может в кульминационной для себя сцене понять и увидеть: «Ты под крышкой, ты накрыт с головой брезентом, и ты не видишь...» Теперь со стороны, отчужденно, мы смотрим на того, кто его одолел. И вдруг словно прыгаем победителю за плечо, сливаясь с ним, настраиваясь и на его логику поступка: «Он не убийца. <...> Он убивает. Только. Врагов. На каждый гвоздь — три удара молотка. Только мразей. Стукачей. И подонков».

Вариация этого приема — перевертыш «живого — мертвого»: к Макс Кронину являются «его» покойники, те, в чьей смерти он повинен, и один из них, дружелюбно настроенный вор, становится другим голосом Кронина, спорящего с самим собой, стоит ли с риском для жизни задерживаться в Лисьих Бродах.

Очень хочется в заключение поговорить о нем — о супермене Максе Кронине, который замечателен не только меткостью и изворотливостью, но и постепенно крепнущей уверенностью в своих чувствах и ценностях. Его путь можно прочесть как историю сепарации. К моменту, когда он вспомнит о своих сверхвозможностях, они перестанут интересовать его, как детская игра. Макс Кронин идет к Елене — так он думает, — но приходит от старого учения к новому, от хорошо дрессированного себя к себе настоящему. Отказ от оборотничества — революционный выбор для «артиста», но прежде, чем выбор будет сознательно сделан, Макс Кронин попросту не сможет поступиться чем-то в себе ради шкуры, в которую переоделся. «Он понуро идет с тобой, уверенный, что это арест, а может, что и похуже, ведь он поднял руку на капитана СМЕРШ Шутова. И ты должен его хотя бы ударить — по лицу, прикладом, до крови. И ты должен его хотя бы посадить на гауптвахту. Ты ведь Шутов. Ты капитан СМЕРШ. Ты должен играть свою роль. Но ты смотришь в эти его незабудковые глаза, и ты вдруг говоришь:

— Спасибо, Пашка. Ты вчера все правильно сделал».

Но еще интереснее поговорить о менее очевидном — и до поры вовсе невидимом — персонаже. Мастер Чжао, человек — «бескрайнее озеро», попрекающий ученика Ламу за то, что рука того не дрогнула убить бабочку, — как получилось, что этот просветленный человек обрек на смерть детей? За то, что одна из древних сестер-лисиц нарушила тайну святилища, он проклял «лисят». Растущая луна грозит Лисьим Бродом нашествием звероловцев, а кицунэ-«полукровке» надрывает сердце: близится ночь первого перевоплощения ее дочери, и, по слову даоса, девочка «перехода» не переживет. «Моей дочери грозит беда страшнее, чем СМЕРШ», — так объясняется бесстрашие «полукровки» перед стаями: красноармейцев, староверов и даже древних лисиц.

Мне жаль, что Макс Кронин к проклятию даоса отнесся не критично — а точнее, никак. Он неоднократно выручает обреченную девочку — но того, что неотвратимо ее убивает, не видит в упор. Объяснить это можно тем, что героя отключили от мистического измерения — «лишили чуда». Как и тем, что даос в романе оправдан законом, который он вроде как исполняет, проклиная нарушительницу табу.

И все же для романа, отвращающего от немилосердной силы, почитание воли могущественного даоса, не осложненное сомнением, — куда более серьезный недосмотр, нежели перемещенный урановый рудник.

К роману «Лисьи Броды» просится применить классификацию мировоззрений персонажей из игры Dungeons & Dragons. По свидетельству интернета классификация эта основана на литературном источнике и представляет собой перебор сочетаний «добрых» и «злых» намерений с почитанием «закона» или «хаоса». Предполагаю, согласно этой классификации Макса Крони́на можно определить как «хаотично-доброего», а даоса — как доброго силой закона. Не раскрывая главного трюка романа, скажу, что в Лисьих Бродах этим противоположным философиям добра не хватило места.

«Логику хаоса» воспев, роман Анны Старобинец избегает амбивалентности. И можно спорить, победил в финале хаос — или на смену ему, силой природной цикличности, в Лисьи Броды вступил новый лик порядка.

Пестушки кошмара

Саша НИКОЛАЕНКО. Муравьиный бог: реквием. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2022.

Удобно, когда в романе есть заглавная сцена, иллюстрирующая как будто очевидную авторскую идею. «Над Моровом, в сети теней скользящих, стоял убийца. Муравьиный бог». В этой визитной карточке романа прописано все. Аллегория муравьиного копошения человеческой жизни — и необъяснимая угроза, которая может ее разметать. Беззащитность малого перед большим — и непостижимость большого с точки зрения малого. Зряшное страдание — и вышедшая из берегов злоба. И все так ясно, что непонятно: куда теперь двигаться роману? Восьмилетний мальчик Петруша уже пожег муравейник, сыграв в злого бога, который и с ним самим поступил так: разметал его жизнь, забрав маму и папу — и оставив избывать сиротское горе подле нелюбимой бабушки. А у читателя впереди еще четыре десятка страниц, которые чем же автор наполнит?

Кульминационная по звучанию и наполнению сцена, отыгранная в самом начале, ломает структуру истории. Перед нами роман, который не ставит себе задачи рассказывать. Его структура — воронка. Роман не развивается, а кружит. С каждым новым витком мы согласнее предаемся и ритму его, и логике. И когда подступит настоящая кульминация, мы будем готовы воспринять ее не критически. Добить сиротку, повесив на него вину в случайной смерти девочки от нездорового щенка, которого герой достал к финалу не роялем из куста — билетом лотерейным, когда-то так же в детской невинности недалековидной испрошенным у жизни и случайно тоже выигравшим смерть: для мамы с папой смерть в автомобиле, которым оделит их лотерея, укрыв, что за прибыль после стребует судьба, — проверить такое в линейно устроенном романе значило бы свести его к автопародии. Не говоря о том, что смерть от проклятого лотерейного билета, содержавшего выигрыш в виде рокового автомобиля, на котором разбились родители Петруши, сносит и завязку романа в сторону городских страшилок. Но в торжественную поступь «Муравьиного бога» смеху не всунуться. Хотя в смачной речи нелюбимой бабушки достало бы острословия, чтобы разрядить атмосферу, — в задачи романа ослабление угрозы, переключение тона не входит. Когда старуха Снаткина в романе Эдуарда Веркина сетует на горе-маслозаводчика: «Только коров-то не осталось! Молока нет, хоть сам доись», — я могу хихикать над ее выпадами вместе с героями, потому что осмеяние — язык романа. Когда старуха Вера сетует на тупой нож, возражая внуку Петруше, который «вчера

его точил»: «Вчера и режь... и ешь тада вчера, точил ты...» — в шекспировской ловкости ее реплики нет комедийной легкости. Это не острословие — а заострение утраты: «Тупой... совсем тупой, не режить, кому теперь точать? Ни мужика, ни сына». Смех сифонил бы свободой: возможностью выступить из отчаяния, взглянуть на ситуацию иначе, найти лазейку утешения.

Но так уже был написан Сашей Николаенко другой роман — половинно: голос горевания и бунта в равноправии с голосом умиротворения. «Небесный почтальон Федя Булкин» критикой был принят скептически. Можно посетовать, что такова участь «добрых книг»¹⁷, вызывающих у искушенного читателя образ «сахарной глазури» (Мария Лебедева —¹⁸). Можно подосадовать, что «именно эта темная сторона принесет Николаенко победу» (Наталья Ломыкина —¹⁸). В речи лауреата на церемонии вручения премии «Ясная поляна» Саша Николаенко призналась, что, возможно, негатив, обрушенный на ее роман о Феде Булкине, трансформировался в отрицательное обаяние романа «Муравьиный бог»: «Было очень много зла почему-то в адрес именно Феде Булкина, “небесного почтальона”». От многих критиков я услышала очень много зла в адрес этого мальчика. Может быть, это зло во мне нашло протест» (расшифровано с видеозаписи в мобильном телефоне от 4.10.2023). В рецензиях пишут о явной зеркальности двух романов — и автор поддерживает такую интерпретацию: «Я хочу, чтобы люди, прочитав “Муравьиного бога”, сказали — нет, мы так не хотим... мы не будем так жить... Не станем превращать жизнь любимых в ад. Я хочу, чтобы, прочитав “МБ”, люди повернулись к Небесному почтальону Феде Булкину... И тогда, если только сравнить две эти книги — выбор станет очевиден... Спасение только в любви друг к другу»¹⁹.

Проблема в том, что любовью не строится роман. «Небесный почтальон Федя Булкин» тоже ломал линейную логику истории. Это роман-диалог, где бабушка и внук взаимодействуют не соприкасаясь. В своем отзыве я сравнила их с «двумя фигурками в народной деревянной игрушке», предложив читать книгу как «сказку — запертую в условиях реальности»²⁰. Сказка без сказочного пути героя, диалог без конфликта. Эта невозможность развития, закупоренность действия оказались уязвимой — неубедительной чертой романа. Как и неотчетливость заглавного героя. Здорово, что в критике роман помнят «теплым и солнечным»²¹ и противопоставляют «мечтательному и любознательному Феде угрюмого, независимого и жесткого Петрушу»²². Но это еще раз доказывает только то, что в критике эпитеты — тоже черта уязвимая и наименее убедительная. Мне, к примеру, Федя Булкин показался фигурой аллегорической: он не ребенок, а человек как ребенок — взывающий о несправедливости утраты к «большой» фигуре бога. Персонажи романа светлые, потому что горюют в согласии, разделяя друг с другом гнет утраты. Однако сам роман показался мне «заряженным недоброй и тяжелой мыслью, как и предыдущий роман Николаенко “Убить Бобрыкина”»²³.

Зеркальная пара романов, таким образом, тоже иллюзия. Такая же, как кульминационность сцены с «муравьиным богом» Петрушей. Так удобно воспринимать и трактовать. Но «Муравьиный бог» работает не в паре.

Я бы воздержалась от оценки «Муравьиного бога» как именно «лучшей книги Саши»²⁴. Куда убедительней принесший ей первый успех «Убить Бобрыкина». Он гармоничнее, тоньше, хитрее: в нем есть полифония голосов, двоящееся восприятие, протяженная интрига с впечатляющей развязкой, преображающей драму в трагедию. Но то, что делает его «лучшим» романом, как раз и мешает ему стать вершинной книгой автора.

Николаенко словно бы искала способ высказаться художественно — но прямо.

В «Муравьином боге» сохраняется равновесность фигур бабушки и внука — теперь они уравнены взаимным неприятием. Их конфликт не отвлеченный, не в рамках диспута. Напротив, диалоги затухают, разбередив раны и открывая поле

для мести. Внук гасит бабушкину лампадку — она закрывает собой свет, под которым он читает книгу, начатую еще с папой. Внук просится к соседской девочке Саше — бабушка не пускает, потому что с Сашей за внимание внука соперничает: пока не погibli, она так же ревновала сына к невестке и до сих пор ревнует мужа, лежащего больного, к соседке-разлучнице. Главное же — она соперничает с внуком за право горевать, и тут ему тоже есть чем симметрично ответить. Если Федя Булкин и его бабушка спасаются в горечи утраты друг другом, то Петруша и бабушка Вера один другого променяли бы на погибших родных. Когда бесчувственную Веру внесли в дом, где идут поминки по ее сыну и невестке, Петруша думает, что «баба умерла, не нужно будет ехать с ней на дачу». И баба Вера, не то взаправду вспоминая, не то путая сон и явь, признается, что однажды чуть не задушила младенца Петрушу: «...Только знаю, так и будить, как в этом сне, погубишь всех. Ни Маши, ни Ивана, ни-ко-го... <...> Подушку подняла, пусть грех-то, думаю, на мне, они других вырождать, только б жили... Не успела».

Конфликт получился тяжелым, тугим, действенным: герои желали бы вытеснить один другого — но обречены друг от друга зависеть. И спор их только формально о прошлом: погibli родители Пети от несчастного случая или злой волей — Пети ли, выпросившего проклятый билет с роковым выигрышем, или немилосердного бога, который «нас всех убьет». На деле они спорят о том, что дальше, после утраты: есть ли за роковой чертой жизнь?

Парадоксально — и очень в духе романа — спор о жизни воплощается в борьбе за смерть. В отличие от обоих героев, замороженных, замороженных страхом смерти, обездвиженный дед, муж Веры, принял бы смерть «благодарно»: автор находчиво позволяет деду высказаться об этом открыто, оставаясь в рамках обреченной безответности больного, — и, чтобы мы не сомневались, показывает светлый сон Петруши о дедушке, освобожденном от уз плоти. Петруша поддерживает деда и обращается с ним как с полноценным членом семьи: например, прибегает к его беспомощной защите, когда совсем страшно и неумоги́мо с бабушкой. В его глазах дед живой человек, у которого осталось пространство выбора. Напротив, бабушка Вера недаром называет мужа покойником. Для нее муж кончился, переступив порог — в романе одновременно вещественный и символический: Вера считает, что муж пал, сраженный ее проклятием за измену, уход из семьи. Она делает вид, что боится за жизнь мужа, отбирая у него мяч для тренировки рук, который, по совету соседской девочки, принес Петруша. Но тут же разоблачает истинную причину гнева — месть: «А ты мячи ему давать, побаловать...» В критике ее сценичную реплику, обращенную к лежащему мужу: «Ни черту и ни богу не отдам, Данило, слышишь, слышал? Ни черту и ни богу. Никому», — интерпретировали как штрих неоднозначности. «И все же нет-нет, а прокрадется сочувствие, а то и чувство жалости к ней. Мужа своего <...> костерит, поминает грехи молодости и при этом делает все, чтобы продлить его жизнь»²⁵. Но в романе между этими действиями нет противоречия: баба Вера не отпускает мужа именно потому, что костерит за грехи молодости. Ей важно удержать его при себе хоть «покойником», не дать снова переступить порог — хоть бы и смерти.

Детские черты проступают в образе деда: «сильными руками, мощными плечами легко ворочала в подстилах маленького высохшего деда», «детский запах реденьких волос». Идеальный муж — это идеальный сын, идеальный сын — младенец, который еще не женился и не спорит с матерью перед лицом собственного ребенка: в романе промельком даны несколько сценок, показывающих, что и с сыном, о котором сокрушается, баба Вера не жила в ладу, не находила понимания, что и сын противился ее картине мира. «Она вон говорит: “Сосиски — химия одна”, — а папа говорил: “Все — химия одна... круговорот, обмен веществ”. — “Ой, богу не боишься, Ваня...”»; «— Што плачешь, дето? Жизнь — могила. На небах тоже болько будить, милой, погоди. <...> — Мам, хватит, он ребенок, что ты...»

Фокус романа в том, что он подстраивает торжество картины мира, которой все сопротивляется — и в героях, и в читателе.

«Роман “Муравьиный бог: реквием” — о принятии неизбежности смерти. Своей смерти. Смерти близких. Прочсть, прожить, а тем более пережить и усвоить (выдержать смерть) эту новую книгу Саши Николаенко не просто», — пишет Татьяна Веретенкова²⁶.

К созвучному выводу приходит Екатерина Иванова: «“Муравьиный бог” — это не столько реквием, сколько гимн безысходности. Принять эту книгу как исповедь отчаявшегося сердца, как плод авторского личного опыта — нелегкое испытание для души»²⁷.

Загвоздка — в словах «принятие», «принять». Кажется, вовсе не эту задачу ставит перед читателем автор.

В интервью Шевкету Кешфидинову она «костерит» то, что в «Муравьином боге» наглядно воплощено как идея земного бытия: «Система, созданная природой ли, Господом Богом ли, система, в которой мы живем, — не только мы, люди, но мы все, изначально немилосердна. Закон этой системы — эволюция и пищевая цепь. Это значит, что пожирание сильным слабого только исполнение этого закона. <...> И вот в этой системе (Богом или природой созданной), где все питаются всеми, “жук ел траву, жука клевала птица”, человеку приходит в голову мысль о жалости к младшим и ближним. Сильному приходит мысль: не убить. <...> Откуда вообще пришла такая мысль — мысль о жалости, сострадания?.. Она совершенно против правил всего, что нас окружает...»²⁸ А в речи лауреата прямо указывает, что лучшая реакция на ее награжденный роман — протест: «Но вот этот отклик самый главный — протест: бог не такой! Если у нас будет такой бог, то мы докатимся до того, что просто в конце концов истребим друг друга».

Мне не близки попытки автора докомментировать роман, тем более — превратить комментарий в проповедь: «Не может ли оказаться так, что, создавая нас, Он, как папа, который любит своих детей и верит в них, надеялся, что мы сможем изменить созданную им систему и созданный им закон? Кто написал такие заповеди, если сама божественная система против них? И как мог заповедовать нам Бог то, что противоречит тому, что Он создал?»²⁹

Но мне кажется продуктивным это противоречие: между «бог не такой» — и «созданным им законом»; между, по слову критика, «принятием неизбежности смерти» — и, по слову автора, попыткой мир «изменить».

В этом противоречии — основа манипулятивности романа и одновременно его художественной удачи. «Но главный контраст — между искренностью и сделанностью. В книге есть и то и другое», — пишет Екатерина Иванова.

«Вера в смерть» побеждает в романе не потому, что ею захвачена героиня Вера (о неслучайности имени бабушки Екатерина Иванова говорит именно в свете «сделанности» романа). А потому, что ею заморожено воображение автора.

Раз от разу Николаенко рисует нам малого в сопротивлении большому, младшего во власти старшего, муравья под богом, раз от разу она показывает травму расставания с детством, его красотой и защищенностью. Ее герой — это малый, который осиротел до того, как стал большим. Человек, который не справляется с жизнью. Ребенок, которому не вместить утрату. Жизнь, которой невыносимо глядеть в лицо смерти.

По всей видимости, полифоничность и повествовательность только мешали автору выразиться. Удача «Муравьиного бога» — в его тотальной монологичности. Единство стиля тут соединяется с единственностью темы. «Музыкой на бумаге» называет свой стиль автор, говоря, что наконец осуществила это как «мечту»³⁰. О ритмизованной прозе Николаенко спорили уже в связи с «Убить Бобрыкина» — и, может быть, потому и спорили, что там эта «музыка на бумаге» казалась декоративной. Ритм, повторы, поэтические стыки низменного и возвышенного, повествовательного и лиричного звучали то болезненно, то полонезно. Стиль спорил сам с собою, находясь то в угрюмом настоящем, то в идеальном, не существующем прошлом. В «Муравьином боге» нет вариативности, как нет лазейки из не отпускающей «веры

в смерть». Бытовые реплики бабушки, дачные игры детей, деревенские слухи, воспоминания и сны, живопись природы и призраки сознания неотступно ведут читателя к чувству незащитности перед общей судьбой вещей: поедать и быть съеденными, уничтожать и исчезать, терять и быть потерянным для всего, что дорого.

Мы погружаемся в личный кошмар — который в романе подается всесветным. «Нас настойчиво подводят к выводу»³¹.

В романе нет фантастической условности, а все же нельзя сказать, что он вполне удерживается в реальном. Ближе к финалу все чаще вместо событий — сны. Но и с самого начала тут оживают, развертываясь силой метафоры, фантастические твари.

«...И, напрягая черные волокна, подземный спрут, жить тех времен и лет, что обратились в прах, страны, в какой скелеты мертвецов, сороконожками ожив, корнями пробегает, черпал энергию подсолнечной травы»; «Гнилой забор под натиском курганных траволесий валился в огороды и сады, как будто правда мертвецы к живым шагали в гости напролом»; «Жизнь идет, и старый дом скрипит, как будто из последних сил невидимая упряжь-память кибитку с мертвецами и живыми тянет на погост»; «По потолку скользили тени. <...> Освобожденные от тленья седые призраки животных и людей, деревьев, облаков... почти они, но бестелесны. Ни воздуха, ни крови, ни воды, ни боли-радости-надежд, ни цели, но только это серое движение: с угла к углу, с угла к углу, с угла к углу, как будто бы оно и есть их цель — как стук покойника в гробу — освобождение от бессмертья»; «Огромная старуха, волк в овчине, как будто срубленную голову, шинкует крепенький кочан: ширк-ширк. Вот, рос себе, все лето креп в своих одежках, теперь порубят и схрустят: ширк-ширк. Умело ходит нож, стучит в доску. Царапиной невидимого звука кружит по вечеру комар, удар по дряблему плечу — убила. Убила раз. Убила два. Убила три».

Внешнему копошению старухи Веры: тщета ее скудноплодных трудов по дому и саду — еще один вариант обреченности смерти, — сопоставлена просторная жизнь мысли и воображения Петруши. В романе хлопочущая Вера — «она», а мыслящий Петруша — «ты». Так сжимается контакт, и мы незаметно для себя ныряем в рефлексивную-игру героя в «быть — не быть»: «Где шаг, какой шагнул? Где тот, какой еще не сделал? <...> Неудержимое, поющее, скребущее, ползущее движение, всегда вперед, согласно стрелке часовой. <...> Еще шагнул — и снова оглянулся. Запомнил — здесь; шагнул — и нет, исчез. Нет, не исчез — переместился. Как будто тень съедает “был”, а свет съедает “буду”, и только на пересечении их еще стоишь ступенькой, не переходя невидимую грань, исчезнув позади, не появившись впереди, из ничего и в ничего одна секунда — есть».

В фантастическом измерении растет и образ старухи Веры. В снах-воспоминаниях Петруши узнаваемая речь ее — это голос «темноты», «черного пятна». Голос пугает смертностью, подобно самой темноте, которая в реальном плане романа активно действует и немо, но постоянно, в цикле сменяемых летних дней, говорит с героем. Страх темноты в романе — детская форма страха смерти.

В широком времени, в большом мире не получилось бы выдать невроз старухи, кормящей внука под прищептывания об Апокалипсисе, за природу бога, а детский страх темноты — за закон природы. Но Николаенко являет «сделанность» — искусную искусственность пространства и времени, которое кажется слепком мироздания, от «пылинок»-«невидимок» до «звезд», а на деле ограничивает нас кошмаром «в голове».

Символично, что в финале этого дачного, летнего романа наступает сентябрь — в который у героев нет сил вступить. Надо ехать в Москву, вынимать себя в будущее, а герои не едут, и будущее их на исходе. Слова «часы идут», «вперед» — звоночки кошмара: Петруша ищет способ время отменить, переиграть прошлое. Только могилу, тщету, забвение видит как итог линейного времени и его бабушка. Но и круговое, цикличное время не спасает, ведь это кругооборот изничтожения: существа «выклеивают жизнь себе из жизней», «все ело все».

При чем же тут Бог? Хоть «не такой», хоть такой? Разве не очевидно, что, когда Петруша объявляет бабушке, что его родителей «бог твой <...> убил. Он, баб, нас всех

убьет», — он борется не с богом, а с бабушкой? И кто она — эта бабушка, о которой сказано, что она «страшнее смерти», — и в этом смысле для Петруши равна богу, который в ее устах «страшнее был, чем темнота, чем чернота, разбойник, аспид, детский дом, милиция, аука. Чем все, что страшно, все, что есть и нет, чем смерть, и после смерти мучил человека, судил, варил в котлах, “кожи сымал”, и жарил, и пытал»?

«Доминанту бабушки Веры» признает в романе критик Татьяна Веретенкова³². Идеино Вера подавляет и передавливает — но как образ отдалена, недораскрыта. В редкие, ничем не мотивированные, но украшающие роман моменты «объективного» зрения, когда мы видим героев не горизонтальным, человеческим зрением, а как бы сверху, взглядом птицы, художника, бога, Вера остается в неизменной личине «ведьмы», которой перемена ракурса не добавляет обаяния, а вот Петруша показан трогательно: «...Вдвоем на лавочке сидят огромная утрюмая старуха с тяжелым, никогда не ласковым лицом, в вороною повязанном платке и черном крепе, с кульком от “Правды” в молоте скрещенных рук, и мальчик лет восьми, худой, зеленоглазый, в потертой синенькой ветровке, с давно не стриженной русоволосой головой, в штанишках клетчатых, подвернутых на вырост, с прилипшей огуречной семечкой к щеке». И о том, что значило для Петруши потерять родителей, мы узнаем из ряда задевающих за живое сцен-воспоминаний. Но о том, что значило для Веры потерять сына, можем только строить предположения. Тем более что видим, до чего с Петрушей она неловка, будто и сына никогда не нянчила: совсем не понимает и не принимает в нем ребенка. Подозревает, что Петруша уже забыл погибших родителей, а много раньше, впервые взяв внука на руки, смущается и обижается, что он криком просится обратно к маме.

Автор приглашает сопереживать старухе Вере: «...Тот, кто нашел в своем сердце жалость для нее, — мой друг, он понял меня, потому что я люблю ее, и мне ее тоже жалко. Жалко до боли»³³. С другой стороны, о матери, орущей на ребенка, она высказывается безжалостно: «Я смотрела на маму, которая криком кричала на своего малыша и волоком волокла его по дороге... Кто ты такая? Ты любое, любая, но ты не мать. Ты даже хуже животного»³⁴, — а между тем баба Вера как взрослый, воспитывающий ребенка, совершает насилие над его душой не вот так, срываясь по дороге, а систематически и осознанно, и в романе единственное, что помогает как-то понять ее, — это промельки упоминаний о перенесенном в детстве голоде, тяжелой болезни матери, не мирной гибели Вериных родных.

Романы, предлагаемые к прочтению в паре: книга о Феде против книги о Петруше, — подсвечивают принципиальное свойство мира Николаенко. Именно оно включает на месте драмы — ужас, делает ситуацию ее героев безвыходной. Доброе и злое воплощено здесь абсолютно: чтобы отобразить правду жизни, в этой прозе нужно столкнуть два полюса, подобно тому как для полноты понимания мысли автора предлагается прочесть оба романа.

Добро — полюс идеального, настолько, что закрыто для доступа, существует в воспоминаниях, воображении, снах, письмах. В «Муравьином боге» идеальны родители: папа, с которым не страшно плыть, летать, прыгать, «сокращать жизнь», и мама с ее прохладной ладонью, всегда ласковым, ровным, будто потусторонним, зовом. В «Убить Бобрыкина» полюс идеального воплощен в подруге детства. Родители погибли, подруга переродилась во взрослую женщину. Вместе с ними герой утратил возможность теплого контакта. К памяти о подруге герой «Убить Бобрыкина» привязан, как к матери, потому что настоящая мать давит и осуждает то, что ему дорого. А бабушка в «Муравьином боге» — зеркально опрокинутый образец, по которому каждый взрослый легко усвоит, как оборвать доверие даже очень голодного по любви ребенка.

Психологические портреты токсичного контроля и травматичной зависимости в прозе Николаенко необыкновенно последовательны и точны. Но именно это придает им условность. На месте взрослости, в которой всякое бывает, — провал,

загробье. Читатель принужден надрывать душу состраданием малому или ужасаться домашнему аду, творимому большим.

Вот почему пожалеть старуху Веру в «Муравьином боге» можно, но только по внетекстовым соображениям. «Он для того нарочито светлый, что этот нарочито темный», — говорит Наталья Ломыкина, сопоставляя роман про Федю и роман про Петрушу³⁵. Но и старуха Вера нарочито темная потому, что родители героя идеально светлы. Картина мира, соответствующая зрению ребенка, который не может поверить, что это его родитель ругается и проявляет слабость: не совмещает в одной фигуре добро и зло. И сочувствие в прозе Николаенко целиком на стороне того, кто мал и зависим, потому что старший не имеет права на ошибку. Мы не можем понять, как сложилась у бабушки Петруши болезненная «вера в смерть», как не поймем, почему бабушка Феде сохранила в себе веру в свет. Они остаются абсолютными моделями, выпадающими из сочувствия потому, что лишены человеческой сложности.

Есть и еще вариант трактовки от автора: «Кто это чудовище, эта старуха, что превращает сад в ад, а жизнь своих любимых в клетку? — Я или, скажем так, мои опасения стать такой, как она»³⁶.

Человек в романе «Муравьиный бог» выясняет отношения с собой, думая, что — с богом.

«...И все молюсь, молюсь... спаси и сохрани помилуй, Зина... а кому?»

До первоисточника «несправедливо устроенной жизни» (Наталья Ломыкина — ³⁷) роман не добирается. Зато показывает, какими бываем мы, когда мстим жизни за ее несправедливость.

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ Эдуард Веркин: «Большие книги снова входят в моду». Беседу ведет Клариса Пульсон. // «Годлитературы.рф» от 5.10.2022. <https://godliteratury.ru/articles/2022/10/05/eduard-verkin-bolshie-knigi-snova-vhodiati-v-modu>

² А.Н.И.Петров. Отзыв от 11.04.2023 // <https://fantlab.org/work1556101>

³ Евгения Лисицына. Пост от 4.10.2023 // <https://t.me/greenlampbooks/2188>

⁴ Нифонт. Отзыв от 26.03.2023 // <https://fantlab.org/work1556101>

⁵ Пост Мирослава Удалова от 20.12.2022 и комментарии к нему размещены в сообществе «Эдуард Веркин (Макс Острогин)» // https://vk.com/wall-16632957_10251

⁶ Василий Владимирский. Комментарий из личной переписки от 5.09.2023: «Если долго читать Веркина — не отдельные повести и романы, а тексты, написанные в разные годы, в разных условных “жанрах”, — нетрудно заметить, что автор выстраивает единую метавселенную. Сюжетные линии, мотивы, герои кочуют из одной книги в другую, появляются там, где их в общем не ждешь. Не факт, что это сознательная стратегия, возможно, разные произведения просто растут из одного и того же кусочка жизненного и литературного опыта автора. Алексей Светлов из “снарка” до степени смещения похож на другого веркинского “гения, миллиардера, плейбоя, филантропа” — центрального антагониста из раннего цикла “Хроники Страны Мечты”. Обаятельного, харизматичного, очень неглупого, говорящего много воодушевляющих, правильных слов. Который, сюрпрайз, выкупал детей из неблагополучных семей, из детских домов, а иногда просто похищал, чтобы использовать их в своих экспериментах. Такая параллель, в общем, многое в “снарке” объясняет: не трудно догадаться, что убийца — дворецкий».

Ну и да: другой важный персонаж “Хроник”, как и в новом романе Веркина — молодой писатель, только куда более успешный, создатель популярного цикла для подростков, такое альтер-эго автора. Неоднозначная фигура, человек, когда-то побывавший в той самой Стране Мечты, мечтающий вернуться туда — и одновременно боящийся возвращения, не верящий в чудеса, но мечтающий о чуде. Тут сходство менее очевидно, но понятно, что в “снарке” перед нами результат эволюции того же типажа. Не думаю, что тут вообще уместны какие-то рассуждения об ответственности, о соблазне, здесь совсем другой внутренний конфликт, совсем другой этический выбор: бежать при первой возможности — или вернуться в провинциальную банку с пауками, в это болото, которое неминуемо засосет с головой, остаться наблюдателем — или стать участником событий. Веркин верен себе: в “снарке” он рассматривает оба варианта, один в первом томе, другой во втором. Метавселенная усложняется, отражения отражений множатся. А убийца все равно дворецкий».

⁷ Никита Мина. «Охота на снарка». О романе Эдуарда Веркина «снарк снарк» // Pechorin.net от 09.04.2023. <https://pechorin.net/articles/view/okhota-na-snarka-o-romanie-eduarda-vierkina-snark-snark>

⁸ А.Н.И.Петров. Там же.

⁹ Евгения Шафферт. Огромный роман Эдуарда Веркина про русскую провинцию из Короткого списка «Большой книги» // «Читает Шафферт» от 9.09.2023. <https://dzen.ru/a/ZO99xRw3SVbHDuRn>

¹⁰ Василий Владимирский. «Смело говорите правду — все равно никто не поверит» // «Горький» от 12.12.2022. <https://gorky.media/reviews/smelo-govorite-pravdu-vse-ravno-nikto-ne-poverit/>

¹¹ Михаил Гундарин. В фигне брода нет // «Газета “ИСТОКИ”» от 19.08.2022. <https://dzen.ru/a/Yv-ISEN2gpLDUvz>

¹² Старобинец Анна. «Лисьи Броды»: Отзывы жюри // <https://newhorizonsf.ru/y2022/lisetz/>

¹³ Мария Лебедева, Наталья Ломыкина. Логика хаоса: «Его последние дни» Рагима Джафарова и «Лисьи броды» Анны Старобинец // Девчонки умнее стариков: Подкаст. Выпуск от 14.09.2023. <https://girlsbeviser.mave.digital/ep-16>

¹⁴ Старобинец Анна. «Лисьи Броды»: Отзывы жюри // <https://newhorizonsf.ru/y2022/lisetz/>

¹⁵ Мария Лебедева, Наталья Ломыкина. Там же.

¹⁶ Вадим Нестеров. <Отзыв на роман> / Старобинец Анна. «Лисьи Броды»: Отзывы жюри // <https://newhorizonsf.ru/y2022/lisetz/>

¹⁷ «Человек, выросший из ребенка, превращается в дракона»: интервью с Сашей Николаенко к выходу нового романа «Муравьиный бог: реквием» // «Между литературой и жизнью» от 21.10.2022. <https://dzen.ru/a/Y1FK2fBLlmynTCv7>

¹⁸ Мария Лебедева, Наталья Ломыкина. Белый стих о ненависти и трагедия умников: «Муравьиный бог» Саши Николаенко и «Протагонист» Аси Володиной // Девчонки умнее стариков: Подкаст. Выпуск от 4.10.2023. <https://girlsbeviser.mave.digital/ep-19>

¹⁹ Саша Николаенко. «Наш дар — не натворить, а сотворить». Беседу ведет Шевкет Кешфиудинов // «Урал», 2023, № 1. <https://magazines.gorky.media/ural/2023/1/nash-dar-ne-natvorit-a-sotvorit.html>

²⁰ Валерия Пустовая. Знаю, куда. Новые смыслы сказочной колеи // «Дружба народов», 2020, № 8. <https://magazines.gorky.media/druzhba/2020/8/znayu-kuda.html>

²¹ Наталья Ломыкина. Дружба с дельфином и любовь к фиговому дереву: 6 книг о единстве человека и природы // ForbesLife от 10.07.2022. <https://www.forbes.ru/forbeslife/471011-druzba-s-del-finom-i-lubov-k-figovomu-derevu-6-knig-o-edinstve-celoveka-i-prirody>

²² Татьяна Веретенова. «И, смерть не выдержав, перелистнуть страницу...» // «Юность» от 9.07.2023. <https://unost.org/authors/i-smert-ne-vyderzhav-perelistnut-straniczu/>

²³ Валерия Пустовая. Там же.

²⁴ Татьяна Веретенова. Там же.

²⁵ Шевкет Кешфиудинов. Реквием детству, или Как прекрасен наш ад // «Знамя», 2022, № 10. <https://magazines.gorky.media/znamia/2022/10/rekviem-detstvu-ili-kak-prekrasen-nash-ad.html>

²⁶ Татьяна Веретенова. Там же.

²⁷ Екатерина Иванова. О книге С. Николаенко «Муравьиный бог» / О книгах «Наверность» В. Крутовой, «Я знаю каждую минуту» В. Харебовой, «Муравьиный бог» С. Николаенко, «Где логика?» Л. Костюкова // «Формаслов» от 15.09.2023. <https://formasloff.ru/2023/09/15/o-knigah-navernost-v-krutovoj-ja-znaju-kazhduju-minutu-v-harebovoj-muravinyj-bog-s-nikolaenko-gde-logika-l-kostjukova/>

²⁸ Саша Николаенко. «Наш дар — не натворить, а сотворить». Беседу ведет Шевкет Кешфиудинов...

²⁹ Там же.

³⁰ Там же.

³¹ Екатерина Иванова. Там же.

³² Татьяна Веретенова. Там же.

³³ Саша Николаенко. «Наш дар — не натворить, а сотворить». Беседу ведет Шевкет Кешфиудинов...

³⁴ «Человек, выросший из ребенка, превращается в дракона»: интервью с Сашей Николаенко...

³⁵ Мария Лебедева, Наталья Ломыкина. Белый стих о ненависти и трагедия умников...

³⁶ Саша Николаенко. «Наш дар — не натворить, а сотворить». Беседу ведет Шевкет Кешфиудинов...

³⁷ Мария Лебедева, Наталья Ломыкина. Белый стих о ненависти и трагедия умников...

Ольга Балла

Все настоящие писатели — в глубине души барсуки

Как говорить о литературе, если ты сам — практикующий литератор и делаешь её собственными руками? Какие мыслимы при этом позиции в отношении анализируемого предмета — кроме классической позиции критика (включая её), какие типы работы с текстом, практики и стратегии понимания? В этом нам и помогут разобраться книги очень разных авторов, встретившихся на обозревательском столе волею счастливого случая.

Сергей КОСТЫРКО. Критика-2. — [б.м.]: Издательские решения, 2022. — 310 с.

Автор этого сборника — вообще-то не только критик, более четверти века проработавший в отделе критики «Нового мира». Он — прозаик и эссеист, автор нескольких книг прозы, знающий процесс создания литературных произведений изнутри. В сборнике его статей и рецензий, публиковавшихся ранее в периодике (в «Новом мире», «Знамени», «Русском журнале» и «Частном корреспонденте») — во второй, после «Простодушного чтения» (М.: Время, 2010), книге текстов Костырко о литературе — представлена чистая, классическая позиция критика (писатель-практик при этом отступает в тень и не заявляет себя вообще никак, но не сомневаюсь, что из этой тени он наблюдает за анализируемым и делает важные для себя выводы). Как и в первом его критическом сборнике, эта позиция максимально далека от всякого заявленного простодушия, автор же критичен прежде всего прочего к своим собственным суждениям и даже к собственной способности выстраивать таковые. «...Не являюсь, — говорит он в самом начале, — и никогда не стремился быть критиком, который “в переднем ряду”, который “лидер мнений” — поводёр для читателя и наставник для писателя, объясняющий, как надо читать и как надо писать. Завидую тем, кто это знает, как надо. Я — не знаю. Я всё ещё пытаюсь это выяснить, приступая к разбору каждого нового художественного текста».

(Небольшой спойлер: Костырко анализирует здесь совсем не только художественные тексты — а первая часть книги вообще целиком посвящена работе коллег-критиков — и это выходит несколько не менее интересно.)

Как будто уклоняясь — по крайней мере, декларативно — от формулировки чего бы то ни было, претендующего на общезначимость, занимая подчеркнуто смиренную (и очень сложную по своему устройству) позицию просвещённого и мыслящего частного наблюдателя, Костырко на самом деле видит огромную, формирующуюся на его глазах картину современного ему литературного процесса, следит за тем,

как она складывается, и мыслит большими обобщениями. Как свидетельствует многознающая Википедия (не сам ли автор и писал?), «Костырко удерживается от соблазнов программной, концептуальной критики» — видя свою задачу единственно в том, чтобы разобраться в устройстве конкретных текстов. Удерживается он от них, я бы сказала, так, что концептуальность (а с нею и некоторая программа) у него разлита в текстовом воздухе, — она работает, не будучи демонстрируема. На самом деле тут ничто не пишется с чистого листа: у Костырко внятные, прекрасно продуманные представления о том, как литературе вообще-то стоит быть устроенной; очень упрощая, — когда она хороша и когда плоха (другое дело, что он действительно никого не наставляет). Каждого анализируемого им автора он сразу же видит как узел многих далеко идущих, многое связывающих тенденций. И положения формулирует именно что вполне способные выдержать бремя общезначимости — быть несущими конструкциями некоторого теоретического построения (впрочем, как автор уже предупредил нас в предисловии, «за писание “Поэтики” я, разумеется, никогда не сяду»). Я бы назвала это латентной теоретичностью.

В эту книгу Костырко собрал результаты своих наблюдений над литературой за последние примерно пятнадцать лет. Лишь один текст, помещённый в постскрипуме, из другой исторической эпохи, из 1992 года, — «любительские заметки профессионального читателя» — вот, пожалуй, близкая к максимальной точности формулировка его позиции — о состоянии русской литературы в самом начале постсоветской эры. Список его героев, впечатляющий своей разнородностью, несводимостью, кажется, ни к какому общему знаменателю, способен показаться даже эклектичным: Василий Аксёнов, Кирилл Анкудинов, Анна Аркатова, Сухбат Афлатуни, Дмитрий Бавильский, Сергей Беляков, Ксения Букша, Сергей Гандлевский, Алиса Ганиева, Александр Генис, Сергей Григорьянц, Леонид Губанов, Лев Данилкин, Елена Долгопят, Евгений Ермолин... (и это не полный перечень). Ой.

Удержать всё это в поле зрения одновременно возможно, лишь имея некоторую интуицию целого. И у Костырко она явно есть. Одну из черт этого целого можно назвать уверенно: ему интересны тексты — и авторы — неоднородные, в чём бы то ни было неожиданные, с внутренним парадоксом, а то и не с одним, не укладывающиеся в типовые определения. (Вот прелестно о Генисе: «“поэт”, пишущий художественную прозу в жанрах, предназначенных для “ритора”», или о «Красной точке» Бавильского: «Неправильно написанный правильный роман».) То есть, в конечном счёте, — те, кто открывает перед литературным целым новые возможности.

В основном, как видим, это литература, пишущаяся по-русски и большею же частью — сейчас. Исключения исчислимы на пальцах — правда, обеих рук: В.Г. Зебальд, Уильям С. Берроуз, Гертруда Стайн, Кристиан Крахт, Чарльз Буковски, китайский нобелиат Мо Янь — это из фигур и знаковых, и обладающих уже закреплённым местом на литературных картах, которое Костырко и не проблематизирует, — но разбирается в их текстах единственно потому, что ему интересно их устройство, — а также зарубежные авторы книг о столь же знаковых фигурах: автор воспоминаний о Бродском Эллендея Проффер, и биограф Хемингуэя Альберик д'Ардивилье, и Себастьян Хафнер, автор книги на очень знаковую тему: частный человек перед лицом диктатуры, которой он не принимает. Есть среди них, однако, и фигура, знаковости пока не достигшая, но явно на неё претендующая, — чешский прозаик и поэт Марек Шинделка, «именитый у себя в Чехии» и «с уже <...> начинающейся славой в Европе», у нас совсем неизвестный (Костырко очень благожелательно рецензирует перевод его «лирико-медитативной прозы» «Карта Анны», вышедший у нас тиражом, близким к ничтожному); и фигура совсем уж неожиданная в такой компании — колумнистка «Эсквайра» и «Нью-Йорк Таймс», она же известная порно-актриса Стоя (Джессика Стоядинович), сборник текстов которой «Философия, порно и котики» вышел в русском переводе в 2020 году. (В каком-то смысле да, «низкого» и «высокого»

для настоящего критика нет: было бы в анализируемом тексте хоть что-то достойное интереса. Костырко находит.) Удивительно ли, но при анализе даже вполне беспомощных в художественном отношении творений последней Костырко умудряется, во-первых, поставить их в весьма широкий контекст — соотнести прочитанное с увиденной в московском Музее Востока «бронзовой скульптурой Ситы и Самвары в момент соединения — момент “пустоты и блаженства” (“пустоты” в буддийском понимании)». Да, сопоставление выходит никак не в пользу Стои, но примечательно само стремление мерить даже мелкие суетные тексты высокой мерой. А во-вторых, он включает боковое зрение. Он умеет рассмотреть в книге, ничем не выдающейся, достоинства там, где, может быть, они остаются неведомыми и тому, кто её написал: «...Там, где автор в своём повествовании отступает от темы секса хотя бы на полшага, ну, скажем, в её “периферийных” описаниях аэропорта, где пришлось делать пересадку, или бесконечного здания, по которому она с другом плутает в поисках укромного места, или где она описывает ночное кафе в Нью-Йорке и узнавших её и ставших жутко приставучими мужиков; где она описывает путешествие по дорогам Америки, или рассказывает, как была не порно-, а просто актрисой, — вот на этих страницах Стоя — классный прозаик». Иногда для этого приходится привлекать свои познания в других культурных областях — в данном случае, в кинематографе: «...Приёмы монтажа, с помощью которого она создаёт изображение, манера использовать неожиданные, несочетаемые как бы детали — у неё всегда на высоте».

Костырко — критик пристальный до вездливости. Он одновременно внимательнейше всматривается в подробности устройства анализируемых текстов, разбирает их по волокнам — и ставит в большие контексты. Притом — что возможно только в случае, когда ты держишь перед внутренними глазами очень широкую картину происходящего в литературе — иной раз в весьма неожиданные: так, у Марека Шинделки он обнаруживает сходство, структурное родство с Ксенией Букшей (кстати, одной из его любимых героинь, — ей в книге посвящены несколько текстов. Таким, особенно интересным ему, писателям, отдан целый второй раздел книги).

Вообще же у меня такое впечатление, что — на материале литературы, не выходя за пределы этого материала, используя именно его ничем не заменимые возможности, — Костырко размышляет об устройстве и динамике жизни в целом. То есть делает именно то, чем занимается литературная критика в одном из наиболее интересных своих обликов.

Сергей ГАНДЛЕВСКИЙ. Незримый рой. Заметки и очерки об отечественной литературе. — М.: Издательство АСТ: CORPUS, 2023. — 448 с.

Поэт, прозаик, эссеист Сергей Гандлевский говорит о литературе как человек, глубоко в неё вовлечённый — как один из тех, кто делает её собственными руками. Знающий это ремесло подробно и на ощупь, он (в отличие от совершенно убирающего в своих критических текстах себя-писателя с читательских глаз долой Сергея Костырко) охотно делится своими знаниями, наблюдениями и соображениями о нём со всеми, кому это может быть интересно. Позиции критика в строгом смысле Гандлевский не занимает — то есть, в число его забот не входят новейшее, текучее и пластичное, возникающее на наших глазах и ищущее себе места в литературном целом, его проблематизация и оценка в рабочем порядке. Под этой обложкой, где собраны все тексты о русской словесности, написанные Гандлевским за три десятка лет, он — литературовед-эссеист, одновременно неакадемичный — и с профессионально отточенным взглядом. Авторского «я» тут довольно много, и оно является нам в разных обликах: читающий и пишущий, аналитик и лирик, теоретик культуры и метафизик в их неразделимом единстве попеременно уступают друг другу место

на первом плане (непрерывно же друг с другом советуясь и обмениваясь опытом). В первых двух частях книги главенствуют (не вытесняя своих альтер эго совсем) читатель, аналитик, историк культуры и теоретик её, в третьей их сменяют пишущий, лирик и метафизик, — но всё это разные стороны одной цельности.

По существу книга автобиографическая: история собственной жизни и мысли, рассказанная на материале того, что занимало и занимает автора более всего прочего. (И не лучший ли это из способов рассказать свою жизнь?) Иногда Гандлевский автобиографичен напрямую — но эмоциональная его история неизменно совпадает тут с читательской: «В литературных <...> героинь я с полуоборота почти не влюблялся ещё и потому, что сердце моё несвободно: вот уже сорок с лишним лет (с перерывами на приступы головокружения от Настасьи Филипповны или Лолиты) я привычно, ровно и восхищённо люблю Татьяну Ларину. Она нравится мне целиком и полностью, мне дорог каждый поворот её вымышленной судьбы».

Предмет неспешного внимания поэта — работа особенно интересных лично ему «собратьев по цеху» — от несомненных классиков: Пушкина, Фета, Ходасевича, Георгия Иванова, Набокова, Бабея, Заболоцкого — до современников автора: Александра Межирова, Семёна Липкина, Льва Лосева, Александра Сопровского, Алексея Цветкова, Дениса Новикова. Из современников Гандлевский многих знал лично, с иными — как, например, с Сопровским — был связан дружбой, — в таких случаях он говорит о личностях поэтов не в меньшей степени, чем об их поэтической работе, да по сути и не отделяет одного от другого. И, наконец, предметом рассмотрения становится опыт собственных отношений Гандлевского с поэзией и её — таинственная, но обсуждению всё-таки поддающаяся, даже требующая его — природа. «Поэзия относится к реальности, как беловая рукопись к черновику. Драматизм жизни не выдумка искусства. Драма в природе вещей, но вещи её застыт. Поэзия наводит жизнь на резкость, и главная праздничная основа существования проступает из повседневной невнятицы».

Этому последнему кругу тем посвящена третья часть книги — «Домашняя работа», — как бы вывод (совокупность таковых) из всего многодесятилетнего опыта общения с искусством. Первые же две части делятся не по типам героев — на «классиков» и «современников», как можно было бы ожидать, но сложнее: по фокусировке внимания. Сообразно этому, в первой части — «Крупным планом» — Гандлевский пристально рассматривает устройство отдельных текстов — как тех, так и других, начиная прямо с самого Пушкина. Ещё точнее: берёт тексты известные, прочитанные многими и многократно, и перечитывает их ещё раз, и прокладывает этому прочтению собственные пути. Замечает недозамеченное (о стихотворении Фета: «Это прекрасное стихотворение кажется простым и логичным, но однажды я обратил внимание, что автор заблудился в дебрях собственного воображения и не вернулся в исходную точку». А говоря об одном стихотворении Евгения Рейна, на первый взгляд «вызывающе простеньком» и даже «сработанном из одних поэтических банальностей», Гандлевский показывает, что оно «восходит к древним хтоническим представлениям и подсознательным переживаниям»), выявляет неявное. Из Пушкина он перечитывает четыре маленькие трагедии — «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы» — и, заметив, что они «в разной мере, но писаны по испытанным лекалам западноевропейской литературы, так что в фабульном смысле Пушкин Америки не открывает, и прохладно-вежливое почтение не знающих русского языка иностранцев к отечественному культу Пушкина имеет под собой кое-какие основания», — усматривает в них своего рода карту человеческого существования — описания главных «напастей и несправедливостей жизни»: «Нужда и связанные с ней страдания и унижения»; «Страсть к творчеству, омрачённая завистью из-за абсолютно произвольной раздачи природных способностей»; «Любовная страсть — ещё один пример произвола со своим особым адом — ревностью»;

«И наконец — смерть как высшая форма несправедливости: разом отбирается всё, и всё обесмысливается». То есть получается, что в этих почти-переводах с чужих, западных, оригиналов Пушкин не просто говорит своё: он выговаривает универсалии.

Во второй части, «В общих чертах», Гандлевский рассказывает о своём читательском и человеческом общении с поэтами, начиная — поверите ли? — снова с Пушкина. Тут он берёт Александра Сергеевича, постоянного своего собеседника, «общим планом», говоря о его отношении к жизни вообще («Каждую пору жизни Пушкин переживал как праздник — праздник отрочества, юности, зрелости. Смерть Пушкина лишила Россию канона старости») — и о своей любви к нему, на примере которой проявляется заодно и природа любви как таковой: «Тютчев сравнил Пушкина с первой любовью. А она иногда тяготит, как наваждение. Может захотеться взять и развеять морок, убедить себя, что любовь — одно самовнушение. И мнительно, с богоборческим азартом перечитывая подряд страницу за страницей, и впрямь видишь, что ничего там особенного нет, просто больше удач, чем у других, а так — слова как слова. Есть шедевры, но больше злобы дня, альбомных пустяков, дружеского юмора, интересов кружка... И со сложным и не сказать чтобы приятным чувством преступной правоты, с очередным подтверждением взрослого знания, что чудес не бывает, книгу закрываешь. Но проходит какое-то время, и чудо всё-таки совершается. Пушкинское обаяние, рассеянное было с таким варварским прилежанием, возрождается как первозданное и снова превращается в “воздушную громаду”. Это и есть любовь».

Мысли о литературе, об искусстве вообще как — неразделимо — чуде-и-труде заключают сборник как бы в рамку, не только замыкая, но и открывая её: небольшим эссе о чтении в детстве. На самом деле это опять-таки целая внутренняя автобиография — только очень концентрированная и снова рассказанная на материале отношений с текстами, для автора — на важнейшем из материалов. Биографическая линия описывает круг — от детского не-чтения, сопротивления чтению («читать я начал из-под палки между восемью и девятью годами») до нарастающего потихоньку не-чтения позднего, когда — к собственной печали, к собственному удивлению — человек начинает от потребности в чтении освобождаться: «И вообще я с огорчением замечаю, что с годами моя потребность в чтении убывает». Между этими экстремумами — долгий, почти не открытый нам читательский путь. Тут показаны только некоторые важные его точки, среди которых, может быть, важнейшая — телесно прочувствованный «поворот души», пережитый автором в отрочестве, свидетельство власти литературы над человеком: «Мне было лет двенадцать-тринадцать, когда, понукаемый родителями и свернув шею почти на 180 градусов, чтобы не терять из виду КВНа за толстой линзой, я плёлся через проходную взрослую комнату в детскую. В тот вечер я шёл в кровать так изуверски медленно, потому что в телевизоре билась в истерике и бросала деньги в огонь Настасья Филипповна. Наутро я достал нужный том с полки, впал в оцепенение и к концу первой части физически ощутил, как у меня повернулась и встала поперёк грудной клетки душа». Казалось бы, совсем забытое, это чувство вернулось через двадцать с лишним лет: «...Вспомнил, когда тридцати пяти лет от роду захлопнул “Пнина” с отроческим недоумением и растерянностью: вот оно и кончилось, и как же мне теперь быть?»

Всё-таки заврожённость литературой не исчезает, не перестаёт многое (не всё ли?) определять в человеке, даже если он уже перерастает её (и заврожённость, и литературу) и находит себе иные формы понимания, интенсивности и свободы.

Наталья РУБАНОВА. Русский диссонанс. От Топорова и Уэльбека до Робины Куртин: беседы и прочтения, эссе, статьи, рецензии, интервью-рокировки, фишки. — СПб.: Лимбус-Пресс, ООО «Издательство К.Тублина», 2023. — 518 с.

По роду занятий Наталья Рубанова — писатель, литературный и сценарный агент, эксперт и редактор, издатель, консультант по литературному письму (я ничего не забыла?). По типу культурной позиции — во всех без изъятия своих профессиональных обликах, ну, по крайней мере, в тех, что доступны нашему взгляду под этой обложкой — по меньшей мере проблематизатор, а то даже и сам взрыватель основ. И если попытаться коротко ответить на вопрос, чего ищет она в русской и иных словесностях, кого из делающих литературу и культуру она видит особенно интересными, то ответ, думаю, получится примерно таким: интересно ей всё, сопротивляющееся укладыванию в рамки; ломающее эти рамки, крушащее стереотипы, выбивающее (кого? — от каждого из нас с вами — до культуры в целом) из равновесий и инерций; выявляющее в культуре и социуме уязвимые точки и потенциальные разломы. Все, в ком можно хоть что-то такое найти (а Рубанова находит, она умеет. «Он написал несколько текстов, взорвавших мозг нескольких поколений», — пишет она об одном из своих героев, Илье Кормильцеве, — важном настолько, что рецензия на его посмертный трёхтомник помещена в раздел не рецензий, а интервью — «бесед и прочтений»: это разговор с ним). Рубанова и сама такая.

И говорит она в книге не только о литературе (которую явно видит как часть культурного целого), но о чём только не — и с кем только не. Большую часть книги — добрые две трети — составляют интервью, в которых автор оказывается по обе стороны микрофона: в статусе и вопрошающей, и отвечающей; а среди них ещё и одно неинтервью, героиня которого отвечать на вопросы не стала — но взамен того Рубанова сама рассказала о несостоявшейся респондентке всё важное, что, как она считает, должно присутствовать в русском культурном сознании. Собеседниками же Рубановой оказываются — да, главным образом коллеги-литераторы (Мишель Уэльбек, Фредерик Бегбедер, Вероника Долина, Людмила Улицкая, Денис Драгунский, Валерия Нарбикова, Гузель Яхина, Алина Витухновская, Александр Иличевский... — список неполный; легко заметить, что разные до предела), но кроме того актёры (Ирина Печерникова, Татьяна Веденеева), музыканты (Полина Осетинская, Елена Камбурова), режиссёры (Иосиф Райхельгауз, Павел Лунгин, Виктор Собчак), богослов (Андрей Кураев), политик (но он же литератор, коллекционер, экс-мэр Екатеринбурга и основатель организации «Город без наркотиков» Евгений Ройзман, признанный в РФ иноагентом), непоименованный пиарщик (в «Разговоре литагента с пиарщиком») и даже одна буддийская монахиня — досточтимая Робина Куртин. Да-да, та самая, которая отказалась отвечать на вопросы — и оказалась обозначенной в самом заглавии книги как одна из экстремальных точек рубановской упоминательной клавиатуры. Противоположный экстремум той же клавиатуры — Топоров, да не Владимир Николаевич, а самый что ни на есть Виктор Леонидович, «санкт-петербургский «литтеррорист», он же литхирург». Этому, как нежно называет его автор, «влюблённому в книги большому ребёнку» при жизни его, как справедливо замечает она же, далеко не всякий пишущий отважился «положить <...> палец в рот — читай: вложить в его мозг свой новый текст», а Рубанова не только вкладывала, но даже посвятила ему всю ныне рецензируемую книгу. Как письмо — «Топорову, до востребования». Как, значит, одному из ориентиров, — возможно, отчасти и учителей. И уж точно — одному из собеседников: второе же из вошедших в книгу интервью — с ним).

Жанрового разнообразия книги всё названное ни в коей мере не исчерпывает. Наряду с «беседками и прочтениями», статьями, рецензиями и «фишками» (термин не раскрывается, но интуитивно догадаться можно), сюда включены, например, репортаж с художественной выставки («Строга [холст, масло]»), ещё репортаж («...последнего

снега»), (входящая в состав «фишек») читательская автобиография «Жили-были король с королевой», а также написанное «МИМО БУКВ» и «МИМО ЖАНРА» (капслок автора), «эссе в ежовых кавычках», «эссе-сон» и выдержка «из неопубликованного предисловия к ненаписанной книге».

Вообще, честно говоря, писать о Рубановой скучными дисциплинированными словами не поворачиваются пальцы на клавиатуре. В её манере говорить и писать (о, представляю себе, как многих эта манера может раздражать — и уж наверное раздражает) есть что-то гипнотическое: немедленно хочется в ответ ей изъясняться так же (а изъясняется она примерно следующим образом: «А особенно полезна пилюля под названием “Барсучья нора”. Сказочка эта про мелического поэта, барсука Митю, согу за слетевшее с “мышки” ругательство, — квинтэссенция того, что писучее племя называет литературным — и снова согу — “творчеством”. Барсук Митя — настоящий писатель, а все настоящие писатели, по Андрею Степанову, в невероятных сказках которого — бывают ли *вероятные*? — сквозит что-то латентно-андерсеновское, в глубине души барсуки». Так начинается рецензия на книгу Андрея Степанова «Сказки не про людей»; открываю почти наугад. Даже в простых врезках к интервью — текст, казалось бы, служебнее некуда — Рубанова предпочитает говорить с вызовом, который как будто не требуется существом дела, но требуется чем-то более глубоким: общим мировосприятием автора, отношениями её к предлагаемым обстоятельствам — существования вообще: «Пресловутая встреча из экс-лайф (как, впрочем, всё в этой книге), — предваряет она разговор с Евгением Ройзманом¹, — в простой московской “Шоколаднице” образца 2019: тогда ещё прогуливаю так называемую основную работку, чтоб записать интервью — всё как в очень средней школке и в снулом институте, когда *отменяешь* нудные уроки и пустозвонные лекции». Курсив автора). Ближе всего к такой манере речи и определяющего её мышления видится мне — нет, не провокация, не подросткового типа бравада и протест против рутины и неправд того, что взрослым кажется привычным и нормальным (хотя без этого, без вполне намеренного эпатирования обладателей косных умственных привычек и рутинных эстетических установок, надо думать, тоже не обходится) — а джазовая импровизация. Причём почему-то кажется, что на кларнете. Возможно, потому, что звук у него — независимо от любых резкостей, поверх их всех — глубокий, округлый и тёплый.

(И только уже написав это в достаточной мере безумное предположение, автор этих строк, уточняя данные своей героини в интернете, вычитал там, что Наталья закончила Музыкальное училище имени Пироговых по классу фортепиано и МПГУ со специализацией «музыкальная психология». Значит, всё правильно.)

Ну, чтобы говорить так же, надо быть Рубановой или обладать хоть сопоставимым с нею миро- и самоощущением, покорный ваш обозреватель — ни то ни другое, но расковывающим воздействием на читающего и пишущего в ответ — её тексты очевидным образом обладают.

Конечно, в самой стилистике этих текстов (всё-таки — в стилистиках; их тут на самом деле, при внимательном рассмотрении, несколько) заключается значительная и неотменимая часть их содержания. Тем не менее все эти экстравагантности, все эти внешние эффекты — именно потому, что для автора они несомненно органичны, — из числа тех, что не должны вводить в заблуждение: то есть приводить к мысли, что они поверхностны, что они — ёрничанье и эпатаж ради того, чтобы произвести впечатление на публику; или что они, допустим, игра. Ничуть не бывало. У Рубановой, во-первых, всё всерьёз (игры тоже); во-вторых, у неё острый беспощадный ум и ясное видение. Как яркая раскраска у ядовитых насекомых, эта манера речи сигнализирует о том, что обладательница её не намерена никому быть удобной — истина (то, что автору

¹ Внесен в специальный реестр иностранных агентов Минюста РФ.

таковою видится) гораздо дороже, — а в случае чего не намерена никого и щадить. Но если она что-то высоко оценивает (да, положительные рецензии Рубанова пишет и высокие оценки — даёт) — тут можно быть уверенным: к лести человек с такой речью точно не расположен, тут всё по-настоящему (ну субъективно, да, — а у кого, интересно, нет? Только тут субъективность не маскируется). Это маркер трудной честности (может быть, и для самого автора нелёгкой). Именно это, надо полагать, виделось ей основополагающим в Викторе Топорове, которому книга-письмо адресована.

Литературы в целом она и не жалуется, и, да, не щадит: «...В отечественной похоронной *литпроцессии* (термин мой: независимого *литпроцесса* у нас нет) балом правит в массе своей всё же посредственность: так и ранжируют авторов — по способности писать “не лучше, чем условный Сидоров”. Ведь если писать “лучше, чем условный Сидоров”, можно стать его конкурентом. А этого (конкурента-то) писатели-всея-руси не потерпят, ибо узки врата к кормушке да тернист путь».

А вот собеседников — тех ли, с кем общается в интервью; тех ли, чьи книги рецензирует (это ведь тоже собеседничество) Рубанова видит, слышит и чувствует прекрасно, отслеживает их состояния, вообще обращает внимание на их телесный облик, бытовые привычки, манеру поведения (о Веденеевой: «...Является Веденеева, по-барски заполняя пространство ароматом духов и играя огромными перстнями. Первым делом Татьяна-свет-Вениаминовна подходит к зеркалу и, проводя рукой по волосам, улыбается: причёска, как и костюм, отменны. Элегантная дама. С чёртиками в зрачках. Она сама себе нравится: так — можно, да только так и нужно!». Всё это важно, важно), разговаривает с ними уважительно, внимательно, с подробным знанием предмета обсуждения и жизни собеседника вообще. Это ли не самое главное.

Не говоря уж о понимании того, что все настоящие писатели — в глубине души барсуки.

Валерий ПЕЧЕЙКИН. Пушкин, помоги! — М.: Эксмо, 2023. — 224 с.

А вот Валерий Печейкин — вовсе даже не критик. По роду занятий он писатель, драматург, сценарист, — а в отношении авторов, текстов, обсуждаемых в этой книге, — «всего лишь» — заинтересованный, вовлечённый, понимающий — читатель. Точнее, перечитыватель: каждое из произведений, о которых тут идёт речь, каждый из упоминаемых писателей — часть культурного кода, общего символического запаса. Вынесенный на обложку Пушкин. Гоголь — «криповый и кринжовый». Достоевский. Толстой — в его противостоянии Шекспиру, а заодно и сам Шекспир. Гончаров. Ахматова. Авторы чуть менее очевидные для наиболее массового сознания: Владимир Одоевский, Фёдор Сологуб. И Кафка, великий русский писатель (нет, не ошибка и даже не опечатка. Врос в русское понимание мира — даром что, по всей вероятности, сильно отличное от его собственного. Матрицы заложил.).

Всё это мы скорее всего читали, ну, по крайней мере проходили в школе, что, конечно, качественному чтению не тождественно, но след оставляет; ну по самой-самой крайней мере не раз обо всём этом слышали, потому что — в воздухе носится. И сам автор книги наверняка не раз читал, — потому дело его (и наше с вами) тут — открытие не столько нового (хотя классика на то и классика, что обладает теоретически неисчерпаемым потенциалом новизны), сколько недооткрытого. Продумывание недопродуманного.

Так что Печейкин ещё и внимательный аналитик (лёгкостью его интонаций тут никоим образом нельзя обманываться). По отношению же к собственным своим читателям — внимательный и, что особенно к нему располагает, равный собеседник. Без наставничества, — делится собственным опытом, к которому и сам вполне критичен.

Так вот, читательская-перечитывательская-собеседническая позиция сообщает ему — а тем самым и его текстам — особенную свободу.

Вообще-то этому сборнику (связанных общими интуициями) размышлений о великих писателях «от Пушкина до Кафки» (написанных специально для книги), «сочинений на свободную тему» и «текстов в воздухе» (буквально в воздухе: автор писал их как колонки для бортового журнала авиакомпании S7) самое бы место в разговоре о нынешней, особенно школьной, рецепции классических авторов и текстов, состоявшемся в «Дружбе народов» в ноябрьском номере минувшего года¹ (кстати, хорошо лёг бы туда и сборник Гандлевского с его вниманием к вечным собеседникам; да что уж теперь). Книга Печейкина в точности об этом: что могут значить для нас сегодня классические тексты и авторы — в статусе не музейных и школьно-обязательных, а живых и включённых в происходящее здесь-и-сейчас, способны ли они отвечать на возникающие сегодня вопросы (спойлер: прекрасно способны; отдельный интересный разговор, благодаря чему именно и как с этим бороться. А бороться иной раз, ой, надо... чуть ниже будет пример) и как вообще о них сегодня говорить?

Печейкин как раз и представляет один из возможных форматов такого разговора. Понятно, что тут фокус внимания получается несколько сдвинутым с классиков как таковых в сторону нашего времени и наших проблем; но к чести автора надо сказать, что классиков из виду он при этом не выпускает.

Главное и самое трудное: он умеет (так и хочется сказать, отваживается) говорить об обсуждаемых авторах без пиетета и придыхания — и одновременно удерживать дистанцию, позволяющую видеть прежде всего именно читаемого автора, а не собственные наши потребности, всегда в той или иной мере сиюминутные, то есть, в общем-то, формы слепоты. К чему приводит устранение дистанции, Печейкин ясно видит на примерах наших современников и знает (невысокую — и разрушительную) цену такому прочтению. («Каждое время, — говорит он, — поворачивает Пушкина своей стороной. Несколько лет назад я узнал, что Пушкин стал ругать Америку». Пуще того, Александр Сергеевич и демократию ругал. А узнал автор об этом «из интервью экс-министра культуры Мединского. Цитата была такой: “С изумлением увидели мы демократию в её отвратительном цинизме, в её жестоких предрассудках и нестерпимом тиранстве. Всё благородное, бескорыстное, всё, возвышающее душу человеческую, подавлено неумолимым эгоизмом и страстью к довольству. Такова картина Американских Штатов, выставленная перед нами”». Тут уже понятно, с чем стоит бороться. С соблазном убедительности и с выдираньем речений классиков из их родимого контекста.

(Впрочем, как справедливо заметил автор второй из обсуждавшихся нами сегодня книг, Сергей Гандлевский, «действительно хорошая книга обладает свойствами зеркала и отражает запросы и духовный уровень читателя. Совершенно разные люди — будь то эстет, или мастер вычитывать из книг какой-либо подтекст, или подросток, любитель приключенческой литературы, — каждый из них с полным основанием найдёт в “Капитанской дочке” то, что ищет».

Остаётся только добавить, что любой хороший, многомерный текст вообще обладает такими свойствами, так что мы, читающие, будем выдирать из таких текстов цитаты и приспосабливать их под собственные нужды, пока смерть не разлучит нас.)

Итак, что же делает сам Печейкин? Пишет он в формате не критических статей, не рецензий, но (квалифицированных) частных мнений. Мнений, очень внятно

¹ В «ДН» (№ 11, 2023) книгу В.Печейкина рекомендует Евгений Абдуллаев: «Это умная и веселая книга. Адресована она как бы преподавателям (открывает ее глава “Письмо школьным учителям”), но, уверен, ее с интересом прочтут и старшеклассники. Печейкин работает как креативный варвар, а точнее, как креативный менеджер, пытающийся показать, что классика — не просто современна, но злободневна, полезна, необходима».

структурированных и с привлечением не только — и даже не в первую очередь литературного контекста ныне перечитываемых классиков, но всего того, что прожито нашей культурой с тех пор, как эти основополагающие для неё тексты были написаны. Это опыт — ни в коей мере не упрощающего, но, напротив того, — объёмного чтения текстов: прочитывания их, в пределе, всем культурным целым, в достижимом оптимуме — с помощью разных средств, которые в этом целом наличествуют. К такой объёмности видения — к активному вовлечению в восприятие классиков своего культурного опыта — он своим примером подталкивает и читателей.

Так, в понимании Гоголя «внезапно» пригождается автору и современник наш Александр Эткинд с его недавней книгой о внутренней колонизации — о российском имперском опыте («...майор Ковалёв — как Российская империя, теряет какую-то свою часть. Ковалёв-империя страдает из-за этого, мается, жалуется»), и снятые уже в наше время фильмы («Сегодня мы берём у Гоголя ужас. Вспомните фильмы с Александром Петровым — мистический детектив-триллер про Гоголя и следователя, которого сыграл Олег Меньшиков...»); стоит припомнить заодно и то, что другие эпохи читали те же тексты иначе: «Советская власть брала у Гоголя кринж — стыд за Российскую империю». И да, это в Гоголе тоже было.

И, наверно, одна из самых важных авторских мыслей (вообще их тут много разных, как бы невзначай рассыпанных по обочинам основного рассуждения, чем книга и прелестна): каждое из таких прочтений — скорее всего, каждое из прочтений в принципе — всегда, по определению, будет недостаточным. «Эти фильмы тоже кому-то могут показаться кринжовыми, но для самого Гоголя нет внутреннего противоречия между ужасом и смехом». Перечитывания — многократные, в том числе и в пределах одного поколения (не говоря уж о том, что — разными) затем и нужны, чтобы это видеть.

Борис Минаев

«А.Т.» — попытка закругления

«За утренним чаем мой отец отложил в сторону газету и сказал:

— Если обстоятельства будут благоприятны, мы поедем в Константинополь».

Так начинается рассказ «Константинополь», давший название всей книге прозы Арсения Тарковского.

Фраза, которая волновала поэта в детстве своей загадочностью, открытостью неведомым бескрайним просторам — она и впрямь удивительная. Есть в ней какая-то нескончаемая мечта. И то, что мечта эта неясная, неконкретная, мечта о давно задуманном и никогда не осуществленном путешествии, — делает ее еще более удивительной. Безграничной.

...У спектакля «А.Т.» Кудымкарского Коми-Пермяцкого театра — как бы это выразить поточнее — тоже нет границ.

Зритель весь спектакль видит сцену, утыканную колосьями, — этакое бескрайнее хлебное поле. Притом что все действие происходит в небольшом губернском городе Российской империи — Елисаветграде, где вырос Тарковский. Но нет на сцене ни заборов, ни крыш, ни яблоневых садов, нет базара, замерших переулков, нет шкафов и стульев, — лишь изредка появляется стол со скатертью.

Хлебное поле — знак бесконечности пространства. И прежде всего — пространства поэтической памяти.

В спектакле нет границ между поэзией и прозой, между словом и музыкой, между мистическим обрядом и крестьянским трудом, между документом и фантазией, между почти религиозным хоровым пением стихов Тарковского и бытовыми сценками из его же жизни.

Когда крестьяне с колотушками и трещотками идут по хлебному полю, выгоняя то ли зловредных насекомых, то ли злых духов, — что это? Мистерия? Танец?

...Удивительно, конечно, что такой сложный, многозначный, полифоничный спектакль, богатый смыслами и ассоциациями, — родился в маленьком Кудымкаре, в городе с менее чем 30-тысячным населением. Режиссёрская команда — создатели спектакля — из Москвы (режиссёр и автор инсценировки — Сергей Тонышев, художник — Филипп Шейн, художник по свету — Иван Васецкий), а вот актёры — местные, и это вторая, не менее важная, часть команды создателей спектакля (Сергей Лизнев, Роман Арапов, Дмитрий Хорошев, Алексей Бусыгин, Анна Окулова, Валерия Новодворская и другие).

Про актёров чуть позже, а пока хочу сказать доброе слово тем, кто осуществляет эту, как принято сейчас говорить, колаборацию (во времена юности Арсения Тарковского говорили «смычка»). Это прежде всего конкурс «Уроки режиссуры», который позволяет молодым режиссёрам и провинциальным театрам регулярно

показывать свои лучшие работы в Москве. (Кстати, спектакль из Кудымкара стал одним из победителей фестиваля.) И программа «театральных лабораторий» под руководством Олега Лоевского (о котором «ДН» писала в № 9 за 2023 год).

«А.Т.» показывали в театре имени Моссовета, на большой сцене, при полном аншлаге, зрители стояли в проходах, заполнили все ряды балкона и бельэтажа — строго говоря, я такого от Коми-Пермяцкого театра не ожидал.

Причина простая: очень хочется неожиданного, свежего дыхания в сегодняшнем театре. Очень давно хочется.

Что касается актёров, то у них задача, конечно, была сложной. Во-первых, сцена и зал — трудно не растеряться в этом огромном, гулком, да еще и намоленном именами Плятта и Раневской, пространстве. Во-вторых...

В программке их роли обозначены так: «молодая мама А.», «отец», «Валя, брат А.», «Ленка, сестра А.». На самом же деле это не персонажи и не характеры — а только отзвуки хрустальной музыки, отблески солнечного света над этим хлебным полем, не «настоящие люди», а те «мифологические звери» детства, какими их запомнил ребенок. Поэтому в этих сценках из детства нет ясной и отчетливой драматургии (жанр спектакля обозначен авторами как «семейные встречи», на самом же деле это и драма, и опера, и буффонада, и мистерия, границы размыты и разомкнуты, как я уже говорил).

Недаром все важнейшее, сокровенное, дорогое передается актёрами в сценах музыкальных — и здесь я бы среди создателей спектакля особо отметил Алексея Мусатова (в программке он даже не композитор, а лишь автор «музыкального оформления»). Стихи Тарковского поются очень бережно, и музыка эта не из разряда простых — но такой она и должна быть, и что самое главное — именно этот «спетый» Тарковский помогает нам понять всю музыку и всю философию этих вроде бы таких незамысловатых «семейных встреч», «детского альбома».

...Рассказы о том, как маленький Ася отморозил ладони, потеряв перчатки, как заблудился и его нашли, как он буквально преследовал по пятам точильщика с рынка, поскольку в детстве был «огнепоклонником».

Я, кстати, застал еще точильщиков в 60-е и даже 70-е годы в московских дворах, они ходили со своим нехитрым станком, с точильным кругом, который действительно производил завораживающие снопы огня, летящие во все стороны искры, целые маленькие фейерверки, пока точились на нем ножи и ножницы, что выносили во двор хозяйки.

Да, я помню этих точильщиков, старьевщиков, цыган и нищих, которые просто звонили по квартирам, но уже в мое время это была уходящая реальность, для современного же зрителя это просто некий миф из книжки...

Рассказ про братьев-близнецов Конопницыных, соучеников по гимназии, которых с трудом различала даже родная мать, и от этого то и дело возникали разные нелепости... О страшной встрече с дезертиром Первой мировой войны и о том, как за сестрой ухаживал «итальянский проходимец» Раппало. О странном детском помешательстве на обезьянах, в том числе выдуманных «марсианских обезьянах», и о страшном аресте брата в годы Гражданской.

Актёрам — на очень малом драматургическом пространстве эпизода — нужно передать этот «гул памяти», музыку памяти, с ее обрывочностью и резкими перепадами, и, на мой взгляд, делают они это вполне точно.

Человек реальный, земной, из «настоящей жизни» возникает в спектакле в самом конце — это эпизод, в котором использованы письма Арсения Тарковского и его матери. И здесь еще раз стоит вернуться к Сергею Тонышеву и его сценической композиции. Найти эти письма и именно ими закончить спектакль — прекрасная идея.

«Мать А.» (актриса Алевтина Власова) говорит в этих письмах с сыном через огромные расстояния, через эпохи, годы, войны, разлуки — говорит о событиях

«текущей» жизни (в том числе о рождении детей, Андрея и Марины, своих внуков), но именно в этих размышлениях об обыденных, прозаических вещах проступают и ее огромная нежность, и ее боль, и ее чувство семьи, чувство жизни, чувство дома, которое она сумела передать сыну.

...Честно говоря, я даже не совсем точно представлял себе, где он, как назывался потом и теперь, этот самый Елисаветград, город детства Тарковского — и вот что выяснил уже после спектакля.

Да, это город в центральной Украине, который носил такое название до 1924 года, потом назывался Зиновьевск (по имени Григория Зиновьева, видного большевика, расстрелянного в годы «большого террора»), потом — до 1939 года — Кирово, до 2016 года — Кировоград, и после 2016-го — уже Кропивницкий.

...Сам перечень этих названий много говорит об истории нашей страны. Идентичность нации, страны, региона, города — вообще сложная вещь, а что уж говорить о человеке? Он тоже далеко не всегда понимает свою идентичность, путается в ней, ищет ее, наконец, находит, ошибочно или верно, кто знает. Кто он: житель империи или республики, той страны или этой, какой нации принадлежит, поэт он или герой, человек семейный или свободный от всех обязательств, это всё ведь еще только предстоит узнать.

В спектакле есть такой фрагмент (он повторяется в самом начале и в самом конце): читателю этих рассказов, пишет Тарковский, может показаться, что у книги есть только протяженность, что это просто набор разных историй, но на самом деле сюжет книги вполне закруглен, и сюжет этот — как человек доживает до глубокой старости... И, продолжает Тарковский, сюжет этот чудесен — ведь до старости вполне можно было и не дожить.

Мы смотрим на себя в зеркало, говорит он, — и видим кого-то другого, не того, кто внутри.

Ведь внутри нас — ребёнок. А смотрит на нас из зеркала — старик.

Эти, в общем-то, совершенно простые истины оказываются как никогда актуальны сейчас, когда снова идентичность у очень многих из нас — и внутренняя, и внешняя, и политическая, и национальная, и социальная, и психологическая — вновь оказывается под большим вопросом. И ее приходится пересоздавать заново. Но как?

Тарковский — как человек, который и «выжил», и «дожил», и не утратил связь с самим собой, — отвечает на эти вопросы. Может, именно для того и понадобились ему «детские» рассказы — обычно они становятся первой книгой, пишутся в литературной молодости, а ему захотелось написать их в конце жизни.

Жизнь Арсения Тарковского в этом смысле хорошая модель для тех, кто хочет не потеряться и не растеряться во вновь возникшем вихре исторических событий. Я бы даже сказал — рабочая модель.

Summary

“DN” is 85 years old. And no matter how complicated the circumstances were the magazine kept working and was trying to work for recognition, comprehension, good neighborhood, creative collaboration of the national cultures all over the Eurasian space remaining faithful to the idea imbedded in its title. In this anniversary year we’ll go on making our readers acquainted with those who are creating the modern literature and also reminding them of the brilliant names and bright pages of the past years of the magazine.

Under the heading “The Golden Pages of DN”

Poems by Vladimir Visotskij presented here are not only a collection of poetical works but fragments of Visotskij’s life and fate. “Visotskij passionately, boyishly wanted to be published. He was eager to lock his singing verses into the metal cage of the typescript,” – underlined prefacing this publication Andrey Voznesenskij.

Arsenij Gonchukov. Over Gorkij-City

This is a long short story about a father and a son’s interrelations during the hard and in many ways naïve times called “perestroika”, about growing up in the environment of the total collapse, ecumenical resentment, misunderstanding and following regret.

Poetry

Poems by Sergej Pagin are tuning us to the new-year mood but in these special days one feels particularly acutely how one Time passes by and another takes its place.

The same “Chain of Transformations” is the subject of Vladimir Salimon’s lyrics. Meditations over the “cycling of life” are not alien to Evgenij Chigrin as well as to the young poet Grigorij Knyazev.

Anna Voropaeva. The Far East: Blurring the Boundaries

“If one makes some parallel lines on the school board with the crayons of different colours and then passes over them with his palm – will they remain the same? If to settle some nations on one land for a long time – what will come out?” Sinologist Anna Voropaeva native and resident of Vladivostok answers to this question giving examples – sometimes very amusing – from her own experience.

Range of Reading: Names and Books

“...Sometimes, when reading the world news, one imagines that the History is being written now by some run-down writer who can’t make the ends meet, allows the storylines to sag within ten pages, doesn’t motivate the actions of the characters”. Literary critics summarize the results of the literary year 2023 and recommend what to read.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно приобрести на

<http://дружбанародов.com>

Журнал продается в московских магазинах:

«**Фаланстер**» (Москва, ул. Тверская, 17,
вход с Малого Гнездниковского переулка)

«**Бункер**» (Покровка, 17; ежедневно с 12 до 22)

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»



**1/2024**

По страницам «ДН»

«Можно ли остановить это “качание” истории между полюсами дробления-диалога и единения-хора? Вряд ли. Великие переселения народов (в новое время — мировые войны), сбивающие народы в армии, а государства в империи, чередуются с периодами “оседлости”, когда история окрашивается в пёстрые национальные цвета. Остановить это невозможно. Но можно почувствовать, куда идёт маятник. И в ЛЮБОМ случае, при ЛЮБОМ исходе — постараться очеловечить неизбежное. ...Сейчас мы не знаем, куда поворачивает мир, не знаем, куда идёт Россия, мы только вслушиваемся друг в друга, мы ждём, когда люди устанут от крови, от ненависти, от междоусобия. Мы не знаем, какое состояние — мозаичное или монолитное — даст людям передышку. Мы знаем только, что передышка — это вздох культуры. Национальной, интернациональной, региональной, мировой — любой, а какой — это станет ясно тем, кто придёт после нас. Наше дело — удержать дыхание. Или, если говорить на языке историков: по мере того, как будут решаться проблемы “национально-территориальные”, их надо переводить в “национально-культурный” ряд. Да это и естественно. Как только “боевики”, стреляющие с обеих сторон, нащупывают границу ТЕРРИТОРИЙ, их дети начинают через эту границу бегать друг к другу, и на месте территорий возникает пространство КУЛЬТУРЫ...»

Лев Аннинский. Территория и культура

1993, №9